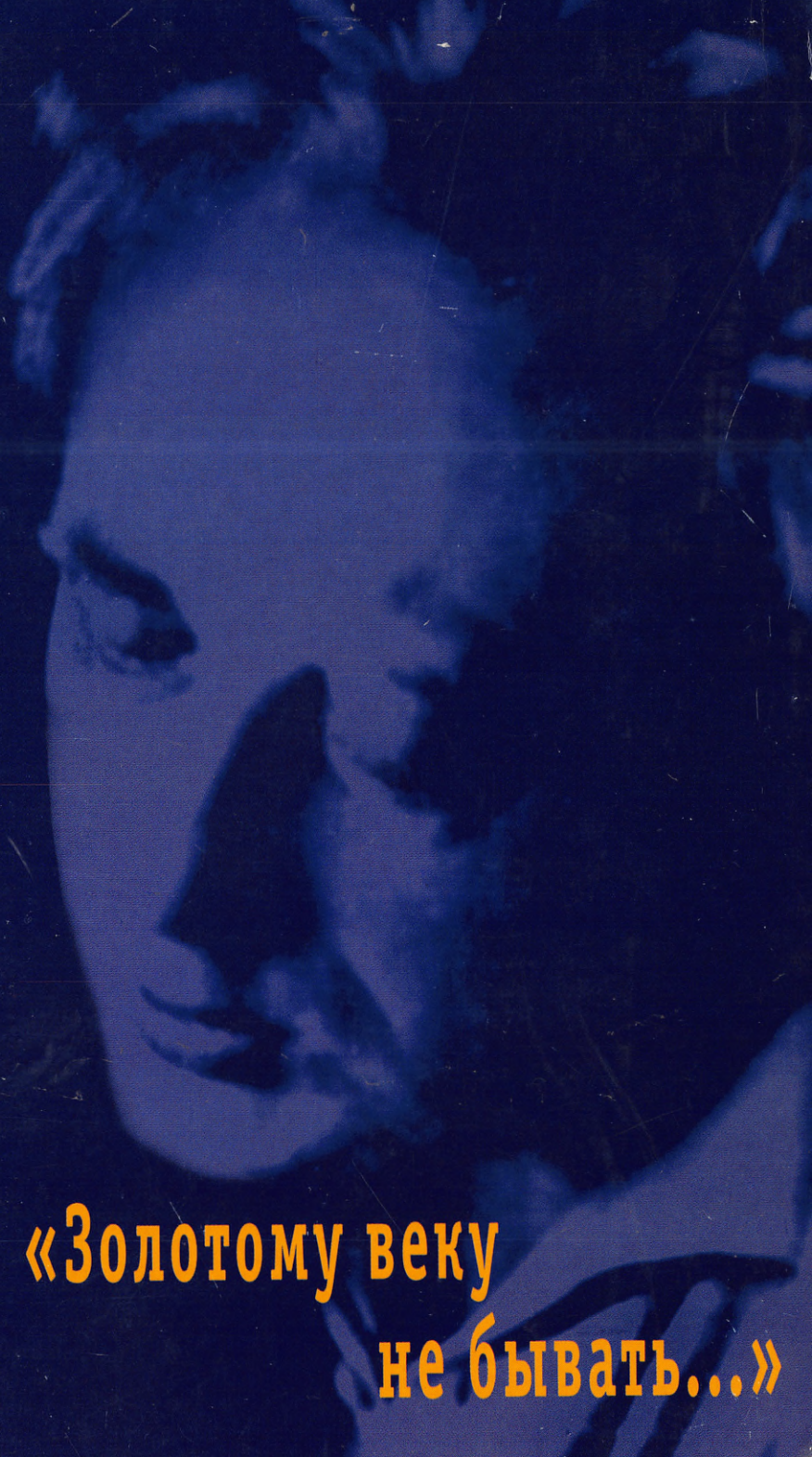


Г.С. Подъяпольский

«Золотому веку не бывать...»

Г.С. ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

«Золотому веку  
не бывать...»



# Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

## «Золотому веку не бывать...»

ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ

—

ПУБЛИЦИСТИКА

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

—

СТИХИ

—

ВОСПОМИНАНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ

о Григории ПОДЪЯПОЛЬСКОМ

Общество «Мемориал» — Издательство «Звенья»  
МОСКВА · 2003

**Издательская программа Общества «Мемориал»**

**Редакционная коллегия:**

А.Ю.Даниэль, Л.С.Еремина, Е.Б.Жемкова,  
Т.И.Касаткина, М.М.Кораллов, Н.Г.Охотин,  
Я.З.Рачинский, А.Б.Рогинский (председатель)

**Издание осуществлено при поддержке  
Ассоциации «Дорога свободы»**

Редакция приносит благодарность за помощь в подготовке издания  
И.Е.Бурмистровичу, а также сотрудникам Общества «Мемориал»  
А.Ю.Даниэлю, Г.В.Кузовкину и С.А.Чарному

## ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Главный автор и герой этой книги Григорий Сергеевич Подъяпольский защищал права человека в стране, которая называлась СССР – Союз Советских Социалистических Республик. Умер Подъяпольский, не дожив до пятидесяти лет, в 1976 году.

По профессии он был геофизиком, занимался теорией сейсмических волн при взрывах, землетрясениях и цунами.

Обладая аналитическим умом и очень широкой образованностью, Подъяпольский еще в молодости понял многие пороки господствующей в СССР экономической и политической системы и назвал ее тупиковой ветвью цивилизации. Он считал, что закрытость общества, несоблюдение конституционных норм и неуважение к свободе личности являются прямыми свидетельствами несостоятельности существующего в стране государственного устройства.

Участвуя в правозащитном движении, Григорий Подъяпольский стал соавтором многих документов, направленных против нарушения прав граждан в СССР. 20 мая 1969 года он вошел в Инициативную группу по защите прав человека в СССР. Как и другие правозащитники, Григорий Подъяпольский подвергался преследованиям со стороны органов государственной безопасности (его неоднократно вызывали на допросы, в его квартире был произведен обыск и т.п.). В 1970 году Григория Подъяпольского уволили из Института физики Земли под предлогом сокращения штатов. До этого ему было отказано в защите диссертации в связи с отсутствием рекомендаций от профсоюзной организации и парткома.

Несмотря на преследования, Подъяпольский продолжал правозащитную деятельность. В октябре 1972 года он вступил в Комитет прав человека, организованный В.Чалидзе, А.Сахаровым и А.Твердохлебовым в 1970 году.

С юности Григорий Подъяпольский писал стихи, а в зрелом возрасте – и прозу, которые и составляют основное содержание этой книги.



Кроме того, в книгу входят воспоминания его жены – Марии Петренко-Подъяпольской, а также воспоминания и размышления современников, написанные в 90-е годы.

В книге собраны мемуары Ю.Айхенвальда, В.Буковского, А.Гвоздева, А.Григоренко, А.Есенина-Вольпина, Л.Ивановой, А. и М.Каплун, С.Ковалева, Л.Копелева, П.Литвинова, О.Максимовой, Ф.Мещанского, С.Мюге, В.Некипелова, А.Оболенского, Ю.Орлова, А.Сахарова, А.Скорикова, Б.Скорикова, Л.Терновского, В.Янкова.

В Приложении даны материалы из выпусков «Хроники текущих событий», характеризующие политическую деятельность Г.С.Подъяпольского, а также родословная Григория Подъяпольского, составленная его братом – Сергеем Подъяпольским.

В подготовке рукописи принимали участие Илья Бурмистрович, Владлен Гинзбург, Наталья Зелевинская, Нина Некипелова, Лидия Кошевская, Любовь Левит, Ирина Лопарева, Клара Рукшина, Церина Таненгольц, Климентий Файнберг, Борис Хазанов.

Рукопись прочли и сделали ценные замечания Рита Беленькая, Галя Брагинская, Татьяна Векстерн, Наталья Гессе, Элла Каганова, Ирина Корсунская, Ирина Кристи, Татьяна и Иван Ковалевы, Александр Лавут, Павел Литвинов, Феликс Мещанский, Евгения Печуро, Юня Родман, Ирина Сидорова.

Мы благодарны всем, кто потратил время и усилия на подготовку этой книги.

Особую признательность мы хотим выразить Геннадию Горелику за редактирование рукописи и его добрые советы.

Мы рады тому, что эту книгу издает «Мемориал», и благодарим Ларису Еремину и Александра Даниэля за помощь и поддержку.

Мария Петренко-Подъяпольская,  
Анастасия Подъяпольская-Дынкина  
*Бостон, 2003*

## Предисловие к книге Григория Подъяпольского «О времени и о себе»\*

**П**еред нами автобиографические записки, или, употребляя распространенное в последнее время выражение, книга «о времени и о себе».

К сожалению, автор не успел полностью осуществить свой замысел, в котором, как он пишет в предисловии, ему отводилась роль «Чичикова в бричке, едущего по мертвые души». Но и то, что написано и оформлено, — чрезвычайно интересно.

Григорий Сергеевич (мне трудно называть его по имени и отчеству — для меня он навсегда просто Гриша) на протяжении нескольких последних лет был моим близким другом, нас связывали общая общественная позиция и чисто личные, семейные отношения. Он был удивительным человеком, обладающим безупречной внутренней честностью, добротой, терпимостью к людям, к их разнообразным мнениям, позициям и ошибкам, и в то же время человеком научного, бескомпромиссного и творческого мышления, человеком, умеющим проявить твердость, мужество и принципиальность в самых трудных ситуациях.

Григорий Сергеевич много думал об окружающей его жизни, о глубинных причинах тех трудностей, парадоксов и зачастую ужасов нашего общества, которые он наблюдал с детства.

Все это — глубоко привлекательная личность автора, его размышления и концепции, окружающая автора действительность, люди и быт — почти с разговорной непринужденностью отразилось в его книге. Внешней канвой в ней служит история увольнения автора из Института физики Земли, а в еще большей степени — воспоминания о детстве, юности и молодости, которые прошли в самые трагические годы истории нашей страны. В книге множество характеристик родных, друзей и знакомых, сослуживцев, начальников, просто лю-

---

\* Франкфурт-на-Майне: Посев, 1978.

дей, с которыми его свела жизнь, множество неповторимых черточек быта и взаимоотношений. Все это — с какой-то подкупающей простотой, создающей впечатление абсолютной достоверности. Но при этом и читатель, и автор понимают, что книга далеко выходит за рамки чисто личного повествования, представляя собой также социологический разрез нашего парадоксального и трудно постижимого общества, изображенного изнутри, с какой-то особой — личной судьбой автора обусловленной — точки зрения.

Извне понять наше общество, по-видимому, чрезвычайно трудно. Каждый, кому приходится пытаться объяснить что-либо в этом роде иностранцам, даже самым доброжелательным, непредвзятым и умным, то и дело сталкивается с трагикомической ситуацией, когда после многочасовой беседы собеседник задает тебе вопрос, показывающий, что весь предыдущий разговор прошел впустую, так как что-то само собой разумеющееся для человека, проведшего жизнь в нашей стране, с советским паспортом и на советскую зарплату, не было понято с самого начала. Образно говоря, кроме (и до) высшего образования нужна еще начальная школа. И вот, используя этот образ, я хочу сказать, что в книге Г.С. Подъяпольского мы имеем сразу и школу, и университет, и даже отдельные узелки «докторской диссертации», то есть обобщающей концепции советского общества.

Всю книгу пронизывает ненавязчивый юмор автора, создающий ощущение домашнего, душевного разговора. Для тех, кто лично знал Гришу, эта книга — волнующее напоминание об общении с ним, прекрасное его воплощение. Но не меньше эмоционального и интеллектуального опыта вынесут и те читатели, которым не довелось его знать.

Несколько слов о стихах Григория Подъяпольского, выпущенных ранее отдельной книгой. Их сближают с прозой общность концепций автора, общность мироощущения и отношения к людям; в них так же, как в прозе, ощущается его личность. Поэтому читать их следует одновременно, вместе с неоконченными биографическими записями.

Неожиданная смерть трагически оборвала и его жизнь, и его рассказ о себе и о нас.

## Светлой памяти Григория Подъяпольского\*

**М**учительно трудно писать по свежим следам смерти, только что унесшей близкого друга. Но и традиция, и потребность говорить вот так — смерти в ответ и вслед — естественны: хочется противопоставить уничтожению то незабвенное и неуничтожимое, что оставляет человек, уходя; хочется это как бы суммировать, чтобы еще раз убедиться в реальности того, что совсем недавно было и его жизнью, а теперь осталось только нам.

В некрологе о Григории Подъяпольском написано: ученый, поэт, член Инициативной группы по защите прав человека в СССР, член Комитета прав человека, активнейший защитник наших узников совести...

Все это так.

Но было что-то еще — был пройденный им путь. Этот жизненный путь теперь — словно дорисованный знак, значимый сам по себе, без идущего. Жизнь каждого человека исторична. Сейчас мне легче всего говорить о том, что исторически выразила собой жизнь моего друга.

Поэтому, поступая так же, как поступил он сам в своих замечательно интересных, но оборванных смертью «Записках», я остановлюсь на характеристике семьи, в которой вырос Григорий Подъяпольский.

То была коренная русская интеллигентная семья, в родословной которой были и разночинцы, и купцы, и дворяне, семья нечиновная и оппозиционная по отношению к самодержавию. После революции эта семья как бы ушла в себя. В своих «Записках» (своего рода аналитических воспоминаниях о времени и современниках) Григорий Подъяпольский называет мироощущение и своей семьи, и других таких же «катакомбной» психологией.

Когда-то Брюсов в известном стихотворении звал «грядущих гуннов», чтобы «хранители тайны и веры» могли унести «светы» пре-

---

\* Впервые опубликовано: Русская мысль. 1976. 12 марта.

жней цивилизации «в катакомбы»; возможно, ему мечталось, что в «катакомбах» «светы» будут ярче гореть, и хотелось, как Нерону пожаром Рима, полюбоваться этим. Былые гуманистические идеалы свободы, равенства, братства интеллигенции действительно пришлось со временем припрятать в «катакомбы», если только можно назвать «катакомбами» темные и захламленные коридоры многонаселенных коммунальных квартир. Впрочем, прятать недозволенные «светы» в этих «катакомбах» было трудно, потому что соседи, недавние жители окрестных трущоб и подвалов, нередко только рады были сообщить по начальству о подозрительном, хоть и слабом мерцании.

Тем существеннее исторически, что многие интеллигенты, несмотря на столь пригнетенное положение, все-таки сумели повлиять на своих детей так, что те выросли порядочными людьми в старинном, еще беспартийном смысле слова.

Семья Григория Подъяпольского, отчасти победив Государство, помогла мальчику выработать в себе, а потом и хранить главное: традиционные для русского интеллигента этические ценности, критичность и ту духовную самостоятельность, которая всегда мешала моему другу самозабвенно примыкать к какой-нибудь толпе или даже группе.

В семнадцатилетнем возрасте, в 1943 году, он написал звучавшие отнюдь не в духе принятой идеологии стихи о нищем социалисте-утописте, который обратился к могущественному и богатому Сеньору с просьбой о деньгах: философ не имел средств купить бумагу, на которой он смог бы дописать проект уничтожения богатых и власть имущих.

Однако скепсис — свойство хоть и предохраняющее, но само по себе не созидательное; ироничность, чувство собственного достоинства и естественное чувство самосохранения как раз и толкают часто в сторону «катакомб», потайной духовной жизни, освещаемой пресловутыми «светами», для маскировки уменьшенными до размеров елочных свечек.

Григорий Подъяпольский избежал этой опасности. Правда, лишь впоследствии. В институте им. Губкина, где он учился, да и первые годы после института он жил хоть и не в «катакомбах», но и не в открытую. Он жил особым образом: как бы мимо власти и политики... Подъяпольский был чужд циничному отношению к науке, и при всем релятивизме, естественном для современного ученого, пафосом его научного творчества было старомодное и бесперспективное дело: поиски истины, того, что и как существует в действительности, в природе. Наука, в сущности, была лишь одной из функций его личности. Поэтому в своих уже упомянутых мною «Записках» мой друг особенно много писал об ученых широкого диапазона и — если можно так выразиться — яростного научного темперамента. Это описание научной среды, внимательное, доброжелательное, но бескомпромиссное, —



опять-таки свидетельство того, что это была живая среда, не застойная и душная, а рабочая и помогавшая дальнейшему развитию.

Это развитие и привело к тому, что Григорий Подъяпольский не захотел оставаться гражданином «с ограниченной ответственностью». Эта «ограниченная ответственность», то есть ощущение: я отвечаю только за свой участок, но не за архипелаг ГУЛАГ, — чрезвычайно частая и опасная болезнь ученых, справедливо убежденных, что они «делают дело».

Григорий Подъяпольский обладал редкостным свойством: развиваться не только в сторону старости, но и по направлению к мудрости. И, как это всегда бывает, по-моему, с людьми, настоящая человеческая зрелость пришла к нему, когда он, уже сделав, по существу, свое главное открытие о цунами, заступился за человека — за А.С.Есенина-Вольпина, которого отправили ни за что ни про что в психиатрическую больницу.

К этому времени (Григорию был сорок один год) глубокая внутренняя работа, происходившая в нем, нашла свое выражение в «поэтическом взрыве», который, как утверждал он в комментариях к своим стихам в сборнике «Золотой век», произошел в 1964–1968 годы.

Наиболее характерны, по-моему, для этого сборника стихи «Мы — нигилисты» и поэтический цикл о Христе и апостолах.

По какой-то странной неизобретательности слово «нигилисты», которым назвали себя когда-то позитивистски, а то и материалистически настроенные разночинцы прошлого века, теперь вновь стало мелькать в газетах, уличая нынешних маловеров и скептиков. Вот на это Подъяпольский и отвечал:

...Мы — нигилисты.  
Наша ль в том вина?  
Может, помолиться  
Хочется и нам?

Может, почествовать,  
Как еще готовы? —  
Только, по чести,  
Было бы кого бы!..

Дальше поэт, перенявший от поклонников Базарова их самоназвание — «нигилисты», темпераментно показал, что его поколение перекормили напрасной верой.

Цикл стихов Подъяпольского о Христе («Пророк и Креститель», «Пророк и хлеб», «Пророк и город») — это стихи не о вере, а о месте человека на Земле. Образ Христа сочетается с народнической, пози-

тивистской и даже материалистической традицией: Некрасов в стихотворении о Чернышевском не нашел ничего более высокого, чем образ Христа, лишь «напомнить» о котором пришел Чернышевский.

Для Григория Подъяпольского Христос – проповедник и борец, действующий словом и примером. Он ждет от своих спутников не слепой веры в Него, а прежде всего внутренней честности, мужества: «Нужен сегодня подвиг, а прочее все не в счет». Подвиг каждого – и от себя; его Христос не говорит: «Действовать будет пастырь, которого выбрал Бог». Так говорит Савл в одноименном стихотворении, споря с теми, для кого вера без дел мертва. С точки зрения Савла, вера не может быть мертвой: она животворяща; с точки зрения поэта – Павел–Савл не сподвижник Христа, а «боец и организатор, каких еще мир не знал».

Григорий Подъяпольский не любил авторитарных организаций и государств. Считая, что церковная и партийная «соборность», подобно Авелю и Каину, – родные братья, он не вникал, кто же из этих двух все-таки Авель. Однако Григорий, встречая человека, именно в силу своей терпимости не интересовался: «Како веруеши?» Ему было важно, что за человек перед ним.

В первую очередь за конкретных людей он и заступался, когда наступала пора, и ему, словно гаршинской пальме в оранжерее, стало не хватать катакомбной «высоты». Теоретические вопросы права не были главным его увлечением, хотя он и занимался ими. Подъяпольский неоднократно пытался вступить в диалог с Государством по поводу судеб отдельных людей. Государство пыталось говорить с ним устами своих следователей, но уж тут он отказывался отвечать.

В 1969 году диссертацию Григория Подъяпольского не допустили к защите. В 1970-м его уволили по сокращению штатов из Института физики Земли, где он проработал семнадцать лет.

Постоянные и мучительные стрессы дали себя знать. В ночь на 9 марта 1976 года Григорий Подъяпольский умер от кровоизлияния в мозг в больнице в Саратове. (Перед открытием XXVI съезда он был отправлен в Саратов в командировку.)

Григорий Подъяпольский был русским интеллигентом, то есть человеком, живо и творчески заинтересованным проблемами науки, общественности, философии и, конечно, этики. Но все это в нем было не повторением, а продолжением традиции – я говорю о традициях той части русской интеллигенции, которая сперва была душой гуманистических по замыслу социальных перемен, а потом стала их жертвой.

Жизнь моего друга выразила историческую неизбежность этой преемственности, неизбежность активной борьбы за добро.

Счастье, что в России вырабатываются такие характеры.

Несчастье терять таких людей, но счастье знать о них и помнить.

# Григорий ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ

Фрагменты автобиографии

\*\*\*

Публицистика.

Политические заявления

\*\*\*

Стихи



# ФРАГМЕНТЫ АВТОБИОГРАФИИ

## Предисловие

**Е**ще не родившись, эта книга уже имела некоторую судьбу.

Летом 1970 года формально – по сокращению штатов, в действительности (и даже по устному разъяснению) – за мою вне-служебную деятельность я был уволен из Института физики Земли Академии наук СССР, где проработал семнадцать лет. Увольнению предшествовала двухлетняя подготовка со множеством перипетий и сопутствующих эпизодов.

За время этой подготовки я записал по свежей памяти некоторые из случившихся по ходу дела разговоров. На безработном досуге я взялся за разработку этого материала. Сами по себе протокольные записи не имели внешней эффектности: как-никак Институт физики Земли (ИФЗ) – одно из старейших и культурнейших научных учреждений Советского Союза, и для него немислимы такие шедевры, как для рядовой средней школы. Но по той же причине при более углубленном анализе материал представлял не меньший интерес – как отражение советской психологии на высшем интеллектуальном уровне.

Но едва взявшись за комментирование, я понял, какие благодатные возможности дает вся двухлетняя эпопея моего увольнения, затронувшая множество лиц, да и не только затронувшая, но зачастую и побудившая их вывернуть скрываемое нутро. Мой первоначальный скромный замысел расширился, в моем воображении возник социально-психологический сюжетный, хотя и строго фактологический роман, где роль Чичикова в бричке, едущего по живые и мертвые души, отводилась мне самому. Соответственно этому я раздвинул рамки повествования, стал вводить реминисценции из своего более отдаленного жизненного опыта и общие рассуждения, а также распространенную экспозицию об Институте физики Земли – как другом главном герое... Но безработица моя оказалась недолгой, я едва только успел начать, дальнейшее писание пошло страшно



медленно, да и с трудом. В прозаическом жанре я не имел никакого опыта, если не считать нескольких незаконченных юношеских набросков да научных статей, где интегралы и дифференциалы встречались много чаще, чем существительные и прилагательные.

6 мая 1972 года я претерпел обычное в нашей стране стихийное бедствие, унесшее по nepозволительной халатности все не размноженные черновики моего романа, включая исходные протокольные записи. Уцелели только две главы, посвященные ИФЗ (первая и шестая), да отброшенное теперь устаревшее введение. По плану промежуток между главами отводился на «темное и скромное» происхождение моего героя — единственного, для которого я мог это сделать, не нарушая фактологичности романа, — и, кажется, я даже уже начал первый из автобиографических фрагментов.

Когда прошел вызванный стихийным бедствием шок, мне не захотелось спешить с восстановлением утерянного (была наивная надежда, что черновики, политически довольно безобидные, по истечении некоторого срока вернут), и я взялся за ранее пропущенные автобиографические фрагменты. И тут снова — явное свидетельство совершенной неопытности — произошли неожиданные метаморфозы. Один только процесс вспоминания прошлого оказался мучительным трудом, требующим крайнего напряжения сил, но и невообразимо интересным. Я вторично пережил большие куски моей жизни. Я увидел ранее не подозревавшиеся связи. Я был вынужден судить многое, чего не хотел. И предполагаемый скромный пояснительный экскурс разросся — куда только мог разрастись — в нечто самодовлеющее, ничем не связанное с исходным замыслом и, если меня не вводит в заблуждение еще не отойденная дистанция, нечто гораздо более значительное, чем все, что я вообще намеревался сказать в своем романе.

По этой причине и ввиду очевидной и специфической непрочности своего существования я тороплюсь с изданием этой вещи в ее теперешнем незавершенном виде. Я оставляю в фрагментарном виде две главы об ИФЗ, так как они по-своему интересны и так как не исключаю возможности продолжения своего романа.

## Кое-что об Институте физики Земли

Выше я назвал Институт физики Земли одним из старейших и культурнейших научных учреждений нашей страны. Это требует некоторой расшифровки и детализации, потому что формально это, может быть, и не совсем верно.

Название «Институт физики Земли» вообще появилось недавно, где-то в конце 50-х или начале 60-х годов, уже на моей памяти. Ранее он именовался Геофизическим институтом Академии наук СССР, или ГЕОФИАНом, и, как таковой, возник тоже не в Бог весть какой древности, в 1947 году, в результате слияния двух институтов: Института теоретической геофизики, появившегося на свет в 1938-м, и Сейсмологического, 1928 года рождения. Каюсь, работая в ИФЗ, я не знал этих исторических сведений, а только сейчас вычитал их в Большой Советской Энциклопедии.

Но эти учреждения, по-видимому, тоже возникли не на пустом месте, а в результате реформирования, слияния или разделения каких-то еще, уходящих корнями в еще более далекое прошлое, по меньшей мере, дореволюционное. При мне в Институте еще работали и умирали старички, знавшие в свое время отца русской, а может быть, и мировой научной сейсмологии — усатого князя Бориса Борисовича Голицына (1862—1916). Духовно Б.Б.Голицын был отцом и нашего Института, хотя точную организационно-историческую преемственность мне не удастся проследить. Сейсмограф Голицына, метод определения эпицентров землетрясений Голицына, ученики Голицына, выставка трудов академика Б.Б.Голицына, портрет Голицына в конференц-зале Института — все это непрерывно связывало Институт с деятельностью этого разностороннего ученого, одного из крупнейших представителей русской предреволюционной науки.

Имя же П.М.Никифорова, организатора Сейсмологического института и его руководителя в течение всего времени его существования, я, должен признаться, впервые вообще услышал чуть ли не в последний год моего пребывания в Институте, а за предыдущие пятнадцать лет никто при мне его имя почему-то ни разу не упомянул. Услышал его я на какой-то конференции, случайно совпавшей по времени с каким-то Никифоровским юбилеем, где наш директор М.А.Садовский произнес о нем короткую, но прочувствованную речь, из которой явствовало, что Никифоров был преданный член партии, замечательный организатор и личный друг самого М.А.Садовского.

Особенно последнее, как увидим далее, не могло мне показаться сколько-нибудь импонирующим, но я воздержусь от дальнейших комментариев, поскольку не имею никакой другой информации, по которой мог бы скорректировать эти сведения.

Зато имя организатора и директора Института теоретической геофизики далеко вышло за пределы научного мира и в свое время было известно любому школьнику Советского Союза: академик Отто Юльевич Шмидт, тот самый, который в 1933—1934 годах возглавлял научную экспедицию на пароходе «Челюскин», столь прославленную своим спасением со льдины в Чукотском море. Позже О.Ю.Шмидт прославился также как автор носящей его имя космогонической гипотезы, до сих пор разрабатываемой в ИФЗ его учениками, хотя от представлений о захвате Солнцем независимо от него возникшего метеоритного облака, что являлось первоначальной основой этой гипотезы, большинство ученых теперь отказались. О.Ю.Шмидт был автором также ряда других, более специальных крупных исследований в области математики и небесной механики.

В год, когда я поступил в ГЕОФИАН (1953), О.Ю.Шмидт был еще жив и даже изредка приходил в Институт, хотя, как говорили, был уже смертельно болен. Два или три раза я видел его в коридоре Института. Он мало уже походил на газетные фотографии времен челюскинской эпопеи, его знаменитая окладистая черная борода сильно поредела и была бела как снег, изможденное лицо покрыто морщинами, а глаза были грустными и отрешенными. Он больше походил на святого старца, сошедшего с иконы, и от всего его облика веяло каким-то библейским благообразием.

В середине 50-х годов меня очень интересовала личность О.Ю.Шмидта с ее, как мне казалось, сложным и трагическим противоречием. С одной стороны, он был бесспорно крупным ученым, внесшим определенный вклад в мировую науку. С другой стороны, он был членом партии с 1918 года, пользовался личным благоволением Сталина и, надо думать, должен был если не сразу, то спустя короткое время догадаться, что грандиозная шумиха вокруг спасения челюскинцев, в центре которой он оказался, является в первую очередь одной из дымовых завес социалистической гуманности, под которой уже раскручивалась на полный ход сталинская машина массового уничтожения. Что он в действительности думал по этому поводу, в частности о той марионеточной роли, которую в великих событиях сталинской эпохи выпало сыграть ему самому?

К сожалению, никаких выводов из собранных тогда личных впечатлений, воспоминаний и оценок сделать мне не удалось: они были чересчур противоречивы. Наверное, в О.Ю.Шмидте действительно

хватало всего понемножечку — и от крупного ученого, и от конъюнктурщика, и от хитрого политика, и от донельзя наивного человека. Но это же можно сказать слишком о многих, чтобы оно могло представить какой-либо специальный интерес. В пользу О.Ю.Шмидта мне хотелось бы отметить, что, судя по ситуации, у него, видимо, была полная возможность, скажем, в области космогонии, стать таким же единоличным корифеем, как сам Сталин — в общественных вопросах, Марр — в языкознании и Лысенко — в биологии, но у него чего-то хватило (или не хватило) им не сделаться. И В.Г.Фесенкова, с самого начала резко выступавшего против его гипотезы, судьба Николая Ивановича Вавилова отчасти миновала. Сыграла ли тут роль собственная позиция О.Ю.Шмидта или большее значение имели не зависящие от него обстоятельства (например, отличие точных наук от биологических и гуманитарных, отличие ситуации в точных науках и т.д.), я не знаю.

Для ГЕОФИАНа, каким я его застал при поступлении, О.Ю.Шмидт, как и вообще представляемое им направление Института теоретической геофизики, связанное с астрономией и прочими воздушными эмпириями, был, в сущности, инородным телом. Само же существование и развитие ГЕОФИАНа, то авторитетное положение, которое он заслуженно занял среди научных учреждений не только нашей страны, но и всего мира, в первую очередь связано с жизнью и деятельностью его директора, крупнейшего геофизика нашей страны академика Григория Александровича Гамбурцева.

Высокий, седовласый, импозантный, хотя и слегка сутулящийся, с порывистыми движениями и безумными глазами, Григорий Александрович Гамбурцев — или, как его за глаза, хотя и с любовью, называли, Гаг — был непрерывно полон большими и малыми, реальными и фантастическими, проводившимися в жизнь и эфемерными, как мыльные пузыри, научными идеями, которые он щедрой рукой раздавал направо и налево. Корреляционный метод преломленных волн, глубинное сейсмологическое зондирование, корреляционные сейсмологические наблюдения, метод электромеханических аналогий в теории аппаратуры — все эти вещи, сущность которых я не буду расшифровывать, а список которых мог бы продолжить, неразрывно связаны с именем Г.А.Гамбурцева, а некоторые из этих его детищ ныне прочно вошли в арсенал тех средств, которыми во всех странах изучается наша маленькая, но все еще малодоступная и хранящая множество тайн планетка.

Но с Г.А.Гамбурцевым связаны не только те или иные научные достижения Института физики Земли, о которых мы здесь упоминаем только мимоходом, интересуясь, очевидно, другими проблемами.

Ему принадлежит заслуга в создании чего-то, может быть, менее уловимого, но все же не менее реального — лица Института физики Земли (правильнее, увы, следовало бы сказать ГЕОФИАНа). Попробую все же, как сумею, сказать об этом неуловимом.

Сорок девятый год, эпопея борьбы с «космополитизмом» и «преклонением перед иностранщиной»... Со стен научных кабинетов срывают портреты Галилеев, Ньютонов, Эйнштейнов и прочих представителей загнивающей науки Запада: прямого указания о Галилее, надо полагать, не было, но перегнуть палку — всегда безопаснее, чем наоборот... Непосредственно меня эпопея затрагивает тем, что приходится спешно переделывать мою выпускную дипломную работу о сейсмической разведке в Одесской области: на свою беду, полевой сезон преддипломной практики я проработал на импортной сейсморазведочной станции «ИЛАЙ», о чем ничтоже сумняшеся и написал было спервоначалу, но мой дипломный руководитель, очаровательный Лев Александрович Рябинкин, дружески советует мне слегка уклониться от истины и заменить ее отечественной станцией «ЭХО». «Зачем дразнить быков?» — со смущенной улыбкой мотивирует он свой мудрый совет, и, уже немного знакомый с ревом быков моего родного Нефтяного института, я покорно предаю опасную истину и ругаюсь про себя отнюдь не из-за этой истины, а из-за того, что невиданное в глаза «ЭХО» приходится изучать по скучным описаниям и инструкциям...

Но переступая в те же дни порог ГЕОФИАНа, вы попадали как будто в иной мир, куда не доплескиваются мутные волны повального мракобесия. На этом удивительном островке нормальные люди нормально продолжали заниматься наукой, нормально говорили о ее достижениях во всем мире, нормально ссылались на иностранных авторов и нормально пожимали плечами при рассказах о том, что творится в других учреждениях. По тем временам такое прохладное отношение ко всенародной кампании было совершенно исключительным явлением, во всяком случае другие прецеденты мне неизвестны.

Такую реакцию я раньше объяснял себе исключительно высоким культурным уровнем ГЕОФИАНа с его — тоже необычной — концентрацией виднейших ученых. Но сейчас, размышляя над нею вновь, я все больше вижу в ней прежде всего заслугу самого Гамбурцева. Не потому ученые ГЕОФИАНа меньше прислушивались к реву быков, что были смелее, чем в других местах, а потому, что при Гамбурцеве и в самом деле меньше было опасности в бычьем реве.

Другой особенностью гамбурцевского ГЕОФИАНа была его доступность, его широко открытые двери. «Переступить порог» ГЕОФИАНа было проще, чем других учреждений. Кто бы вы ни



были – студент, стряпающий свою дипломную работу, инженер ли с производства, столкнувшийся с геофизическими вопросами в своей деятельности, или научный сотрудник другого института, ищущий квалифицированной консультации или аудитории, – в ГЕОФИАНе уважали и вас, и ваши запросы. Вас не заставляли унижительно томиться перед дверью в ожидании пропуска, вас внимательно слушали и старались помочь чем могли, не жалея своих сил и времени и не утаивая научных секретов – фирмы или собственных. В наш век перманентных кампаний бдительности и секретности и, без всяких кампаний, боязни, что материально или духовно обворуют, в этом тоже был молчаливый вызов и индивидуальное лицо. А еще была марка настоящей, то есть делаемой квалифицированно, и потому открыто, и поэтому для людей, науки.

Конечно, и в гамбургцевском ГЕОФИАНе далеко не все обстояло благополучно. Не мог там не висеть портрет великого вождя народов – маслом, во весь рост и при всех орденах (исчез только после XX съезда). Существовала парторганизация, и кое-чем верховодили процветающие более на этой, чем на научной, ниве карьеристы, шли мелкие дрязги между великими учеными мужами и т.д. Но все это видовые или родовые, а никак не индивидуальные признаки, и я упоминаю о них лишь для порядка и для того, чтобы не вызывать неверного представления, будто деградация Института, о которой речь пойдет в дальнейшем, была обусловлена лишь внешними обстоятельствами и не имела никаких внутренних зародышей.

Геофизика, вряд ли бывшая единой наукой даже в баснословные времена Голицына, в настоящее время – просто шапка, объединяющая целый ворох наук, бурно развивающаяся и все более дробно ветвящаяся. Она делится по объекту исследования – физика атмосферы, физика моря, физика земли (твердой) с подразделением на региональную (земной коры) и глобальную (всего земного шара с его глубокими недрами). С началом космической эры возникает физика околосолнечного пространства, смыкающая физику атмосферы с астрофизикой, и – уже не гео- – физика других и вообще планет. Геофизика делится также по изучаемым физическим полям: сейсмология, физика электрического и магнитного полей, геотермика и некоторые другие. В пределах каждого из этих разветвлений существуют еще экспериментальное и теоретическое направления, разрабатываемые людьми специфического кругозора и склада, зачастую плохо понимающими друг друга.

Отсюда громоздкость и нестабильность внутренней структуры Института. Непрерывные административные преобразования, и без того свойственные нашим учреждениям, в большей степени диктуются

персональными интересами, чем существом дела. В момент моего поступления в Институт (незабываемый 1953 год) он фактически уже превратился, как официально стал именоваться несколькими годами позже, в Институт физики Земли, только что выделив из себя в качестве самостоятельного Институт атмосферы (физика моря обособилась ранее). Разделение первоначально было чисто административным, но не территориальным, и оба института еще лет десять продолжали тесниться в одном здании — Большая Грузинская, 10, с бесплатным видом на лебедей, козлов и белого мишку Новой территории Московского зоопарка.

На протяжении семнадцати лет моей работы в Институте он неоднократно извергал из себя более мелкие подразделения и иногда принимал новые. В совокупности этих изменений можно уловить некоторую тенденцию к сужению расплывающейся в различных направлениях тематики Института и даже консолидацию около основного — сейсмологического — ядра. Но, конечно, в каждой отдельной акции на первое место выступал случайный персональный фактор.

Я был уволен в разгар сотрясающей Институт административной реформы, кардинально изменяющей его внутреннюю структуру. До реформы Институт состоял из множества (несколько десятков, точное число ежегодно менялось) отделов различной величины. Большие отделы включали более мелкие подразделения — группы. В состав Института входили еще постоянно действующие экспедиции, базы (что-то вроде маленьких филиалов) и различные вспомогательные и административно-хозяйственные подразделения. Наконец, в наследство от Института сейсмологии Институту осталось руководство всей сейсмической сетью СССР, обременяющей его по сей день, несмотря на все попытки выделить ее в качестве самостоятельной службы — наподобие метеорологической или гидрологической. Все эти многочисленные подразделения жили в значительной степени своей собственной жизнью, имели собственный микроклимат и занимались собственными проблемами, зачастую определяемыми личными склонностями их руководителей. Заведующими отделами были, как правило, крупные ученые, в ранге не ниже доктора наук, имеющие имя и вес и широкие научные связи и, в силу этого, обладающие значительной независимостью. Неоднократные на моей памяти попытки дирекции Института объединить деятельность всех отделов под флагом одной или нескольких крупных научных проблем не имели по этой причине реального успеха — не берусь судить, к добру ли, к худу ли для геофизической науки. Координация деятельности некоторых отделов устанавливалась в основном спон-

танно — путем личных контактов заведующих отделами или сотрудников, на совместных семинарах и т.п., и почти никогда — при посредстве центральных органов: дирекции или Ученого совета. Впрочем, эти мои наблюдения относятся уже к послегамбургцевскому времени, и, возможно, при Гамбурцеве было иначе.

Придя в Институт после нескольких лет работы в полевых производственных сейсморазведочных партиях различных министерств, я, естественно, поступил сначала в отдел сейсмической разведки, один из самых больших в Институте, возглавляемый умной и властной маленькой дамой, Инной Соломоновной Берзон. Но через год перешел в только что образовавшийся маленький теоретический отдел, впоследствии неоднократно менявший название; последнее из них — отдел волновой динамики — я и буду в дальнейшем употреблять. В этом отделе я и проработал последующие шестнадцать лет, вплоть до увольнения, — первые две трети этого срока под непосредственным руководством настоящего, большого ученого и замечательного человека профессора Никиты Вячеславовича Зволинского.

Как ученого Никиту Вячеславовича отличала не только обширная и глубокая эрудиция, но и удивительная ясность научного мышления, умение в любой сложной проблеме увидеть и четко сформулировать основную суть (природный дар, плюс хорошая школа в молодости, плюс многолетний педагогический опыт). Из его человеческих качеств упомяну: шепетильную порядочность, кажущуюся в наш век даже несколько старомодной, мягкость и доброжелательность к людям и большую внутреннюю тактичность. При этих сдерживающих началах он был человеком глубоких противоречий и сильных страстей, а по мироощущению — скептиком, иррационалистом и пессимистом.

В Институте у него было много поклонников, что не требует комментариев, и много врагов, что вначале меня удивляло. Но потом я нашел объяснение этому феномену. При глубокой порядочности и тактичности его всегда довольно явно коробило отсутствие в других этих качеств, а на фоне обычной сдержанности Н.В. даже легкий оттенок неудовольствия в его устах не мог пройти незамеченным и бил по самолюбию тем весомей, что был облечен в корректную форму. Вдобавок в этом неудовольствии ощущались не столько личная неприязнь, сколько моральное превосходство — вещь, которую люди определенного и довольно распространенного сорта менее всего способны простить. По такой схеме, например, развилась вражда между Н.В. и талантливым, но хамоватым и не всегда чистоплотным В.И. Кейлис-Бороком — но, конечно, это только моя интерпретация, и Владимир Исаакиевич располагает, возможно, другим объяснением.

Если общий климат Института физики Земли при Гамбурцеве и даже позже был лучше, чем в большинстве научных учреждений, то микроклимат отдела волновой динамики при Зволинском был еще намного лучше, видимо, приближаясь к климату садов Эдема. Кроме Н.В. (заведующего отделом) отдел состоял из нескольких младших сотрудников, известных в Институте под общим собирательным наименованием «мальчиков Зволинского», и нескольких «девочек» — вычислителей (точные числа менялись). «Мальчики Зволинского» были все из культурных семей, большей частью талантливые и симпатичные, с ярко выраженными индивидуальностями. Кроме меня, все они пришли в отдел сразу после окончания высшего учебного заведения, дающего хорошую математическую подготовку (ранга математического факультета университета), или чуть позже и быстро выросли в компетентных специалистов, пользующихся авторитетом далеко за пределами отдела.

В отделе царил патриархальный дух взаимопонимания, доверия и товарищества. Была демократия и — никакой официальности. Случались разногласия и даже ссоры, но они были семейного порядка, то есть возникали на почве столкновения характеров, а не эгоистических интересов. Было много любви к науке и очень мало карьеризма. Словом, работать в таком отделе было большим и, как обычно, тогда недостаточно ценным счастьем.

На первых порах я несколько выпадал из строя остальных «мальчиков». Я был старше — не столько своими тремя-четырьмя годами, сколько наполненными эти годы поучительными столкновениями с жизнью, очень мало похожей на все же тепличную и рафинированную жизнь учебных и научных заведений. В частности, предыдущие слова о недостаточно ценном счастье относятся к другим «мальчикам» гораздо больше, чем ко мне: чтобы оценить и такой коллектив, как отдел волновой динамики ИФЗ, и такого начальника, как Зволинский, я располагал гораздо более богатым запасом эталонов.

В научном отношении у меня был один крупный относительный минус: гораздо более слабая математическая подготовка. Не могу не вспомнить с благодарностью талантливого и оригинального могучего «хохла» на костылях Ивана Никитича Денисюка, на протяжении нескольких семестров художественно излагавшего основы высшей математики маленькой группе будущих геофизиков. Без заложенного им вряд ли вообще смог бы я когда-нибудь работать в области математической теории. Но все же курс математики в Московском нефтяном институте, хотя и расширенный для геофизиков, был несравним с университетским, вдобавок, упоминавшиеся выше три-четыре года столкновений с совсем иными проблемами более спо-

собствовали забвению начатков математических знаний, чем их пополнению. И только в условиях непрерывного общения со Зволинским и его «мальчиками» я смог за относительно короткий срок более или менее заштопать прорехи моего математического образования — хотя бы до такой степени, что они стали видными мне самому.

Но был у меня и большой плюс — сильная личная заинтересованность в решении некоторых теоретических вопросов, возникшая за годы работы в полевой сейсморазведке. Некоторое время я фигурировал в качестве уника и монстра, «практика, освоившего теорию», чувствуя себя при этом чем-то вроде гуся, который, как известно, и ходит, и плавает, и летает, и всё — плохо. Естественная эволюция от этого неустойчивого положения уводила меня понемногу в сторону теории, и через несколько лет мое отличие от остальных «мальчиков» сгладилось.

И процветать бы мне на этой ниве («Наполеоном бы не был, но майором, хе-хе, был»), если бы не было — вне нас и внутри нас — другого мира, неизмеримо большего, чем мирок физики Земли.

## Глава вторая

### Происхождение

Я родился в 1926 году, то есть принадлежу к поколению, уже не заставшему ни дореволюционной жизни, ни революционного энтузиазма первых лет, чье сознание формировалось в самые страшные годы сталинизма, чью наступающую юность перешибла война, к поколению, которое встретило неожиданную хрущевскую «оттепель» хотя и сложившимися, но еще молодыми людьми, способными на значительную внутреннюю перестройку. Не берусь судить, насколько типичной для этого поколения была именно моя судьба и эволюция, но, конечно, родился я тремя годами раньше или позже, они были бы во многом иными. Те же исторические события — а в наш век биографии неотделимы от вторгающихся в них исторических событий — пересекли бы мою жизнь в другом возрасте и подействовали на нее с иной силой и в ином направлении — не берусь опять же решать, в каком.

По национальности я русский, хотя и с близкой к половине примесью различных западноевропейских кровей. Моя бабушка по отцу, Варвара Андреевна, урожденная Шмидт, была немкой — правда,



Варвара Андреевна, урожденная Шмидт, была немкой – правда, поволжской, а не германской. За четвертью немецкой крови следует одна восьмая французской и шестнадцатая шведской. Род Подъяпольских (или Подъепольских) известен с XVI столетия. Тогда Подъяпольские владели землями около города Ряжска в Рязанской земле (см.: Веселовский С.Б. Ономастикон). Самый древний из моих пращуров по отцовской линии, известных мне, был Петр Сидорович – помещик Саратовской губернии. Во время Отечественной войны 1812 года он был ротмистром, и под его непосредственным начальством служила известная кавалерист-девица Надежда Дурова. Его фамилия упоминается в ее мемуарах (которые я, к стыду своему, не читал). Еще о нем известно, что он обладал крутым нравом и ходил по Саратову с палкой, которой порой поколачивал прохожих, не проявлявших к нему, по его мнению, должной почтительности. Эти любопытные сведения я почерпнул из столетнего юбилейного сборника, посвященного участию Саратовской губернии в Отечественной войне 1812 года.

Мое социальное происхождение еще смешанней моего национального. Выше хотя и относительно богатых, но все же нетитулованных помещиков Подъяпольских был мой прапрадед по чисто женской линии барон Тизенхаузен, тоже участник, и, видимо, более известный, наполеоновских войн; имя его мне встречалось в более общих трудах, чем губернское исследование или личные записки Надежды Дуровой. По бабушкиному рассказу, его военная карьера окончилась следующим образом: на фрунтовом смотре новый царь Николай I сделал ему выговор за невоенную походку – он прихрамывал после раны, полученной то ли при Бородине, то ли под Лейпцигом, то ли при каком-то еще из знаменитых наполеоновских сражений. Он оскорбился и подал в отставку, после чего бедствовал (он имел титул, но без поместий) и кончил жизнь управляющим чьего-то чужого поместья. Эта ветвь рода Тизенхаузенов за неимением потомков мужского пола пресеклась, а дочь вообще утратила дворянство, выйдя замуж за купца Вишнякова. Подтрунивая над бабушкой, дедушка Григорий Федорович иногда приписывал ей прямое происхождение от шведского короля Густава Вазы. Но, кажется, эта шутка не имела серьезного основания, так что более высокой кровью, чем баронская, я похвастаться не могу. Более вероятно, чем с королями, мое родство с Лениным – через фамилию Бланк, к которой принадлежала его мать и моя прабабка по линии Подъяпольских. (Варвара Борисовна Бланк, в замужестве Минх, внучка крупного московского архитектора Карла Ивановича Бланка и дочь известного в свое время сентиментального поэта и можайского уездного предводителя дворянства Бориса Карловича Бланка. Варвара Борисовна при-

ходила мне прапрабабушкой.) Но и здесь нет полной уверенности, так как нетвердо установлены некоторые промежуточные звенья.

Кроме дворянства в мою родословную входят почти все низшие сословия бывшей Российской империи — за проблематическим исключением, пожалуй, духовенства: купцы, мещане, мастеровые, русские крестьяне и немецкие бауэры. Впрочем, все это относится к отдаленному прошлому, а в сущности я, по крайней мере в третьем поколении, принадлежу к тому специфическому переплаву любых сословий и классов, который называется интеллигенцией. И самыми крупными и интересными людьми из моих предков были оба моих деда, вышедшие в интеллигенцию один из дворян, а другой, как тогда говорили, из «низов».

Мой дворянский дед по отцу, Петр Павлович Подъяпольский (1863—1930) был известным в свое время врачом — психиатром и гипнологом, профессором Саратовского университета и автором ряда статей и брошюр как по своей основной специальности (клиническое применение гипноза), так и по более широким вопросам естествознания. Кроме того, сохранилась его обширная переписка с крупнейшими биологами его времени, высоко оценивавшими его эрудицию и научную проницательность. Из его корреспондентов упомяну Ивана Петровича Павлова и Николая Ивановича Вавилова. В одной из вышедших недавно книг о Вавилове (Резник С. Николай Вавилов. М., 1968) широко использованы материалы этой переписки; в связи с ней много говорится и о Петре Павловиче как о человеке и ученом.

К сожалению, он принадлежал к людям, много давшим современникам, но непропорционально мало оставившим в наследство потомкам. Он установил наличие хлорофилла в зеленых лягушках, умел проделывать такие удивительные штуки, как вызывание внушением ожогов с волдырями, излечивал от бессонницы письмом из другого города, установил ряд научно наблюденных фактов в таинственной области человеческой психики, но не оставил капитального труда, подводющего итог его многолетней деятельности. Его научное наследие отчасти рассеяно по малодоступным изданиям, отчасти не опубликовано и поныне. В оправдание его скажу, что прежде всего он все-таки был врачом, а врачу слишком много приходится вкладывать в самый недолговечный из материалов — смертного, а вдобавок уже и больного человека.

Петр Павлович умер в 1930 году, и в моей памяти сохранилось единственное связанное с ним, изолированное воспоминание. Картина в памяти изображает прогулку по берегу реки — видимо, в Саратове по берегу Волги — в компании каких-то людей, среди кото-

рых мама и Петр Павлович. После тяжелых, едва не стоивших ей жизни родов, в результате которых появился на свет я, мама действительно ездила со мной из Ташкента в Саратов рожать моего брата под облегчающим влиянием петропавловичевского гипноза (роды и впрямь прошли удивительно легко, но о самой процедуре гипноза у мамы на всю жизнь осталось весьма тягостное впечатление). Кажется (сейчас это трудно установить), позже мы в Саратове не были, а если так, то мне было тогда около двух лет, и это вообще самое раннее из моих воспоминаний. Что оно в самом деле чрезвычайно раннее, сужу по тому, что запомнилась прочно река, без волжской ширины, и что пролетел самолет, который показался мне таким маленьким и близким, что я хотел поймать его рукой, да не успел. Таким образом, в воспоминании явно отсутствует восприятие глубины пространства, а самолет был ярким впечатлением, врезавшим картинку в память на всю жизнь. Петра Павловича как образ не помню совсем, но факт его присутствия — совершенно твердо.

Мой плебейский дед по матери, Григорий Федорович Ярцев (в его память я и был назван, а в угоду бабушке даже окрещен), был сыном московского пьяницы-мастерового и выбился в люди и в интеллигенцию отчасти благодаря собственным талантам, отчасти благодаря своей матери, неграмотной, но умной и твердой женщине, поставившей целью своей жизни дать детям высшее образование и сумевшей, несмотря на раннее вдовство и материальные трудности, этого добиться. Подрабатывая репетиторством — в частности, его учеником был и Петр Павлович, откуда и началось их знакомство, — Григорий Федорович окончил естественно-исторический факультет Московского университета, что дало ему впоследствии место лесничего в Крыму. Но по научной линии не пошел, а по склонностям и способностям сделался художником-пейзажистом и архитектором. В Крым он переехал после женитьбы — по совету врачей, определивших у бабушки (видимо, ошибочно) туберкулез. Его дом в Ялте, построенный по его проекту и сохранившийся до сих пор, сделался одним из центров либеральной интеллигенции, оседавшей в те годы в Крыму. Там бывал Чехов, певал Шаляпин и подолгу проживал Горький — последнее обстоятельство ныне увековечено установленной на доме мемориальной доской. Не будучи столь великим человеком, дедушка, видимо, обладал многими ценными качествами, делавшими его душой общества. Он был деятелен, доброжелателен к людям, любил пошутить и посмеяться, и ему было одинаково чуждо кичиться как перед низшими — достигнутым в обществе положением, — так и перед равными — трудностями, которые ему для этого пришлось преодолеть.

Дедушка был членом кадетской партии и даже баллотировался в какую-то из Дум. Очень сомневаюсь, чтобы в его кадетстве фигурировала серьезно разработанная политическая платформа, скорее, просто его мягкой душе не импонировали ни неограниченное самодержавие, ни яростная узость более революционных партий. Мама запомнила на всю жизнь вырвавшиеся у него однажды горькие слова: «Мне нечего завещать моим детям, кроме ненависти к существующему в нашей стране строю».

То ли за вскрывшиеся политические грехи во время революции 1905 года, то ли просто в связи с наступившей реакцией приказом ялтинского генерал-губернатора Григорий Федорович был выслан из Крыма в двадцать четыре (или, может быть, в семьдесят два) часа. Этот акт произвола оголтелого царизма, очень тяжелый тогда для ярцевского семейства, способен в наше время вызвать только улыбку — ибо выехать он мог свободно на все четыре стороны, включая обе столицы. Он выбрал Москву, с которой сохранились некоторые исконные связи. В Москве ярцевское семейство и пережило относительно благополучно тяжелые годы Первой мировой войны, революции и разрухи. Сам Григорий Федорович умер в 1918 году — от припадка грудной жабы, как мне говорили в детстве, и я представлял себе страшную черную жабу, сидящую у него на груди. Теперь сказали бы «инфаркт», не вызывая никаких ассоциаций. А еще в детстве мне казалось, что семь лет между его смертью и моим рождением — невероятно долгий срок, да и сейчас, зная по опыту и понимая умом, как это немного, не могу отделаться от этого детского впечатления.

Конечно, в годы моего детства память о дедушке была еще очень жива в его семействе, и его образ, встающий из многочисленных рассказов и упоминаний, для меня до сих пор живее и ближе, чем даже образы многих людей, с которыми меня близко сталкивала судьба. Дополняет рассказы прекрасная фотография, поныне стоящая на полке в моей квартире, и живая частица его души — этюды маслом и акварелью, украшающие ее стены. Как художник он был бесхитростный реалист, примыкавший к передвижникам. Главным его учителем в живописи был Киселев. Когда-то Коровин отсоветовал ему бросить ради живописи университет, и он всю жизнь сожалел, что послушался этого совета.

Он был естественно и принципиально чужд всем мятущимся исканиям XX века, и его отношение к любимым модернам ярко иллюстрируется следующим анекдотом: перелистав однажды на прилавке некий футуристический сборник и добравшись до последней страницы, где стояла надпись: «цена такая-то», он сказал: «Вот ведь, когда дело касается кровного интереса, и они, оказывается, предпочитают говорить по-человечески».

Более крупные его полотна разбросаны по многим музеям и картинным галереям, в том числе и заграничным.

Мой отец, Сергей Петрович (1895–1965), единственный среди многочисленных дочерей сын Петра Павловича, по профессии был агрономом-селекционером, и место моего рождения – Ташкент – связано с его работой на Ташкентской селекционной станции по хлопчатнику. Эта станция, наряду со многими другими, разбросанными по всему Союзу, была детищем замечательного ученого и организатора науки Николая Ивановича Вавилова, имя которого я уже имел случай упомянуть, а большие научные открытия и трагическая судьба его сейчас стали слишком хорошо известны, чтобы о них рассказывать. Впрочем, то обстоятельство, что он был заморен голодом в Саратовской тюрьме, кажется, еще не заслужило упоминания в нашей не боящейся правды открытой печати.

В книгах о Вавиллове, вышедших в хрущевское время, я наткнулся на некоторые эпизоды, с детства знакомые мне по маминым рассказам. Например, тот поразивший мое детское воображение случай, когда он после поездки в Афганистан провалился на переходе между вагонами и, не в силах выбраться, провисел на буфере длинный среднеазиатский перегон. Другой запомнившийся мне с детства рассказ – как он во время лекции, которую читал для сотрудников селекционной станции, вдруг закричал звонким мальчишеским голосом, указывая на закачавшуюся люстру: «Землетрясение, смотрите, землетрясение!» – мне никогда не встречался, может быть, из-за его малозначительности. Но в нем тоже есть какая-то маленькая черточка, характеризующая этого замечательного человека, и я рад поводу его привести.

О Ташкенте у меня осталось в памяти общее впечатление света и солнца, а также несколько разрозненных, не связанных хронологической последовательностью эпизодов: как я разбил подбородок и как один знакомый узбек в шутку дарил мне лохматого живого барана, приговаривая: «Гриша, бери баран! Тащи баран!» – а я в страхе прятался за мамину юбку. Когда тридцать лет спустя мне довелось на несколько дней попасть в Ташкент, я специально съездил на все еще существующую на том же месте селекционную станцию и с каким-то удивительным, ни с чем не сравнимым чувством вдруг узнал сохранившуюся в подсознательной памяти картину – бугор, где когда-то стоял наш, теперь уже замененный другими, дом, излучину стремительного Бо-Су и круто поднимающиеся террасы заливных полей на противоположном берегу.

Разрыв между отцом и мамой, положивший конец нашей ташкентской жизни, произошел, когда мне было три с половиной года, а брату – около двух. После тяжелой семейной сцены мама, схватив

нас обоих, ринулась в Москву, к бабушке, а отец на долгие годы вообще ушел из моей жизни. Все эти годы он проживал далеко от Москвы — специфика тех лет требует уточнения: не по причине репрессий, а просто так сложилась его естественная, по сю сторону колючей проволоки судьба. Наше знакомство возобновилось (может быть, правильнее — состоялось) во время войны, и с тех пор какие-то отношения поддерживались до его смерти в 1965 году. Но близости между нами не получилось, мы оба старательно избегали острых углов, говорили на отвлеченные темы, он рассказывал о Вавилове, о Лысенко — с обоими он был лично довольно близко знаком. На мое формирование никакого влияния он, естественно, не имел.

Тогда, в Ташкенте, я был еще очень мал, но кое-что, видимо, наблюдал, и какие-то заключения копошились в моей детской головке. По маминому рассказу, на вопрос, что мне купить на день рождения (мне исполнялось три года), я вдруг огорошил ее, выдав: «Мне ничего не надо, а купи мне другого папу. Наш стал совсем плохой». Но сам я не помню этого эпизода, как и вообще никаких переживаний, связанных с семейной трагедией моего детства. И роюсь сейчас с пристрастием в своей памяти, я не нахожу в ней следов каких-либо модных теперь комплексов — безотцовства или чего-либо в этом роде. Сознательное детство с хронологически последовательной памятью у меня началось с приезда в Москву — и в это детство безотцовство вошло как исконное и поэтому естественное состояние. Детям — а возможно, людям вообще — свойственно просто и безусловно принимать окружающий привычный мир: семью с ее сложившимся укладом и личными взаимоотношениями, социальную группу с ее эталонами поведения и системой ценностей, общество с его иерархической структурой и совокупностью стандартных понятий, — и только на очень высокой ступени развития критического сознания начинает подозреваться специфичность, историческая обусловленность и историческая ограниченность этого мира. Для мамы разрыв с отцом остался травмой на всю жизнь, что косвенно, может быть, и отразилось на нас с братом, но мы с братом были слишком малы, чтобы почувствовать травму самим.

Итак, с трехлетнего возраста я помню себя в Москве, где вместе с братом растился и воспитывался мамой, бабушкой и незамужней тетей Наташей если не заменившей нам отца, то ставшей для нас почти второй матерью.

Хранителем наиболее старинных консервативных традиций была, естественно, бабушка Анна Владимировна, происходившая из сурового, с крепкой патриархальной закваской, процветавшего с XVIII века купеческого дома Вишняковых. Ее рассказы о своем детстве непро-

извольно носили мрачный колорит, отдающий темным царством и «Домостроем». Об интимной близости между родителями и детьми, присущей нашему времени, не было и помину. Обращались официально: «Вы, папенька», «Вы, маменька» и слушались беспрекословно папеньки и маменьки вплоть до великовозрастности, что в наше время совершенно непостижимо. При сем надо учесть, что поколение ее отца уже принадлежало к просвещенному купечеству. Ее дядя, Николай Петрович Вишняков, был автором книги «Сведения о купеческом роде Вишняковых», где историко-архивные изыскания на серьезном для своего времени уровне перемежаются яркими и талантливыми зарисовками купеческого быта по собственным воспоминаниям безусловно умного и широко образованного человека. Наконец, суровый купеческий уклад, видимо, отчасти смягчился дворянским влиянием ее матери, урожденной Тизенхаузен. Бабушка получила чисто домашнее воспитание, вершиной которого явился французский язык, но, конечно, многое приобрела дополнительно, общаясь с культурными и интересными людьми в качестве хозяйки широко открытого ярцевского дома.

Как я теперь могу оценить, в бабушке было много самобытности и душевной твердости. Ее выход замуж за голоштанника Гришку Ярцева явился в свое время бунтом и семейным скандалом, который она стойко выдержала, пойдя на разрыв с родителями, хотя дело дошло если не до отцовского проклятия, то до лишения доли в наследстве.

Вплоть до паралича, уложившего ее в 1937 году в постель, а двумя годами позже в могилу, бабушка властной рукой вела наше домашнее хозяйство, твердо придерживаясь правил, конечно, приспособленных к послереволюционным бытовым условиям, но уходящих корнями в давние традиции ярцевского, а может быть, в чем-то и вишняковского дома.

Бабушка была религиозна, изредка посещала церковь и порой любила порассуждать с подвернувшимися старушками о том, что вот-де любая травинка на поле и всякая мушка столь премудро устроены, что невозможно объяснить без всемогущего Творца. Но религиозность она не сумела передать даже своим детям, усвоившим мягкий, с оттенком добродушного юмора, но все же решительный религиозный скептицизм Григория Федоровича. Тайком от мамы и тети она пыталась пробудить религиозные начала и в нас с братом, но то ли из-за отсутствия педагогического таланта, то ли из-за противодействующего влияния эпохи успеха не добилась. Из ее уроков я вынес только механически заученную молитву «Отче наш» и умение перекреститься — без следа чего-либо, смахивающего на религиозное чувство; брат, думаю, усвоил и того менее.

Тетя Наташа, вторая из пяти сестер, была по натуре более христианкой, чем верующая бабушка. Не имея своей семьи, она всю жизнь вложила в других людей — львиная доля пришлась на нас с братом. Ее неисчерпаемая доброта, которой все, кому не лень, пользовались, не исключала, однако, — опять же чисто христианских, — твердости и даже некоторой суровости. Могла она и вспылить, страстно и несправедливо, но всегда почему-то удивительно необходимо. Религиозных тем, боясь оскорбить бабушку, она обычно не касалась, а для себя предпочла стоицизм Сенеки и Марка Аврелия. Ее любимейшими изречениями были: «все пережив — побеждаешь» и «мут ферлорен — алес ферлорен», и если чего-либо она не могла простить людям, то прежде всего отсутствия этого самого христианского «мут».

По специальности она была, как и мама, химиком-органиком, отличалась удивительным усердием и работоспособностью, но всегда работала на других: профессора Шарпинака, профессора Беркенгейма, профессора Родионова и многих еще, имена которых я теперь уже не упомяну. Она так и осталась научным сотрудником без степени, и гораздо менее работающая, но лучше умеющая поставить себя мама опередила ее (как, видимо, и меня), защитив вскоре после войны кандидатскую диссертацию на тему «Окисление бутадiona».

Но, конечно, главная роль в моем воспитании и формировании принадлежала маме. Она была пятой по счету сестрой и названа в честь бабушки Анной, но дома, для отличия от бабушки, прозывалась Асей. Она родилась в Ялте в 1894 году, и ее детство захватило лучшую крымскую пору ярцевского дома. Ее юное становление пришлось на пору бурных идейных метаний последних предреволюционных лет, и эпоха революционных потрясений отразилась на ней разносторонней и глубже, чем на старшей (на десять лет) тете Наташе.

У мамы был один дар, горький, как и всякий дар Божий: все, что она когда-либо видела, слышала или чувствовала, она помнила со всеми подробностями всю жизнь и не властна была забыть. Много позже она как-то призналась мне, что этот дар вечно отравлял ей отношения с людьми, потому что любого человека она всегда воспринимала только вместе со всем, что он когда-либо сказал и сделал, — а кому из нас не доводилось совершить или ляпнуть глупость или мерзость?

Но этот дар делал ее замечательной рассказчицей, и трудно переоценить, как много это дало нам, ее детям. Благодаря ее рассказам многие куски ее жизни — детство в светлой Ялте, грозовой август четырнадцатого года, голодная и холодная Москва эпохи палых паровозов и шарханутых впряг лошадей — встают сейчас перед мои-



ми глазами почти с такой же яркостью, как если бы я пережил все сам.

В первые годы после революции мама работала в известном издательстве Сабашниковых и по совместительству исполняла обязанности технического секретаря собиравшейся по вечерам в том же помещении писательской организации — зародыша будущего Союза писателей. Основная ее функция в этом качестве состояла в распределении между писателями столь ценных в те годы продуктовых пайков, что позволило ей наблюдать писательскую среду в своеобразном ракурсе — в момент проявления особенно сильных, но не особенно возвышенных страстей. Ее исполненные юмора воспоминания об этом времени навсегда привили мне непочтительное отношение к писательской братии — а сколько было других подспудных влияний, наличия которых я даже не осознаю.

О своем духовном развитии она рассказывала гораздо более скупое. Только в самом конце ее жизни я узнал о ее мимолетном, перед революцией, пребывании в кадетской партии — очевидно, по стопам Григория Федоровича, и вряд ли особенно сознательном. Самое любопытное в этом факте, по-моему, то, что свое кадетское прошлое она, блюдя чистоту наших анкет, скрывала от нас, детей, вплоть до либеральных хрущевских времен. Но политическая психология ярцевского семейства — тема следующей главы, и я сейчас не буду останавливаться на этом факте.

Из многообразных предреволюционных веяний маму более всего коснулось, пожалуй, народничество в толстовской модификации — типичный для либеральной интеллигенции тех лет комплекс неполноценности, вины перед народом и преклонения перед физическим, в первую очередь крестьянским, трудом. По ее словам, излечил ее от этих настроений голодный девятнадцатый год, выбросивший ярцевское семейство на несколько месяцев в деревню и заставивший испытать благословение крестьянского труда на собственном горбу. Мне представляется, что такая эволюция была довольно типичной: попираемая и презираемая интеллигенция убедилась на массовом опыте, что при нужде способна и вспахать поле, и подоить корову, — и возымела большее относительное уважение к своим более специальным и трудно осваиваемым профессиям и, соответственно, к своему социальному статусу.

Каких-либо серьезных религиозно-философских увлечений у мамы, по-моему, не было, и вообще в ее мировоззрении мне трудно выделить какую-либо яркую определяющую линию, как у бабушки или тети Наташи. Возможно, это объясняется тем, что ее мировоззрение вырабатывалось в более бурные годы, скорее способствующие

потрясению основ, чем их утверждению. Она с большей отчетливостью ощущала сложность мира и его неукладываемость в рациональные схемы и предпочитала от них воздерживаться. Вероятно, я в какой-то степени унаследовал (или перенял) от нее этот скептицизм.

## Глава третья

### Политическое воспитание

До сих пор ярко помню первый в моей жизни урок политграмоты. Мне было тогда около пяти лет, а моему учителю, соседу по даче, куда мы только что приехали на лето, года на два поболее. Уроком и началось наше знакомство — видимо, не очень близкое, так как ничего другого о нем не запомнилось, кроме редкого имени Даня (Даниил).

— Я — Сталин, — представился он с решительным видом. — Говори, по какой ты армии, по белой или по красной?

— По белой, — брякнул я первое, что пришло на ум, или, может быть, фантастическая картина белых солдат на белых лошадях пленила мое эстетическое воображение. Ручаюсь, что у меня в тот момент не было никакого подозрения о политической символике цветов, и имя «Сталин» мне ничего не говорило.

Тут он набросился на меня и добросовестно отдубасил, а когда я отревелся, приступил снова:

— Я — царь. По какой ты армии: по белой или по красной?

— По красной, по красной, — завопил я уже с явно политической целью избежать новой взбучки, но еще недостаточно подкованный, чтобы уразуметь в перевоплощении из Сталина в царя роковой подвох. И царь отделал меня за красную армию с таким же удовольствием, как Сталин за белую.

Вспоминая сейчас этот забавный и характерный для тех времен детский эпизод, не могу не воздать хвалу моему первому учителю. Впоследствии я получил множество уроков политграмоты, но ни один из них не был столь наглядным и столь объективным. А столь высокой подспудной морали — что заработать тумачи можно и за белую, и за красную армию, но перебежчик получает вдвое — в них и подавно не содержалось.

Но я рассказал сейчас об этом эпизоде не для того, чтобы вывести мораль или характеризовать эпоху, а чтобы показать аполитичность моего домашнего воспитания. Дожить до пяти лет и ничего не

знать о Белой и Красной армиях! О Сталине!! — для тех времен, даже учитывая, что Сталин не был еще отцом всех народов и корифеем всех наук, а всего лишь генеральным секретарем ЦК ВКП(б), это было из ряда вон выходящим невежеством.

Надо думать, я ощутил тогда свое невежество, обратился с вопросами к маме или бабушке и получил какие-то разъяснения — в том, как запомнился этот эпизод, чувствуется несомненное их влияние. Но сами разъяснения начисто изгладились из моей памяти, видимо, по яркости они далеко уступали уроку.

Мое политическое невежество проявилось и позже, при приеме в школу в 1934 году. То был последний, кажется, год, когда прием сопровождался выборочным педологическим собеседованием (каюсь, в чем состояла сущность педологии, я сейчас ведаю не более, чем тогда). К следующему сезону педология оказалась вредной буржуазной лженаукой и перестала существовать.

На собеседовании я блеснул общим развитием: знал без запинки таблицу умножения, назвал столицы некоторых государств, бегло прочитал предложенный текст и отбарабанил наизусть длинное стихотворение про Амундсена. Но на политике явно срезался. Правда, на вопрос: «А кто такой Ленин?» с грехом пополам выдал: «Это такой коммунист», но на естественный следующий: «А что такое коммунист?» — был вынужден честно признаться, что не знаю. Две строгие интеллигентные дамы, проводившие собеседование, понимающе переглянулись и переменили тему.

Размышляя сейчас над аполитичностью моего домашнего воспитания, я все же не вижу в нем нарочитой сознательной линии. У ярцевского семейства моего детства — может быть, из-за отсутствия взрослого мужского начала — в сущности, не было чего-либо, заслуживающего наименования политической концепции или философии. Просто политических вопросов старались избегать вообще, что, естественно, распространялось и на воспитание.

Но избегать можно, а избежать в наш век нельзя, и отсутствие концепции не означает отсутствия отдельных мыслей и общего настроения. На уровне настроений крайнее оппозиционное крыло в ярцевском семействе занимала, безусловно, бабушка, осуждавшая советскую власть в первую очередь за воинствующее безбожие. Оппозиция ее в основном выражалась в том, что она никогда не говорила «советская власть» или «правительство», а всегда только «большевики», причем произносились «большевики» с недвусмысленно ядовитой интонацией. Впрочем, объективно она отмечала, что Бог, видимо, любит безбожных большевиков, так как всякий раз посылает на их праздники (1 мая и 7 ноября) хорошую погоду.

С моим поступлением в школу связан еще один навсегда запомнившийся эпизод. Думаю, о бабушке и духе времени он скажет больше, чем десять страниц общих рассуждений. Накануне торжественного дня бабушка тайком от мамы и тети Наташи провела со мной наставительную беседу на тему: что мне отвечать, если в школе спросят, верю ли я в Бога. Если спросит кто-нибудь из мальчишек, то следовало сказать «да отвяжись ты» и отойти, если же учитель — то покривить душой и заявить, что нет. Советы эти поразили меня чрезвычайно, почему, конечно, и запомнились: как бабушка, которая всегда учила меня быть правдивым, вдруг советует лгать! Бабушка, которая всегда учила меня быть вежливым, вдруг советует ни с того ни с сего грубить какому-то мальчику, может быть, спрашивающему по простоте, без всякой задней мысли. И сама конфиденциальная таинственность этой беседы была необычайной. И религиозность мою бабушка явно переоценила: что я не верю в Бога, я спокойно мог ответить и мальчику, и учителю, не кривя особенно душой. Добавлю к этому, что бабушкины советы так и остались втуне — ни в первый день, ни после, ни мальчики, ни учителя моей верой в Бога ни разу не заинтересовались. Таким образом, бабушка проявила полагающуюся бабушкам тех времен отсталость от быстро шагающего века. Может быть, такие вопросы и задавались в школах во времена яростных антирелигиозных кампаний двадцатых годов, в тридцать четвертом они уже представлялись анахронизмом.

Ядро семейства — мама и тетя Наташа (я не буду разделять их позиции как в общих чертах сходные) — было настроено более умеренно, но и их умеренность зиждилась прежде всего на безусловной и глубочайшей отчужденности. Словечка «большевики» в бабушкином контексте ни мама, ни тетя Наташа не употребляли, но оно прекрасно определяло бы и их отношение: большевики — они, другие — не мы, ничего общего с ними не имеющие. И не знаю, исконно ли, то есть от самой ли революции, но в начале тридцатых годов уже вполне четко: не народ, не захватившие власть массы, а особая сторонняя сила, партия, власть, государство, организация. Это не обсуждалось, не «окопцечивалось», это была простая очевидность, служившая фоном для любых высказываний и суждений по конкретным поводам.

А в суждениях старались быть непредвзятыми, без презумпции «раз от них, значит плохо», объективно отмечая: то-то хорошо, то-то плохо — конечно, по своей, традиционной, ярцевской, до нас сложившейся и тоже не обсуждаемой шкале оценок.

Ни от кого из домашних, включая бабушку, я не помню ни осуждения революции как таковой, ни сожаления о дореволюционных временах как лучших. Наоборот, и мама, и тетя Наташа старательно

отмечали черты положительных изменений. Да, стерлось различие между черной и белой костью. Да, безусловно повысился средний культурный уровень всего народа. Да, не увидишь теперь таких жутких фабричных окраин, где пахнет мочой и блевотиной и пьяные валяются около каждой тумбы.

Но, конечно, отдельные явления, отдельные «их» действия критиковались и осуждались — по мелочам открыто, по-серьезному старались втайне от нас, детей. Но слишком тесно, слишком неизолированно из-за тесноты жили, чтобы тайны, да еще не понимаемые, не подслушивались. И что-то по кусочкам западало — и о варварских методах коллективизации, и о примитивизме доктрины, и об искажениях исторической правды, и о первых подозрительных процессах. Обо всем этом избегалось говорить и, неизбежно, говорилось.

А избегалось говорить по причине, которую, наверное, излишне называть: привычный, укоренившийся, почти уже рефлекторный страх — и еще не определяемый как таковой, еще до понимания его истоков он входил в податливую детскую душу как естественный и неотъемлемый элемент мироощущения. И только отдельные чересчур резкие случаи его проявления, вроде бабушкиной беседы, как-то фиксировались на сознательном уровне. Как фактор политического воспитания страх имел, вероятно, большее значение, чем откровенно политические разговоры.

Интеллигентская аполитичность не есть, конечно, прямое следствие одного только страха, а возникает в результате взаимодействия между страхом и тоже привычной, тоже почти рефлекторной честностью. Если честность не позволяет повторять ложь, а страх — ей противоречить, то остается аполитично молчать — такова голая схема этого взаимодействия. Судьба ярцевского семейства была вполне типичной для переживших революцию интеллигентных семей. Оно было осколком, остатком, отростком распавшегося ярцевского дома, некогда бывшего культурным центром и игравшего какую-то общественную роль — или, по крайней мере, имевшего иллюзию такой роли. Семейство несло в себе наследие дома (ту же честность, например), но сузилось, сжалось, в чем-то деградировало, приспособляясь к новым, трудным, неблагоприятным условиям существования. Страх был защитной реакцией, выработанной уже семейством.

Впоследствии в других интеллигентных семьях я встретился с четко сформулированной теорией, которую окрестил для себя теорией катакомб. Суть ее в том, что историческая задача интеллигенции в эпоху коммунистического варварства — выжить, чтобы донести свои духовные ценности до лучших времен и будущих поколений, вроде как бы сохранить в катакомбах светильники своей тайной

мудрости. Теория эта имеет достаточно давнюю традицию: судя по литературе, еще только предчувствуя грядущую революцию, интеллигенция уже психологически подготовила себя к катакомбам. И в реальных основаниях отказать ей тоже нельзя — чересчур ярко проглядывает в ней вышеупомянутое взаимодействие между честностью и страхом. Есть, однако, несколько каверзных для нее вопросов, на которые я не нашел ответа ни сам, ни у кого-либо из ее сторонников. Что это за лучшие времена и с какой стати они вдруг наступят, пока мы будем сидеть в катакомбах? И можно ли запастись в катакомбах такую уйму топлива, чтобы хватило на светильники аж до лучших времен?

Как я уже говорил, в ярцевском семействе моего детства я не столкнулся с явно сформулированными теориями — в том числе и с этой. Сжатость, разрыв преемственности, отказ от прошлого в силу некоторых конкретных обстоятельств оказались у него глубже, чем у многих других знакомых мне семейств. Но что-то от катакомбных настроений проявлялось и в нем. Какой-то свой светильник пытались сохранить, какой-то оболочкой — не зародыш ли это катакомбы? — его укрыть; берегли воспоминания, берегли старые знакомства. А порой сквозь сжатость, отказ, самоотвержение вдруг проскальзывали чуть заметное высокомерие, тайная гордость обладателей и хранителей тайного светильника.

Но я прерву пока эту сложную тему и, чтобы оттенить достоинства и недостатки аполитичного воспитания, расскажу о воспитании идейном и политическом.

Среди маминых знакомых была некто Евгения Базилевич. Работала она, если не ошибаюсь, в каких-то центральных профсоюзных органах и была, по маминому выражению, шибко партийная. Был у нее сын Сережа, чуть постарше меня, воспитывавшийся, как и мы с братом, без отца, — и в течение какого-то периода обе мамы предпринимали усилия нас сблизить и подружить. Базилевичи приезжали к нам на Смоленскую, а мы ходили в гости к ним на Малую Бронную.

Вот этот Сережа Базилевич и воспитывался в крайнем идейном и политическом духе. Идейным был и он сам, идейными были и все его книжки, игрушки, игры. Есть такая известная карточная игра, описанная у Цветаевой под названием Черного Петера, а в нашем семействе именовавшаяся по-простонародному Акулькой. В семействе Базилевичей безыдейных карт — упаси Бог! — не держали, но игра такая была, выпущенная изобретательными дядями в виде набора специальных карточек. Именовалась она «Нам буржуй не пара», а соль ее заключалась в том, что место сбрасываемых парных карт

занимали различные трудящиеся пары — пролетарий и пролетарка, колхозник и колхозница, врач и фельдшерица и т.д. Роль же Акульки или Черного Петера играл зверского вида буржуй — в цилиндре, с сигарой в зубах и мешком долларов. До сих пор помню, с каким злорадством Сережа Базилевич, прыгая и хлопая в ладоши, дразнил проигравшего: «Буржуй, буржуй!» — и как расстраивался и чуть не плакал, оставаясь буржуйем. У Базилевича же я впервые познакомился с творениями Гайдара — и на всю жизнь преисполнился отвращением к его слащавой сентиментальности.

Этот Сережа Базилевич был, по-моему, самым противным мальчишкой, с которым мне когда-либо приходилось иметь дело. Кипучий, несдержанный и избалованный, он во всем стремился верховодить и абсолютно не терпел, чтобы что-нибудь было «не по его». При малейшем противоречии он впадал в истерику, бросался с кулаками, топал, орал, плакал и бежал жаловаться матери, — так что почти все встречи кончались безобразными скандалами, и ожидаемой дружбы не получилось.

В те времена мы с братом часто играли в пиратов, это были очень интересные игры — с душещипательной накрученной фабулой, невероятными приключениями, погонями, морскими сражениями, кладами, зарытыми на необитаемом острове, и прочими творениями и заимствованиями необузданной мальчишеской фантазии. Сдуру мы однажды предложили эту игру пришедшему к нам Сереже Базилевичу. Сережа, однако, пиратов тут же отклонил, авторитетно разъяснив, что пираты были просто разбойники, заботившиеся о собственном обогащении, а не о мировой революции, — и предложил вместо пиратов воевать с японцами (дело было во время яростной анти-японской кампании в газетах). Война с японцами под Сережиным руководством оказалась, на наш взгляд, совершенно неинтересной — она сводилась к тому, что мы один за другим топили японские корабли, сами не неся при этом никакого урона. Через четверть часа она нам окончательно надоела. Сережа же, вошедший в раж, требовал, чтобы мы ее продолжали, и дело кончилось грандиозным скандалом, так что мать была вынуждена тут же увести его домой.

Наконец, однажды мы были торжественно приглашены к Базилевичам — посмотреть пьесу, сочиненную и поставленную самим Сережей. Он же, конечно, играл и главную роль — остальные роли исполняли то ли его школьные, то ли дворовые друзья, уже вышколенные им до полного послушания. Заглавие пьесы было многообещающим — про арктическую экспедицию (опять же связано с челюскинской эпопеей). Но Бог мой, что это была за пьеса! Никакой выдумки — а вся она сводилась к тому, что участники экспедиции обменивались

репликами, заимствованными из газетных передовиц. Пьеса, по-моему, доконала и маму – во всяком случае знакомство с Базилевичами вскоре как-то быстро сошло на нет. Впрочем, могли быть и другие причины – наступал 37-й год, вызвавший у мамы перемену отношения к идейности вообще и к идейной Базилевич в частности.

Много лет спустя, уже взрослым, я поинтересовался у мамы, чем объясняется феномен ее дружбы с Евгенией Базилевич. Мама рассказала, что Базилевич была ее подругой еще с дореволюционных лет, что тогда, в молодости, они были очень близки, вместе металась, философствовали и искали смысл жизни. После революции жизнь – со смыслом или без смысла – разбросала их в разные стороны. Встретившись с ней случайно после возвращения из Ташкента, мама сама была потрясена произошедшей в подруге партийной переменой и прямо спросила ее о причине оной. Базилевич напомнила ей, как в молодости они металась и искали, сказала, что она очень мучилась тогда от отсутствия внутренней опоры и что теперь она успокоилась, найдя опору в партии, дающей ей готовые предписания и возможность ни о чем не думать. Такое объяснение маму очень покорило, но отчасти и удовлетворило, – чем покорило и чем удовлетворило, я тогда уже сам догадывался и не уточнял.

Мамино объяснение я дополню собственной небольшой философией: я уже говорил, что ярцевское семейство вообще берегло старые знакомства. Естественного, с моей теперешней точки зрения, критерия – общего культурного уровня, взгляда на вещи, интереса – в выборе таких знакомств часто не было, поддерживались отношения с людьми совершенно чуждыми по духу, неинтересными и глупыми, поддерживались потому, что хотели сохранить остаток, эрзац, фикцию несуществующего дома (упрошаю, конечно, в действительности – более сложный комплекс, но такой элемент в нем присутствовал тоже). Особенно ценились старые, еще крымских времен знакомства – крымский ореол даже оказал влияние на мамино второе непродолжительное замужество.

Крымского ореола у Базилевич не было, но ореол подруги молодости ярко сияет и без ярцевского усиления. Сама ее партийность могла вызвать у мамы специфическую интеллигентскую браваду: пусть-де она и шибко партийная, но старые человеческие связи должны быть сильнее любой идейной шелухи. Бравада – кто знает, может быть, и двусторонняя – и гальванизировала эту вторичную дружбу, пока какие-то черточки или посторонние обстоятельства не открыли маме, что идейная шелуха, к сожалению, не такая уж легко сбрасываемая шелуха в этом чересчур политическом мире. Такова моя интерпретация, а верна ли она, теперь уж невозможно проверить.



А имя Сережи Базилевича неожиданно промелькнуло передо мной уже после войны, когда я со случайным визитом, не помню уже по какому поводу, попал в одно малознакомое семейство. Отец этого семейства, что часто тогда бывало, находился в весьма отдаленных местах, откуда ожидался в весьма отдаленном будущем. Почему-то на эту тему зашел разговор, и выяснилось, что арестован он был во время войны за то, что слушал тайком иностранное радио, а донес на него соседский мальчишка по имени Сережа Базилевич, и жили они тогда на Малой Бронной. Реальная жизнь — великий художник и разрешает себе все, даже наивные примеры из моральной прописи; и я могу только быть бесконечно благодарен маме и ярцевскому семейству за то, что они не дали мне идейного воспитания.

В школе, где училась моя двоюродная сестра, однажды погас свет, а занятия продолжались тогда до позднего вечера, в две, а то и три смены. Причиной замыкания оказался гвоздь, кем-то нарочно забитый в проводку. Учителя своими силами провели расследование и выявили преступника — тихого, скромного мальчика, никогда прежде не замеченного ни в каких шалостях, тем паче зловредных. Его вызвали в учительскую и стали допрашивать, зачем он это сделал. А он заплакал и сказал: «А зачем моих папу и маму арестовали?»

Этим непридуманным, достойным Достоевского рассказом, случайно подслушанным от взрослых, вторгся в мое десятилетнее сознание тридцать седьмой год. И говоря о моем политическом воспитании и воспитателях, не могу не упомянуть о Неизвестном мальчишке с его жалкой и нелепой мстью бездушному и античеловеческому миру, так страшно обрушившемуся на его детство, о единственно достоверном вредителе на сотни тысяч во вредительстве обвиненных.

По счастливой ли случайности или, может быть, из-за отсутствия притягательных объектов, сталинские репрессии обошли стороной и непосредственно ярцевское семейство, и ближайший к нему круг друзей и родственников. Но уже в более широком круге близких знакомых счет жертв вскоре пошел на десятки, так что скрывать происходящее от нас, детей, стало совершенно бессмысленным. И когда в ярцевском семействе появился первый свидетель оттуда, мы с братом уже не тайком, а официально, вместе со взрослыми слушали его рассказ.

Рассказчиком был старый, еще с крымских времен знакомый, благополучно отделавшийся годом или полутора мытарств, но успевший испытать и прелести тогдашнего следствия, и даже немного лагеря. Вышел же так скоро он потому, что, оказалось, арестован был по ошибке из-за отдаленного сходства имени и фамилии с кем-то, кого требовалось арестовать. Такие ошибки при тогдашнем массо-

вом производстве случались частенько, исправлялись реже, да и исправления, случалось, опаздывали, так что ему действительно-таки крупно повезло.

Человек он был по натуре легкомысленный и веселый, и рассказ его не имел чрезмерно мрачного колорита. Большую часть рассказа я теперь уже забыл, но одна подробность запала — как он в коридоре следственной тюрьмы случайно встретился с каким-то знакомым профессором, причем не то кто-то из них, не то оба они возвращались с допроса в камеру на карачках. Непосвященным поясню, что в числе прочих методов допроса применялся тогда и стоячий, когда человека выдерживали в положении стоя в течение нескольких суток. Ноги от этого стояния наливались кровью и превращались в раздувшуюся, бесформенную массу. Переступить ими человек уже не мог. С такого допроса возвращались на карачках, даже если допрос не сопровождался дополнительным избиением.

Когда он выходил из лагеря на свободу, начальник напутствовал его русской поговоркой: «Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами». Но больше его рассказа поразила меня речь, с которой после ухода рассказчика обратилась к нам тетя Наташа. Со страстной убежденностью она призвала нас на всю жизнь запомнить необычайную храбрость этого человека, осмелившегося, несмотря на предупреждение о грибах и зубах, рассказать нам о том, что он видел и испытал. Сопоставляя его храбрость с естественными для моего тогдашнего возраста эталонами типа трех мушкетеров и следопыта, я счел ее восхищение несколько чрезмерным. Впоследствии, столкнувшись с примерами магического действия в сходных ситуациях притчи о грибах и зубах, я несколько поослабил свой внутренний протест и ныне готов признать и относительную храбрость рассказчика, и законность ее восторга. Но разделить его полностью все же не могу, и тогдашний мальчишеский скептицизм остается ближе моему сердцу. Вспоминаю сейчас, что и мама, хотя не сочла уместным что-нибудь возразить, но промолчала достаточно красноречиво. Предполагаю, что ее поразила не столько храбрость рассказчика, сколько горькая мысль об удивительном мире, где рассказ в интимном кругу близких друзей может кому-то показаться из ряда вон выходящей храбростью.

Несмотря на то, что репрессии обошли нас, тридцать седьмой год оказался черным и для ярцевского семейства, начав собой трехлетний период горестей и трудностей, навалившихся сразу со многих сторон. К моему политическому воспитанию эти горести и трудности, как в основном чисто домашние, имеют весьма косвенное отношение, и я упомяну о них только вскользь. Скорее, пожалуй, они,

может быть, спасительно сосредоточили на себе внимание и интересы семейства и отодвинули на второй план происходящее в более широком мире. Такая реакция, замечу, вовсе не тривиальна: достаточно часто личные и семейные трагедии усугубляют не отгороженность от мира, а сопричастность ему. И не внешние обстоятельства, а скрытые внутренние пружины определяют выбор альтернативы.

Слегла в параличе бабушка. Мама, уже перешагнувшая сорокалетний возраст, сделала вторую, последнюю и неудачную, попытку создать семью, выйдя замуж, как я уже упоминал, за старинного друга детства. У меня нет никаких дурных чувств к отчиму, он просто был, по-моему, заурядный и мало интересный человек, всю жизнь проживший под каблуком своей матери – колоритной, но вздорной и деспотичной старухи, сразу же ревниво невзлюбившей маму. Ни ужиться с ней, ни преодолеть ее застарелого влияния на сына мама не сумела, а возможно, и не сочла окупаемыми потребные на это усилия. Отчим делал героические попытки ужиться со мной и братом, и зимние с ним прогулки на лыжах в Филях я до сих пор вспоминаю с благодарностью. Но поставить себя по-настоящему не сумел, мы были тогда мальчишки в самом трудном и скверном возрасте, инстинктивно и своекорыстно его раскусили, оказались запанибрата и не ставили ни в грош. Мне кажется, в глубине души он нас панически боялся.

Мама родила дочку. К житейским трудностям, вызванным бабушкиной болезнью, добавился уход за грудным ребенком, и какая-то доля обязанностей по нянченью легла, как на старшего, на меня. По-мальчишески тяготясь этими обязанностями и часто ругаемый за их небрежное выполнение, я быстро привязался к маленькому опекаемому существу, уже начинавшему мне улыбаться. В возрасте десяти месяцев сестричка умерла от скоротечной пневмонии – мое первое близкое столкновение с Ее Величеством Смертью.

Смерть ребенка ускорила разрыв между мамой и отчимом – опять же не тривиальная, а альтернативная реакция.

Дом, где мы жили, находился на Смоленской улице возле Бородинского моста, на высоком для Москвы холме, еще сохранявшем древнее название Варгунихиной горы. По генеральному плану реконструкции Москвы часть горы должна была быть скрыта, и наш дом попадал под снос. С нас потребовали срочного выселения. Квартир в те годы, как правило, не давали, а выделяли участок за городом и мизерную компенсацию – 2000 рублей на душу на строительство. В такой крайней ситуации собрался расширенный семейный совет из мамы, тети Наташи и других родственников, живших отдельными семьями в той же квартире, – и было решено обратиться к верховным влас-

тям с просьбой о предоставлении квартиры вместо участка и компенсации. В составленном письме упоминались революционные заслуги Григория Федоровича и указывались трудные обстоятельства расширенного семейства: наличие на десять человек только одного взрослого мужчины, четырех несовершеннолетних детей, парализованной бабушки и тоже лежачей четвертой ярцевской сестры, еще в молодости заболевшей редкой и неизлечимой болезнью — рассеянным склерозом. Адресатом письма был выбран почему-то Молотов — вероятно, из-за очков он показался наиболее интеллигентным из сильных тогдашнего мира сего. Для вящего веса к передаче письма каким-то образом была привлечена протекция какой-то из великих литературных вдов — то ли Горького, то ли Чехова.

Оперативность молотовской канцелярии оказалась потрясающей. Письмо с собственноручной молотовской резолюцией «выделить квартиру» вернулось чуть ли не на следующий день. Но резолюция была только половиной дела, по резолюции предстояло получить ордер в Моссовете. И эта вторая половина оказалась неизмеримо более трудной и затяжной.

Семейство, группками и поодиночке, бездомно скиталось по разным знакомым. Дом сломали. Гору срыли. Бабушка умерла. А тетя Наташа и другие родственники, установив дежурство, месяц за месяцем чуть ли не каждый день бесплодно обивали порог Моссовета, порой обнадеживаясь обещаниями, а порой принося неутешительные вести: «А сегодня сказали, что раньше чем через месяц рассчитывать не на что», «А сегодня мы встретили человека, ходящего с резолюцией самого Сталина уже два года».

И все же регулярное хождение в конце концов принесло плоды. При одном из очередных безнадежных посещений Моссовета вдруг оказалось, что весь старый состав смещен за взяточничество, и только что назначенный начальник выписал ордер по молотовской резолюции. Счастье было в том, что накануне приходили тоже, и пресловутое письмо с резолюцией оказалось в папке на самом верху. И новый начальник успел взять его в руки прежде, чем утратил свою неподкупную невинность.

Въездом на новую квартиру в новом доме на Большой Калужской (ныне Ленинский проспект) и завершился период горестей и трудностей ярцевского семейства. Оплакав мертвых, пережив (мама) неудачный брак, собравшись после рассеяния, семейство начинало устраивать новую нормальную жизнь.

Но все понимали, что передышка будет недолгой. Был конец тридцать девятого года, в Европе уже шла мировая война, и в том, что в недалеком будущем она ворвется и в нашу жизнь, никто не сомневался. ·

Но я отвлекся от темы моего политического воспитания, так ничего и не сказав о воспитании школьном. Это не по забывчивости — мне и впрямь о нем нечего сказать. Примитивное школьное политвоспитание с октябрятскими звездочками и пионерскими галстуками иначе как бутафорию я не воспринимал никогда, и никакого влияния оно — кроме как самой своей бутафорностью — на меня не имело. К навязчивой агитации сызмальства выработался иммунитет, и она проскальзывала мимо ушей, не западая в сознание. Может быть, поэтому сейчас мне кажется, что ее вообще было не так уж много и учителя в мое время старались больше просто учить, чем политически воспитывать.

Вдобавок, обычная школа кончилась для меня рано — на седьмом классе, в сорок первом году, в возрасте, когда человек еще мало отрывается от порога дома. И трех старших классов с их усиленным политическим воспитанием в моей жизни не было.

Но я забегаю вперед, а эта глава кончается и следующая начинается точной датой: 22 июня 1941 года.

## Глава четвертая

### **Война**

Написав это слово, я задумался над изменением содержания, которое оно претерпело в наш век.

Он погиб на войне.

Он погиб в войну.

Сравнивая эти две неравнозначные по смыслу фразы, вы, может быть, сочтете первую более грамотной. Действительно, она утверждена классической литературой, смысл ее понятен, и произнести ее можно. Но если вам понадобится передать этот печальный смысл и речь будет идти о Великой Отечественной войне, то вы, даже не осознавая почему, выразитесь, вероятно, современной: «Он погиб на фронте».

А вторую фразу вы вряд ли найдете в классической литературе, да в XIX веке ее, всего скорей, попросту бы не поняли. Но вы, даже не сознавая почему, прекрасно ее поймете, а может быть, она и сама ненароком у вас вырвется. И только если вы — крайний пурист, поправитесь на классическую редакцию: «Он погиб во время войны».

А причина та, что к старым классическим значениям слова война — события, состоящего в том, что люди убивают друг друга, места, где это происходит, и профессии или искусства это делать — добавилось новое: времени, когда происходит массовое взаиморазрушение. И оно заставило потесниться старые значения, а месту даже потребовалась частичная замена войны другим, тоже претерпевшим эволюцию словом: фронт. А что эти изменения не случайны, а имеют глубокое основание, вряд ли надо доказывать. Мировые войны в наш век действительно стали не просто событиями, а эпохами в истории человечества. И участвуют в войне не только армии, но страны и народы; участвуют трудами, страданиями, помыслами, всеми сторонами своего существования. И территориально охватывает война не узкую полосу фронта, а всю землю. И исчезла у войны пространственная локализация, и осталась только временная.

И в старом понимании я не мог бы назвать эту главу «Война», потому что на войне (на фронте) не был и ужасов и невзгод войны (события, профессия) не испытал. Но я жил в войну, сделался юношей из мальчика в войну, в войну мне впервые пришлось принимать ответственные решения, определившие мою последующую жизнь. И в этом современном смысле война была страницей моей биографии, как и всякого, чей отрезок между рождением и смертью перекрывает отрезок 1941—1945 годов.

Относительное благополучие нашего семейства, установившееся после въезда в новую квартиру, вскоре получило явное вещественное и символическое подтверждение: мы завели собаку.

Тетя Наташа работала тогда у профессора Брюханенко, эфемерно прогремевшего опытами по оживлению собак. На двух-трех оживленных счастливых, естественно, приходились десятки неудачников, выловленных собачниками со всей Московской области и беспощадно истребляемых во имя науки и для блага человечества. Среди кандидатов на эту бесславную участь сердце тети Наташи почему-то пленил неказистый, ужасно лохматый песик, породу которого по картинке в Бреме мы позже определили как пинчер-обезьяна. Она выпросила его и привела в наш дом.

Топка — в которого он быстро превратился из жюльерновского Топа — оказался неглупым псом с независимым характером, твердо умеющим себя поставить и не допускающим никаких вольностей или сантиментов. Конечно, он быстро прижился и сделался членом семьи.

Самым трудным из связанных с ним мероприятий оказалось купание, потому что воду он недолюбливал, вырывался, рычал, а иногда и кусался. Приходилось наваливаться на него всей семьей, так что

процедура назначалась на воскресенье, вся первая половина которого освобождалась от любых других дел.

В одно из таких заранее выбранных воскресений мы дружно проспали до двенадцати часов и, наскоро позавтракав, ополчились на бедного пса. Почему-то всех охватило беспричинно веселое настроение, смеялись, шутили и, поливая Топку, стремились окатить и друг друга. Вдруг – звонок. В дверях – тетя Маня, старшая из ярцевских сестер, живущая неподалеку и часто у нас бывающая:

– Как вы? Что у вас? Что с вами?

– У нас все хорошо. Вот Топку моем, – ответила мама, удивленная ее необычайной тревогой.

– Как? Вы до сих пор ничего не знаете?! Война!!

Мы все опешили. Вырвавшийся Топка, растряхивая брызги, ринулся спасаться под кровать.

Такой глубоко символической сценкой врезался в мою память знаменитый день – 22 июня 1941 года.

Опешили – вот, пожалуй, слово, которое лучше всего отражает наше общее душевное состояние не только в тот день – первый день войны, но и в ближайшие месяцы.

Ждали войны давно, но сейчас, именно в это сейчас, как в любое бы другое, она оказалась неожиданной, и какой она будет и что принесет, конечно, не предвидели.

Несмотря на очевидные свидетельства происшедших в мире изменений, несмотря на молниеносный разгром Франции, несмотря на уже прозвучавшее определение – маневренная, представление о войне в сознании старшего поколения все еще оставалось прочно связанным с войной 1914 года, с ее вытянутыми в линию, почти неподвижными окопавшимися войсками, фронтами, притягивающими на себя и перемальвующими на себе людские резервы воюющих государств.

А тут – неуклонно ползущая все ближе и ближе немецкая лавина, и неизвестно, где она остановится и остановится ли вообще. Опешенная реакция не поспевала за действительностью и была: продолжать жить, как если бы войны не было или, может быть, как жили в Первую мировую войну.

А между тем война шаг за шагом властно и прочно вторгалась в быт.

Потребовались затемнения на окнах. Были введены карточки на продукты. Стало голодно. Кое-кто из знакомых начал уезжать в эвакуацию. Начались ночные воздушные тревоги, и большинство ночей семейство стало проводить в бомбоубежище под домом. Появились предвестники настоящей, в старом смысле слова, войны: не-

мечские самолеты над головой, визгливые разрывы зенитных снарядов, а изредка и глухие — бомб. До Москвы докатился еще не настоящий, наземный, но периферийный авиационный фронт.

И все же разительного перелома в жизни не произошло. Мама и тетя Наташа продолжали ходить на те же службы. С 1 сентября мы с братом пошли в школу — он в шестой, а я в восьмой. Правда, занятия продолжались недолго, вскоре нас — тогда это было в новинку — послали в совхоз на уборку овощей. Но Москва кончалась тогда у Калужской заставы, совхоз находился где-то вблизи теперешнего университета, мы там не жили, а ездили из дому на городском транспорте или даже ходили пешком. Так что уборка ощущалась лишь несколько затянувшимся обычным школьно-общественным мероприятием.

А лавина была уже близко и продолжала надвигаться.

Но я опустил один небольшой эпизод, на первый взгляд нарушающий представление об опешенности, а по сути — особенно ярко ее иллюстрирующий. Опустил отчасти потому, что сперва отнес его к более позднему времени, когда он не был бы таким нелепым. Но чем более я роюсь в своей памяти, чем более нахожу в ней синхронных привязок, тем более убеждаюсь, что относится он к самому началу войны, июлю—августу, до начала школьных занятий.

А эпизод заключался вот в чем: я поступил учеником токаря в механическую мастерскую при институте, где работала тетя Наташа.

Собственной моей инициативы тут не было. Решение — первое за войну решение о каком-то действии — было выработано совместно мамой и тетей Наташей. Мотивы решения были, безусловно, не сиюминутно-материальными, как и не патриотическими, а какими-то очень мудреными, с дальним прицелом, до которых не опешивши и не додумавшись: что-то вроде того, что, поскольку идет война, неплохо бы мне на всякий случай приобрести рабочую специальность. Или, может быть, что, став незаменимым токарем, я не попаду на фронт.

Покорно, без энтузиазма пошел я в ученики токаря. Мастерская работала уже не на институт, а на какие-то серийные заказы. Работа состояла в вытачивании по заданным размерам бесконечного числа каких-то штучек неведомого назначения. К нудности самой работы добавлялось то, что мне никто толком не показал, как управляться со станком, резцы у меня сбивались, и большинство штучек браковалось. Главный мастер, с первого взгляда классово меня невзлюбивший, громко меня шпынял, а потихоньку на ухо нашептывал скабрёзности и садистски наслаждался, когда я смущался и густо краснел. Дома я гордо скрывал свои страдания — как-никак я был мужчиной



и шла война, — а в душе молил Бога, чтобы они поскорее кончились, хотя перспективы выхода из них не видел.

Но Бог то ли внял моей молитве, то ли Сам имел на меня другие виды: ученичество мое продолжалось не более двух-трех недель и окончилось явным вмешательством свыше. Придя однажды после бессонной ночи, вызванной одной из самых длинных и интенсивных московских бомбежек, я на месте ненавистой мастерской увидел груды развороченных кирпичей: фашистский ас угодил прямо в нее двухсоткилограммовой футаской. По ночам в мастерской никто не находился, так что жертв не было. Выяснив эти радостные обстоятельства, я повернулся и пошел домой. На том кончилась единственная в моей жизни попытка вступить в ряды класса-гегемона.

Перелом в жизни и психологии произошел в день для Москвы не менее памятный, чем 22 июня: 16 октября.

Об этом дне в нашей литературе избегают говорить, и я до сих пор толком не знаю, что произошло в этот день или накануне на фронте и были ли с ним связаны какие-нибудь другие чрезвычайные обстоятельства вроде бегства правительства.

А то, что произошло в этот день в Москве, может быть охарактеризовано одним словом: паника. Почти мгновенно, в первые утренние часы весь город охватило повальное и безусловное убеждение, что если не сегодня, то завтра немцы захватят Москву. И самое фантастическое в этом фантастическом дне было то, что о вступлении немцев в Москву никто не говорил — во всяком случае, я ни разу не слышал таких слов, — но все, что говорилось и делалось, просто означало именно это. И слова не говорились потому, что были излишни.

Эвакуация учреждений и предприятий, проводившаяся постепенно с первых же дней войны, в этот день превратилась в бегство. Количественно она не могла сильно превысить предыдущие дни — ей ставила предел пропускная способность дорог. Но раньше уезжали — теперь ринулись уезжать. Уезжали в набитых до отказа телячьих вагонах, на подножках и буферах.

По городу стоял запах гари: во всех учреждениях сжигали архивы. Огромное количество учреждений тут же исчезло: одни выехали на восток, другие закрылись совсем.

В нашей семье в этот день не было каких-либо событий, кроме событий, связанных с жизнью всего города. Например, придя утром в школу (накануне наша работа в совхозе закончилась, и нам сказали, что возобновятся занятия), я узнал, что занятий не будет, школа закрылась совсем, а здание отдается под госпиталь. Но в Москве в этот день перестали функционировать *все* школы и вообще все гражданские учебные заведения.

На улице я увидел небольшую сгрудившуюся толпу и подошел посмотреть, в чем дело: пожилой рабочий, указуя перстом в небо, возвещал пришествие антихриста.

А я почти весь день провел в колоссальной очереди за продуктами, так и не добравшись к вечеру до прилавка.

Физико-химический институт имени Карпова, где работала мама, спешно эвакуировался. Едва она вошла в лабораторию, к ней в слезах и ломая руки бросилась ее сослуживица и стала жаловаться, что ее с мужем не берут сегодня, а предлагают выехать только завтра. Мама стала ее успокаивать, говоря, что не может же вся Москва выехать в один день. И тогда трагическим шепотом она поведала маме главную причину своего отчаяния:

— Но мы же евреи!..

По городу расходились самые фантастические, вздорные и неправдоподобные слухи, и, стоя в очереди, я их наслушался вдоволь. В одной группе рассказывалось, что Сталин собственноручно застрелил Ворошилова за то, что он подпустил немцев к Москве. В другой — наоборот, что Ворошилов застрелил Сталина. В третьей, что Стаханов, ограбив кассу, сел в чужую машину и скрылся, причем рассказчик божился, что видел это собственными глазами...

А вечером по московскому радио вместо ожидавшегося выступления кого-либо из вождей было передано выступление какого-то деятеля городского ранга, Пронина, неведомого да и канувшего в небытие после, — самое умное и действенное, какое мне когда-либо приходилось слышать. И не было в том выступлении ничего или почти ничего ни о панике, ни о немцах, ни вообще о войне. А речь шла о каких-то мелочах городского быта, что-то вроде того, что магазины с завтрашнего дня будут работать с такого-то до такого-то часа, а дворникам следует лучше подметать улицы, — словом, я не помню, о каких, и неважно, о каких мелочах. Но о таких мелочах, о которых незачем говорить жителям сдаваемого наутро города.

И паника стихла столь же непостижимо, как и поднялась. И Москва заснула в уверенности, — а воздушной тревоги в ту ночь не было, — что немцы, по крайней мере в ближайшие дни, в нее не войдут.

Как и от всех москвичей, 16 октября потребовало от ярецевского семейства окончательного решения дилеммы, вставшей еще с самого начала войны: уехать ли в эвакуацию или остаться на месте, рискуя — опуская все второстепенные риски — оказаться на оккупированной немцами территории. И семейство решило остаться.

Формальные основания для этого решения были просты и чисто семейного порядка. Я уже упоминал, что в той же квартире находи-

лась еще одна тяжело больная ярцевская сестра. Состояние ее за прошедшие несколько лет заметно ухудшилось, и везти ее в дальние края представлялось невыносимым. Она неизбежно оставалась вместе с мужем и дочерью.

Тетя Наташа категорически заявила, что больную сестру не бросит. Мама колебалась больше: ее сильнее мучила тревога за судьбу собственных детей. Но в конце концов все же склонилась к тому, что тетю Наташу, так много для нее в жизни сделавшую, оставить не может.

Что же касается нас с братом, то наше мнение еще не имело большого веса. Только через шесть дней мне, старшему, исполнялось пятнадцать лет. Да и сами мы, чувствуя сложность дилеммы, были, вероятно, рады предоставить решение взрослым.

Для ярцевского семейства, выброшенного из общественной жизни и загнанного в свою хрупкую семейную раковину, исходить из непосредственных семейных интересов было в высшей степени натуральным.

И все же, вызывая из глубины тридцатилетнего прошлого дорогие образы мамы и тети Наташи, я не могу не поставить перед ними вопроса:

— А не было ли за вашими решениями еще и других, никогда не названных мотивов? И каких?

И прямо:

— А не настолько ли обрыдла вам первая в мире коммунистическая держава с ее великими вождями и мелкими чинушами, с подвигами тридцать седьмого года и непрерывной ложью, что в глубоких тайниках души вы мечтали оказаться под властью хотя бы Гитлера?

И на мой вопрос я не слышу ответа и лишь предположительно могу ответить за них сам.

Да, конечно, решение определилось не только конкретными мотивами, но и общим фоном настроения и сознания. И, вероятно, я не сильно ошибусь, если передам этот фон примерно такими фразами:

— Что будет, то будет. Кто знает, что окажется лучше, — уехать или остаться. Авось, Москву не займут. А в крайнем случае — жили при Сталине, как-нибудь перебежусь и при Гитлере.

И еще одно соображение, о котором сейчас, ретроспективно, можно забыть, — но тогда оно тоже могло иметь силу:

Спасти от Гитлера в Куйбышев, Свердловск, Ташкент? А спасти ли? Где гарантии, что завтра, через месяц, через год под властью Гитлера не окажутся Куйбышев, Свердловск, Ташкент, вся страна до Тихого океана?

А и оккупацию легче пережить на насиженном месте, чем беженцем из чужих краев.

Мечтать было не о чем. Что фашизм — те же великие вожди и мелкие чинуши, подвиги и ложь, да еще чужие, немецкие, понимали слишком хорошо. Да и сама война эмоционально отчасти заслонила собственный тридцать седьмой год и воспринималась как общее бедствие, обрушившееся и на нас, людей, и на них, правителей. Мама потом признавалась, что знаменитая июльская речь Сталина с «братьями и сестрами» ее отчасти купила. И в тот критический момент он ей казался относительно своим...

Нет, видимо, не мечтали. Но возможность предвидели. И метнули на нее в орла и решку.

В бомбоубежище я провел с семейством только несколько первых воздушных налетов, а потом записался в дружину гражданской противовоздушной обороны. Такие дружины были созданы при каждом домоуправлении, и назначением их было обезвреживать мелкие зажигательные бомбы и тушить вызванные ими пожары. Членам дружины во время налета полагалось находиться на чердаке под крышей, где находились огнетушители и прочий противопожарный инвентарь, ящики с песком, двухметровые щипцы и плакаты, изображавшие, как такими щипцами хватать бомбу под жабры и совать в такой ящик, после чего ей, предполагалось, наступала крышка. Можно ли взаправду обезвредить таким способом зажигалку — не знаю, проверить на практике мне так и не довелось.

Мама пыталась слабо меня отговорить — перспектива сидеть в убежище, в то время как ее сын подвергается опасности на чердаке, ее не привлекала. Но меня поддержала тетя Наташа, заявившая, что настоящий мужчина так и должен поступать. Маме пришлось сдаться.

Каюсь, я пошел в дружину не потому, что был мужчиной, а потому, что был мальчишкой и смотреть на налет с чердака было куда интересней, чем сидеть в убежище.

А зрелище ночного налета было действительно феерическим. По всему небу тревожно шарили лучи прожекторов. Иногда некоторые из них вдруг застывали и скрещивались — один, другой, третий, — и в месте их скрещения обозначалось маленькое блестящее пятнышко — нащупанный прожекторами немецкий самолет. И непрерывно то тут, то там вспыхивали и тут же расплзались огромные яркие звезды — рвались зенитные снаряды. А изредка небо на мгновение перерезали огненно-красные пунктиры — трассирующие пули (или снаряды). Вот только как подбивают немецкий самолет, мне так и не удалось ни разу увидеть.

Но старательно отбывал свои дежурства на чердаке я тоже не очень долго. Затем произошла естественная эволюция, вызванная сразу

тремя факторами: самое феерическое зрелище от повторения приедается, бомбы на наш дом почему-то не падали, и дежурство на чердаке все более ощущалось бесполезным времяпрепровождением, и надвигалась осень, и находиться на чердаке становилось холодно.

Стрельба и феерия иногда заканчивались задолго до объявления отбоя. Я стал уходить с чердака в нашу пустую квартиру. А потом обнаглел и стал уходить в разгар стрельбы и феерии. А потом и вообще перестал ходить на чердак и прямо шел в пустую квартиру, проводя в одиночестве длинные бессонные ночи воздушных тревог. Или нет, не совсем в одиночестве, а вдвоем с товарищем этих бессонных ночей — Топкой.

Я уже говорил, что был он неглупый пес. И сигналы воздушной тревоги и отбоя он усвоил удивительно быстро. По твердому правилу жил он в своем углу в передней и входить в комнату не очень ему разрешалось. Но услышав позывные воздушной тревоги — а его чуткое собачье ухо улавливало какие-то первые, еще не слышимые нами предвестники, — он начинал громко и решительно царапаться в нашу дверь. Ему открывали, и он пулей влетал в комнату и тотчас забивался под тети Наташину кровать, в место, так и называемое Топкиным бомбоубежищем. Там он смирно, не шелохнувшись, сидел до самого отбоя, а заслышав отбой, тотчас выскакивал, начинал прыгать, вилять хвостом и даже лаять, всеми способами выражая свою собачью радость, — пока безжалостно не изгонялся снова на свое место в переднюю.

И Топка сидел тут рядом в своем убежище, подбадривая меня своим присутствием, — но сидел тихо и мне не мешал.

С этими длинными бессонными ночами в пустой квартире вдвоем с Топкой связаны мои самые приятные воспоминания военных лет.

Спать обычно не хотелось. Ощущение небольшой опасности было приятным, возбуждало и как-то обостряло чувства. Еще приятней было просто само одиночество — при переезде в новую квартиру одну комнату мы потеряли и жили теперь в одной, почти все время вместе. И одиночества не хватало.

Что я делал этими одинокими ночами? Ничего особенного. Самое главное. Думал. Читал. И начал писать стихи.

А читать было что. Уезжая в эвакуацию, одно знакомое семейство попросило нас взять на сохранение библиотеку. Отец семейства был историком, и книги большей частью были по истории. Помню сейчас: три огромных роскошных тома «Всемирной истории» Иегера, восемь томов «Истории XIX века» Лависса и Рембо, Ключевский, Плутарх, Моммзен. Множество — по разрозненным кусочкам истории разных времен и народов. История литератур — и история в

литературе: греки и средневековые миннезингеры, Данте, Калидаса (впрочем, кое-что из этого попало мне тогда, возможно, и из других источников). Все это бесценное богатство я челноком, на своем горбе перетаскал в наш дом — и поглощал и как-то осваивал по ночам.

А тогдашние мои стихи были никудышные и не сохранились — ни материально, ни в памяти. Что-то собственное, чудилось мне, начинало во мне звучать — но я не умел придать ему форму своей еще детской рукой.

А думалось слишком о многом. Мне было пятнадцать лет, у меня прорезалась душа, она впитывала огромный мир истории и культуры — а рядом разрывались бомбы.

После 16 октября Москва неузнаваемо изменилась. Она перестала быть столицей, а сделалась внешне полумертвым осажденным городом.

Улицы перегородились баррикадами — не наспех воздвигнутыми баррикадами восстаний, куда в беспорядке сваливается что попало, а прочно выстроенными, опоясанными рвами и цепочками «ежей» противотанковыми баррикадами Второй мировой войны. Через баррикады приходилось перебираться узкими, шныряющими вверх и вниз пешеходными тропинками. Транспорт, естественно, не ходил, разве что где-то в центре еще оставались обрывки трамвайных маршрутов.

Особенно по вечерам, когда кончалась работа и закрывались магазины, еще задолго до введенного комендантского часа, становилось тихо и пустынно.

Не знаю, какая часть населения оставалась тогда в Москве. Но на взгляд, на ощущение — не больше одной десятой. Впрочем, ощущение могло быть обманчивым: тем, кто остались, стало некуда ходить. В гости? Но у всякого, кто остался, большинство знакомых выехало, а знакомые, живущие в дальних концах города, стали недостижимыми. Да и проблема угощать гостя, угощаться или не угощаться в гостях стала чересчур щепетильной: пайки были полуголодные. А кино, концертов, лекций не было и в помине. Чувствительность к холоду от недоедания усилилась, и выходить на улицу сверх необходимости не тянуло.

Но в полумертвом городе теплилась жизнь — еле-еле, тихая, трудная, но прочная, установившаяся надолго, устанавливающаяся надолго жизнь в надолго осажденном городе.

Опешенное состояние нашего семейства кончилось. Решение было принято, новых катаклизмов не ждали. Настало время нести последствия своего решения и приспособливаться к новой жизни. И — внутренне — наступило спокойствие.

Научные институты, где работали мама и тетя Наташа, выехали. Новую работу пришлось искать, какую подвернется, с единственным требованием — чтобы было близко. Обе они устроились довольно скоро — мама в лабораторию по определению теплотворной способности подмосковных углей, возникшую на останках Горного института, тетя Наташа — химиком на сахариновый заводик.

Мы с братом оказались не у дел: попытки куда-то пристроиться и мне не увенчались успехом. На нас легло домашнее хозяйство, то есть, в основном, стояние в очередях — на очереди безлюдье Москвы почему-то повлияло мало.

И хотя горячо переживались, но не вызвали заметного изменения в новой установившейся осажденной жизни знаменитые декабрьские события: попытка немецкого окружения, разгром немцев под Москвой и их оттеснение к границам Московской области с окончательным замораживанием на долгий срок Московского фронта.

Тетя Маня, принесшая войну в наш дом, среди ярцевских сестер была самая «гуманитарная».

В детстве она болела костным туберкулезом и до шестнадцати лет проходила на костылях; к старости у нее осталась только небольшая хромота. Болезнь, вырвавшая ее из круга сверстников, научила ее жить интенсивной внутренней жизнью и выработала своеобразный характер, созерцательный и независимый.

Она писала в молодости стихи — типичные стихи рубежа двух столетий, полные томления и грусти и тихих, светлых раздумий; была знакома с некоторыми из тогдашних кумиров — Бальмонтом, Волошиным. Другим ее увлечением были языки, которые она самостоятельно, чтобы читать в подлиннике поэтов, освоила в довольно большом количестве — кроме основной тройки, еще итальянский, испанский, кажется, еще норвежский. Единственная из сестер она побывала за границей — в те годы, когда это было просто (сиречь до революции), — в Австрии, Швейцарии, Италии, довольно долго по соседству с Горьким прожила на Капри. Личная жизнь у нее сложилась бурно и неудачно. Был у нее когда-то ребенок, умерший в раннем детстве, и любимый второй муж, чью фамилию она носила, врач Борис Александрович Рейн, умерший в годы разрухи от сыпного тифа. С первым мужем, одним из старых друзей ярцевского семейства, она разошлась по принципиальным мотивам, отстаивая свою духовную независимость, еще до революции. Разводы тогда были трудны, по таким основаниям не допускались вовсе, — и ей пришлось героически взять на себя вину несуществующего прелюбодения.

К старости она осталась одинокой, работала по библиотекам, ютилась в крошечном, огороженном шкафами закутке бывшей рейновской квартиры, заселенной посторонними людьми, и обзавелась небольшими чудачествами: вечно ходила с огромными и тяжелыми сумками, битком набитыми книгами, и делала — для души — бесконечные выписки на карточках цитат на всех языках. Но в ней — а может быть, это тоже чудачество — умудрялся сохраняться горячий юношеский энтузиазм, умение увидеть, понять и почувствовать красоту — слегка старомодное, очень искреннее и достаточно профессиональное.

С остальным семейством она поддерживала теплые отношения, но все же жила сама по себе, дорожа независимостью и гордо неся свое одиночество. Но в тяжелую осень 1941 года ее как-то ближе прибило к нашему дому, и несколько месяцев после 16 октября она прожила у нас, лишь изредка навеваясь в свой закуток. И за эти месяцы я не могу не вспомнить о ней с великой благодарностью.

Как-то в начале этого периода мама пожаловалась, что мы с братом погрязли в бесперспективном хозяйственном существовании. Для меня это время было скверным еще и потому, что ночные тревоги стали реже, к ним привыкли и перестали спускаться в убежище. И мои любимые одинокие ночи кончились.

И тетя Маня нашла конструктивное решение нашей проблемы, взявшись с присущим ей энтузиазмом заниматься с нами английским языком.

Когда-то до школы бабушка пыталась вдолбить нам французский, в школе мы зубрили немецкий — но эти насильственные занятия как-то очень мало нам дали и внушали к языкам больше отвращения, чем любви. За короткое время тетя Маня успела передать нам много больше и, главное, — свою собственную любовь к языкам.

Ее манера преподавания была оригинальная и восходила к тому способу, которым она когда-то осваивала языки сама. После первых основ она сразу переходила к стихам, заставляя нас заучивать длинные куски из Байрона и Лонгфелло, — по ее мнению, хорошие стихи лучше всего помогают освоить и грамматический строй, и словарь, и вообще возможности языка. Не знаю, выдерживает ли ее способ в нормальных условиях педагогическую критику, но в специфических условиях войны, недоедания и нарушенности жизни он оказался удачным. А Байрон и Лонгфелло, действительно, оказались великолепным средством против духовного опустошения.

А еще от тети Мани я получил первую внутреннюю поддержку своим поэтическим опытам. О каком-то влиянии или перекличке тут вряд ли приходится говорить. Легкая задумчивая грусть ее стихов



мало соответствовала моему ощущению страшного и жестокого века, в который мне предстояло вживаться. Ее «лучи, купающие миры», не были моими лучами, тревожно мечущимися по ночному небу в поисках вражеских самолетов, но один кардинальный общий пункт у нас был: тетя Маня всей душой ощущала поэзию важным делом, и поддержка именно в этом пункте более всего была мне нужна.

В середине первой военной зимы от школьного друга, прозябавшего, как и я, без дела, я узнал о появлении в Москве школы-экстерната и отправился с ним туда поступать. Прием в экстернат, оказалось, уже закончился и начались занятия, но мы проявили настойчивость, стали ходить на занятия нелегально, а потом зачислились и официально, по протекции его матери, знакомой с кем-то из экстернатской администрации. Известно еще с первых лет революции, что товарищ Блат выше товарища Совнаркома.

За первой удачей скоро последовала и вторая: с дальнего края Москвы экстернат перебрался в наш район, на опустевший пятый этаж огромного здания Горного института. Удача была еще и в том, что в том же здании на третьем этаже работала мама, и в перерывы я мог забегать к ней в лабораторию и отогреть над плиткой обмороженные пальцы. Через маму же я получил доступ к прекрасной старой библиотеке Горного института — как раз во время, когда книжное богатство, доставшееся мне в начале войны, я почти все освоил.

Этот первый экстернат — к концу войны экстернаты расплодились, а впоследствии слились с подготовительными курсами институтов — возник при обществе взаимопомощи научных работников с первоначальной основной целью дать средства существования профессорам и другим крупным специалистам, оставшимся без работы в полуосажденной Москве. Кто-то, видимо, догадался и о том, что школы-то закрылись, но какое-то число детей школьного возраста, имеющих потребность продолжить образование, осталось — мальчики, лишь через два-три года ожидающие призыва в армию, и девочки, Бог знает чего ожидающие. Идея собственно экстерната состояла в том, чтобы, поскольку преподавательский состав предполагался особо высококвалифицированным, а война требует интенсификации любого труда, в том числе и труда учащихся, — завершить образование в ускоренном темпе, три старших класса за два или даже полтора года, учитывая, что полгода уже пропало. В этом ускоренном прохождении был еще один не называемый, но всеми понимаемый аспект: мальчики, оканчивающие экстернат годом раньше обычной школы, получали возможность вообще избежать армии, до призывного срока поступив в дающий броню (освобождение от военной службы) институт.

Поступление в экстернат было первым в моей жизни инициативным шагом, лишь одобренным и санкционированным мамой и тетей Наташей. Указанный аспект, естественно, принимался при сем во внимание — но и без него продолжение образования хотя бы одним из детей соответствовало их чаяниям. Брат пошел по той же дороге годом позже, когда экстернат расширился и на более младшие классы. Обучение в экстернате было платным, но деньги небольшие — за месячный взнос в 50 рублей в ту зиму от силы можно было купить на рынке полкило мороженой картошки. Зато учащийся получал продуктовую карточку более высокой категории, чем простой иждивенец, что материально имело более существенное значение.

Экстернат мало походил на обычную школу: собственно школьной оставалась только программа. Сами же занятия носили характер более институтских лекций, чем школьных уроков. Экономия времени достигалась в основном отменой школьных проверок — вызовов к доске, контрольных и так далее. Лишь изредка, для себя, некоторые преподаватели давали контрольные домашние задания. Официальная проверка знаний производилась только на переходных (и выпускных) экзаменах — и зато была полной, по всем предметам.

Мало похожими на школьных учителей были и преподаватели. Многие из них были действительно крупными специалистами, порой читавшими школьный курс с блеском лучших университетских профессоров. Но попадались между ними и какие-то удивительные чудачки и просто несчастные, относящиеся к своим обязанностям с тупым безразличием, — может быть, сломленные какими-то неизвестными трагедиями, а может быть, и вправду прозябающие на грани голодной смерти. Иногда кто-либо из преподавателей неожиданно исчезал, и на его место заступал новый — одни умирали от дистрофии (в переводе на русский язык с латыни это означает от истощения, а с советского — просто: от голода), другие исчезали в прямом смысле слова, по той же причине, что и в тридцать седьмом году и во все остальные. К концу экстерната, когда началась реэвакуация, специалисты стали уходить из экстерната, и состав преподавателей стал приближаться к обычному школьному.

Ярче всех встает у меня сейчас в памяти преподававший нам русскую литературу за восьмой класс Михаил Михайлович Дагаев, невысокий кряжистый мужчина с седыми усами, кажется, профессор. Манеры у него были совершенно не учительские — на стул он садился верхом, нос утирал рукавом и порой не стеснялся залепить совершенно непечатное слово. Но эрудит был отменный и лектор блестящий, школьной программой себя не особенно связывал и обрушивал на нас тьму сведений, которые не найдешь, наверное, и в

университетских курсах. Например, по поводу «Горе от ума» подробно рассказал о грибоедовской Москве, и чем ее дух отличался от петербургского, и какие были тогда клубы, и какие в каждом клубе были обычаи, и кто были прототипы грибоедовских персонажей — с подробными биографиями и анекдотами из их жизни. В девятом классе обещал еще более интересный курс — но в девятом классе он не появился, и позже мы узнали, что он оказался немецким шпионом — в переводе с языка советского военного времени это означало, что его арестовали...

Непохож на обычный школьный был и состав учащихся. Детей из рабочих или вообще из простых семей, обычно составляющих школьное большинство, почти не было, были интеллигентские дети, как я, или более высокой марки — профессорские, дети оставшихся в Москве дипломатов, дети каких-то темных дельцов-спекулянтов и, наконец, — продукт военного времени — пытавшиеся прикрыть экстернатом свой истинный социальный статус профессиональные проститутки. Из последних некоторые были разоблачены на попытках соблазнить преподавателей, остальные, естественно, отсеялись на первой же экзаменационной сессии. Должен отметить, что в этот трудный первый военный год у меня как-то не было потребности сходиться со своими сверстниками, — не знаю, происходило ли это из-за трудностей быта, или из-за интенсивной внутренней жизни, или из-за физиологического состояния, вызванного постоянным недоеданием. Но в экстернате я был гораздо более нелюдим, чем раньше в школе, и позже — в институте, и о конкретных личностях среди моих соучеников по экстернату очень мало мог бы рассказать, даже если бы хотел. Мне кажется, что экстернат вообще резко отличался от школы отсутствием в нем общей жизни, что он был сборищем, а не коллективом — но, может быть, в этом я и не совсем прав, а проецирую на экстернат свое собственное тогдашнее настроение.

И, конечно, совсем не похожими на нормальную школу были внешние аксессуары, вызванные военным временем. На занятиях сидели в шубах и шапках, а пузырьки с чернилами старались держать за пазухой, чтобы они не замерзали (чернила, кстати, изготовляли сами, разведя в спиртовом растворе бельевую синьку). Естественно, экстернат отличался от школы — в лучшую сторону — отсутствием всякой формы и посторонних, непосредственно к учению не относящихся формальных требований.

Немного о мелочах нашего тогдашнего быта, о недоедании и очередях, о морской капусте и сахарине.

Настоящего голода, как в Ленинграде, в Москве не было, а только хроническое недоедание, особенно первые два года. Интеллектуальная активность, неразрывно связанная в моих воспоминаниях с военным временем, имела дополнительный материальный стимул: читать, думать, учиться, писать стихи — все это помогало отвлечься от мыслей о еде.

В нашем семействе с того момента, когда недоедание стало ощущаться, было введено правило: любая еда, попавшая в дом, за вычетом Топкиной доли, скрупулезно разделялась поровну между членами семейства, и делиться с кем-нибудь своей долей было категорически запрещено. На таком порядке настояли мы с братом, так как иначе взрослые стали бы подкармливать нас в ущерб себе. Тетя Наташа иногда нарушительствовала, тайком от нас подкармливала из своей доли Топку — и когда мы ее ловили, то учиняли скандал. Серьезное нарушение позволила себе однажды мама: принеся откуда-то кусок мяса, она категорически отказалась от своей доли, ссылаясь на расстройство желудка, — и осталась тверда, несмотря на все наши настояния. Уже после войны она призналась, что накормила нас в тот раз собачатиной.

Морская капуста — это тихоокеанская водоросль. Уходя из Карповского института, мама притащила огромный мешок морской капусты — точнее, выжимок от нее, оставшихся после извлечения из нее йода для химических целей. В сущности, это была почти чистая клетчатка, не содержащая никаких питательных ингредиентов. В течение почти года мы добавляли эту клетчатку, как балласт, в любую еду. Припоминаю сейчас наше пасхальное пиршество весной 1942 года — с «пасхой», «куличами» и даже «пасхальными яйцами». Все это была почти чистая морская капуста, спрессованная в соответствующую форму и чем-то подкрашенная в должный цвет.

А сахарин — это добываемое химическим путем вещество в виде мелких прозрачных кристалликов или белого, иногда желтоватого порошка, в триста раз более сладкое, чем сахар. Кристаллик сахарина, с булавочную головку, растворенный в стакане воды, вызывает такой же вкусовой эффект, как и большой кусок сахара. Но никакой питательностью он, конечно, не обладает и только обманывает своей сладостью ожидающий сахара организм. При долгом употреблении сахарина вместо сахара организм распознает обман, и его чувствительность к сахариновой сладости притупляется. Чтобы поддерживать то же ощущение, сахарина, как наркотика, требуется все больше и больше.

Я уже упоминал, что тетя Наташа работала на сахариновом заводе — и сахарин в нашем доме был единственным ненормированным про-

дуктом, всегда имеющимся в изобилии. И мы потребляли его в умеренных дозах. Сахарин считается безвредным, но обладает одним физиологическим свойством: он сильное мочегонное. С этими свойствами сахараина связано в моей памяти множество мелких, непрезентабельных и мучительных воспоминаний военных лет. Стоять в многочасовых очередях и без того малоприятное занятие. Но если вдобавок каждые полчаса вам необходимо бегать в уборную, которой поблизости нет, — тогда это занятие превращается в позорную пытку, которую трудно представить себе не испытавшему.

А в очередях я провел, наверное, многие тысячи часов военного времени — за продуктами, объявленными по карточкам, за мерзлой картошкой на рынках, а к концу войны — за дополнительными пайками, к которым мама получила доступ, вернувшись на работу в Карповский институт после его возвращения из эвакуации, — провел просто стоя за кем-то и перед кем-то, и занесенный в списки, и с трехзначным номером, нанесенным на руке чернильным карандашом, провел и читая книги, и сочиняя стихи, и просто наблюдая публику. И когда впоследствии у ревнителей чистоты русского языка — Корнея Чуковского, Льва Успенского и других — я читал грозные филиппики против часто задаваемого в очередях вопроса «кто крайний?» вместо «кто последний?», — мне всегда хотелось их спросить: «А в страшных очередях военных лет вы сами когда-нибудь стояли?»

Потому что в такой огромной, разбухшей, неподвижной очереди только в идее, в воображении, была последовательность, а на глаз, зримо, — был именно край, единственный край, к которому вы могли подойти, — а другой, вожделенный, был удален на десятки метров непроходимого расстояния и многих часов стояния, ибо в такой очереди, опять же точность народного языка, зримо именно стояли, а не двигались, как стоит, а не двигается, часовая стрелка...

В самом начале зимы 41-го года я как-то выскочил в булочную за хлебом, забыв захватить перчатки. Мороз был небольшой, около десяти градусов, булочная находилась через улицу почти напротив дома, и обратно с тяжелым мешком в руках я пробежал так быстро, как только мог. Но для ослабленного недоеданием организма этого оказалось достаточным. Я вернулся домой с обмороженными, почти вдвое распухшими пальцами — отмачивая в теплой воде, я подлечил их в несколько дней. Но с тех пор при малейшем охлаждении они стали распухать снова, и с этой легкой обмораживаемостью я промучился все военные годы. От того же страдали и брат, и мама, и тетя Наташа.

Но что удивительно — за все годы недоеданий никто из нас ни разу не заболел даже обыкновенной простудой. Для объяснения этого явления мы даже придумали теорию: ввиду опасности для ослаб-

ленного недоеданием организма любой инфекции он с особенной силой мобилизуется против самого ее проникновения. Возможно, медицина знает и более научное объяснение.

Самым любимым товарищем моего детства был мой двоюродный брат Коля, сын старшей сестры отца. Несмотря на разрыв с отцом, мама сохранила близкие отношения с остальными членами семейства Подъяпольских, перебравшихся после смерти Петра Павловича из Саратова в Москву. Особенно любила она свою свекровь, а мою вторую бабушку Варвару Андреевну, или «Балюлю», как прозвал ее маленький Коля. Думаю, впрочем, Балюлю любили все, кто ее знал, — была она человеком удивительной доброты и мудрой душевной теплоты.

Балюля слегла в параличе одновременно с бабушкой Анной Владимировной, но умерла гораздо быстрее, через несколько месяцев. Часть времени нашего бездомного мыканья мы — мама, брат и я — прожили вместе с Колей в опустевшей огромной комнате Подъяпольских в Новинском переулке, бывшей мастерской какого-то художника с окном во всю стену, и особенно сблизилась с Колей за это время. У меня никогда не было особой склонности к сотворению кумиров, подражанию кому-либо или попаданию под влияние, и только относительно Коли я могу сделать, пожалуй, исключение.

Он был очень живым, пытливым, умным и талантливым мальчиком, с рано пробудившимся интересом ко всему на свете, с богатым воображением и чувством юмора. Когда-то, еще в возрасте детских страхов, я очень боялся мамонта с картины Васнецова про каменный век. Узнав об этом, Коля тут же посвятил мамонту специальный выпуск домашней стенгазеты, где был нарисован очень смешной и совершенно не страшный мамонт и были очень веселые и совсем не обидные стихи, начинавшиеся словами: «Снится Грише страшный слон: подошел к кровати слон». Газета тут же исцелила меня от страха перед мамонтом, чего взрослые своими уговорами никак не могли добиться.

Стихи — и не только шуточные — Коля начал писать очень рано и очень много знал на память. Он первый открыл для меня Есенина и Блока. Из его серьезных детских стихотворений я сейчас больше других — к сожалению, не целиком — помню одно, написанное еще при жизни Балюли, то есть в возрасте около четырнадцати лет: «Холодно, голодно люду рабочему, вечно пустое нутро», но иногда выпадает удача: «строить решили метро». И рабочий люд нанимается на строительство, и, пока оно продолжается, он сыт и одет и относительно благополучен. А когда строительство закончено, он снова по-

падает на улицу, и опять ему холодно и голодно, и «снова пустое нутро». И совсем бы ему пропадать, но тут, «к счастью, ломают метро». И с той же покорностью, с которой строил, «рабочий люд» уничтожает «плод своего же труда». Стихотворение называлось «В Америке», но Коля тут же пояснил, что заглавие дано для отвода глаз, а в действительности речь идет о разрушении только что построенного вестибюля станции метро «Смоленская» на Садовом кольце. Четырнадцатилетним мальчишкам в наш век об отводе глаз приходилось думать.

В начале войны Коля с матерью уехал в эвакуацию в Среднюю Азию и оттуда присылал нам длинные и очень интересные письма. Были там и живые, рельефные описания азиатского колорита и эвакуационного быта, и новые стихи — еще не совсем взрослые, но уже и не вполне детские — с начинающим отшлифовываться собственным голосом, и рассуждения о тайнах профессионального мастерства, что для меня тогда было особенно интересно. Писал Коля и о своих общих жизненных планах, о том, что после войны он хотел бы стать геологом, с тем, чтобы свободное время посвящать литературе. Эту программу отчасти осуществить довелось впоследствии мне.

Осенью 1942 года Коля от Тропического института, где работала его мать, ездил в экспедицию на ловлю каких-то москитов — там же, в Средней Азии. Прямо из экспедиции его и забрали в армию и направили в военное училище в город Мелекесс (в Заволжье) для короткой подготовки перед отправкой на фронт. Из Мелекесса он прислал необычно короткое, но довольно бодрое и не без юмора письмо — о том, как их, новобранцев 1924 года рождения, везли чуть ли не месяц из Азии в телячьих теплушках и как в дороге они «голодали, холодали и обовшивели».

Письмо это оказалось последним. Мамин ответ на него вернулся нераспечатанным с лаконичной карандашной пометкой: «за смертью адресата». Известие было настолько неожиданным и не вмещающимся в сознание — отчасти именно потому, что несколькими неделями позже оно стало бы чересчур вероятным, — что мы с мамой даже заподозрили чью-нибудь злую шутку, гадая в то же время, что же могло случиться: не доучив, бросили на фронт? Но кто мог бы тогда знать в Мелекессе о дальнейшей Колиной судьбе, а если бы письмо поехало за ним вслед, то на нем появились бы какие-нибудь печати полевых почт, да и вернулось оно чересчур быстро. Немцы бомбили Мелекесс? Но вряд ли мог заинтересовать их в разгар грандиозной битвы под Сталинградом заштатный заволжский городишко. Да и от бомбежек полагается гибнуть, а не просто умирать, как в мирное время.

Мама послала запрос в Мелекесское училище — и от безымянной медсестры тамошнего госпиталя мы получили письмо с под-

робным описанием Колиной болезни, мучительной агонии и смерти, не оставлявшее места ни для каких иллюзий.

Диагноз болезни, видимо, так и не был поставлен, списали — и все. Не до того тогда было. Я лично предполагаю, что во время своей moskitной экспедиции Коля подцепил какое-то из редких и малоизученных среднеазиатских заболеваний — впоследствии в Средней Азии мне довелось столкнуться с похожими случаями таинственных болезней и смертей, когда поставить диагноз и что-либо сделать оказывались бессильными светила медицинской науки в неизмеримо более благоприятных условиях мирных лет и оснащенных по последнему слову техники клиниках.

Колина смерть была самой тяжелой травмой моей юности, долго оставившей кровотокащий след. Страшно потрясла она и маму, очень любившую Колю. Для нее потрясение усугублялось еще и тем, что в Колиной судьбе она увидела предзнаменование судьбы собственных детей. Тревога, что я или брат попадем на фронт и погибнем, не покидала ее с самого начала войны — после Колиной смерти тревога переросла в почти болезненный постоянный страх.

Не думаю, однако, чтобы этот мамин страх заметно повлиял на мое отношение к войне и на мое отношение к возможному в ней участию. К сорок третьему году, когда вопрос об участии сделался актуальным, в моей голове накопилось достаточно собственной шелухи, чтобы эгоистически руководствоваться именно ею, а не мамиными переживаниями. В то, что я назвал шелухой, входило: и вера в свое особое призвание — не очень конкретизированное, но с безусловным прицелом на послевоенное будущее; и мистическое ощущение (а война предрасполагала к мистицизму), что Колиной смертью наложено на меня некое высшее обязательство что-то сделать в сем мире не только за себя, но и за него; и многое другое, чего я теперь и не упомяну. И если практические выводы из моей шелухи и маминого страха совпали, то, вероятно, не из-за их непосредственного взаимодействия, а из-за их общей более глубокой социально-психологической основы.

Практический же вывод был такой: на фронт я не рвался и со спокойной совестью воспользовался легальной возможностью избежать фронта и вообще армии, которую в момент величайшей войны в истории предоставило мне наше удивительное государство в виде институтской брони.

Как мне сейчас представляется, прямой страх гибели на фронте не имел для этого выбора существенного значения. В шестнадцать лет даже в войну, даже после смерти любимого двоюродного брата возможность собственной гибели не воспринимается всерьез — су-



ществом, а разве что — умом. А для ума возможность гибели отнюдь не порождается, а только увеличивается фронтом — она существует и в мирное время под колесами транспорта, и в войну в пределах воздушного фронта — от бомбы или шального осколка, да и мало ли когда и от чего. Война — да и не только война — естественно породила фаталистическое мироощущение или, может быть точнее, ощущение зависимости своей жизни от чуждых нам механизмов с неконтролируемым и непредсказуемым поведением.

Если говорить о страхе, то гораздо весомей был для меня тогда другой страх — армии как таковой, то есть муштры и зависимости от всевозможных начальников. В этой области к небольшому опыту токарной мастерской у меня прибавился в начале 1943 года новый: как вероятный призывник очередного набора я должен был пройти всеобщее военное обучение (всевобуч) при райвоенкомате.

Три раза в неделю по четыре часа по вечерам — мне приходилось пропускать последний урок в экстернате — нас, будущее пушечное мясо, обучали искусству маршировать, поворачиваться и становиться смирно и вольно, а также собирать и разбирать винтовку. Два раза для разнообразия ходили мы на стрельбище и палили — то есть, конечно, мазали — в цель (по два патрона на рыло) да однажды бегали наперегонки и швыряли гранату — в последнем я продемонстрировал потрясающее неискусство. А еще однажды была лекция о том, что под минометным огнем идти вперед безопаснее, чем отступать, — сведение, пользу которого я оценил много позже. Словом, обучали нас с усталым безразличием конца второго года войны, абы поставить галочку «обучен» и в ускоренном темпе бросить на фронт, — а там, кому повезет, сами доучатся настоящему солдатскому ремеслу...

Не способствовали энтузиазму и патриотизму и простые, бьющие в глаза реалии окружающей жизни. Москва из полусажденной по-немногу превращалась в просто тыловой город — и ее изнанка выглядела отнюдь не презентабельно. Процветали материальная обывательщина, склоки из-за пайков, взяточничество и спекуляция. Патриоты социалистического отечества не только устраивались безопасно сами, но и — пример экстерната — оберегали от фронта свое потомство. И — сверх всего — была просто физическая усталость, вызванная двухлетним недоеданием, тяготами быта и интенсивностью развития.

Но все перечисленное имело второстепенное значение. Главным — я не уверен, что тогда оно четко формулировалось, но присутствовало в подсознании безусловно — оставалось и инициировало и мамин страх, и мои фантазии — одно: война шла между Сталиным и Гитлером, за рабство коммунистическое против рабства фашистского. Она не была войной за правду и свободу, нашей и моей войной.

И — непоследовательно — начавшимся в сорок третьем году победам радовались не без шепотки патриотизма: «наши побеждают». Но более потому, что победы приближали конец ненавистной войны. Искренне негодовали на союзников за оттяжки второго фронта и ощущали подавленное разочарование, когда в сорок четвертом вместо быстрейшего наступления на Германию «наши» занялись завоеванием для коммунизма Балкан.

И по мере того, как все яснее вырисовывалась окончательная победа (казавшаяся более близкой, чем в действительности), мысли все чаще забегали за этот прикрывающий будущее рубеж: а каким он окажется, послевоенный мир, в котором мне предстоит жить? Вызовет ли крах античеловеческого партийно-бюрократического рейха трещины и в нашей античеловеческой партийно-бюрократической диктатуре — или она еще более укрепитя выигранной войной? Но и тревога, и надежда были смутными, и я их формулирую сейчас, наверное, более определенно, чем смог бы тогда.

Конечно, и тревоги, и надежды были пассивные, как тому и следует быть по катакомбной теории. Ощущал ли я тогда неудовлетворенность той уклончивой, избегающей опасностей и острых углов линией поведения, которой начинал самостоятельную жизнь? Мне трудно ответить сейчас на этот вопрос, потому что слишком легко спроецировать на те годы мысли и чувства более поздних лет. Не будучи никогда сознательным приверженцем катакомбной теории, я все-таки с детства проникся катакомбной психологией, может быть, не вполне отвечающей моей натуре, но естественной для меня по социальному статусу. И, видимо, явных конфликтов с этой естественностью у меня тогда не было.

И все-таки да, на уровне практической жизни — не было. Но в стихах, полудетских стихах именно сорок третьего года появился почему-то мотив борьбы, мотив, конечно, абстрактный и платонический, и я не возьму на себя смелость утверждать, что глубокий. Но в нем я слышу сейчас пусть неосознанную, но несомненную реакцию на катакомбное бытие. И если явного, на уровне болящей совести, конфликта тогда не было, то все-таки налицо было двойное мышление, несоответствие между реальной и идеальной жизнью, казавшееся тогда естественным по более широкому статусу не только интеллигента, но гражданина тоталитарного государства.

И вполне соответствующим двойному мышлению был мой последний и главный выбор военного времени — выбор профессии. С вполне определившейся к сорок третьему году гуманитарной внутренней направленностью я без каких-либо колебаний поступил в технический институт в полном сознании неизбежности такого выбора и

лишь в небольшой степени допустил следование своим наклонностям, остановившись на геологии как наиболее естественноисторической из технических специальностей. Влияние на выбор оказали, конечно, и некоторые привходящие утилитарные соображения – и то, что Нефтяной институт давал освобождение от армии, и даже то, что он находился в десяти минутах ходьбы от дома. Неизмеримо более сильное и общее влияние – неосуществленная Колина мечта «быть геологом, а для души заниматься литературой». Но думаю, и без давления обстоятельств военного времени, и без Колиной программы мои программа и выбор остались бы теми же.

Потому что невысказанная в Колином письме подоплека его жизненной программы была мне в мои неполные семнадцать лет предельно ясна – как, очевидно, и ему тоже. Выбирать гуманитарную профессию в тогдашнем, достаточно понимаемом нами мире означало либо изолгаться с самого начала, продавая на каждом шагу высоко ценимую нами душу, либо, с того же начала, вступить с этим миром в неотвратимый конфликт с не «фифти-фифти», как на фронте, а со стопроцентной вероятностью губельного исхода. И мы, мудрые интеллигентные мальчики, чающие себя поэтами и пишущие посредственные стихи о красоте борьбы, естественно уклонялись от такой альтернативы и выбирали более легкое и почти не казавшееся нам неестественным раздвоение между необходимой для жизни профессией и скрываемой в катакомбе до лучших времен тайной жизнью своей души. И в мудрости нашей мудрости мы тогда не сомневались.

Но сейчас, возвращаясь мысленно к тем временам, я почему-то не так убежден в мудрости, может быть, потому, что знаю теперь больше, чем тогда, в том числе и о не столь мудрых тогдашних мальчиках, не уклонявшихся от альтернативы и получавших высшие – двадцатипятилетние – оценки своих дипломных работ...

## Глава пятая

### Сознание

С осени 1943 года начался новый, почти шестилетний период моей биографии – Нефтяной институт. И хотя первую треть этого срока – и вторую половину своего – еще продолжалась война,

лично для меня, в моем тогдашнем мироощущении и теперешней памяти, она отодвинулась на задний план, вытесненная более мелкими и близлежащими интересами студенческого существования: новые люди и науки, лекции и занятия, зачеты и экзамены. Да и сама война, как фронт, как фактор существования, стала все более и более отдаляться от московского порога. Пошло массовое возвращение из эвакуации, быстро восстанавливающее обычный довоенный, невоенный облик жизни. Исчезли баррикады, сметенные потоком городского транспорта, сталолюдно на улицах, открылись кино и театры, и на экраны вырвался, собирая у входа толпы и весело торжествуя над серьезными фильмами о военных подвигах и фашистских зверствах, красочный и фантастический «Багдадский вор». Улучшились и бытовые условия — в нашей семье после того, как мама снова стала работать в вернувшемся из эвакуации Карповском институте и получать дополнительный литерный паек научного работника. А главное, с поступлением в институт война окончательно ушла из моего будущего, теперь определившегося и не нуждавшегося в ближайшее время в каких-либо новых важных для жизни решениях.

Отчасти именно по последней причине я обрываю сорок третьим годом хотя и фрагментарное, но относительно последовательное изложение внешних событий моей биографии. Ее начальное становление представляется мне сейчас более существенным и интересным, чем последующее скольжение по выбранным рельсам. Институтом начался мой постепенный выход из домашнего мирка, мой «бег по кругу», как говорила мама, цитируя кого-то из классиков, неизбежный и тривиальный выход в многоплановую — в социально-общественную и интимно-личную — взрослую жизнь. Несмотря на постепенность, переход был все-таки довольно быстрым и решительным, чему способствовала и выбранная мною геологическая, с последующей детализацией геофизическая, специальность, связанная с полевыми работами и, следовательно, территориальным отрывом. После окончания института я четыре года прожил вообще далеко от Москвы, работая в различных геофизических экспедициях в Сибири и Средней Азии, нигде не засиживаясь подолгу и не пуская корней — большей частью по не зависящим от моей воли случайным обстоятельствам. Забывшим напомним, а незнающим поясню, что до лета 1953 года граждане СССР были прикреплены к месту своей работы и не имели права ни уволиться по собственному желанию, ни отказаться от направления в ту или иную организацию по усмотрению администрации.

Отчасти же мой период скитаний начался еще гораздо раньше, переплетаясь с учением в институте и вклинившись даже в войну,

поскольку каждое лето начиная с 1944 года я выезжал на производственные практики; фактически это значило, что я просто вербовался на временную работу в полевые геолого-разведочные или геофизические партии, сперва в роли мальчика на побегушках, именуемого коллектором, а затем на все более ответственные должности и продолжительные сроки, вплоть до фактического руководителя (техрука) сейсморазведочной партии во время полугодовой преддипломной практики в 1948 году под Одессой. По насыщенности внешними событиями, впечатлениями и личными переживаниями период скитаний был, пожалуй, наиболее богатым в моей биографии. Я повидал множество мест, соприкоснулся со множеством самых различных людей, прошел через ряд остроконфликтных, а то и трагических ситуаций, пережил кончившийся разрывом неудачный брак, попадал в аварии и, случалось, сам играл роковую роль в человеческих судьбах. И, возможно, каждая отдельная страница моего периода скитаний заслуживала бы самостоятельного познавательного-ценного, а то и душещипательного романа.

Но именно отдельные страницы, а в целом романа не получается. Между страницами происходила резкая смена декораций и действующих лиц, сюжетных линий и эмоциональной атмосферы. И относительного единства моей персоны недостаточно, чтобы связать воедино разрозненные картинки калейдоскопа.

Оглядывая спустя четверть века бурный период моих скитаний, я догадываюсь, что его калейдоскопическая раздробленность обусловлена не только внешними обстоятельствами. Или, правильнее, преобладающее влияние внешних событий само имело более общую внутреннюю подоплеку. Поддавшись инерции скольжения по выбранным рельсам, я в значительной степени отказался от инициативы в начертании своей жизни. Сосредоточение на локальных конфликтах и переживаниях этого бурного периода я сейчас воспринимаю как продолжающееся отклонение от конфликта глобального, начатое первоначальным выбором, которым я закончил предыдущую главу. И вижу в этом сосредоточении весьма близкую аналогию с маминим уходом в ее личную трагедию тридцать седьмого года. Случайно ли, закономерно ли, символично ли — мой период скитаний закончился в 1953 году, несколько месяцев спустя после смерти Сталина, в самом начале хрущевской (тогда еще не хрущевской) «оттепели»?

Отказ от инициативы в жизни был очевидным следствием постепенного осознания мною в те годы расхождения между сознанием и бытием, что, однако, казалось тогда неизбежным. Откровенная катакомбная идеология не только отчетливо констатировала существование такого расхождения, но и морально санкционировала его,

предусматривая ради охранения сферы незапятнанного сознания отступления и компромиссы в сфере бытия (сфере, по представлению катакомбной интеллигенции, менее важной и — в не зависящей от ее представления действительности — более опасной). Не будучи явным сторонником катакомбной психологии, я на практике продолжал следовать катакомбному рецепту, хотя и ощущал порой внутреннюю шемящую неудовлетворенность — видимо, потому, что ярцевская честность все-таки никогда не позволяла мне до конца отринуть все сомнения по части моральной санкции. И та же честность не позволяла мне всерьез, всем существом ухватиться за какую-либо из паллиативных жизненных линий в пределах катакомбного рецепта, и это вызвало отношение к своей жизненной линии не то чтобы циническое, но с изрядной долей пренебрежительного легкомыслия: а не все ли равно?

И в силу самой установки сфера сознания, существующая и развивающаяся в значительной степени независимо от сферы практического бытия, не только представлялась мне тогда, но, вероятно, и была более значительной и более интересной. Во всяком случае, так кажется мне и теперь. Годы института и годы скитаний были временем выработки моего мировоззрения — конечно, с подготовкой до и с коррективами после, но в главных чертах все же сформировавшегося именно тогда. И именно эта сторона указанного периода заставляет меня уделить ему место в моих автобиографических фрагментах, и она же заставляет меня прервать рассказ о внешних событиях и ограничить себя объявленной в заголовке темой: сознание. Причем речь идет, конечно, не о полном объеме этого термина, не об удивительном феномене человеческого сознания вообще, а лишь о частном аспекте сознания, непосредственно связанном с исторической ориентировкой.

В предыдущих фрагментах я постарался обрисовать основные воздействия, формировавшие мое юношеское сознание с раннего детства до середины войны, и сейчас вкратце подведу итог. Я воспитывался в интеллигентной семье, сохранившей, несмотря на превратности эпохи, некоторые культурные и моральные традиции просвещенного и критического девятнадцатого века — и влияние на меня этих традиций, естественно, было довольно значительным, во всяком случае, достаточным для того, чтобы предохранить мое сознание от бесконтрольного восприятия прямого воздействия тотальной коммунистической пропаганды. Возможно, предохранение оказалось эффективным именно потому, что не было связано с открытой и навязчивой контрпропагандой и вообще носило скорее пассивный, чем активный характер.

. От природы я обладал довольно живым воображением, и оно еще в детстве запечатлело некоторые яркие реалии победившего социализма. Эти впечатления создали против пропаганды вторую, на более сознательном уровне и эмоционально наэлектризованную заградительную линию.

Из беспорядочного, но интенсивного чтения я вынес какие-то представления вообще об истории, во многом еще, конечно, юношески наивные, но все же достаточно многообразные, чтобы не вмещаться в прокрустово ложе классово-борьбы и ее коммунистического преодоления. К концу войны примитивный мир моего сознания включал, пусть тоже еще примитивное, ощущение сложности реального мира. В этом мое мироощущение было сходно с маминым — мне кажется, более ввиду нашего духовного родства, чем из-за непосредственного влияния и заимствования. Источником моего тогдашнего мироощущения прежде всего были книги и отчасти собственный, пусть небольшой, опыт. Я с детства мало поддавался чьему-либо персональному влиянию и рано стал ощущать духовную самостоятельность.

Значительное место в тогдашнем мире моего сознания занимала поэзия, но я затрону ее только вскользь, дабы не зарыться по уши. Юношеская поэзия в условиях идеологического гнета — чересчур близкая моему сердцу благодатная и почти нетронутая тема, ожидающая историков нетоталитарного будущего. Мои стихи тех лет очень мало были рассчитаны на читателя, очень мало могли служить средством информации, они писались для себя, «в стол», были попытками осмысления себя и мира, более себя, чем мира, попытками своего самоутверждения в мире, формированием своего «я», продуктом непосредственного и таинственного импульса к творчеству. Они усугубляли ощущение сложности мира, свидетельствуя о существовании в нем или вне его каких-то действенных иррациональных сил. Значение поэзии усиливалось ее рано понятой конфликтностью с тоталитарным миром, ибо все в ней — и я, и творчество, и осмысление, и иррациональность, и сложность — само по себе являлось неизбежным объектом конфликта. И самим своим существованием поэзия обостряла конфликт. Пессимизм моих (наших) юношеских стихов был не просто вечным юношеским пессимизмом или, даже более, констатацией реально плохого мира, но и явным бунтом против претензии плохого мира выдавать себя за хороший. И мотив одиночества был тоже не просто вечным юношеским мотивом или, более, отражением реальной разобщенности людей в мире слезки и доносов, но и явным бунтом против претензии разобщенного мира выдавать себя за коллективистский. Но поэзия была и катарсисом от

отчаяния, средством жить в мире, где жить нельзя, может быть, даже прямо — предохранительным клапаном от самоубийства. Ну и, конечно, в поэзии была катакомбность, сама поэзия была одним из ответвлений катакомбы, катакомбными были ее романтика и символика, мистика и эсхатология... Но здесь я заставляю себя оборвать мысли о юношеской поэзии.

К концу войны мое осознание общества, в котором я жил, определялось эмоционально недвусмысленным термином: тирания. И тирания была не просто абстрактным определением, а почти физическим ощущением сдавливающих горло пальцев. С этим ощущением удушья я прожил всю свою молодость и не ушел от него и в годы своих скитаний. И на него очень рано наложилось тяжелое ощущение беспросветности: царство тирании установилось на тысячу лет и исхода не будет.

Но как рациональное понятие тирания в моем тогдашнем сознании фигурировала довольно абстрактно, скорее как неопределенный источник ощущаемого гнета, чем как исторически сложившийся и конкретным образом устроенный и функционирующий общественный механизм. Я упоминал уже, что в своем семействе я не встретился с какими-либо отчетливо выраженными концепциями — всего более это, пожалуй, относилось именно к концепции современности, вообще к ее пониманию на сколько-нибудь теоретическом, наджитейском уровне.

Последнее обстоятельство порождало еще одно мучительное, но более стимулирующее ощущение — теоретического вакуума. Уже тогда я безусловно и не без сословной гордости принимал свою принадлежность к интеллигенции, понимая под последней ту социальную группу (тогда в большей степени — психологический тип) людей, чья роль в человеческом обществе заключается в поисках истины в широком смысле слова, включающем как конкретные истины в специальных областях знания, так и общефилософские о макро- и микрокосмосах. И несмотря на небольшой налет мистицизма, свойственный юности и усугубленный войной, в основе я все-таки оставался рационалистом, не сомневающимся в силе разума (человеческого вообще и собственного в частности), — снова с расшифровкой: логического анализа, руководимого творческой интуицией. По всему по этому заполнение вакуума, сиречь построение теоретической конструкции, объясняющей и, очевидно, разоблачающей тиранию, представлялось мне наиважнейшей и посильной жизненной задачей, предназначенной мне перстом провидения, волей истории и социальным заказом. И как я теперь догадываюсь (а тогда догадывался ли?), задача казалась особенно привлекательной еще и потому, что на обозри-



мых первых порах явного выхода из катакомбы она не требовала: по катакомбной установке выход мог быть отложен до лучших времен.

Какие-то первоначальные контуры будущей конструкции, видимо, уже намечались мной еще в те первоначальные времена, и тогда же появились некоторые отдельные мысли, выдержавшие последующий критический отбор и навсегда осевшие в сознании. Но память отказывается сейчас дать им уверенную хронологическую привязку — слишком много прошло с тех пор лет и отложилось последующих наслоений.

Институт столкнул мое становящееся сознание с двумя новыми значительными воздействиями: точных наук и марксистской философии. Строго говоря, оба они не были совсем уж новыми. Каких-то сведений о великих достижениях физики и математики XX века я нахватался из популярной литературы, а представление о марксизме получал не только и не столько из рассчитанной на ширпотреб пропаганды, сколько в более рафинированном виде — из большинства вышедших в советское время книг по любым вопросам. Новизна заключалась в углублении, в переходе от случайного ознакомления к систематическому изучению и именно в самом воздействии, явно фиксируемом на сознательном уровне.

Воздействие точных наук в их специальной и профессиональной областях не входит в тему моего рассказа. Но оно не ограничилось этими областями, а захватило всю сферу сознания вообще, не только расширяя его содержание, но и организуя самую его структуру. Какой-либо оригинальности тут, очевидно, нет, революция начала XX века в области точных наук наложила свой отпечаток как на сознание человечества вообще, так и на множество индивидуальных сознаний. И я констатирую здесь не свою, естественную в наших условиях, доморощенную оригинальность, а гораздо более удивительную для этих условий приобщенность к столбовым путям человеческой мысли.

В условиях идеологической диктатуры влияние точных наук на формирующееся индивидуальное сознание многократно усиливается в результате своеобразного фильтрационного (или, может быть, парникового?) эффекта. Идеологическая диктатура включает два основных момента: пропаганду, то есть вдальблывание идеологии, и контроль за каналами информации, то есть в основном их примитивное обрезание. И если вдальблыванию индивидуальное сознание может как-то противостоять, создавая внутренние барьеры, то перерезанию нельзя отказать в безусловной эффективности. Правда, изобретательный человеческий ум и тут ухитряется находить некоторые лазейки, используя в качестве канала и такие шероховатости рельефа, кото-

рые в нормальных условиях никому и в голову не пришло бы принять за канал. И все же эрзац — это не полноценная замена (опыт военных лет, сахарина и морской капусты), и информация, потерянная на шероховатостях, полностью не восстановима (современная теория информации).

Среди эрзац-каналов информации точные науки в сталинское время обладали наибольшей пропускной способностью. По своей природе и в силу некоторых дополнительных обстоятельств область точных наук была наиболее свободной от идеологического давления. Точные науки казались относительно нейтральными и не привлекали чрезмерной бдительности. Они были слишком необходимы как производительная и военная сила, и на возможный импорт с ними каких-то элементов чуждой идеологии приходилось смотреть сквозь пальцы. И они говорили на собственном, лишь специалистам понятном языке, что, с одной стороны, устраняло опасность массового воздействия, а с другой — просто затрудняло цензуру, мало знакомую с этим языком. Цензура легко поработала, уродовала и девальвировала словесную ткань человеческой мысли, но ей труднее было расправляться с математическими формулами.

И физико-математические науки доводили до нас существование и другого мира, и другого строя сознания, и то, что достижения человеческой мысли в наш век не исчерпываются одним только созданием всемирно-исторического учения марксизма-ленинизма.

Влиянию на мое сознание точных наук способствовали и некоторые более индивидуальные обстоятельства. Несмотря на первоначальную гуманитарную направленность, я не был лишен ни способностей, ни интереса к точным наукам. И не совсем случайно из практического инженера-сейсморазведчика через несколько лет трансформировался в «практика, освоившего теорию», а затем и вообще в теоретика. Модный одно время конфликт между «физиками» и «лириками» был мне всегда безусловно чужд, физика и лирика, как иногда и кошка с собакой, прекрасно уживались в моей душе и скорее помогали друг другу, чем мешали. Правда, случалась между ними простая физическая конкуренция — за время и душевные силы, но чаще они выступали совместно против общих врагов. Мое ощущение сложности мира одинаково импонировало и моей физике, и моей лирике, и обе они единодушно требовали простого и ясного выражения сложных вещей, а не сложного — простых. Последнее всегда представлялось мне плохой физикой и плохой лирикой.

Точные науки отвечали моему рационализму, и их удивительные достижения подтверждали мою веру в могущество человеческого разума.

Влияние марксизма-ленинизма было совсем в другом роде. Затронуть организацию сферы сознания марксизм никак не мог — даже не по присущим ему особенностям, а потому что на фоне влияния точных наук, с их мощным и отточенным логико-познавательным аппаратом, этого не могла вообще никакая философия классического типа. Рассуждение о конечности или бесконечности мира без современных представлений о метризации, о его познаваемости или непознаваемости, при полном невежестве в области сравнения бесконечных множеств, антиномия идеализм—материализм без тени понятия об изоморфизме — все это были очевидные попытки с негодными средствами на уровне детского лепета.

Диалектика в смысле самодвижения импонировала моей душе — лирике даже более, нежели физике. Мой сложный мир был единым, остроконфликтным и постационарным, между вещами существовали многообразные, порой очевидные, а порой удивительно хитроумные связи, и зачастую — а это уже идея из новейших точных наук — связи сами оказывались вещами, гораздо более действительными и важными, чем те вещи, которые они связывали. И этот сложный мир изменялся, в нем шли многообразные эволюции: духовная и познавательная, лингвистическая и социальная, экономическая и политическая, биологическая и геологическая. Рождались новые слова и понятия, разбегались галактики, трансмутировали элементарные частицы, сталкивались противоположности, и количества переходили в качества. Но конкретная гегельянско-марксистская диалектика с ее основополагающими законами диалектического познания оставалась, тем не менее, малосодержательным словоблудием. Да, конечно, количественные изменения приводят иногда к изменениям качественным (хотя иногда и не приводят), но возвести такую простую констатацию факта даже просто в ранг научного закона, не говоря уж основополагающего закона познания, простительно разве что философу, не имеющему представления о том, что такое научный закон.

Наука для меня еще в те годы начального обучения начиналась не с констатации перехода количеств в качества, а с анализа: как, почему, при каких условиях такие переходы происходят. А основополагающие законы познания, безусловно, лежали еще глубже и управляли проведением любых анализов не в качестве словесной привески, а в качестве скромного, фундаментального и эффективного рабочего аппарата.

Впрочем, диамат вообще мне представлялся привеском к марксизму, как привеском к христианству была средневековая схоластика. Необходимость его существования обуславливалась просто тем,

что не могло же столь великое учение обойтись без собственных основополагающих законов познания. Козырной картой марксизма, сделавшей его всемирной религией, охватившей и поработившей массы, всегда оставался истмат, и, говоря о влиянии на меня марксизма, я подразумевал именно марксизм как социально-историческое учение, локальное влияние непосредственно в той области познания, которая представляет собой тему этой главы.

Внутри истмата тоже можно выделить общефилософский привесок — марксистскую концепцию социально-исторического процесса вообще и святая святых марксизма как всемирной и государственной религии — учение о коммунизме. Для нашей государственной религии в святая святых включается и трактовка нашей реальной социально-экономической системы как первой — социалистической — стадии коммунизма. И если слово «влияние» понимать в узкопозитивном смысле влияния—принятия, влияния—усвоения, то оно, безусловно, ограничивается только первой, общей и периферийной частью марксистского истмата.

Мне сейчас трудно адекватно оценить тогдашнее влияние марксизма на меня и его степень, полностью элиминируя последующую эволюцию. Вероятно, оно было тогда более сильным, чем позже, но не слишком. Никогда, ни на единую секунду жизни не поверив в святая святых, всегда сохраняя критическую установку, всегда, насколько хватает памяти, корбясь при любой ссылке на высшие авторитеты, я никогда не сопричислял себя к марксистам и даже почел бы оскорблением, если бы кто-нибудь меня марксистом обозвал. Термин «марксист» всегда был для меня символом если не холопства мысли, то холопской мимикрии под таковое холопство. С очевидностью видя крах марксизма в понимании настоящего и, следовательно, предугадывании будущего, я никогда не мог верить в искренность марксистов, закрывающих глаза на эту очевидность. В последнем, возможно, я был и не прав, по-юношески недооценивая человеческой способности к слепоте.

И все же в моей собственной слагавшейся концепции были многие точки соприкосновения с марксизмом. Свое отрицание марксизма я не доводил до крайности: все, сказанное Марксом, — неверно. Я допускал, что некоторые открытия в исторической науке могли быть сделаны и Марксом, как и многими другими. «Определяющими условиями жизни общества являются способы производства и распределения материальных благ»... Да, я, конечно, воздержался бы от двусмысленного словечка «определяющие»: жизнь общества вряд ли зависит от какого-то единственного «определяющего» фактора, тем паче одного и того же на все времена и все народы и цивилизации.

Но, безусловно, способ производства и распределения материальных благ в жизни человеческого общества — чрезвычайно важный фактор. И если вправду, как нас учат, на важность этого фактора впервые внимание обратил Маркс, то честь ему и хвала за это, и некоторое преувеличение значения своего открытия по естественной слабости человеческой ему, как и любому, можно простить... «Вся история доныне существовавшего общества была борьбой классов...» Здесь опять же есть двусмысленное словечко «вся». Согласен и на «вся», если в таком же смысле вся она была также борьбой этнических объединений, религиозных систем и узколичных интересов, ареной героических подвигов, познания и нелепых заблуждений. И, безусловно, в развитых человеческих обществах можно выделить и классы наряду с иными социальными группировками, и между ними всегда происходила борьба, иногда явная, а чаще в переносном смысле экологической борьбы за существование, по Дарвину, — сиречь просто сосуществование со сложным переплетением общих и антагонистических интересов... Впрочем, классы и классовая борьба вошли в обиход, по-видимому, еще до Маркса, так что специфически марксистским тут является словечко «вся», за что от воздаяния чести и хвалы я бы воздержался.

Но я пока привел только внешние примеры, а общие черты пересечения моего становящегося исторического понимания с марксизмом были, как я теперь понимаю, глубже и кардинальней. Думается, они лишь отчасти связаны с прямым заимствованием, более с уходящими глубже корнями, с общей структурой сознания — одним из типов структуры сознания — близкого времени. Христианин, верящий в непосредственное вмешательство божества в человеческие дела, с полным основанием отнес бы меня вместе с марксистами в общий разряд — материалистов и атеистов. Для сторонников исторической концепции множества независимо развивающихся цивилизаций я вместе с марксистами тоже оказался бы в одном разряде унификаторов, пытающихся втиснуть историю в прокрустово ложе единого исторического процесса по западноевропейской модели. Для националистов — я вместе с марксистами недоучитывал индивидуальное своеобразие народов и их исторических судеб и придавал преувеличенное значение абстрактно-логической и, следовательно, внациональной структуре общественных взаимоотношений. С оговоркой — о которой ниже — я в основном принимал фундаментальную для марксистской исторической науки классификацию социально-экономических формаций и наряду с марксистами (как и многими другими) видел в историческом процессе не только набор случайных событий, но и некоторые естественно-стихийные всеобщие закономерности.

И все же мне кажется, что я не был марксистом не только по самоопределению, но и по критической установке, исключающей принятие на веру любых положений любых авторитетов. Скептическое отношение ко всеопределяющим факторам, на мой взгляд, отделяло мою историю от марксистской более непроходимой пропастью, чем христианскую или националистическую. Именно из-за непроходимости пропасти я и мог себе позволить принимать некоторые из марксистских положений, не опасаясь скатиться в марксизм. В общей концепции истории я ощущал себя более постмарксистом, чем антимарксистом, и у меня не было по отношению к марксизму в этой его ипостаси каких-либо острых эмоций последователя или конкурента. Я был немарксистом не потому, что придерживался какой-либо альтернативной модели исторического процесса, а потому, что жил в XX веке с его историческим опытом о порочности фетишизации любых моделей.

Но при переходе к святой святых марксизма, учению о коммунизме, эмоциональная нейтральность сменялась страстным и безоговорочным отрицанием. Учение не было просто ошибочно принятой за реальность фантазией, устаревшим пережитком девятнадцатого века, но — воинствующим мракобесием двадцатого, очевидной и беспардонной ложью, направленной на утверждение тирании, неотъемлемым элементом самой тирании. Среди многочисленных функций в человеческом обществе марксистская религия более, чем какая-либо другая, сосредоточилась на самой неблагоприятной — быть опиумом для народа в утилитарных интересах господствующих классов. В области святой святых я был явным антимарксистом и, как теперь догадываюсь, именно поэтому марксистом больше, чем в чем-нибудь ином.

Антимарксизм... Он был естественной отправной точкой думающих юношей моего поколения. Ложь мы видели, тиранию ощущали всеми фибрами души. Мы, стиснув зубы, влачили унижительное катакомбное существование, опоганившее нашу молодость, и были отрезаны от каких-либо других каналов информации о современности. И мы начинали с того, что говорили внутри себя «нет» на все марксистские «да». Нет, не существует никакого нового бесклассового общества. Нет, не исчезла, а многократно усилилась эксплуатация человека человеком. Нет, и никогда не было, и никогда не будет, потому что не может быть никакой пролетарской диктатуры.

Отход от антимарксизма начинался с корректировки первоначальных прямолинейных «нет». Социализм лгал, приписывая себе свободу, демократию и социальную справедливость, но не совсем лгал, провозглашая себя новым, невиданным в истории обществом

(экая, впрочем, невидаль — невиданность в истории). Не могло быть и речи о каких-то его этических, человеческих преимуществах перед обществами прошлого, но в некоторых животных, утилитарных преимуществах ему нельзя было отказать. И будущим всего человечества, хотя не светлой утопией, а кошмарной антиутопией, он не то что наверняка, а имел опасность быть. Ответы на вопросы стали освобождаться и от той формы влияния директив марксизма, какой является отрицание, и все более опираться на собственные основания субъективного опыта. И в силу естественного свойства ответов порождать новые вопросы за первым шагом естественно последовал второй: постановка собственных, уже не индуцированных марксизмом вопросов, им замалчиваемых или ему чуждых. Множество конкретных вопросов в разнообразных плоскостях, но в общем сходящихся к единому центру: а что же на самом деле?

При всей тенденциозности, а зачастую и прямой лжи, история партии, которой нам заталмуживали мозги в институте, все же давала некоторые стантовые вехи возникновения и начального развития советского общества. Работы Ленина, которые нам полагалось штудировать и конспектировать, содержали не только требуемую для усвоения идеологию, но и реальные приметы времени и событий. При антимарксистской критической установке, при развиваемой точными науками склонности к анализу, при уже выработанной нашими специфическими условиями существования способности использовать самые недоброкачественные каналы информации — даже из таких источников можно извлечь многое, не предусмотренное ортодоксальной блошкой на каблучках, племянницей известной Землячки Асей Абрамовной Залкинд, нашим преподавателем с кафедры марксизма-ленинизма. А были и другие источники: живые свидетели и вещественные свидетельства, и собственные органы восприятия, и осмысливание окружающей действительности. Годы института были для меня годами осознания фантастической — или, может быть, вернее: превосходящей любую рациональную фантастику — истории Советского Союза.

Восстанавливая моим теперешним сознанием мое сознание конца 40-х годов, я должен выбросить из него все факты, вошедшие в него позже, в более либеральное цензурно-хрущевское время, и особенно в послехрущевское с его распространением внецензурного самиздата. Но это не так уж трудно, и, думается, я не делаю ошибки, утверждая, что последующее обогащение не выходило за рамки детализации в общих чертах сложившейся картины. Детали уточняли то, что раньше намечалось эскизно, подтверждали то, о чем раньше догадывались, они одевали фантастику в плоть и кровь — сами по

себе тоже фантастические или превосходящие любую фантастику. Но каких-либо принципиальных откровений, потребовавших существенных изменений общего плана, в них не содержалось.

И уже тогда, в конце 40-х, сформулировались главные, поныне фантастические, проблемы нашей истории. Как получилось, что революция, имевшая поначалу явно демократическое направление, привела к созданию столь централизованного, иерархического и бюрократического государства? Почему непременно атрибутами этого государства с первых же шагов стали беспардонная ложь и изуверская, никакими рациональными целями не объяснимая жестокость? Почему народ, совершивший революцию, так сразу превратился в разобщенную массу покорных, безвольных и запуганных рабов? Почему после столь непостижимых успехов в создании нового государства когорта ленинских соратников со столь же непостижимой легкостью была оттеснена, а затем и истреблена новыми людьми Сталина? И чем, несмотря на невероятные преступления и бессмысленные издержки нового строя — как экономические, так и в человеческом материале, — объясняются его успехи в индустриализации, с ее небывалыми темпами, и его прочность, столь ярко продемонстрированная Великой Отечественной войной? По западной терминологии, русское или советское чудо?

В последней фразе есть единственная и маленькая специфика того времени: перечисляя те же проблемы от лица сегодняшнего дня, я воздержался бы от упоминания небывалых темпов. Но тогда я не знал, что небывалые темпы были просто продолжением темпов царской России, прерванных войной 14-го года и революцией. И тогда еще не существовали, во всяком случае для нас, западногерманское, японское и прочие послевоенные экономические чудеса буржуазного мира. Было, правда, одно, безусловно тогда мне известное и столь же небывалое чудо — Германия Гитлера. Но тогда, сразу после войны, фашизм оставался еще, видимо, чересчур одиозным, чтобы ссылаться на него даже во внутреннем монологе. Впрочем, игнорирование национал-социалистического чуда имело и другую, более принципиальную причину: хоть и «национал», он все же был тоже социализмом, так что гитлеровское чудо скорее работало рука об руку со сталинским для доказательства преимущества социализма над загнивающим капитализмом, чем ему противостояло.

Чтобы покончить с небывалыми темпами, отмечу, что как студент технического вуза я имел представление о графиках насыщения и догадывался, что стране, выпускающей в год одну пару ботинок, легче удвоить продукцию, чем стране, имеющей развитую обувную промышленность, поднять ее выпуск на несколько процентов. Поэтому



к небывалым десятипроцентным приростам нашей экономики в годы первых пятилеток по сравнению с одно-, двухпроцентными приростами в Соединенных Штатах относился с более сдержанным восхищением, чем полагалось. Впрочем, все это отступление не имеет принципиального значения — пусть не небывалых, пусть просто высоких, пусть каких-то процентов — вполне достаточно для чуда.

Концепция «ан гран» социализма и его истории, к изложению которой я перехожу, была попыткой ответа на перечисленные выше вопросы, естественным заполнением вакуума, остающегося после отбрасывания официальной марксистской шелухи. Она была не результатом направленной разработки, а, скорее, просто констатацией очевидностей с привлечением уже имевшегося в наличии фона знаний и представлений. Не будучи также результатом неожиданного откровения, понемногу складываясь в организующую сознание систему из отдельных подолгу примеряемых и отстаивающихся мыслей, она вряд ли может претендовать на более точную датировку, чем конец 40-х — начало 50-х годов. По-видимому, ее основные контуры наметились на последних курсах института, а начало «оттепели» уже застало ее сложившейся и утвержденной.

Конечно, полного и не иллюзорного ответа на породившие ее проблемы, на что я первоначально наивно надеялся, она не дала и не могла дать — требовать или приписывать такие способности любым теориям «ан гран» можно разве что на уровне марксистского начетничества. Но, как мне представлялось, она все же освещала пути возможных ответов, давала исходную основу для исследований и решений и с этой точки зрения меня удовлетворяла. О моем теперешнем отношении к концепции я скажу несколько слов позже, после ее изложения.

Итак, конспективно, без деталей, концепция «ан гран» года рождения, скажем, 1950-го, в изложении четверть века спустя:

*Небольшое пояснение к терминологии:* социализмом, в соответствии с официальным словоупотреблением, именуется общественно-экономический строй, реально сложившийся в нашей стране и в тот момент только начинавший распространяться на некоторые другие государства. Соответственно, термин освобождается от каких-либо ассоциаций, связанных с утопиями прошлого, или бытующими представлениями, или программами современных социалистических партий Запада. Социализм обладает только теми свойствами, которые реально присутствуют в названном так рассматриваемом объекте. Обиходные выражения типа: «Да какой это социализм?», «Тут социализмом и не пахнет» — бессмысленны.

Согласно официальному же словоупотреблению, термин «коммунизм» резервируется за некоторой абстрактностью схемы будущего



Петр Павлович Подъяпольский, дед Григория Подъяпольского, естествоиспытатель, врач-психиатр, общественный деятель



Анна Владимировна Ярцева (урожденная Вишнякова)  
и Григорий Федорович Ярцев – бабка и дед  
Григория Подъяпольского. Ялта, 1890-е годы



Ялта, конец 1890-х годов. Слева направо: Григорий Федорович Ярцев, Алексей Максимович Горький, Леонид Владимирович Средин



Отец Григория Подъяпольского Сергей Петрович  
Подъяпольский со своими сестрами (слева направо)  
Натальей, Еленой и Ольгой



Сестры Ярцевы (слева направо): Ольга, Мария, Анна,  
Татьяна, Наталья, Екатерина



Семья Подъяпольских в Ташкенте, 1927 год.  
Сидят: родители Григория Подъяпольского Сергей Петрович  
и Анна Григорьевна с маленьким Гришей на руках.  
Стоят: Ольга Григорьевна Иванова, сестра Анны Григорьевны,  
и ее дочь Ирина



Гриша Подъяпольский (справа) с братом Сереей. 1936 год



Анна Григорьевна Подъяпольская с сыновьями Сереей и Гришей (справа). Москва, Фили, 1930-е годы



Григорий Подъяпольский, молодой геофизик





Мария Гавриловна Петренко. Начало 50-х годов



Туркмения, 1952 год. Мария Гавриловна и Григорий Сергеевич на исследовании трассы несостоявшегося канала



Мария Гавриловна и Григорий Сергеевич в Крыму. Середина 1950-х годов



Шахматный турнир в ГЕОФИАНе. 1950-е годы



Григорий Подъяпольский. 1960 год



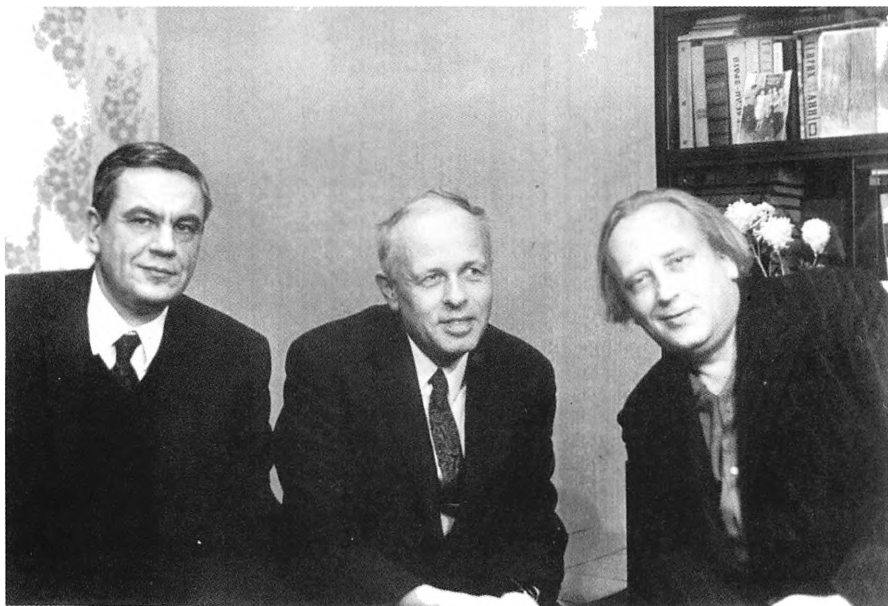
Григорий Подъяпольский и Леонид Флитман.  
Счастлирое ГЕОФИАНовское время



Григорий Подъяпольский читает стихи.  
Слушают: его брат Сергей, племянница Ирина Кристи  
и Екатерина Григорьевна Василенко (урожденная Ярцева).  
Москва, начало 1960-х годов



Члены Инициативной группы по защите прав человека  
в СССР. Слева направо: С.А.Ковалев, Т.С.Ходорович,  
Т.М.Великанова, Г.С.Подъяпольский, А.Э.Краснов-Левитин.  
1969 год



Комитет по правам человека.

Слева направо: И.Р.Шафаревич, А.Д.Сахаров, Г.С.Подъяпольский.

1972 год



Петр Григорьевич Григоренко, Лев Зиновьевич Копелев  
и Григорий Подъяпольский. На пороге 1970-х годов



Андрей Дмитриевич Сахаров и Григорий Подъяпольский.  
1975 год



Григорий Подъяпольский. 1975 год





Последняя фотография Григория Подъяпольского.  
1976 год

общества. Поскольку в настоящее время такого объекта в природе нет, а совпадение будущей реальности с современным представлением о ней в высшей степени сомнительно, термин означает, в сущности, пустое место и не употребляется. Не исключено, конечно, что в какой-то момент у нас или где-нибудь еще будет объявлено построение коммунизма. В этом гипотетическом случае термин придется ввести, а поименованный им объект исследовать.

*Социализм как высшая стадия капитализма.* Социализм не является, как нас учат, новой, пятой по счету общественно-экономической формацией. Он есть такая же модификация капиталистической формации, как дворянско-абсолютистский строй был модификацией формации феодальной. Аналогии можно найти и для рабовладельческой формации. Невыход за пределы исходной формации во всех случаях одинаков – отсутствие принципиального изменения в основной для данной формации области производства и в социальном положении основного производителя. Как и при классическом капитализме, ведущей областью производства при социализме остается машинная индустрия, а основным производителем – рабочий, продающий свой труд за заработную плату, следовательно, в принципе, лично свободный, не имеющий собственности и не принимающий участия в управлении производством. Здесь категорически отменяются возражения как адептов социализма о якобы осуществленной при нем власти трудящихся, так и его хулителей, преувеличивающих значение для него принудительного труда. Огромная сеть лагерей, опутавших всю страну (это не сегодняшняя вставка: не закрывающие глаза и тогда знали об их существовании), колхозы, а в тот момент и прикрепление к предприятиям вообще всех граждан СССР – все это, конечно, было и само по себе требовало объяснения. И все же экономической основой социализма всегда оставался не принудительный, а капиталистический наемный труд.

*Особенность социалистической стадии капитализма* – очевидно и тривиально. Это – государственная монополия на средства производства, соответственно, отсутствие частной собственности на нее и класса капиталистов, то есть свободных предпринимателей.

*Новый класс.* Таким образом, социализм отличается от капитализма классического варианта трансформацией высшего, правящего класса общества при сохранении опорных низов социальной лестницы. Здесь мы имеем полную аналогию с феодальной формацией, с ликвидацией класса независимых владельцев при возникновении абсолютных монархий и с переходом власти к служилому дворянству. Любопытно, что для обозначения правящего класса при социализме

я задолго до Джиласа употреблял во внутреннем монологе выражение «новый класс» — видимо, по тем же причинам отсутствия подходящего термина и естественной синонимичности нового, еще не имеющего названия. Впрочем, название «новый класс» всегда ощущалось мною условным иксом, заменяющим ненайденное слово, и я бы не решился возвести его в статус термина ввиду его очевидной для меня прямой и буквальной неверности (как теперь догадываюсь, для терминологии обстоятельство совершенно несущественное). «Новый класс» социализма отнюдь не есть новое порождение именно социалистической формации, он давно сформировался и приобретает все большее значение и в странах классического капитализма. К нему принадлежит вся та значительная и не вполне четко определенная часть капиталистического общества, которая не входит в число ни собственников, ни прямых производителей, но занимается управлением и организацией за заработную плату, иными словами, функционирует и присваивает свою долю общественного богатства в принципе таким же образом, как и представители правящего класса СССР. Специфика социализма — не в наличии нового класса, а в его безраздельной, ничем не ограниченной диктатуре. Последнее обстоятельство, естественно, придает новому классу при социализме некоторые отличительные особенности второго порядка (то есть в широких пределах вариации любых классов в историческом времени и пространстве).

*Преимущество социализма над капитализмом* есть тривиальное в истории преимущество организационно спаянного правящего класса над его индивидуалистической разобщенностью, диктатуры над демократией, абсолютной монархии над феодальной раздробленностью, Римской империи над греческими полисами. Не лицемерно провозглашаемое отсутствие эксплуатации трудящихся, а, наоборот, возможность эксплуатации, недостижимая для более ранних и демократических форм капитализма. Не освобождение общества из-под гнета правящей верхушки, а, наоборот, его полное порабощение и подчинение коллективной воле правящего нового класса. Формально сохранив некоторые самостоятельные институты менее централизованных обществ, например профсоюзы и Церковь, социализм фактически выхолостил из них всякую самостоятельность, всецело подчинив их своему контролю.

Оригинальность социализма по сравнению с аналогичными ему завершающими стадиями предыдущих формаций заключается в выработке вместо единственной дотоле известной формы предельной организации правящего класса — наследственной абсолютной монархии — новой формы неограниченного господства над обществом:

*партийной диктатуры.* Феномену можно дать, конечно, множество объяснений, но единственно бесспорным, видимо, является лишь эмпирический факт ее возникновения и существования. Своих тогдашних описаний феномена не привожу, они содержали небольшую толику того, что ныне можно считать общеизвестным, и ничего по сравнению с ним оригинального. Нельзя утверждать, что партийная диктатура — в принципе единственная форма организации господства нового класса над обществом, и даже гарантировать, что социализм, если ему предстоит достаточно длительное существование, никогда не вернется к традиционной форме наследственной монархии, как это ни представляется сейчас немыслимым. Здесь напомним, что в тогдашнее время партийная диктатура явно прогрессировала в сторону традиционной монархии и что Римская империя на протяжении первых двухсот лет продолжала выдавать себя за республику, кстати, по весьма понятной нам причине несоответствия монархии исповедуемой на словах политической идеологии.

*История СССР* в свете концепции: диктатура нового класса вряд ли возникла в результате целенаправленной именно на нее организационной деятельности какой-либо группы или личности. Ленинская партия большевиков, захватившая власть в октябре 1917 года, видимо, в основном довольно искренне мечтала о фантастическом коммунистическом обществе под эгидой рабочего класса, а себя считала выразителем воли этого класса.

Но выразителям воли, захватившим власть, надо пить-есть и удовлетворять некоторые другие, связанные с властью потребности, и никакого другого источника для удовлетворения этих потребностей, кроме эксплуатации трудящихся масс, к сожалению, не существует (не считая, конечно, быстро иссякающих источников типа конфискации). Ввиду взятой на себя организаторской роли в построении нового общества и принципиального отказа от частной собственности выразители воли не могли стать по своему социальному бытию ничем, кроме как представителем нового класса, и в силу своего руководящего положения — его верхушкой, его элитой и ядром консолидации. Создающийся новый государственный аппарат способствовал бурному численному росту нового класса, заполняющему все его звенья. (Государственный аппарат здесь понимается в специфическом для социализма широком смысле, то есть включая и собственно административный, и специфический партийный, и производственно-управленческий.) Диктатура нового класса возникла не в силу чьей-либо индивидуальной злой воли, а как единственная реально возможная классовая структура нового общества, неизбежно возникшего на обломках рухнувшей Российской империи. Естественно

возникшая партийная диктатура, возможно, является и случайным обстоятельством, так как в принципе мыслима консолидация нового класса и около других ядер.

Какая-либо статистика о социально-генетическом составе нового класса СССР мне не была известна, я мог делать лишь логические догадки и незаконно интерполировать мизерные данные собственных случайных контактов. Думается, несмотря на диктатуру пролетариата, процент выходцев непосредственно из «трудящихся» был не подавляюще велик, причем из крестьян больше, чем из рабочих, гораздо больше — бывших трудящихся или их детей, претерпевших интенсивную деклассацию разного рода во время превратностей войны, революции и ее последствий. Не так уж мал был контингент из относительно привилегированных классов царской России, от мелкой интеллигенции до высшей аристократии. Наиболее же массовым поставщиком нового класса, более всего сформировавшим его психологическую физиономию, мне представлялось городское мещанство, мелкое лавочничество, страшное и неприглядное темное царство царской России... Впрочем, физиономия могла сформироваться и без такого генезиса, за счет самого переплава в новый класс, стирающего индивидуальные черты исходных классов и оставляющего одну общеклассовую: животный эгоизм.

Головокружительные успехи новой власти на всех фронтах ее деятельности определялись тем обстоятельством, что почти все ее шаги, как вызванные прямой необходимостью самосохранения, так и субъективно диктуемые целью построения коммунистического общества, объективно соответствовали эгоистическим интересам нового класса. Ликвидация всех старых эксплуататорских классов? Что ж, новому классу нужно расчищенное место. Обобществление средств производства? Диктатура нового класса и заключается в управлении обобществленным производством. Создание против реставраторов капитализма всемогущей карательной организации? Новому классу нужна всемогущая карательная организация, и не только против реставраторов капитализма. Временное подавление, ввиду чрезвычайных обстоятельств, демократических свобод? Новому классу вообще ни к чему демократические свободы. И так далее, и так далее, список таких совпадений можно продолжить почти неограниченно.

И на этом фоне — контрастный провал в тех редчайших случаях, когда коммунистическая идеология отрывалась от интересов нового класса. Беспомощные истерические вопли Ленина по поводу губящей коммунизм бюрократизации советской власти... Но новому классу была нужна бюрократизация советской власти.

И безусловно отвечающим интересам нового класса было само привнесенное коммунистической партией учение о коммунизме как светлой цели нового общества. Не столько для одурачивания народных масс (первое наивное предположение), сколько для собственного, нового класса, самоутверждения и самооправдания (второе и более зрелое).

Не исключено, что самопотребность нового класса в самоутверждении и самооправдании свидетельствует о моральном прогрессе человеческого рода: диктатуры старых классов не доросли до таких претензий, во всяком случае обходились более примитивными способами самоутверждения и самооправдания. Но результат морального прогресса оказался трагическим и парадоксальным: диктатура нового класса превзошла диктатуру старых и своей разнузданностью, и своим лицемерием. За последнее, впрочем, отчасти ответствен и научно-технический прогресс, предоставивший новому классу ряд неизвестных ранее технических средств для поддержания всеобъемлющей диктатуры. Симбиоз насилия и лжи — гипернасилия и гиперлжи — сделался атрибутом диктатуры нового класса с самого начала ее становления. Думаю, для всякого мало-мальски знакомого с реальным социализмом очевидна логическая схема такого симбиоза: ложь нуждается в насилии для своего утверждения в человеческих мозгах, насилие нуждается во лжи как для своего обоснования, так и для сокрытия своих истинных масштабов и реальной физиономии.

В те далекие раннепятидесятые годы эта логическая схема симбиоза была для меня уже давно очевидной. И ввиду распространенных как у нас, так и на Западе гораздо позже, вплоть до сегодня, представлений об «извращениях» социализма специально подчеркну также, что мое представление об атрибутивности, неотъемлемости от социализма вышеуказанного симбиоза было безусловно моим тогдашним.

Зародыши лицемерия имелись, конечно, и в первоначальной, еще не внесенной на потребу нового класса коммунистической идеологии — как они, вероятно, присутствуют в любой догматической вере, априорно отвергающей возможность сомнения. Специфика (возможно, не такая уж даже и специфика) коммунистической веры благоприятствовала развитию ростков. Вера провозглашала верность идеалу высшей человеческой добродетели — просто честности, следовательно, автоматически попадала в низшую, а в случае расхождения с идеалом становилась и вовсе не добродетелью — пороком, требующим искоренения преступлением. Слово в человеческих устах для коммуниста — это прежде всего средство агитации, пропаганды, и весьма второстепенное значение имеют прочие его функ-

ции, как-то: передачи нейтральной информации, обмена мнениями и инструмента исследования. (Упомяну здесь вскользь, хотя и воздержусь от развития темы, о многих точках соприкосновения высоко теоретической коммунистической идеологии с примитивной животнo-эгоистической мещанской психологией. В частности, для мещанина и хама тоже характерно узкоутилитарное, агитационно-пропагандное отношение к слову. Не такие ли точки соприкосновения даже более, чем соответствие практической деятельности его интересам, предопределили принятие новым классом именно коммунистической идеологии и партийной структуры? И самое соответствие — не вытекает ли оно из таких более глубоких точек соприкосновения?)

Но окончательная и полная победа нового класса не могла не обернуться трагедией и для одержавшей эту победу коммунистической партии большевиков. Коммунистическая идеология продолжала оставаться нужной новому классу и на вершине его победы, но ему стала не нужна и даже опасна та степень искренности веры в нее, которая, пусть хотя бы в абстракции, могла бы оказаться в конфликте с его прямыми и кровными эгоистическими интересами. На какие бы сделки со своей коммунистической совестью ни шла стальная ленинская гвардия в чаду своих успехов, собственных эгоистических устремлений и облагороженных партийным знаменем стадных инстинктов, она все же оставалась чуждой новому классу — и по социальному генезису, и по своему самодеятельному энтузиазму, и по индивидуальной яркости. Мавры революции сделали свое дело и должны были уйти. Установление надпартийного сталинского единовластия, сопроводившееся физическим уничтожением всех, за исключением нескольких ничтожеств, старых ленинских соратников, было, таким образом, естественным завершением построения социализма в СССР, последним шагом нового класса на вершину диктатуры. Несмотря на остатки революционной фразеологии и внешнее потрясение войны, социализм к моменту его восприятия моим юношеским сознанием был уже установившимся, стабильным и глубоко консервативным обществом.

Трактовка добавления: высшая—последняя—тупиковая—бесперспективная. Но добавления требовали самостоятельного и сугубо осторожного обоснования: слишком легко они могли оказаться следствием личного отношения, стремления принять желаемое за действительное. Историческая аналогия с завершающими стадиями предшествующих формаций была некоторым доводом в их пользу, но явно недостаточным: слишком мало формаций прошло в истории человечества, и каждая из них в большей степени характеризуется инди-

видуальным своеобразием, чем их совокупность общими закономерностями. Любой эмпирический прогноз на основе усмотренной общей тенденции может поэтому с почти одинаковой вероятностью как сбыться ввиду ее сохранения, так и не сбыться ввиду ее нарушения — и это в полной мере относится к неизбежности гибели и смены формаций. Да и будущее человечества в виде бесконечной череды сменяющихся друг друга формаций столь же не представимо, как и в виде навсегда установившейся предельной социальной структуры. Учение о коммунизме как о светлом будущем человечества нелепо не альтернативно, а лишь потому, что любое предначертание бесконечного или завершающегося будущего принципиально есть покушение с негодными средствами.

Вопрос о последней стадии требует, таким образом, не только осторожного ответа, но и сугубо осторожной, ограничительной формулировки: каковы основания полагать, что капиталистическая формация, включая ее социалистическую стадию, не является последней в социальном развитии человечества? Каковы основания полагать, что капитализм не будет иметь постсоциалистических стадий, не имеющих аналога в предшествующих формациях? Каковы вообще основания предполагать неизбежную гибель социализма как социальной структуры? Причем под основаниями здесь подразумеваются не общие соображения «ан гран», а непосредственно наблюдаемые и сугубо конкретные факты.

Ограничивая себя целью описания своего сознания и потому воздерживаясь от развернутых ответов, я лишь замечу, что в запрашиваемых основаниях никоим образом не ощущалось недостатка. Несколькими страницами выше я перечислил ряд преимуществ социализма над классическим капитализмом; нетрудно увидеть двусмысленность этих преимуществ и их тривиальную обратимость в запрашиваемые основания. Иными словами, бесперспективность социализма — это оборотная сторона самого его совершенства как общества неограниченного господства нового класса. Нет недостатка и в прямых свидетельствах того, что, достигнув такого господства, новый класс тотчас пошел по избитому пути всех правящих классов: ретроградности, подавления всего живого и нового и перерождения из организатора нового общества в паразитирующего на нем потребителя. Моральная, интеллектуальная и культурная деградация советского общества под мертвящим влиянием партийной диктатуры нового класса была явным следствием процесса перерождения.

Концепция социализма как высшей и последней стадии капиталистической формации не могла, однако, ограничиться одной только критикой социализма изнутри. Она требовала и внешнего добав-



ления, указания на реальную возможность кардинальной социальной перестройки, хотя бы смутного представления о будущей посткапиталистической формации. Представления, избегающего соблазнов определенности и идеализации и ограничивающегося лишь незначительной интерполяцией достаточно определившихся тенденций современных социальных процессов. Иными словами, речь должна идти не об утопической модели будущей формации, а об уже проявляющихся ее зачатках в современном мире.

Такие зачатки я тогда преимущественно связывал с многообразными аспектами научно-технической революции (НТР). Начавшись в эпоху повсеместного господства капиталистической формации, порожденная и первоначально развиваемая потребностями капиталистического производства, НТР по мере развития все более становилась самоподдерживающимся процессом, способным скорее преобразовывать, а в перспективе и ломать существующую социальную структуру, чем подчиняться ее ограничениям.

Преобразующее влияние НТР давно коснулось самого производства. Его структура — давно отмеченное возрастание в производстве значения нематериального: информационного и, следовательно, интеллектуального фактора. Но также — и в перспективе это, возможно, не менее существенно — его цели: если основой капиталистической формации было массовое индустриальное производство однородных предметов индивидуального потребления, то с развитием НТР все больший удельный вес занимает создание уникальных сверхпредметов коллективного использования, в том числе и порождаемых потребностями самой НТР. В рассматриваемые 50-е годы я мог привести лишь немногие примеры таких сверхпредметов: например, единые энергосистемы в масштабе государств или объединений государств или крупные гидротехнические сооружения. От упоминания более ярких, но более поздних примеров воздержусь.

Но более важными, чем непосредственное влияние на производство, мне представлялись социальные последствия НТР, и прежде всего формирование научно-технической интеллигенции как многочисленного и творчески ведущего класса современного общества. Сама НТР была делом рук — мозгов — интеллигенции, а правящие классы как классического капитализма, так и социализма — только потребителями, использующими ее результаты. Возвращаясь к исторической аналогии, мы можем сопоставить положение интеллигенции в современном мире с положением экономически уже лидирующей, но политически еще подчиненной и психологически еще не созревшей для иной роли буржуазии в период процветающих абсолютных монархий позднего феодализма. Безотносительно к лю-

бым аналогиям противоречие между творчески активной интеллигенцией и паразитическими правящими классами различных модификаций капиталистической формации становится главным и все возрастающим социальным напряжением современного мира.

В некоторых отношениях социализм более соответствует потребностям НТР, чем классический капитализм. Например, создание уникальных сверхобъектов как будто легче осуществляется в условиях централизованной диктатуры нового класса. Социализм формировался под воздействием множества факторов, в том числе и уже начавшейся научно-технической революции, и без некоторых преимуществ такого рода вообще не мог бы существовать. В целом, однако, социализм с его партийной диктатурой нового класса, своим острием все более направляемой в первую очередь против прогрессивной интеллигенции, гипертрофией паразитического бюрократического аппарата и идеологическим обскурантизмом служит, по-видимому, более жестким тормозом на пути дальнейшего развития общества, чем классический капитализм, организационно менее совершенный и потому эволюционно более гибкий. Не случайно, несмотря на «отсталость» своей социальной системы, страны капиталистического Запада в развитии НТР продолжают оставаться лидирующими. Вероятно, у них больше шансов перейти к новой социально-экономической формации эволюционным путем (не исключено, что такой процесс там фактически уже происходит), чем у социализма, где трудно представить другую возможность социального прогресса, кроме насильственной ликвидации партийно-идеологической диктатуры нового класса. Но пока разумнее воздерживаться от прогнозов путей и сроков, видимо, назревающих социальных изменений.

На этом я, пожалуй, оборву изложение моей концепции 50-го года. Опускаю не только множество деталей, но и большие разделы, например о единстве и разделенности современного человечества, — глава эта и так растянулась непомерно для автобиографического фрагмента. Но и вовсе об этом ничего не сказать тоже было нельзя: концепция определила все мое последующее миропонимание, мироощущение — не потому, что я навсегда в ней бесповоротно утвердился, а потому, что неоднократно подвергаемая сомнению в отдельных частях, в целом она все-таки осталась остовом для закрепления отдельных мыслей, и последующий опыт не столкнул меня с какими-либо принципиальными опровержениями ни позже случившимися фактами, ни позже узанными альтернативными конструкциями.

И все же первоначальное восторженное удовлетворение концепцией с течением времени заметно поблекло — скорее спонтанно, чем под влиянием каких-либо коллизий. Концепция не претерпела кру-

шения или даже существенных перестроек, она осталась на своем почетном месте, но я сам отошел от того места и увидел ее в другом ракурсе.

«Ан гран»... Я и теперь не против «ан гран» или, по-научному, обобщающих схем. Они нужны для организации нашего сознания, интересны сами по себе для любителя, а иногда даже полезны для понимания конкретных вещей. Но с течением времени мой интерес все более смещался в сторону именно конкретных вещей, для которых польза концепции «ан гран» все-таки весьма относительна. Да и сами концепции не жизненны ли лишь непосредственной опорой на конкретные вещи?

Возьму для пояснения один из вопросов, послуживших стимулом к созданию концепции: чем объяснить массовые репрессии уже победившего социализма? Дала ли концепция на него ответ? Отчасти, да. Репрессии не вписывались в социализм как власть простых и честных тружеников, но вполне уживались с властью паразитического нового класса. Но масштабы репрессий все же оставались необъяснимыми. Другие господствующие классы тоже бывали животво-эгоистическими, но обходились без таких гекатомб. И неспособность большего объяснения была, очевидно, недостатком не моей индивидуальной концепции, а любых концепций «ан гран». Если объяснение вообще достижимо, то лишь на пути конкретного и всестороннего исследования социалистического общества в СССР.

Примерно то же можно сказать об исторических аналогиях, занимающих в моей концепции заметное место. Я и теперь не против исторических аналогий. То, что происходит с обществом при установлении социалистической партийной диктатуры, очень похоже на превращение гордых римлян времен республики в пресмыкающихся лизоблюдов времен империи. И это, мне представляется, не случайное сходство, а глубокая аналогия, захватывающая и причины, и логические связи, и психологические проявления, и многие другие, порой самые неожиданные, аспекты обоих превращений. Но аналогии относительны, и трудно определима в них грань между продолжением и прекращением. И тут снова превыше всего — конкретности. Я уже не говорю о том, что лучше, всей шкурой мы знаем происходящее с нами, и скорее на собственном опыте можем понять гордых римлян, чем наоборот. Вот разве будущее гордых римлян известно нам лучше собственного.

Отдаление от концепции шло и в сторону этики. Концепция, отчасти преднамеренно, избегала явного переноса в этическую плоскость — может быть, и просто как одно из неизбежных влияний марксизма на мое сознание, но и не без поползновения сокрушить

его на его метрополюной социально-исторической территории. Но мое субъективное отношение к социализму все же определялось не его трактовкой как общества диктатуры того или иного класса и не его перспективностью или бесперспективностью как социальной структуры, а его бюрократической бесчеловечностью и догматической лживостью. И если будущая социальная формация с ее какими угодно научными и техническими достижениями и рациональностью социальной структуры не окажется вдобавок и более человеческой, никакого основания желать ее возникновения у меня нет. И не открывать или доказывать, а примитивно сознаваться приходилось: превыше всего все-таки этика.

Во избежание кривотолков и в завершение экскурса о моем сознании хочу заметить: ни с какой религиозностью моя этика не была связана. Этические нормы были во мне самом и не нуждались в санкционировании какой-либо Высшей Инстанции. И проблемы моей этики лежали не в теоретической плоскости: откуда она взялась? А в практической: чего она требует?

И — последнее: концепция почти ничем не способствовала выходу из катакомбного существования. Правда, она указывала на какие-то перспективы, но как стимул поведения они мало отличались от катакомбных лучших времен. Даже, казалось бы, наиболее доступное воздействие на массовое самосознание интеллигенции оставалось трудно прогнозируемым социально-психологическим процессом, и я не имел наивности надеяться на его эффективное подстегивание какими угодно откровениями. Только взрывчатые вещества взрываются от детонаторов. (О, милая и мудрая катакомбная психология с ее гипертрофированной ненаивностью, не позволяющей сделать ни шагу без полной гарантии эффективности, да и безопасности к тому же, а потому — не позволяющей никогда! С двойной страховкой!!)

И ощущения пессимизма концепция не рассеивала. Царство тирании установлено, но не на тысячу лет, дудки, обожрется и подавится, но на наш недолгий век, вероятно, дотянет. И будьте добры жить в нелепом и гнусном, да еще и обреченном мире.

С таким состоянием сознания я встретил 1953 год.

Я никогда не излагал в связанном виде на бумаге свою концепцию, вряд ли даже из осторожности. Доверял же бумаге по тем временам ничуть не менее опасные стихи. Просто не имел импульса, да и не благоприятствовала этому тогдашняя скитальческая и неустроенная жизнь. Было и одно прямо расхолаживающее соображение: концепция казалась абсолютно естественной, при тогдашней всеобщей разобщенности слишком большой представлялась вероятность, что ту же конструкцию давно уже кто-нибудь в более благоприятных условиях,

у нас или за границей, разработал и изложил гораздо лучше, чем мог бы я. Стоило ли вкладывать силы в чертежи плохого велосипеда?

И когда позже открылись шлюзы и концепции хлынули со всех сторон, отсутствие среди них моей оказалось для меня неожиданно. Значит, большим, чем мне представлялось, оказалось разнообразие человеческих сознаний. А что там и сям мелькали знакомые кусочки — было ожидаемым и должным: все-таки живем в одном мире и являемся представителями одного вида.

Но хрущевская «оттепель» явно вылезает за пределы этой главы, да и вообще из-под шапки автобиографических фрагментов. И на этом я возвращаюсь к маленькому мирку Института физики Земли.

## Глава шестая

### **Как Садовский стал директором Института физики Земли**

28 июня 1955 года от инфаркта, внезапно поразившего его на очередном рядовом заседании президиума Академии наук, умер Григорий Александрович Гамбурцев.

И когда отошел шок, вызванный этой неожиданной смертью («А мы видели его и говорили с ним всего за несколько часов, и кто бы мог подумать...»), встал вопрос, неизбежный и животрепещущий, о его преемнике на опустевшем кресле директора ГЕОФИАНа. И выяснилось, что не так-то просто подыскать подходящую кандидатуру.

Речь, конечно, не могла идти о полностью равноценной замене — другой такой же крупной фигуры, как Гамбурцев, не было в тогдашней советской геофизике, как и в теперешней тоже. Но трудность оказалась большой — а в течение ряда лет и непреодолимой — даже со скидкой на неравноценность. Относительно крупных и авторитетных ученых в многочисленных разветвлениях геофизики было довольно много — и в самом институте, и вне его, — но по тем или иным причинам все они не подходили: по узости профиля, отсутствию административной жилки или просто недоверию к ним вышестоящей администрации. Впрочем, главным барьером был, по видимому, тот, что, согласно то ли писаной, то ли неписаной табели о рангах, директором столь важного «головного» научного учреждения,

как ГЕОФИАН, должен был быть действительный член Академии наук СССР или, на худой конец, член-корреспондент, а таковых тогда (в отличие от ныне) среди геофизиков почти не было.

На протяжении семи долгих лет — меньше царствовал на Руси Борис Годунов и правил Ленин — проблема оставалась неразрешимой, и ГЕОФИАН, переименованный в 1956 году в ИФЗ, существовал без директора, пробавляясь «и.о.» и «врио», — и, по мнению одних, постепенно хирел, а по мнению других, продолжал нормально функционировать, развивая, в меру своих возможностей, геофизическую науку.

Хотя и с некоторыми оговорками, я лично склонен присоединиться ко второму из этих мнений. Потеря большого ученого Г.А.Гамбурцева была большим ударом для института и сама по себе отразилась на нем гораздо больше, чем отсутствие директора. Самый факт столь продолжительного бездиректорского существования одного из крупнейших институтов Академии наук СССР, вероятно, высоко поучителен и наводит на глубоко философский и социальный вопрос: а нужны ли вообще директора? Но я не буду предрешать на него ответа (очевидно, требующего квалифицированного и детального исследования всех аспектов этой проблемы) и удовольствуюсь тем, что поставил его перед читателем. Не исключено, что на него вообще бессмысленно давать абстрактный ответ без учета конкретных обстоятельств: когда директор института — ученый и человек большого масштаба Гамбурцев, он, вероятно, приносит институту некоторую пользу; когда на его место садится безграмотный прохиндей Садовский, он может способствовать лишь деградации института, и лучше институту прозябать без директора не семь, а семижды семьдесят лет, чем обогатиться таким директором. На уровне государственных интересов вопрос, таким образом, конкретизируется так: окупает ли польза, приносимая директором типа Гамбурцева, вред, причиняемый директорами типа Садовского? Учитывая исключительность первого и распространенность второго типа директоров, а также то общеизвестное обстоятельство, что портить легче, чем созидать, можно, по-видимому, несколько сомневаться.

В момент смерти Гамбурцева в ГЕОФИАНе не было других действительных членов АН СССР и был (если не изменяет память) только один член-корреспондент: математик и гравиметрист Михаил Сергеевич Молоденский.

Скромнейший, мягчайший и интеллигентнейший, Михаил Сергеевич менее чем кто бы то ни было претендовал на вакантное директорское кресло, но табель о рангах указала перстом в первую очередь именно на него. Несмотря на свою мягкость, он довольно долго твердо

отклонял предлагаемую ему высокую честь, но из-за своей мягкости в конце концов все-таки согласился — кажется, впрочем, не на полного директора, а на и.о. или врио.

С эфемерным директорством Молоденского у меня в памяти связан один забавный эпизод, не имеющий никакого отношения к делу и который я поэтому расскажу. Напомню, что его директорство совпало с разгаром хрущевской «оттепели», разоблачением культа личности на XX съезде и прочими, ныне уже ставшими достоянием истории, веселыми событиями, — а если не совсем совпало (не ручаюсь здесь за свою память), то было по времени весьма близко. Процветал «Новый мир» с его проповедью и защитой маленького человека, и пробуждалась доселе небывалая в нашем обществе жажда деятельности в неосознанном направлении, ждущая только повода, чтобы излиться. В Институте физики Земли такой повод нашелся в животрепещущей области жилищной проблемы.

Как и повсюду в те годы, в ИФЗ было много людей — в первую очередь, конечно, маленьких: вычислителей, обслуживающего персонала, отчасти младших научных сотрудников, остро нуждавшихся в жилплощади: живущих в подвалах и пришедших в негодность помещений, по шесть человек на крошечную комнатку, и так далее. Жилищная комиссия профкома время от времени обследовала положение таких нуждающихся и устанавливала списки их очередности в получении жилплощади — более или менее в соответствии с действительной остротой. В предыдущие годы, однако, такие списки имели чисто академическое значение, так как жилплощади институт почти не получал, а если получал, то по особому фонду — для высокопоставленных... Помню, при поступлении в институт в 1953 году я был официально предупрежден, что с жилфондом в институте дело обстоит туго и какими бы плохими ни были у меня квартирные условия, ни на какие улучшения в пределах обозримого будущего я не могу рассчитывать.

С развитием при Хрущеве жилищного строительства кое-какие квадратные метры начали перепадать и на рядовой жилфонд ИФЗ, и списки с их очередностью приобрели актуальность.

И вот выяснилось, что в момент, когда институт только что получил сколько-то вождеденных квадратных метров, чья-то властная партийно-административная рука, минуя профком, перекорректировала единым махом списки, выработанные многолетними трудами ряда жилищных комиссий, оттеснив остро нуждающихся и выдвинув на первые места каких-то парт-адм-хоздеятелей, желающих улучшить свое, может быть, и не блестящее, но все же относительно сносное жилблагополучие.

Не помню сейчас, какими судьбами (видимо, по свойству характера) я оказался в составе стихийно возникшей делегации, рьяно взявшейся за установление справедливости в этом деле. Члены жилищной комиссии профкома входили, кажется, в ее состав, но я отнюдь в этом не уверен. Твердо знаю только, что никто из участников делегации не состоял ни в каких списках, не нуждался лично в жилплощади и все мы двинулись единственно чувством справедливости и новомирского человеколюбия. Смутно помню наш в высшей степени резкий разговор с тогдашним секретарем парторганизации института, видимо, причастным к изменению списков, — не буду называть все его имя: он вскоре умер. Он пытался отшить нас под тем предлогом, что никто-де нас не уполномочивал, — что, конечно, было верно, но для нас совершенно не убедительно: именно самостоятельностью активности как выражением духа хрущевской «оттепели» дорожили мы в тот момент и требование уполномоченности не могли воспринимать иначе, как попытку реставрации недобитого сталинизма. Словом, страсти не утихомирились, а еще более распалились: и в составе нескольких разъяренных особ женского пола и возмущенных — мужского мы ринулись за справедливостью в директорский кабинет Молоденского.

Михаил Сергеевич ужасно смутился и засуетился, забегал по кабинету и принялся всех рассаживать. При сем оказалось, что число сидений в директорском кабинете, включая и собственное директорское кресло, в которое он галантно усадил одну из дам, в точности равно числу участников ворвавшейся делегации, так что сам он оказался без места и, невзирая на наши протесты, примостился в неудобной позе на краешке стола. Не поняв ничего из бессвязных восклицаний несколько смущенных таким приемом, но все еще пылающих благородным негодованием дам, он обратился к кому-то из более спокойных молодых людей, который и изложил относительно связно суть возникшего конфликта. Выслушав, Михаил Сергеевич заверил нас, что никогда доселе не знал ни про какие списки, что он самолично во всем разберется и не допустит никаких злоупотреблений. На прощание пожал всем руки и чуть не поблагодарил за оказанное доверие... Конца истории не помню, кажется, он действительно сделал все от него зависящее, и то ли списки были восстановлены в первоначальном виде, то ли нашелся какой-то еще удовлетворительный компромисс.

Еще рассказывают о Молоденском, что, став директором, он прежде всего предложил вообще ликвидировать директорский кабинет, отдав его под какую-то лабораторию (институт тогда, как и поныне, от недостатка рабочего помещения страдал тоже). А принимать по ад-



министративным делам как директор он мог бы де и у себя в отделе, выделив для этого специальные часы. Такое предложение, разумеется, не прошло: откажись от кабинета директор, что оставалось бы делать его заместителям? Перспектива лишиться своих кабинетов никак не могла их прельстить. Ученый с мировым именем, М.С. Молоденский не нуждался в кабинете для поддержания своего директорского престижа. У них же положение было другое, и позволить себе такую роскошь они не могли.

Если портрет обаятельного Михаила Сергеевича Молоденского хоть в какой-то степени у меня удался, то читатель должен догадаться сам, что человек такого склада был совершенно не приспособлен для директорского кресла в научном учреждении бюрократического государства и с административной точки зрения вряд ли можно было найти более неподходящую кандидатуру. И действительно, его правление было что-то чрезвычайно непродолжительным — не будь упомянутого забавного эпизода, я бы о его правлении, вероятно, забыл. Нажив на директорстве нервное расстройство, он незаметно вернулся к математическим исследованиям собственных колебаний геоида в своем тихом отделе.

Короткое правление Молоденского ничем не возмутило спокойного послегамбурцевского междуцарствия. Текущие административные функции более или менее удовлетворительно выполнялись дирекцией, состоящей из трех гамбурцевских замов, по мистическому совпадению с неведомым символическим смыслом всех троих Евгениев: Виллиамовича Каруса, Андреевича Корридалина и Сигизмундовича Борисевича. В науке все это были люди небольшие, один Борисевич из них ходил тогда в докторах, да и то во вспомогательной области сейсмической аппаратуры. Диктаторскими замашками никто из них, слава Богу, не обладал, и крупные ученые, возглавлявшие отделы, занимались интересующими их проблемами без помех или намеков с их стороны и, пожалуй, при сильном их содействии. Странники трактовки этого периода как загнивания приводили, конечно, некоторые доводы в пользу своего мнения — и не совсем безосновательно. Они указывали и на отсутствие общего направления в деятельности Института физики Земли, и на все возраставший сепаратизм отделов, и на то, что в этот период институт не создал принципиально новых методов исследования Земли (как КМПВ и ГС/З при Гамбурцеве), и на отсутствие представительной фигуры для отстаивания интересов института (в первую очередь, конечно, финансовых) перед Президиумом Академии, и вообще на отсутствие всесильной руки для наведения внутреннего порядка. При всей относительной справедливости не-

которых из этих доводов, думаю, больше было в них от простой психологии лягушек, мечтающих о царе на свою премудрую лягушачью голову.

Впрочем, лягушачья психология, хотя и распространенная среди сотрудников ИФЗ, вряд ли существенно повлияла на ход событий. Бездиректорству пусть через семь лет, но должен был наступить конец по гораздо более сильным причинам: и что так не положено, и что если директор институту не так уж необходим, то директорское кресло может быть кое-кому очень необходимо. Конкретно же воцарение в ИФЗ Михаила Александровича Садовского было вызвано причинами еще неизмеримо более сильными, связанными ни много ни мало как с международной политикой на высшем уровне.

Не ручаюсь за полную достоверность излагаемой ниже истории появления Садовского в ИФЗ — сам я ее свидетелем не был и от непосредственных участников события информации не получал. Я только слышал ее в том виде, который она приобрела после трех-четырех передаточных инстанций, подвергнувшись воздействию естественных искажений и, несомненно, художественных украшений и домыслов. Варианты, исходящие от разных лиц, несколько различались в деталях, а совпадение, как известно, тоже не есть безусловная гарантия истины, ибо может объясняться источником хотя и единым, но уже далеко не первоначальным. Разумнее, может быть, вообще отнести эту историю к фольклорному жанру — фольклор ведь рождается не только в темной деревне, но и в просвещенных коллективах научных учреждений.

Итак, самое начало 60-х годов XX века, в центре внимания всего мира переговоры между СССР и США о запрещении ядерных испытаний. В принципе обе стороны давно уже согласны, но возникает камень преткновения — вопрос о контроле за выполнением соглашения. Американцы упорно настаивают на инспекциях, снабженных соответствующими средствами регистрации и полномочиями, и на контрольных пунктах, взаимно располагаемых на территории другого государства. Советская сторона столь же упорно отклоняет инспекции как возможные центры шпионской деятельности и утверждает, что современные средства регистрации атомных и ядерных взрывов достаточно эффективны, чтобы уловить любой такой взрыв на чужой территории, наблюдая только за своей. Переговоры подробно обсуждались тогдашней печатью, и я только напоминаю о них забывшим.

Широкошумным совещаниям дипломатов сопутствовали более узкие совещания экспертов, обсуждавших технические аспекты пробле-

мы запрещения и, в частности, обнаружения ядерных взрывов. С воздушными и наземными взрывами дело было достаточно ясным — выбрасываемые в атмосферу и даже стратосферу продукты радиоактивного распада разносятся воздушными течениями по всему земному шару и могут регистрироваться в любой его точке, не требуя инспекций на месте. Но с подземными (на техническом языке: камуфлетными) взрывами, не проявляющими себя вдали ничем, кроме вызванных ими сотрясений горных пород, дело обстояло гораздо сложнее, и вопрос о том, как отличать сейсмические волны, вызванные таким взрывом, от волн, возбуждаемых естественным землетрясением или большими промышленными взрывами обычных взрывчатых веществ, оказался в центре бурных дискуссий и получил громкое официальное название: «Проблема распознавания подземных атомных и ядерных взрывов», быстро выродившееся в сокращенное: «Проблема распознавания». А по своей сути эта проблема явно относится к физике Земли — что и вывело последнюю на ринг международной дипломатии.

В одной из таких научных околодипломатических конференций по проблеме распознавания и приняли участие некоторые представители ИФЗ и других компетентных научных организаций Советского Союза, включая уже упоминавшегося В.И.Кейлис-Борока и М.А.Садовского, тогда еще члена-корреспондента АН СССР и заведующего сектором в Институте химической физики, считавшегося специалистом в области взрыва, но не имеющего отношения ни к ИФЗ, ни к геофизике вообще. Как водится, наша делегация с пеной у рта отстаивала точку зрения, соответствующую нашей дипломатической установке: что отличить взрывы от землетрясений вообще не представляет труда, так как у них различная характеристика направленности (не буду объяснять, что это такое; поверим, что и впрямь различная), а от обычных взрывов ядерные отличить нетрудно по интенсивности сейсмических волн. Американцы, естественно, возражали — но как-то туманно, не приводя серьезных доводов, а просто пожимая плечами или скептически замечая, что все же не так просто и не исключены некоторые практические трудности.

И вот на последнем заседании зашедшей в тупик конференции американский представитель (в одной из версий даже назывался по имени — Ганс Бете) неожиданно заявил: «Хватит нам играть друг с другом в прятки. Есть прекрасный способ произвести камуфлетный взрыв так, чтобы он не вызвал большего сейсмического эффекта, чем обычный промышленный, а то и просто остался бы незамеченным с другого континента. Способ настолько прост, что мы были уверены,

что вам он известен тоже, — и вы умалчиваете о нем только из соображений секретности и из-за невыгодности для отстаиваемой вами точки зрения. Однако, обсудив все ваши выступления, мы пришли к выводу, что, может быть, вы и вправду до него не додумались. И, посоветовавшись, решили вам его изложить».

И он показал с выкладками и оценками, что если произвести взрыв в центре достаточно большой подземной полости, созданной искусственно, или в естественной пещере, то его сейсмический эффект ослабится во много раз. Правда, чтобы полностью утаить ядерный взрыв большой мощности, полость должна быть какой-то неправдоподобно большой, но все же в принципе такая возможность имела, не говоря и о более реальной — скрыть действительную мощность произведенного ядерного взрыва.

Пришел черед нашей делегации мямлить маловразумительные возражения — потому, что действительно о такой возможности никто не подумал и к ее обсуждению не был подготовлен. Словом, конференция закончилась полным для нас конфузом, и будь сталинские времена, не миновать Садовскому вкупе с Кейлисом-Бороком продефилировать прямым маршем от берегов Гудзона к берегам Колумбы.

На их счастье, в Кремле сидел тогда не столь кровожадный, хотя и с волюнтаристскими замашками, Никита Сергеевич Хрущев. Он пришел в страшную ярость — но обрушился не на членов злополучной делегации, а на еще более злополучный Институт физики Земли: «Как, там целый институт занимается сейсмологией, тратит уйму денег, а к такому простому возражению не смог подготовить ответ! Позволил американцам втереть нам очки! Подать сюда ихнего директора!» — «Да нет там никакого директора, сидит там и.о., младший научный сотрудник, с грехом пополам кандидат наук Карус, что с такого возьмешь?» — «Ну, так дать им директора! И чтобы они там все научные игрушки к кузькиной матери бросили, а выдали мне, как конфетку, проблему распознавания!»

(От читателя, надеюсь, не укрылась главная неправдоподобность этой истории: нет чуда в том, что в Восточном полушарии стало известно, что происходило в Западном. Но как смогло стать известным на Большой Грузинской происходившее в Кремле?)

Так или не совсем так развивались события, но в договор о запрещении не попали подземные взрывы, а взрывник Садовский был назначен директором Института физики Земли. И въехал он туда на проблеме распознавания и с предложением переименовать институт чуть ли не в «обнаружения и распознавания атомных и ядерных взрывов» (о чем ходили первоначальные слухи) или, по крайней

мере, «физики Земли и взрыва» (о чем он официально заявил с трибуны конференц-зала ИФЗ).

К счастью, даже более слабый второй вариант переименования не осуществился. Административно институт продолжал подчиняться Президиуму Академии наук СССР, а более непосредственно — Отделению наук о Земле Президиума. А там сидели люди достаточно разумные, чтобы понимать, что игрушки, которыми занимается институт, — изучение строения земного шара, исследование землетрясений и сейсмичности и многое другое, — игрушки слишком принципиальные и важные, чтобы ломать их ради конъюнктурной и скороспелой проблемы распознавания. Вынужденные санкционировать назначение Садовского и включение проблемы распознавания в тематический план института, они твердо сказали «нет» прочим чересчур ретивым ломкам и переименованиям, да и сам Садовский, покуражившись на первых шагах, вскорости перестроился.

Проблему распознавания, как мухи мед, тут же облепили шустрые научные деятели, вроде того же неугомонного Кейлис-Борока — не ради нее самой, конечно, а ради штатного и финансового дождя, который из нее полился. При сем почти открыто исповедовалась архиновейшая и наипрогрессивнейшая философия: наука-де во всем мире существует на глупые заказы дураков-дельцов и умные ученые должны использовать такие заказы для собственного профита. Нет нужды, вероятно, добавлять, что дождь довольно скоро иссяк и с изменением международной конъюнктуры проблема распознавания откочевала на задворки институтской тематики, прозябая более в силу инерции, чем чьего бы то ни было к ней интереса. Последующий уход Хрущева на пенсию вряд ли даже особенно подстегнул этот неизбежный процесс.

Словом, как в песенке, которую мне в детстве напевала мама:

Пересохла речка,  
Обвалился мостик,  
Умерла овечка,  
Но остался хвостик.

Был заключен договор, ушел со сцены Хрущев, бесславно скончалась проблема распознавания, но Садовский остался директором Института физики Земли.

*[Пропуск в рукописи]*

## Оттепель

Смерть Сталина застала меня в Москве на камеральной обработке материалов Комплексной геофизической экспедиции по Главному Туркменскому каналу, на бурной начальной стадии романа с моей теперешней женой. По последней причине мое ощущение переломности момента, половодья, открывающихся горизонтов многократно усиливалось личным резонансом, но потому же оно было преобладающе эгоистическим и очень мало социальным. Инерция локальной линии жизни, с которой я начал биографическую главу о моем сознании, естественно, продолжалась и в половодье, и для того, чтобы появились заметные изменения, должно было утек еще очень много несомой половодьем воды. И картинки ранней оттепели, которыми я начну эту главу, были тогда для меня только попутной констатацией, неизбежной лишь постольку, поскольку глаза все же видели, уши слышали, а сознание не могло уж вовсе не работать над поступавшей от них информацией и не забрасывать в память некоторые яркие черточки.

Не исключаю aberrации личных настроений, но мне сейчас представляется, что «оттепельные» бактерии уже носились в воздухе еще до смерти Великого Вождя. Может быть, ее подсознательно предвкушали по простому счету его годов. Может быть, наше вечное «так дальше продолжаться не может» (хотя продолжается и продолжается) все же достигло и вправду некоторой критической точки. Может быть, уже начиналось подспудное шевеление в таинственных высших сферах и что-то оттуда распространялось по неведомым каналам. Лично для меня «оттепельной» воспринимается шальная, сбродная, временная Комплексная экспедиция, вырвавшая меня на весь 1952 год из угрюмой, тусклой, безнадежной Сибири в залитые солнцем Кара-Кумы под эгиду Центрального, сиречь Московского, геофизического треста Министерства геологии на самые длинные в моей жизни рубли Великой стройки коммунизма и в зарождающуюся любовь. И, по удивительным свойствам катакомбной психологии, этому ощущению еще присталинской «оттепельности» умудрялись не очень мешать все мои понимания: и страшного мира человеческих истреблений, возводящего Великие стройки, и пальцев тирании, сжимающих горло, и собственной причастности к этому миру скромным участием в изыскательских работах на трассе будущего канала — Великой стройки коммунизма, возводимой руками заключенных рабов.

В ортодоксальной печатной литературе с умилением и в оппозиционной самиздатовской с издевкой не раз писалось о всенародных рыданиях и скорби по поводу кончины величайшего то ли гения, то ли злодея всех времен и народов. По-моему, это такое же фантастическое преувеличение, как обе одноплановые, хотя и полярные трактовки сталинской персоны. Не исключаю, конечно, отдельных эксцессов индивидуальных и даже групповых рыданий, но как можно было их принять за всенародную скорбь вместо простой наведенной истерии, решительно отказываюсь понять. Вот разве концепция народа как быдла, присущая в равной мере и крайним ортодоксам, и крайним демократам, соблазнила их принять желаемое по концепции за действительное в натуре. Моя собственная далеко не слабая память не доносит до меня ни единого рыдания, но множество примеров совсем противоположного рода.

Помнится, в день официальной смерти я по какому-то производственному делу зашел в кабинет управляющего Центральным трестом и попал в момент, когда наш замполит — тогда в трестах Министерства геологии существовала такая, вскоре отмененная должность — в интимном административном кругу заканчивал свое индивидуальное излияние всенародной скорби. И меня прямо-таки поразила и явная фальшивая деланность его скорби, и почти демонстративное безучастие к ней всех остальных присутствовавших чиновников. И таково было единственное выражение скорби, которое я вообще могу лично засвидетельствовать. В кругу геофизических инженеров и техников, с которыми я тогда преимущественно общался, не было и помину о какой-либо скорби. Была возбужденность, вызванная страхами и надеждами. Всех охватило ожидание неведомых, но неизбежных перемен. Причудливая смесь еще подавленности и уже раскованности, которой единственно, а никак не всенародной скорбью можно объяснить дикую и трагическую Ходынку сталинских похорон.

Случайно ли, закономерен ли, символично ли, в напоминание ли о невозможности в наш век иного счастья, кроме как на человеческих костях, — сталинская Ходынка сыграла в моей жизни особую и неисповедимую роль: фона, а может быть, и инициатора, решительного любовного объяснения. В компании молодежи из Центрального геофизического треста мы договорились пойти на объявленные похороны — всего скорее просто из любопытства, чем из каких-либо более серьезных побуждений. Но покровительствующая любящим богиня устроила так, что на условленном сборном пункте мы ухитрились встретиться только вдвоем. Не дождавшись (можно предположить, не особенно и дожидаясь) остальных, мы вышли на площадь Маяковского из метро — и тут же крепко вцепившись друг в

друга, чтобы не оторваться, были втянуты, увлечены и понесены потоком бегущей толпы. На первых порах увлечение было более психологическим, чем механическим, толпа была еще разреженной, и каждая ее единица, хотя и устремленная в общем направлении, все-таки двигалась индивидуально. И на бегу, захваченный всеобщим возбуждением, я все же мог еще фиксировать какие-то наблюдения.

Конечно, не пахло никакой скорбью, скорее даже веселостью, но более всего просто ошалелостью, которой трудно подобрать эмоциональную квалификацию. Подавленность оттеснялась на задний план, и раскованность явно преобладала. Но, странно, это была молчаливая толпа и молчаливая раскованность. И не от скорби молчаливая, и даже не из приличия, а скорей всего потому, что подавленности на заднем плане все же еще хватало, чтобы удержать в глотке единственные, выражающие подлинное настроение, но чересчур кощунственные слова: «Сдох-таки. Хоть на мертвого посмотрим!»

Но по мере уплотнения и замедления движения толпы, слияния отдельных единиц в единую общую массу, перехода психологического увлечения в механическое легкомысленная жажда зрелища быстро сменялась более серьезными и насущными заботами: и о возможности двигаться вообще, и что кто-то, мерзавец, прет и толкается, и о целостности собственной грудной клетки.

Фарватером толпы нас проволокло через Трубную площадь — перекрещенную в Трупную фольклором следующего дня. Мы слышали по сторонам какие-то истошные крики, но ограниченные в кругозоре ближайшими головами и поглощенные усилиями не быть оторванными друг от друга тогда не поняли их трагического значения. И, наконец, в начале какой-то из ведущих напрямик к центру радиальных улиц, упершись в неподвижную пробку, остановились совсем. А сзади продолжался напор, и, протрезвев, мы осознали и некоторую тревогу за свою жизнь, и отсутствие для нас в мертвом Сталине какой бы то ни было нужды.

На наше счастье, нас оттеснило вбок, к окаймляющим толпу милицейским грузовикам против какого-то из поперечных переулков. Мы перелезли через грузовик или, может быть, пролезли под ним и выбрались из толпы в пустое нейтральное пространство, ограниченное от обитаемого мира цепью грузовиков и шеренгой милиционеров, дабы никто не мог пробраться к Дому Союзов с мертвым Сталиным вне отведенных для того артерий. Там, где-то на необычно пустынной Неглинной, мы остановились под репродуктором, возвещающим о формировании нового правительства, и я до сих пор поддразниваю жену жалобным вопросом, с которым она тогда ко мне обратилась: «Что же теперь будет с нами со всеми?» Как автор



уже сложившейся всеобъясняющей концепции, я авторитетно заявил: что бы ни было, хуже, чем было, не будет. Но развить далее эту мудрую идею мне тогда не пришлось. Разговор принял более важное и интимное направление, решившее нашу дальнейшую совместную судьбу.

И лишь на следующий день мы узнали о раздавленных и затоптанных в человеческом месиве, из которого мы так благополучно выбрались. Мы случайно проскочили под носом у смерти! Не знаю, справедливы ли были ходившие слухи о заваленных трупами колоннах грузовиков, но жертвы и свидетели нашлись и в не Бог весть каком обширном круге наших тогдашних знакомых. А у тогдашней близкой маминой подруги с похорон не вернулся восемнадцатилетний сын, здоровяк и спортсмен, и она только по вышитой своими руками, не помню уж какой, принадлежности туалета опознала его среди трупов в морге.

Так что не смерть, а похороны оказались взаправду народным горем.

И светоч коммунизма получил на могилу самый достойный из своих венков.

Наше решение оказалось причиной последнего кратковременного, но самого дальнего всплеска моих — теперь уже наших — скитаний: в Якутию, за Полярный круг.

Ко всем прочим «прелестям» последние годы сталинщины отличались бдительной и отеческой, почти церковной заботой о народной нравственности, и наше решение нагло попирало все мыслимые устои. Наш брак не был зарегистрирован, я не развелся официально с первой женой и оставил ее с двумя детьми. И, защищая нравственность и карая порок, руководство Центрального геофизического треста вознамерилось расправиться с нами по рецепту, столь распространенному в практике социалистического строительства, даже и без приводящих нравственных мотивов, что он получил широкое отражение в песнях тех лет, например:

Дан приказ ему на запад,  
Ей в другую сторону.

Или:

Ты уедешь к северным оленям,  
В знойный Туркестан уеду я...

Впервые тогда, хотя и по относительно безобидному личному поводу, я на собственной шкуре столкнулся с механизмом и психоло-

гией общественного осуждения. Чиновники треста, сообщая готовившие нам пакость, в подавляющем большинстве нам скорее сочувствовали, а некоторые и изливали нам свою благородную и неболевшую, а посему и никак не заслуживающую нашего непонимания или недовольства душу. Из этих излияний я впервые узнал, как много людей живут во внешне благополучных, но давно опостылевших браках, смирившись со своей судьбой и лишь изредка позволяя себе небольшие отдушины. И именно потому, затронув глубокие тайники чиновничьих сердец, наше решение вызвало неожиданно бурное эмоциональное отношение, и именно потому же по-настоящему ведущей нотой этого отношения оказалось не осуждение, но, впрочем, и не сочувствие тоже, а чувство гораздо более интимное и сложное и о двух концах: зависть. И не к любви нашей зависть — и тут я не берусь сказать, потому ли, что чиновники не знают, что такое любовь, или потому, что знают и им она не: в диковинку, — а к смелости перешагнуть внутренние и внешние барьеры, отчасти к молодости, могущей позволить себе такую смелость... И еще я узнал, что поведение чиновников определяется их групповой, а не индивидуальной ипостасью и грош цена их индивидуальному пониманию и сочувствию.

А мы вовсе не ощущали за собой какой-либо достойной упоминания смелости, разве что относительной, что отнюдь не делает ее еще достойной упоминания. Просто нам не хотелось «в другую сторону» друг от друга, и, не будучи комсомольцами времен Гражданской войны, мы не испытывали благоговения перед сверхъестественной мудростью приказа.

Но и не считаться с приказом мы тоже не могли, так как за приказом стоял еще не отмененный и не раз упоминавшийся сталинский УКАЗ, грозивший нам в случае невыполнения приказа треста такой же разлукой на неопределенный срок, не говоря о дополнительных значительных неприятностях. И поскольку у нас за плечами уже лежал знойный Туркестан, нам оставалось только податься вместе к северным оленям.

Сталин любил арктическую славу своего царствования и среди прочих привилегий дал власть организациям Главсевморпути вербовать для работы на Крайнем Севере любых граждан, то бишь работников рядовых организаций, не считаясь с несогласием их руководства. В нашем же случае и особого несогласия не предвиделось, так как наш уход в Главсевморпуть снимал с души руководства Центральным трестом тяжесть коллективно неизбежного, но индивидуально все же неприятного решения. И пошли мы в Главгеофизику Главного геологического управления Главсевморпути (не ручаюсь,

что буквально так, но главного и вправду было много) и натолкнулись там — ба! — на Петра Александровича Поспелова.

Нет, не того Поспелова, который в ЦК, и даже не знаю, родственника ли его или просто однофамильца. Но типичного и яркого, а в масштабах геофизики и крупного представителя нового класса, безусловно. Сталинская эпоха лепила божков и царьков, маленьких сталиных в любой области человеческой деятельности. Таким царьком в разведочной геофизике и был в свое время Поспелов. Когда я еще учился на первых курсах Московского нефтяного института, еще младенчески крошечная геофизическая разведка СССР почти вся умещалась в рукаве Министерства нефтяной промышленности и там объединялась организацией, именуемой ГСГТ (Государственным союзным геофизическим трестом), а во главе ГСГТ стоял, по всеобщему, хотя и шепотом, гласу, — самодур и деспот, могучий дуб среди мелкой поросли как по внешнему виду, так и по непререкаемому статусу — П.А.Поспелов. Работая в геофизических партиях во время студенческих практик, я тоже не раз попадал под административную сень этого дуба, ибо партии подчинялись отделениям ГСГТ, а отделения — центральному ГСГТ, а им с заоблачного Олимпа управлял Поспелов. Но, конечно, в те годы дистанция между нами была чересчур велика для каких-либо личных контактов.

Но когда я был на каком-то из старших курсов, геофизический мир был потрясен небывалой сенсацией: дуб рухнул! Оказалось, под корни дуба давно уже велся подкоп как изнутри, сотрудниками ГСГТ, так и извне, в частности профессорами нашего института. И подобно тому, как много позже, после снятия Хрущева, расходились по всей Москве слухи о длинном списке обвинений, предъявленных ему на заседании ЦК, так в те дальние времена по геофизике расходились слухи об обвинениях, предъявленных Поспелову на какой-то полномочной комиссии. Фигурировали там, конечно, и производственные обвинения типа поддержания каких-то направлений, которых не следовало поддерживать, и неподдержание — которых следовало. Но бессмертными в моей памяти остались только спекуляция какими-то яблоками и гарем, который он завел среди сотрудниц ГСГТ. Впрочем, слухи о гареме ходили и раньше, еще в эпоху поспеловского могущества. Разумеется, последовали реформы: отделения ГСГТ сделались самостоятельными трестами, центральное ГСГТ преобразовалось в институт ВНИИГЕОФИЗИКА, а на место Поспелова уселся Поляков, такой же Поспелов, но хваткой помельче, благополучно пребывающий на том же месте до сего дня (1975 г.). По окончании института я попал в только что возникшую конкурирующую геофизическую разведку Министерства геологии, потеряв из виду дальнейшую судьбу П.А.Поспелова.

Но, будучи поводом для снятия с административного поста, гарем и яблоки все же оказались недостаточной причиной для исключения из списков руководящей номенклатуры. И вот Пospelов оказался хоть и более маленьким, но все же царьком арктической геофизики. И поскольку за истекшие годы его социальный статус несколько понизился, а мой повысился, дистанция между нами сократилась до возможности личного контакта.

Обстоятельства заставили нас с женой довериться Пospelову, то есть выдать истинную подоплеку нашего арктического энтузиазма. Отчасти при сем мы уповали на гарем как свидетельство определенной широты моральных взглядов. Это, конечно, был большой риск, так как и при гареме вполне можно оказаться ханжой, тем паче административным. На наше счастье, Пospelов не оказался ханжой, благосклонно прогремел: «Ерунда!» — и от лица советского государства подмахнул с нами по договору установленной формы на три года работы на Крайнем Севере.

Впрочем, мы не были такими уж желторотыми птенцами и, что Пospelов не окажется ханжой, предвидели по уловленной ситуации. Новое послесталинское правительство уже подсчитало, в какие суммы обошлось государству сталинское увлечение Арктикой, и, подсчитав, прослезилось. Готовилось правительственное постановление о ликвидации почти всех арктических работ. Постановление лишило бы Пospelова его маленького арктического царства, и он отчаянно пытался его предотвратить или хотя бы ослабить, для чего, еще имея в руках приводные ремни, спешил нагнать в Арктику как можно больше людей, снабжения и оборудования. И не до ханжества ему было в такой большой игре.

Но сколь великим деятелем ни был Пospelов вкупе с другими заправилами Главсевморпути, не смог он побороть правительственного постановления. И по этой причине трехлетнее закабаление обернулось для нас всего лишь двухмесячным свадебным вояжем — да таким, которому мог бы позавидовать и американский миллиардер. Красноярск, с посещением в ожидании парохода знаменитых столбов. Пять суток пароходом по Енисею. Игарка, сказочный город из древесных опилок, где гостеприимная Арктика встретила нас небывалой тридцатиградусной жарой. Хатанга, куда нас забросило по пути капризами полярной авиации, с купанием под полуночным солнцем в теплых водах Ледовитого океана. Место нашего назначения, Таймыльр на реке Оленек, собственный коттедж в виде врытого в землю санного балка с отоплением, зажигающимся от спички боксedom, вырубаемым из скалы в двух шагах от дома. Прогулки по непроходимым на вид, но совершенно безопасным болотам, подостланным на

двадцатисантиметровой глубине надежным ледяным полом, — в березовый лес за грибами, раскинувшими свои шапки *над* (стелющимися) деревьями. И напоследок — Главсевморпуть от Тикси до Архангельска с гидропланного полета с попутной двойной ночевкой на легендарном острове Диксон. И все это — не только за казенный счет, но с получением подъемных, зарплат и командировочных, от чего миллиардер, думаю, не отказался бы тоже, ибо отказывающиеся не бывают миллиардерами.

Но чего просто бы не понял американский миллиардер, а для нас было важнее всего, расторжение договора по не зависящему от нас почину администрации впервые в жизни делало нас свободными людьми, если понимать под свободой возможность продаться по собственному выбору. Арктическая вынужденная авантюра нежданно открыла перед нами двери научных институтов, в частности передо мной — ГЕОФИАНа. Впрочем, последний выигрыш оказался отчасти эфемерным, так как сталинский кабальный указ вскоре после нашего возвращения был отменен Указом Президиума Верховного Совета СССР, малозаметно и без комментариев опубликованным в газетах.

Трехлетнее закабаление, выродившееся в вояж, — так удивительно преломилось в нашей личной биографии взаимодействие еще сталинского духа с духом начинающейся «оттепели». Но эта глава по замыслу — не автобиографическая, и я перехожу к более объективным картинкам того же взаимодействия. На пароходе капитан отобрал у нас пленку и засветил ее, когда мы снимали недозволенный объект, под которым значились вообще берега Енисея, — и это была еще явная сталинщина. Но то, что мы засняли на ту пленку пристань Ермаково с расформированными и опустевшими лагерями, несло уже печать «оттепели». В Игарке мы узнали об аресте Берия и впервые прочитали в газете слова о культе еще не называемой, но прозрачно подразумеваемой личности — взаимодействие явно проявляется и тут. И откуда-то рядом с этими сообщениями в памяти всплывают слова нашего случайного арктического попутчика: «Ура, теперь лафа, теперь что хочешь можно говорить!» Боюсь, в этих словах сталинизма было больше, чем «оттепели», ибо отражали они, прежде всего, созданное сталинщиной представление о мыслимых пределах человеческого хотения.

Но с возвращением в Москву тускнеют мои воспоминания, и как я ни тшусь, не нахожу достойных упоминания характерных эпизодов. Утрачиваются и внешняя яркость, навеянная романтикой дальних странствий, и собственный ореол новизны. Отдельные черточки сливаются в единый трудно расчлняемый бытовой фон, подобно

тому, как тонут отдельные слова в разливанном море тогдашних разговоров. Ибо тонко отразил тогдашнее всеобщее настроение наш арктический попутчик, усмотревший в «оттепели», прежде всего, небывалую дотоле возможность поговорить. И как было после стольких лет безмолвия не обрадоваться такой возможности и не воспользоваться ею с некоторым даже захлебом? И как было после стольких лет вошедшей в привычку безынициативности не удовольствоваться и не ограничиться этой возможностью хотя бы на первых порах?

Сейчас легко и модно говорить о наивности настроений первых «оттепельных» лет. Не буду спорить: своя наивность была присуща и тому времени, как и любому другому (за исключением, разумеется, нашего). И существовали очевидные причины, специфично усугублявшие наивность именно того времени. И все же осмелюсь робко заявить, что наивность тех лет не была такой примитивной, как сейчас порой представляется. И что в полной мере оценивая, а то и переоценивая накопленный с тех пор и уводящий от наивности опыт, мы склонны недооценивать компенсирующую его поправку: забытое за тот же период.

Телячьего восторга типа «ура» нашего арктического попутчика было вовсе не так уж много, да и его восторг как выражение общественного настроения приходится несколько дезавуировать: он был лишь отчасти инициирован «оттепелью», а больше — винными парами. Конечно, «оттепель» воспринималась с удовлетворением, пожалуй, даже и с радостью — но сдержанно, с достаточной примесью скептицизма и инстинктивного дикарского недоверия. Само пущенное Эренбургом словечко «оттепель» подхватилося и стало крылатым не потому, что оно констатировало произошедшее «потепление», а потому, что оно было с двойным дном и в нем можно было прочесть и ограниченность «потепления», и возможность рецидива «морозов». Что не только до какого-либо из фантастических раев, но просто нормального существования еще очень далеко, что пока речь идет лишь о появившейся возможности мало-мало дышать и не более того, вряд ли тогда понимали многие хуже, чем теперь.

Но точка зрения и связанные с нею оценки и ракурсы, естественно, отличались от теперешних, о чем я предпочел бы, однако, говорить в других терминах, чем «тогдашняя наивность и теперешняя мудрость». С теперешней отдаленной высоты нам немного лучше видно расстояние между возможностью мало-мало дышать и нормальным существованием, и разумно и правильно, что именно на нем сосредоточены наши помыслы. Но тогдашнее непосредственное ощущение дистанции между возможностью мало-мало дышать и не-

возможностью дышать совсем мы успели утратить, забыв, что это такое было: невозможность дышать. Но если в забывчивости может быть своя мудрость, то все же забывчивость не тождественна мудрости, и еще не забытость не означает мудрости. В тогдашнем непосредственном восприятии «оттепели» — как разительного перелома — я вижу и правду, по крайней мере и свою правду, а не одну только тогдашнюю наивность.

Да, конечно, «оттепель» не была социальным переворотом и не изменила партийно-бюрократической структуры нашего государства. Очень похвально, что этот кардинальный факт не ускользнул от проницательности наших современников. Но ограничившись этим ракурсом и третируя ракурс ее современника, мы оставляем от «оттепели» не больше, чем марксистское изложение от истории или философии. А для современника «оттепель» была вот чем:

Установившееся на тысячу лет царство тирании образно рисовалось чудовищным усатым монументом, вознесшимся над страной и придавившим ее мертвящей тяжестью. Умозрительные концепции, которым в душе мы не очень-то верили, оптимистически выводили, что лет, может быть, будет и меньше, чем тысяча, — но что уж на наш недолгий век не останется, они не полагали. Что не только на протяжении нашей жизни, но за какие-то немногие месяцы от монумента останутся лишь оплевываемые обломки, не осмеливалась себе рисовать самая безудержная фантазия.

Люди неожиданно исчезали, проваливались в ГУЛАГовскую преисподнюю, чаще всего — навсегда, изредка, как призраки, на короткое время появлялись вновь, чтобы умереть или исчезнуть уже навсегда вторично. Это казалось почти таким же естественным атрибутом существования, как смерть, также могущая случайно и неотвратимо поразить любого в любой момент. И было немислимо представить себе, что вдруг преисподняя разверзнется и выпустит оставшихся в живых, — а она разверзлась и выпустила, как тогда казалось, почти всех.

*[На этом уцелевшая рукопись книги обрывается]*

# ПУБЛИЦИСТИКА. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

## Генеральному прокурору СССР\*

**К**ак Вам, очевидно, известно, в начале января сего года в Московском городском суде был проведен процесс Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой, обвиненных по ст. 70 УК РСФСР.

Как Вам, очевидно, неизвестно, весь этот процесс проходил в обстановке непрерывного нарушения социалистической законности, что, в частности, выразилось в следующем:

1. Продолжительность заключения обвиняемых под следствием значительно превысила максимальный срок, предусмотренный для этого существующим законодательством.

Это нарушение, очевидно, не было обусловлено никакими особыми сложностями, связанными с выяснением обстоятельств данного дела, и не могло иметь другой цели, кроме недопустимого психологического воздействия на обвиняемых перед процессом.

2. Процесс, официально объявленный открытым, в действительности таковым не был. Допуск на суд производился по пропускам, и даже ближайшие родственники обвиняемых были допущены в зал заседания лишь после издевательской провоочки уже после начала процесса.

Это нарушение гласности судопроизводства, очевидно, не может быть оправдано никакими смехотворными ссылками на недостаток помещения и не могло иметь иной цели, кроме именно избежания самой гласности, при которой были бы невозможны последующие нарушения законности и процессуального порядка, которые имели место на самом суде и, очевидно, были запланированы заранее.

---

\* Впервые опубликовано: «Процесс четырех»: Сборник материалов по делу Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой / Составление и комментарии Павла Литвинова. Амстердам: Фонд имени Герцена, 1971.



3. Весьма неполный, по-видимому, перечень этих нарушений во время самого процесса таков: свидетели защиты без основания отводились судом и не заслушивались; даваемые свидетельства в пользу обвиняемых грубо обрывались судьей и не заносились в протокол; свидетели после дачи показаний выдворялись из зала суда, хотя по существующим процессуальным нормам они даже обязаны присутствовать на суде до окончания заседания. «Зрители» на суде, состоявшие, в основном, из переодетых агентов КГБ, позволяли себе издевательские выходки по отношению к обвиняемым и свидетелям, выступавшим в их пользу, и судья ни разу не призвал их к порядку. Состав суда не проявил ни малейшего намерения объективно разобраться в материалах дела и, очевидно, преследовал лишь цель осуждения обвиняемых любыми средствами. Ввиду этого явно лживые показания Добровольского, противоречившие всем остальным свидетельствам и, как можно было полагать, сделанные им в результате предшествующей обработки годичным следствием, принимались в качестве безусловного доказательства вины остальных обвиняемых. В то же время доводы защиты, безусловно доказывавшей необоснованность ряда пунктов обвинения, попросту игнорировались судом.

Опыт ряда предшествовавших процессов показывает — и организаторы этого процесса в *таком* виде не могли этого не знать, — что результатом всех этих нарушений является дискредитация советского судопроизводства в глазах общественного мнения как внутри, так и за пределами СССР, что наносит не поддающийся оценке ущерб престижу нашего государства вообще.

В соответствии с изложенным ходатайствую перед Вами о нижеследующем:

1. Провести полное и детальное расследование всех нарушений и злоупотреблений, имевших место на указанном процессе, с целью выявления их полного объема и выявления их персональных виновников.

2. Провести открытый судебный процесс над виновниками этих злоупотреблений с предъявлением им статьи 69 УК РСФСР, поскольку налицо имеется полный состав преступления, предусмотренный этой статьей, а именно действие, направленное на подрыв государственного органа (советского суда как органа социалистической законности) с целью ослабления Советского государства (путем нанесения ущерба его моральному престижу), совершенное путем использования государственного учреждения (Московского городского суда).

3. Приговор по делу Галанкова и других аннулировать как вынесенный в условиях преступных нарушений социалистической за-

конности, абсолютно непригодных для объективного рассмотрения дела, и процесс провести снова с соблюдением всех существующих процессуальных норм, включая гласность судопроизводства. Либо ограничиться аннулированием приговора.

4. Усилить прокурорский надзор за деятельностью судов в целях недопущения ими в дальнейшем позорящих наше государство противозаконных действий.

*Г. С. Подъяпольский*

Москва Г-351, Ярцевская ул., 18, кв. 27

(Январь 1968 г.)

**Беседа с директором  
Института физики Земли АН СССР  
академиком М.А.Садовским  
14 июня 1969 года**

Приведенная ниже беседа произошла при следующих обстоятельствах.

Весной 1968 года я в числе некоторых других сотрудников нашего института, а также ряда математиков других научных советских учреждений подписал письмо в защиту математика Есенина-Вольпина, принудительно заключенного в психиатрическую лечебницу по причинам, не имеющим отношения к состоянию его здоровья и вообще к медицине. Это письмо было очень коротким и состояло всего из трех фраз. Вот оно:

*Министру здравоохранения СССР Петровскому  
Главному психиатру города Москвы [Енушевскому]  
Прокурору города Москвы*

*Нам стало известно, что крупный советский математик, известный специалист в области математической логики А.С.Есенин-Вольпин был насильственно, без предварительного медицинского обследования, без ведома и согласия его родных помещен в психиатрическую больницу на станции Столбовая (в 100 км от Москвы). Насильственное помещение в больницу для тяжелых психических больных талант-*

*ливого и вполне работоспособного математика, условия, в которые он попал, тяжело травмируют его психику, вредят здоровью и унижают человеческое достоинство. Мы просим вас срочно вмешаться и принять меры для того, чтобы наш коллега мог работать в нормальных условиях.*

*Подписи 99 математиков.*

Письмо было направлено в три адреса: министру здравоохранения, главному психиатру города Москвы и прокурору (не то Москвы, не то Московской области, точно не помню). Ответа на это письмо ни от одной из указанных инстанций мы не получили, но каким-то неведомым мне образом письмо вдруг обнаружилось в ряде совершенно неподобающих мест, в частности в КГБ, в Президиуме АН СССР и — за границей, откуда передавалось на русском языке некоторыми зарубежными радиостанциями.

Последнее обстоятельство и послужило поводом для «воспитательной кампании» в отношении подписавших письмо лиц, одним из звеньев которой в отношении лично меня и явилась приводимая беседа. Она не была ни первым, ни последним звеном: до нее имели место попытки привести «подписантов» к раскаянию в узком кругу отделов (впоследствии эти попытки были признаны «недостаточными»); после нее — проработка на общем собрании отделения института.

Сама беседа была обставлена следующим антуражем. Все «подписанты» были заранее предупреждены, что такого-то числа в такие-то часы с ними будет беседовать директор института М.А.Садовский, поэтому все они в указанное время должны находиться на своих рабочих местах. Всех нас поочередно через секретаря по телефону вызывали в кабинет директора, и таким образом беседа с каждым происходила с глаз на глаз.

Я не сделал тогда же этой записи, поскольку не считал беседу того заслуживающей. По сравнению с другими мероприятиями того же рода, происходившими одновременно в других академических и неакадемических учреждениях, она выглядела вполне заурядно и относительно благопристойно. Сейчас, спустя примерно год, я по некоторым обстоятельствам изменил свою точку зрения на важность этой беседы и считаю, что она заслуживает того, чтобы стать известной общественности.

При изложении беседы я старался быть, насколько возможно, объективным, избежать какой-либо утрировки и не опустить ни одной существенной детали. Не могу ручаться за текстуальную точность отдельных фраз, за правильную их последовательность, за то,

что не упустил некоторых несущественных реплик. Могу ручаться за правильную передачу основной линии беседы и верное отражение ее тональности, за отсутствие существенных умолчаний и за полное отсутствие какого бы то ни было вымысла.

*Я (входя).* Здравствуйте, Михаил Александрович!

*М.А. Садовский (бодрым, вызывающим на откровенность тоном).* Здравствуйте. Ну признавайтесь, вы — зачинщик?

*Я (подделываясь под тот же тон).* Что вы, Михаил Александрович!

*(Примечание. Это была святая правда — я не был зачинщиком. Но М.А. этому, очевидно, не поверил. Не знаю, этой ли уверенностью или более благородными мотивами объясняется, что ожидаемого мной вопроса — «Так кто же, в таком случае?» — не последовало. Вопрос о зачинщике был исчерпан.)*

*М.А. Садовский (пригласив меня садиться, совершенно другим голо- сом, монотонным и без всякого выражения — как выяснилось позже, эту тираду он повторял всем «подписантам», а я был вызван одним из последних).* В тысяча девятьсот таком-то году, еще при жизни покойного президента Кеннеди, Центральному разведывательному управлению Соединенных Штатов Америки была выделена конгрессом США сумма в один миллион долларов для проведения подрывной деятельности против Советского Союза и других стран социалистического лагеря. На эти деньги устраиваются провокации, вербуются и засылаются агенты, ведется пропаганда... (Далее дословно не помню. Суть сводилась к тому, что мы, подписавшие письмо, проявили недостаток бдительности и оказались на поводу у международного империализма.) Вы понимаете это?

*Я.* Нет, не понимаю.

*М.А. Садовский (устало).* Но ведь я же вам все объяснил.

*Я.* Михаил Александрович, ведь мы с вами все же ученые...

*М.А. Садовский.* Но-но, вы демагогией не занимайтесь!

(Не знаю, почему его оскорбило мое упоминание о том, что «мы все же ученые». Впрочем, это была единственная вспышка гнева, весь остальной разговор проходил в безупречно корректном тоне.)

*Я.* Видите ли, я хотел сказать, что не вижу никакой связи между долларами ЦРУ и письмом, направленным в защиту человека, подвергнутого тяжелой и необоснованной акции, письмом, направленным не куда-нибудь, а в советские государственные органы. Инициатива письма зародилась среди советских математиков, ценящих талантливую ученого Есенина-Вольпина и обеспокоенных его судьбой, а отнюдь не среди агентов империалистических разведок.

*М.А. Садовский.* Но ведь письмо попало за границу.

Я. Да, письмо попало за границу и в другие места.

*М.А. Садовский.* Не думаете ли вы, что в том, что письмо попало за границу, была провокация?

Я. Да, очень возможно, что это была провокация.

(*Примечание.* Здесь мы, очевидно, говорим на разных языках. Говоря о провокации, М.А. подразумевает, естественно, провокацию ЦРУ, я — провокацию других органов и с совершенно с другой целью. Понял ли М.А. эту разницу, не знаю; думаю, что понял, но сделал вид, что не понял.)

*М.А. Садовский.* Не кажется ли вам, что вам следовало предусмотреть такую возможность и крепко подумать, прежде чем подписывать письмо? Ведь вот подписывая денежный документ, вы подумали бы. Не кажется ли вам, что в том, что письмо попало за границу, есть и ваша личная ответственность?

Я. Нет, не кажется. Я могу отвечать за письмо, пока оно находится в моих руках. После того как оно переслано адресату, я не могу нести ответственность за его судьбу.

*М.А. Садовский.* Но вот ведь многие математики оказались не такими, как вы: им предлагали подписать письмо, а они отказались. Как вы думаете, почему?

Я. Думаю, просто боялись.

*М.А. Садовский (с иронией).* Стало быть, вы считаете себя очень храбрым?

Я. Я не считаю себя очень храбрым, мне кажется, что я просто поступил, как естественно нормальному человеку. Но некоторые люди почему-то боятся.

*М.А. Садовский.* Стало быть, вы храбрее академиков Колмогорова и Александрова: они не подписали этого письма.

Я. Им было бы и нелогично его подписывать, они еще раньше подписали другое письмо, от них двоих, по тому же поводу. Коллективное письмо и появилось на свет из-за того, что на письмо академиков Колмогорова и Александрова не последовало никакой реакции.

*М.А. Садовский.* А знаете ли вы, как работает империалистическая разведка? Известно ли вам, что в тот же вечер, когда мама Есенина-Вольпина обратилась к Колмогорову и Александрову с просьбой о письме, к кому-то из них с запросом об этом письме позвонили из Парижа?

Я. Нет, об этом факте я не знал. Но если так, то я вообще не вижу, какой ущерб мог быть нанесен Советскому Союзу нашим письмом. Такой ущерб мог заключаться только в том, что факт заключения в психбольницу Есенина-Вольпина просочился за границу. Но из ва-

шего сообщения следует, что он просочился за границу еще тогда, когда письма даже в проекте еще не существовало.

*М.А. Садовский* (к моему изумлению, этот простой логический оборот его на минуту приводит в смущение). Но ведь письмо передавалось по «Голосу Америки» и использовалось для пропаганды против Советского Союза.

*Я.* Выступление Келдыша на пленуме МК тоже передавалось по «Голосу Америки» и использовалось для пропаганды против Советского Союза. Считаете ли вы Келдыша за это ответственным?

*М.А. Садовский.* Но выступление Келдыша передавалось в выдержках, а ваше письмо зачитывалось полным текстом.

*Я.* Выступление Келдыша было длинным, а наше письмо состояло всего из трех фраз. Там просто нечего было сокращать.

*М.А. Садовский.* Ну, видимо, мне не удастся вас убедить.

*Я.* Видимо, не удастся.

*М.А. Садовский.* Ну что ж, до свиданья.

*Я.* До свиданья. (*Обернувшись в дверях.*) Еще раз могу вас заверить, что я подписал письмо в здравом уме и твердой памяти.

Как видно из текста записи, беседа была скорее вялой, чем острой. Как обвинение, так и защита действовали довольно слабо и не использовали многих очевидных ресурсов. Так, не был задан фигурировавший впоследствии на собрании вопрос: «Почему вы не верите советским органам здравоохранения, признавшим Есенина-Вольпина сумасшедшим?» К чести М.А. Садовского отмечаю, что не было никаких вопросов из области сыска типа: «Кто дал вам на подпись это письмо?», «Откуда вам известно о письме Колмогорова и Александрова?», «Знаете ли вы Есенина-Вольпина лично?» И такого, например, вопроса: «Подписали бы вы письмо, если бы знали, что оно попадет за границу?» — тоже не было задано. Мое впечатление (может быть, и ошибочное) было, что М.А. Садовский выполнял возложенную на него функцию с явной неохотой и без всякого энтузиазма. Но следует признать, что и мной в ходе этой беседы не был пущен в ход основной моральный аргумент защиты: что в конечном счете ответственность за любые последствия лежит на инициаторах акции против Есенина-Вольпина, а не на ком-нибудь ином. Таким образом, беседа эта не могла кого-либо в чем-либо убедить, да, по-моему, на это и не претендовала. Но для будущих поколений она может представлять интерес именно своей дикостью и нелепостью, характерными для нынешних «воспитательных мероприятий».

## Политический судебный процесс (Попытка определения современного значения термина) [Март 1974 года]

Комитету прав человека, да и не только ему, неизбежно приходится сталкиваться с термином «политический судебный процесс» и с очевидными от него производными, например «политический узник» в смысле: отбывающий наказание по приговору, вынесенному судом в итоге политического судебного процесса. При всей кажущейся ясности этого термина он все-таки нуждается, по-видимому, в некотором уточнении и оправдании.

Отчасти такая нужда возникает потому, что современное советское законодательство не пользуется термином «политическое преступление» и, соответственно, не знает никакого политического судебного процесса. Все преступления у нас формально — уголовные. Они квалифицируются и наказания по ним назначаются единым Уголовным кодексом РСФСР или других союзных республик. Соответственно, Уголовно-процессуальными кодексами РСФСР и республик не предусматриваются какие-либо процессуальные отличия. Хрущев был, таким образом, формально совершенно прав, заявив в свое время об отсутствии в СССР политических заключенных. То же и на том же основании вполне мог бы сейчас повторить и Брежнев. И на том же основании газетная фраза «он докатился до уголовного преступления» вовсе не обязательно означает, что *тот*, о котором идет речь, всего лишь ограбил пивной ларек или изнасиловал несовершеннолетнюю. Не исключено, что он докатился и до распространения политически неверных взглядов.

Особенная часть УК РСФСР и других республик (так официально именуется раздел УК, содержащий конкретный перечень преступлений и наказаний) состоит из нескольких глав, заголовки которых устанавливают для преступлений некоторую классификацию. Первая глава особенной части УК РСФСР называется «государственные преступления» и имеет два дополнительных подразделения: «особо опасные» и «иные». По моему мнению, употребляемый термин «политический судебный процесс» никоим образом не может быть связан с классификацией УК через промежуточное «уголовное преступление» — в частности, например, приравнением термина «государственный» в особенной части УК термину «политический». Ряд статей даже подраздела об особо опасных государственных пре-

ступлениях фактически не фигурировал на политических процессах последних лет, и, наоборот, широко применялись некоторые статьи из других глав особенной части УК. Политический характер при определенных условиях может принять процесс, связанный с обвинением практически по какой угодно статье УК, и в *уголовный по существу* процесс могут быть вкраплены некоторые элементы процесса политического, равно как и по существу политический процесс *может* включать уголовные моменты или маскироваться уголовным обвинением.

Отсутствие понятий политического судебного процесса и политического преступления в современном советском законодательстве не означает, конечно, что эти понятия вообще чужды советской юридической мысли. Например, в соответствующей статье БСЭ можно прочесть: «Политическое преступление — в уголовном праве эксплуататорских государств понятие, определяющее действие угнетенных классов, направленных на защиту своих прав и интересов, как посягательство на основы власти господствующего в данном государстве класса и существующего строя». Определение это, надо надеяться, устарело, и вряд ли *всерьез* заслуживают критики его бьющие в глаза дефекты. В конце той же статьи говорится о политических преступлениях против государственного строя в СССР и странах народной демократии. Таким образом, под политическим преступлением автор статьи явно понимал действие, направленное против интересов господствующего в данном государстве класса независимо от его природы, но стыдливо умолчал об этом. Возможно, он опасался, что сопоставление в какой бы то ни было форме власти трудящихся и власти эксплуататоров само может оказаться государственным преступлением. Думаю, однако, что обобщенное определение, которое мы из него извлекли, вполне соответствует генеральной советской доктрине о классовой борьбе как основном содержании исторического процесса, государстве как органе классового господства, главным назначением которого является подавление классовых противников, и праве как выражении воли господствующего класса. Классики, выработавшие доктрину, жили в других условиях и в подобной стыдливости не нуждались.

Впрочем, экскурс в сторону политического преступления является в значительной степени отвлечением от темы, поскольку политический судебный процесс в его теперешнем виде вовсе не означает просто уголовный процесс в случае преступления политического. Политический процесс давно превратился в некоторую самостоятельную сущность, имеющую собственный двигатель и собственную



историю. Понятие политического процесса на протяжении этой истории претерпело неоднократные метаморфозы, затрагивающие и его смысл, и его эмоциональную окраску. И эти метаморфозы не были, по Гегелю, результатом имманентной эволюции трансцендентальной идеи, но, по Марксу, отражали некоторые изменения исторической реальности.

В России термин «политический процесс», по-видимому, стал широко употребляться в последней трети XIX века. Специалисты-историки могут, вероятно, указать более точную дату и конкретные обстоятельства его распространения. Открыто, если не официально, политическими стали называться процессы, проводимые судебными органами царской России против одиночек или, чаще, групп, занимающихся революционной деятельностью, — то есть деятельностью, большей частью прямо направленной на свержение тогдашнего государственного строя (самодержавной монархии) и порой связанной с явными преступлениями (террористические убийства).

Как бы мы ни оценивали теперь действия тогдашних революционеров, в своей основной массе они были, безусловно, честными и бескорыстными людьми, одержимыми субъективно благородными целями, ради которых героически отдавали свои жизни. Политические суды выносили им чрезвычайно жестокие по тогдашним представлениям приговоры, зачастую не оправдываемые обстоятельствами дела. Революционерам сочувствовала заметная часть общества. Термин «политический процесс» во многих глазах приобрел эмоциональную окраску необъективного, несправедливого, движимого личной заинтересованностью судей судебного процесса. Политический процесс — это такой процесс, на котором судят «за правду», где в судебных креслах сидят преступники, защищающие несправедливое общественное устройство, а на скамьях подсудимых — герои, защищающие справедливость. Если же отбросить эмоциональную окраску, политические процессы последних десятилетий царизма были процессами государственной власти против деятельности, направленной на ее прямое свержение.

На первых порах революция вряд ли коренным образом изменила сущность политического процесса (мы, конечно, продолжаем не касаться отброшенной эмоциональной окраски). Произошло перераспределение ролей — прежние жертвы политических процессов сделали судьями, прежние судьи оказались на скамье подсудимых. К последним очень скоро присоединились и бывшие товарищи новых судей по каторгам и ссылкам, принадлежащие к другим революционным группировкам и теперь оказавшиеся врагами и

оппозиционерами по отношению к захватившей власть группе большевиков. Были отменены старые формы судопроизводства, замененные сначала революционным правосознанием, а затем и очень скоро — новой формализованной социалистической законностью. Жестокость и несправедливость политических процессов получила откровенное оправдание высшими интересами пролетариата и грядущего человечества. Но суть политического процесса как средства расправы существующей власти со своими прямыми врагами не была сразу перевернута революцией, а лишь последующей эволюцией.

Впрочем, эволюция была чрезвычайно быстрой. Она началась почти сразу, а массовые политические процессы тридцатых годов — не столько ее завершение, сколько свидетельство того, что она давно уже завершилась. Можно указать множество причин, вызвавших эволюцию, — житейских и философских, политических и социальных, духовных и экономических, а если бывают какие-нибудь еще, то и их тоже. Тут и упомянутая выше доктрина об оправдании высшими интересами любых несправедливостей и жестокостей, естественно выродившаяся в привычку к совершению несправедливостей и жестокостей при столь же естественном забвении высших интересов. И установление тотальной диктатуры, покончившей со всяким сопротивлением и оппозицией, но развившей колоссальный аппарат подавления (ЧК—ГПУ—НКВД), нуждающийся в оправдании своего существования. И развернувшаяся после смерти Ленина борьба за власть, потребовавшая уничтожения уже не политических противников, а единомышленников, которым лишь с помощью лжи можно было приписать какую-то особую и вредоносную политическую платформу. И личные качества Сталина и его окружения. И всемирный кризис в сознании, вызванный Первой мировой войной и связанный с иллюзией краха всех вообще «абстрактных», то есть общегуманистических представлений, выработанных веками человеческой истории. Экономисты добавят к этому соображения о необходимости проведения железной рукой спешной индустриализации, социологи — о развитии некоторых специфических социальных групп, верующие — об утрате религии, историки — о тех или иных конкретных событиях, а кто-нибудь — о чем-нибудь, о чем я не в состоянии догадаться. Каюсь, несмотря на вескость каждой из этих причин в отдельности, а тем паче их совокупности, я никак не понимаю, как могли они привести к столь чудовищному результату. И не поверю тому, кто скажет, что он это понимает.

Суть же эволюции заключалась, как ныне почти всем известно, в том, что из средства подавления политических врагов политический

процесс превратился в средство массового уничтожения ни на что не посягающих и совершенно лояльных граждан, уничтожения, невиданного в истории по масштабам и по отсутствию какой бы то ни было доступной человеческому уму, хотя бы фантастической цели. Всего скорее, оно, вопреки всем распространяющимся на этот счет домыслам, так-таки и не имело никакой цели, и объяснения ему следует искать не в категории целей, а в категории причин и возможностей.

Политический процесс сталинских времен — не когда судят за правду, а когда судят не за что, когда на скамье подсудимых сидят не герои, а просто случайные жертвы — да и сидят более в фигуральном, чем буквальном смысле. Массовость политических процессов потребовала максимального упрощения судебной процедуры, вплоть до отмены такой ненужной формальности, как присутствие на процессе самого обвиняемого. В политических процессах сталинских времен полностью исчезла инициатива самого обвиняемого. Творцами или, точнее, изготовителями дел с начала и до конца были следователи. В такой ситуации отстранение обвиняемого от процесса по его делу представляется вполне логичным. Массовое же промышленное производство требует не творчества, а отработанной технологии.

Совершенно неверно представление о политическом процессе сталинских времен, как зиждущемся на полном произволе — если, конечно, понимать слово «произвол» в его обычном значении, а не в специфическом значении его крайнего антипода — произвола бюрократического. Обычный произвол означает отсутствие в поведении сдерживающей регламентации, бюрократический — наоборот, крайнюю регламентацию, доведенную до абсурда. Обязательное наличие в деле пусть мифического, но формально зарегистрированного преступления с обязательной по технологии политической окраской; обязательное, пусть вырываемое под пыткой, но оформленное по технологии признание обвиняемого; обязательная, пусть упрощенная и заочная, трафаретная процедура вынесения приговора — все это явные атрибуты произвола именно бюрократического. Обычный произвол не нуждался бы ни в фальсификациях, ни в пытках. Обычный произвол присущ личности, бюрократический — бюрократической системе.

Но о сталинском периоде в развитии политического процесса ныне имеются столь блестящие и обширные исследования, что вряд ли вообще было уместно на нем останавливаться.

Современный политический процесс в нашей стране, развившийся непосредственно из сталинского политического процесса, в некото-

рых отношениях представляет собой возврат к классическому прототипу, от «судят не за что» к «судят за правду». Преследуя пусть нелепую и бесчеловечную, но доступную пониманию цель подавления развивающихся в нашем обществе общедемократических настроений, он уже не выглядит чистым продуктом бюрократического произвола и возвращает подсудимому если не инициативу, то хотя бы видимость инициативы.

И все-таки суть современного политического процесса, его качественное отличие от процесса уголовного определяется не деятельностью подсудимых, а поведением судей, не тем, *за что* судят, а тем, *как* судят, не статьями УК, а реализацией УПК. Конкретнее, современный политический процесс характеризуется присущей ему совокупностью нарушений УПК, Конституции СССР, общечеловеческих правовых норм, логики и здравого смысла, которая и делает его специфическим явлением современной общественной жизни. Наличие этой совокупности нарушений зависит от воли судей (в смысле — вообще властей) рассматривать данный процесс как именно политический, что вполне продолжает традицию сталинского времени. Отклонение же от этой традиции состоит в том, что воля судей ныне как-то коррелируется с деятельностью подсудимых.

Говоря о возврате современного политического процесса к классическому прототипу, следует, видимо, особо акцентировать оговорку «в некоторых отношениях» — так как о сколько-нибудь принципиальном возврате вряд ли возможно говорить всерьез. Та деятельность подсудимых, которая преследуется современными процессами, отнюдь не тождественна направленной на ниспровержение существующего строя революционной деятельности подсудимых на классических процессах времен царизма. Как правило, это — естественная для всякого нормально функционирующего общества деятельность по распространению информации и критических взглядов. И только болезненная и истерическая реакция властей на такую деятельность, выливающаяся в репрессии, придает ей искусственную остроту.

Ввиду антиинформационной направленности современного политического процесса выражение «судят за правду» справедливо даже гораздо более буквально, чем когда бы то ни было для процесса классического. Но именно сама эта буквальность естественно смыкается с традиционным «за ничто» политического процесса сталинских времен. Это происходит по той простой причине, что, будучи *чем-то* в качестве фактора общественной жизни и в ряде других качеств, правда остается *ничем* в качестве судимого и требующего

кары преступления. И именно поэтому, даже если игнорировать историческую преемственность, современный политический судебный процесс по своей сути ближе к сталинизму, чем к классическому прототипу. Теперешние судьи, выносящие свои чуть менее бесчеловечные приговоры за распространение информации, якобы являющейся клеветой, гораздо более похожи на членов сталинских троек, штамповавших в свое время приговоры за якобы шпионаж и якобы вредительство, чем на царских судей, хотя и выносивших иногда беспощадные приговоры, но избегавших при этом прямой фальсификации.

Перечисление особенностей, сближающих современный политический процесс с процессом сталинского времени и отличающих его от классического, потребовало бы весьма обширного изложения, и я не буду сейчас развивать далее эту тему. В мою задачу сейчас входило только определить, что означает в настоящее время термин «политический судебный процесс», и мне представляется, что все вышесказанное уже выполнило такую задачу. У меня нет потребности дать этому термину строго формальное определение. Если угодно, я готов защищать в качестве формального определения приведенную выше фразу, характеризующую современный политический процесс присущей ему совокупностью нарушений УПК и ряда прочих вещей(?) вплоть до здравого смысла.

Современный политический процесс — не логическая конструкция. Это, к сожалению, реально существующее и, как таковое, многообразное явление современной жизни. Вследствие этого ему можно давать различные определения, подчеркивающие те или иные его особенности. Многие из возможных определений будут достаточными для отграничения его от множества других явлений и, в первую очередь, от простого уголовного процесса. Возможно, например, такое определение: «Политический судебный процесс — это судебный процесс, окруженный кагэбэшниками, которые не пускают вас в помещение суда». Но вряд ли какое-нибудь определение будет пригодным на все случаи жизни и уж безусловно не исчерпает сущности любого явления и не удовлетворит любую критику. По этим соображениям я не придаю особого значения формальному определению и даже не конкретизирую, о каких нарушениях УПК и прочего идет речь. Исследование этих нарушений на фактическом материале могло бы быть темой обширного исследования, а настоящая заметка могла бы стать введением к нему.

## **Движение в защиту прав человека в Советском Союзе**

Движение в защиту прав человека возникло в Советском Союзе очень недавно. Оно, не будем закрывать глаза на действительное положение вещей, довольно немногочисленно и очень слабо. Оно сталкивается со многими трудностями, как, вероятно, общими для любых стран, так и специфичными для нашей. Его реальные достижения на сегодняшний день довольно проблематичны, а перспективы не ясны. Несмотря на все это, оно имеет, видимо, огромное значение для защиты прав человека во всем мире.

Два десятка лет назад во времена тотального сталинского террора открытые выступления в защиту прав человека в нашей стране были абсолютно немыслимы. Нарушение прав человека происходило в таких колоссальных масштабах и таких бесчеловечных формах, что само представление о существовании прав человека и о том, что эти права могут ограничивать произвол государственной власти, казалось утопией, не имеющей никакого отношения к реальному миру. Миллионы людей, томящихся в лагерях с 10-, 15- и 25-летними сроками, подавляющая часть не за какую-нибудь действительную вину, а по мифическому состряпанному делу, или лживому доносу, или из-за случайностей личной судьбы, забросившей их в плен во время войны или втянувшей их в какую-либо, пусть родственную, связь с будущими, столь же подлинными врагами народа; почти узаконенные истязания и пытки; целые народы, огульно обвиненные в государственной измене и вывезенные на вечное поселение в Сибирь и Среднюю Азию, — все это ныне достаточно широко известно. Любопытно — и одна эта черточка ярче целых томов обрисует нашу правовую психологию, — что максимум произвола творился уже после принятия в 1936 году ныне действующей Конституции СССР, тогда называвшейся Сталинской и официально провозглашенной самой передовой и демократической в мире, и действительно если не самой, то все же достаточно передовой и демократической, чтобы мечтать о ее реализации не на словах, а на деле даже в наших теперешних условиях. Но что Конституция — для заграницы, а не для внутреннего употребления, одинаково знали тогда и те, кто бил, и те, кого били.

Мы начали с напоминания о сталинских временах потому, что след их в значительной степени до сих пор определяет наше общественное сознание. При нашей продолжающейся изоляции от ос-

тального мира они остаются для многих единственным эталоном, с которым они могут сравнивать теперешнее внутреннее состояние нашей страны. Влиятельные группы, заинтересованные в дальнейшем попирании прав и свобод человека, до сих пор видят в них свой тайный или явный идеал, нуждающийся, может быть, лишь в некоторой корректировке чересчур явных загибов. Движение в защиту прав человека, по крайней мере вначале, в значительной степени было связано с опасением начинающегося возврата к сталинщине, а отрицательное отношение к этому движению со стороны довольно широких кругов либеральной интеллигенции — с опасением, что напуганные и разозленные этим движением власти вновь обратятся к сталинским методам. По сравнению со сталинскими временами теперешние времена представляются многим максимумом либерализма и демократии, вообще возможным при существующем строе. Любые изменения, по их мнению, могут быть только в худшую сторону.

Но десятилетия сталинского террора сказались на нашем обществе не только тем, что они породили активные или пассивные приспособительные идеологии и настроения фаталистического пессимизма. Их деморализующее влияние затронуло и более глубокие подсознательные пласты человеческой психики. Затаенный страх, пассивность, привычка к лицемерию (думаем одно, говорим другое, а делаем третье), сужение (так безопасней) духовного кругозора, ограничение интересов личными, семейными и профессиональными, полная атрофия чувства социальной ответственности затронули все слои нашего общества и вряд ли могут быть изжиты на протяжении жизни одного поколения, а то и многих. Говоря о специфических для нашей страны трудностях, встающих перед движением за права человека, мы в первую очередь подразумевали именно эту — более, чем прямой террор со стороны властей.

И все же, понимая всю глубину воздействия десятилетий сталинского террора, мы не должны рисовать себе абсолютно беспросветную картину. Никакой террор не способен подавить полностью и всех. Растлевая или сламывая большую часть общества, он вызывает обратную реакцию если не у лучшей, то у более стойкой части человеческого коллектива. Под гнетом и преследованием, в удушливых буднях казенной обывательщины и кошмаре тюрем и лагерей вырабатывалось и выстрадывалось сознание неотъемлемости человеческих прав и ненависть к тирании и произволу. Годы сталинщины сформировали и тот человеческий материал, из которого в более благоприятных условиях сложилось современное демократическое и правовое движение.

Оно не началось, однако, сразу после смерти Сталина, в первые же годы хрущевской либерализации. В эти первые годы была надежда, что власть сама пусть не так быстро, как хотелось бы, «на тормозах», но проведет необходимые мероприятия по ликвидации тяжелых последствий сталинского периода и обеспечит хотя бы тот минимум человеческих прав и гражданских свобод, который предусматривается Конституцией СССР. Кое-что в этом направлении было действительно сделано: о преступлениях сталинского периода открыто сказано с трибуны XX и XXII съездов, подавляющая часть заключенных выпущена из лагерей и тюрем и реабилитирована от возведенных на них обвинений, большая часть переселенных народов возвращена на свои исконные места обитания с восстановлением их национальной автономии, официально провозглашен лозунг о «возвращении к ленинским нормам общественной жизни» и «реализации Конституции», ослаблен цензурный гнет и так далее. Нужно было время и на то, чтобы разочароваться в вызванных всем этим иллюзиях, и чтобы осознать необходимость своей собственной деятельности и инициативы, и чтобы преодолеть ради них собственные внутренние барьеры, и чтобы нащупать хотя бы первые возможные шаги. Все это был более внутренний, чем внешний, процесс, происходящий в разных людях индивидуально и независимо, причем общность его очень мало определялась взаимными связями, а гораздо более общностью вызывавших его причин.

Здесь, видимо, следует уточнить, что, говоря о замедленной реакции, мы имеем в виду именно правовое (в защиту прав человека) движение, а не более широкое общедемократическое, частью которого оно является. Общедемократическое движение включает любые выступления против государственной тирании, в каких бы формах и в какой плоскости они ни происходили. Это движение имеет, очевидно, более богатую и более давнюю историю, оно никогда не затихало полностью даже в самые мрачные сталинские годы, потому что и тогда люди жили и мыслили и не поддавались полностью одуряющему воздействию тотальной пропаганды. Молодежь устраивала подпольные кружки, где изучала литературу или философию, или даже пыталась переписать по-своему историю партии, а иногда и призвать народ к восстанию посредством листовок. Писатели пытались протиснуть в печати между строк крамольные мысли и, не удовлетворенные мизерными возможностями в этом направлении, писали «в стол» для будущих поколений. В самых широких слоях общества из уст в уста распространялись крамольные анекдоты. Все это преследовалось с изуверской жестокостью, но непрерывно порождалось вновь и вновь. Значение этой подпольной жизни для на-



шего общества еще предстоит оценить будущим историкам, которые ею специально займутся.

Это никогда не затухавшее движение, естественно, продолжалось и в годы хрущевской либерализации, сразу среагировав быстрым расширением на возникшие более благоприятные условия. Правда, и в эти благословенные годы за историю партии и листовки продолжали сажать, хотя и на ничтожные против прежних двадцатипятилетних, но все же семилетние сроки. (Дело Краснопевцева в Москве, дело Пименова в Ленинграде — середина пятидесятых годов.) Но на фоне всеобщего подъема при еще продолжающейся массовой реабилитации эти зловещие симптомы прошли не очень замеченными. Внимание общества в те годы было сосредоточено на событиях литературы и искусства — довольно понятное явление, учитывая, что эти области человеческой деятельности наиболее тонко и быстро реагируют на любые изменения общественной атмосферы. Бурный же расцвет хрущевского литературного ренессанса дополнительно объясняется тем обстоятельством, что значительная часть вышедших в эти годы произведений уже давно лежала готовой в авторских столах и лишь дождалась благоприятного часа. Редакционные портфели журналов были набиты до отказа произведениями демократического направления, из которых лишь малая толика успела увидеть свет. Обеспокоенные этим потоком, власти усилили цензурные ограничения, что и послужило толчком к широкому распространению самиздата, этого отчасти нового, отчасти старого, но безусловно значительного и любопытнейшего явления нашей культурной жизни.

О самиздате и у нас, и на Западе встречаются весьма фантастические представления, как о чем-то вроде организованного подпольного издательства: «издано самиздатом», «выпускается самиздатом». Нечто подобное изображает и Кочетов в своем нашумевшем романе. В действительности весь самиздат сводится к тому, что любой человек вне всякой организации переписывает (при современной технике — перепечатывает в нескольких экземплярах на машинке) свое или чужое произведение и распространяет его в кругу своих знакомых. Таким образом, самиздат является естественной реакцией общества на цензурный гнет и, поскольку история нашей страны есть история непрерывных цензурных гонений, начало самиздата вообще теряется в глубине веков. Первые раскольники, тайком переписывавшие запрещенные официальной церковью апокрифы, были, вероятно, далеко не первыми самиздатчиками. Переписывание от руки запрещенных цензурой книг было довольно распространено в начале XIX века. Таким путем общество ознакомилось с «Горем от ума» Грибоедова, «Философскими письмами» Чаадаева, многими стихами

Пушкина и других поэтов задолго до их появления в печати. Выше мы упоминали о литературных и иных кружках, существовавших еще в сталинскую эпоху. Они тоже переписывали и распространяли какую-то литературу. Это было более непосредственным предшественником современного самиздата. Изобретение термина «самиздат» приписывается поэту Николаю Глазкову, называвшему «самсебя-издатом» (в противопоставление гослитиздату) распространяемые им в годы войны рукописные сборники своих стихов (пишущие машинки были тогда у нас еще мало распространены).

Современный самиздат, начавшийся в середине 50-х годов, отличается от своих предшественников в первую очередь широтой распространения и многообразием тематики, но это количественное изменение явно переросло в качественное. Теперешний самиздат, распространяемый, в сущности, таким же путем, что и раньше — от знакомых к знакомым, — ныне расходуется по всей стране и даже выходит за ее пределы. Он включает художественную и мемуарную литературу, критические исследования и исторические документы, ненапечатанные или труднодоступные сочинения старых авторов и сочинения новых, переводы иностранных книг и перепечатку изданий, распространяемых государственной элитой для себя, но не для народа. Полная библиотека самиздата и число циркулирующих экземпляров не поддаются никакому, хотя бы приблизительному, учету. С самиздатом (не называя его открыто) дискутируют в официальной печати, КГБ пытается протолкнуть в него свои фальшивки, свой самоиздат организывают крайние антидемократические и шовинистические группировки — вряд ли стоит добавлять что-либо о силе влияния этого, в таких масштабах уникального явления.

Самиздат важен еще и тем, что он явился первой удачной формой общественного воздействия, стихийно выработанной общедемократическим движением. Возникающее движение в защиту прав человека нашло эту форму уже готовой и могло ее использовать с первых же шагов своего существования. Воздействием правозащитного движения обусловлено изменение характера самиздата в середине 60-х годов — от преимущественно беллетристического к более фактологическому и документальному.

Движение в защиту прав человека выделилось из общедемократического движения как естественная попытка определить в разноголосом хаосе общедемократических проблем и требований нечто наиболее насущное, несомненное и первоочередное. Действительно, в области политики или экономики, искусства или философии вряд ли можно высказать хоть какое-нибудь конструктивное утверждение, неуязвимое для критики с самых разнообразных точек зрения и

не порождающее даже среди общедемократического движения больше противников, чем сторонников. Но что никто не должен подвергаться пыткам и издевательствам, что недопустимы ни расовая, ни социальная, ни идеологическая дискриминация, что каждый человек вправе иметь, отстаивать и распространять свои убеждения, не подвергаясь за это преследованиям и репрессиям, что судопроизводство должно быть открытым и беспристрастным не только на словах, но и на деле, здоровые люди не должны направляться на бессрочное излечение в психиатрические больницы, а власти обязаны выполнять свои собственные законы, — вероятно, очевидно почти для всех. Все это можно коротко выразить четырьмя словами: права человека должны соблюдаться. Вряд ли надо доказывать насущность проблемы прав человека для нашей страны, где их нарушение и поныне продолжает приносить людям неисчислимые страдания. И, наконец, первоочередность проблемы прав человека по сравнению с другими проблемами определяется еще и тем, что в условиях систематического нарушения прав человека становится невозможным серьезное и беспристрастное исследование вообще любых общественных проблем. Все это и выдвигает защиту прав человека как ключевую проблему всего общедемократического движения.

Конечно, ни сама эта проблема, ни ее важность не были открытием возникающего движения в защиту прав человека. Эта проблема, естественно, неоднократно затрагивалась во многих общедемократических выступлениях. Эти выступления достаточно часто и прямо были посвящены этой проблеме. И только сосредоточенность на ней, а пожалуй, и самоограничение ею определяет собственно правовое движение. От предшествовавших ему спорадических выступлений оно отличается примерно тем же, чем отличается от своих предшественников современный самиздат, — своей относительной массовостью, углубленностью и существованием связи в масштабах всей страны.

Момент начала движения в защиту прав человека, естественно, не может быть определен с большой точностью, но, видимо, его можно отнести к середине 60-х годов. Видимым толчком к его интенсивному развитию явился арест писателей Синявского и Даниэля в конце 1965-го и суд над ними в начале 1966 года. Знаменательно, что само выступление Синявского и Даниэля было явлением общедемократического, а отнюдь не правового движения. Реакция же на него общества, выразившаяся в многочисленных выступлениях в их защиту, имела почти исключительно правовую направленность. Сам факт расправы с литераторами за художественные произведения, фактически закрытый суд, допуск на который производился лишь по спе-

циальным билетам, очевидная необъективность суда, квалифицирующего как клевету традиционный литературный вымысел, провокационные выступления в прессе, заранее предугадывающие еще не вынесенный приговор, бесчеловечная жестокость приговора, то есть именно нарушение прав человека вызвало возмущение общества и привлекло его внимание к этому делу.

На первом этапе своего развития движение за права человека вылилось в форму писем протеста, направляемых в различные официальные инстанции. Отдельные выступления такого рода бывали, конечно, и раньше, но примерно с 1965 года они приняли массовый характер, сохранявшийся примерно до середины 1968 года. Это был стихийный процесс, никем не организованный и не направляемый, вопреки фантастическим представлениям об этом многих перепуганных партийных деятелей. Люди писали под влиянием внутреннего импульса, часто скрывая даже от своих близких, что они это сделали, и не зная, что то же делают кроме них и другие (к сожалению, мы не можем останавливаться на порой весьма удивительных мотивах такой скрытности, отражающих нашу еще более удивительную и алогичную психологию). По этой причине общее число таких писем за указанный период известно лишь органам КГБ, где они в конечном счете концентрировались, а нам трудно это число оценить хотя бы приблизительно. Оно исчисляется, безусловно, многими тысячами, но конкретизировать это «много» мы не беремся.

Более организованной, но гораздо менее массовой формой движения в этот период явились демонстрации в защиту правовых норм, первая из которых состоялась 5 декабря 1965 года — в день Конституции — на площади Пушкина в Москве. Позже состоялось еще несколько демонстраций, однако в условиях нашей страны эта форма движения не смогла развиваться. Главная причина этого заключается, по-видимому, в том, что само право на организацию шествий и демонстраций, хотя и предусмотренное Декларацией Прав Человека ООН, равно как и Конституцией СССР, многим не представляется столь же безусловно необходимым для нормального человеческого существования, как большинство остальных прав. Защита его в стране, где нарушаются самые насущные права, кажется чуть ли не излишней роскошью. Эту точку зрения можно, конечно, оспаривать — проблема прав человека есть комплексная проблема, и защита любого из них есть защита остальных — но в наших условиях она психологически естественна и имеет реальную силу. Другая причина заключается в том, что человек, вышедший в нашей стране на демонстрацию, особенно после принятия в конце 1966 года специального указа о нарушениях общественного порядка, подвергается

опасности не только преследования в законном порядке, но и непосредственного избиения на месте сотрудниками КГБ или МВД, не несущими в таких ситуациях ответственности за проявления прямого садизма. Наконец, само развитие и углубление движения в защиту прав человека в нашей стране и нахождение им новых форм деятельности в общем направило это движение по другому руслу.

Условно приурочив начало движения за права человека в нашей стране к середине 60-х годов, мы отчасти игнорировали такое важное явление, как движение крымских татар за возвращение на свою родину и за восстановление своей национальной автономии. Трагическая судьба этой нации, варварски поголовно переселенной из Крыма в Среднюю Азию в 1946 году, проживавшей там на положении ссыльных до 1963 года и реабилитированной от обвинения в государственной измене только в 1968 году, известна ныне всему миру. Однако, в отличие от большинства других народов, подвергшихся такой же первоначальной участи, крымские татары до сих пор фактически лишены возможности вернуться на свою родину — в Крым. Для этого используются любые средства — от «законных», предоставляемых существующей в нашей стране системой прописки паспортов, до самых варварских акций административного произвола, выработанных в обход закона государственной практикой. Судьбу крымских татар поныне продолжают разделять немцы, высланные из автономной республики Немцев Поволжья и других районов Советского Союза, месхи, высланные из Закавказья, и эмигранты-греки. Среди месхов в настоящее время развивается движение, аналогичное движению крымских татар.

Как по своим целям (восстановление попранных национальных прав), так и по своим средствам (направление ходатайств в официальные государственные органы) движение крымских татар, безусловно, является частью движения за права человека в нашей стране. Оно сформировалось ранее общего движения и значительно превосходит его своей массовостью, сплоченностью и организованностью. Показателем этого является ряд документов движения крымских татар, поддержанных многими тысячами подписей, в то время как лишь редкие из коллективных обращений общеправового движения насчитывают порядка сотни подписей. В середине 60-х годов движение крымских татар вступило в контакт с нарождающимся общеправовым движением, и некоторые деятели последнего выступили в его поддержку (писатель Костерин, генерал Григоренко). Этот контакт был полезен для обеих сторон и способствовал преодолению естественной узости в первоначальном понимании проблемы прав человека и задач, неизбежно встающих перед движением в их

защиту. Но само возникновение общего движения в защиту прав человека не было связано с движением крымских татар. В то же время и движение крымских татар как специфически национальное и ограниченное лишь некоторой частной областью правовой проблемы, видимо, не может считаться началом общего движения.

Поток писем, начавшийся в 1965 году, с приливами и отливами продолжался в ближайшие последующие годы, провоцируемый новыми репрессивными акциями со стороны властей. Максимум протестов, связанный с особо грубыми нарушениями законов, был вызван, по-видимому, известным делом Галанскова, Гинзбурга и других. Надо отметить, что именно эти грубые нарушения многими были интерпретированы как свидетельство эффективности предыдущих протестов, в частности по делу Синявского и Даниэля. Из-за них власти не решились на этот раз ограничиться единственным реальным пунктом обвинения (за литературу) и были вынуждены стряпать дополнительные пункты путем, естественно, грубой работы. Отметим, что на более позднем процессе над Марченко фигурировало одно только обвинение в нарушении паспортного режима, а о книге «Мои показания» вообще не упоминалось. После протестов по делу Галанскова–Гинзбурга все последующие дела, по крайней мере в столице, велись с большим соблюдением процессуальных норм. Таким образом, указанная интерпретация имеет некоторые косвенные подтверждения.

Из всех этих многих тысяч писем мы не знаем ни одного, на которое от какой бы то ни было инстанции был получен хотя бы внешне удовлетворительный ответ по существу. Лишь в редчайшем случае — безответственная бюрократическая отписка, в более частых худших — угрозы или прямые репрессии, вплоть до заключения в психиатрические больницы. Чаще всего никакого ответа попросту не было. Возникает естественный вопрос, имела ли какой-либо смысл эта, продолжавшаяся целых три года, бесплодная кампания? Не была ли она совершенно и безнадежно нелепой? Не отрицая полностью наличия в ней элементов нелепости, попробуем все же защитить ее смысл, указав на ее некоторые бесспорные результаты. В начале кампании многие люди, подписывавшие письма, надеялись, что возмущившие их беззакония вызваны застарелой привычкой к ним низших звеньев государственного аппарата и с ними можно бороться, обратив на них внимание более высоких властей. К концу кампании эта иллюзия была изжита. Само подписание писем имело большое воспитательное значение, в первую очередь развивая в людях решимость высказывать и отстаивать свое мнение, не считаясь с возможными неприятными последствиями. Наконец, бесспорное доказатель-

ство бесплодности обращений в любые инстанции нашей страны было психологически необходимой моральной предпосылкой для следующего шага — открытого обращения за ее пределы, ко всему миру.

Не следует также забывать, что попутно с письмами за тот же период 1965—1968 годов шло множество естественных и малозаметных процессов, подготавливающих переход к новому этапу движения за права человека. Ту функцию объединения людей, которую не удалось выполнить специально организованным демонстрациям, в значительной мере выполнили «открытые» суды, на которых люди, не допущенные в зал заседаний, вступали в естественные кулуарные контакты. Многие письма, бесполезные с точки зрения реакции на них властей, начали распространяться самиздатом, становясь фактором общественного воздействия и пролагая путь для других, более важных документов движения за права человека. Некоторые письма начали попадать за границу и публиковаться в иностранной прессе. Не исключено, что в первых передачах принимали участие сами органы государственной безопасности, заинтересованные тем, чтобы дискредитировать протесты вообще их использованием «буржуазной пропагандой». Движению за права человека осталось только использовать и развить их инициативу. В начале 1968 года появились первые обращения непосредственно к мировой общественности (письмо Литвинова и Богораз в защиту Галанскова и Гинзбурга). В конце периода начала выходить «Хроника текущих событий» — первое регулярное самиздатское издание, отражающее уже относительную зрелость движения за права человека и его довольно широкую информированность о событиях в нашей стране. Наконец, за этот период выработалось самосознание движения в защиту прав человека в соответствии с духом Декларации Прав Человека Организации Объединенных Наций и был сформулирован основной способ борьбы за эти права — путем предания максимальной огласке всех случаев их нарушения.

Поток писем в официальные инстанции резко оборвался в середине—конце 1968 года. Сигналом к его окончанию послужила кампания репрессий против «подписантов», развязанная партийными органами в середине 1968 года. Не меньшую роль сыграло введение войск стран Варшавского пакта в Чехословакию, воспринятое многими как симптом возвращения к сталинским методам массового террора. Часть интеллигенции, примкнувшая к движению случайно и постольку, поскольку это казалось относительно неопасным, отшатнулась и выразила в той или иной форме официальное раскаяние. Репрессий не выдержали даже самые устойчивые упования на

возможность открыть глаза властям. Так завершился первый этап движения за права человека в Советском Союзе.

Оформление следующего, ныне еще не завершенного, периода этого движения произошло в первой половине 1969 года. Непосредственным толчком к нему явился арест в начале мая в Ташкенте генерала Григоренко, а первым действием — открытое обращение непосредственно к Организации Объединенных Наций от имени Инициативной группы по защите прав человека в Советском Союзе. Мы не будем детально останавливаться на внешних событиях этого периода — о них имеется достаточно широкая и свежая в памяти информация и большое количество документов — и ввиду его незавершенности не можем подвести его окончательных итогов. Мы можем только указать на те новые тенденции, которые наметились в нем к настоящему моменту, и с некоторой опаской сказать несколько слов о будущем.

В глаза бросается основная особенность настоящего периода движения за права человека в нашей стране. Это — переход от писем в официальные государственные органы к открытым обращениям, явно и недвусмысленно адресованным в первую очередь ко всему миру и лишь во вторую — тому или иному конкретно названному адресату. Помимо указанных выше конкретных причин этот переход связан с окончательно утвердившимся отношением к гласности как основному средству борьбы с нарушениями прав человека.

Наряду с этим в движении происходят и другие, менее заметные, но не менее существенные внутренние изменения. Если первоначально оно было в значительной степени импульсивным и эмоциональным, слагаясь из разрозненных индивидуальных выступлений, то в настоящее время оно все более приобретает характер систематической и коллективной деятельности. Естественный процесс отбора оттолкнул от него случайно примкнувших людей, способствуя одновременно консолидации более серьезного и устойчивого ядра. Аресты и прочие репрессии, которым участники движения все время продолжают подвергаться, значительно интенсифицировали этот процесс. За истекшее время своего существования движение приобрело некоторый опыт и выработало некоторые традиции и нормы внутренних взаимоотношений и поведения в стандартных ситуациях.

В связи с процессом консолидации начинает намечаться и другой, отчасти противоположный процесс — между участниками распределяются определенные функции. На начальном этапе движения каждый, грубо говоря, выступал, как хотел и умел, не глядя на других. Теперь каждый участник движения ищет в нем места, соответствующие его склонностям и возможностям, учитывая не только абстракт-



тное, но и конкретное существование других участников движения и места, занимаемые ими в этом движении.

В настоящее время определилось только одно направление, в котором такая функциональная дифференциация зашла достаточно далеко. Более углубленное изучение проблемы прав человека и их защита в ряде конкретных случаев их нарушения столкнула движение с вопросами профессионально-юридического порядка. Как обеспечивается защита прав человека законодательством СССР и других стран? Какие упущения в советском законодательстве используются или могут быть использованы для нарушения прав человека? Нарушаются ли и какие именно советские законы в конкретных случаях репрессий и политических процессов? Можно ли и как защищать права человека, опираясь на существующее законодательство? Ответы на эти и подобные им вопросы требуют профессиональных юридических знаний, приобрести которые могут только люди, обладающие специфическими склонностями и дарованиями. Эти знания не могут стать достоянием всего достаточно широкого и непрофессионального движения. Естественным выходом из создавшейся ситуации явилось выделение из общего Движения за права человека специализированного юридического направления. Это направление организационно оформилось в конце 1970 года в виде Комитета прав человека, хотя возникло оно, конечно, значительно ранее. Точный момент его начала столь же не фиксируем, как и всех других начал.

Кроме общего движения в защиту прав человека за последние годы в нашей стране развились движения — как почти исключительно правовые, так и более широкие, включающие общедемократические, национальные и другие элементы, — связанные с защитой отдельных ущемляемых прав. Кроме продолжающегося и упомянутого ранее движения крымских татар и месхов за возвращение на свои родные земли, сюда относятся движение евреев и некоторых других национальностей за право выезда из СССР, общенациональные движения в союзных республиках (Украина, Прибалтика) и религиозные движения.

Общее движение в защиту прав человека в СССР вступает с этими движениями в многообразные — и тоже накапливающие свою историю — взаимоотношения и контакты, влияет на них и, в свою очередь, подвергается их воздействию. Любопытным показателем этого влияния является, например, появление у некоторых движений собственных «Хроник». Соприкосновение со специальными проблемами этих движений, накопление собственного опыта и более глубокое профессиональное изучение проблемы прав человека вообще —

все это расширяет кругозор современного правового движения по сравнению с его начальным этапом. Оно все более осознает комплексность проблемы прав человека и необходимость защиты любых и чьих бы то ни было прав, попираемых в нашей стране.

Открытые выступления движения в защиту прав человека в Советском Союзе привлекают к этому движению все более широкий интерес мировой общественности. Преодолевая в себе укоренившиеся десятилетиями предрассудки и страх, оно начинает понимать неизбежность и необходимость контактов с внешним миром и начинает устанавливать такие контакты. Ему нужна информация. В настоящее время оно все еще чрезвычайно мало знает о том, как нарушаются и как защищаются права человека в других странах, какие организации занимаются такой защитой, какими возможностями они располагают и с какими трудностями и проблемами сталкиваются в своей деятельности. Располагая в своей собственной стране лишь ограниченными возможностями самиздата, распространяемого нелегально и преследуемого властями, движение нуждается в дополнительных каналах распространения своей собственной информации.

Расширение кругозора движения в защиту прав человека происходит, таким образом, еще в одном направлении. Это движение начинает ощущать себя не только защитником прав человека в своей собственной стране, но и частью более широкого движения в защиту прав человека во всем мире. Оно начинает осознавать не только общность своих проблем с движениями за права человека в других странах, но и — независимо от наличия или отсутствия непосредственных контактов — единство совместной деятельности. Становится ясным, что нарушение прав человека в любой стране поддерживается и оправдывается их нарушением в других. В то же время, остановив где-нибудь руку убийц, можно остановить ее и на противоположном полюсе земного шара. Но пока еще движение за права человека в нашей стране только подходит к осознанию этих проблем и они больше относятся к его будущему, чем к прошлому.

Нам бы хотелось еще остановиться на помощи движению за права человека в нашей стране со стороны национальных комитетов защиты прав человека других стран. Такая помощь очень нужна, и мы глубоко благодарны за все попытки ее организации. Но такие попытки не должны делаться без согласования, по собственному почину. Нельзя не восхищаться мужеством и благородством юношей и девушек, приезжающих в неведомую варварскую страну с ее страшными лагерями и КГБ, приковывающих себя кандалами к фонарным столбам и разбрасывающих листовки с призывом освободить

политических заключенных. Но если бы они посоветовались сначала с людьми, живущими в этой стране и чуть лучше знающими ее непостижимую психологию, им, может быть, объяснили бы, почему в этой стране листовки разбрасывают лишь маленькие, едва оперившиеся, изолированные кружки, а более серьезные движения, имеющие некоторый опыт, листовками не занимаются. В тяжелых условиях для движения за права человека в нашей стране ему слишком дорого может обойтись необдуманная и неумелая помощь.

Вышесказанное относится, естественно, к деятельности зарубежных организаций по правам человека в пределах нашей страны и никак не распространяется на их деятельность за ее пределами.

Огромной поддержкой для движения в защиту прав человека в нашей стране является само по себе расширение такого движения во всем мире. Мы не уверены, что все возможности в этом направлении достаточно используются. В частности, то обстоятельство, что большинство государств — членов ООН до сих пор затягивает ратификацию Пактов о Правах человека и факультативного Протокола, как нам представляется, заслуживает большего внимания, чем оно до сих пор проявлялось. Возможно, была бы полезной широкая общественная кампания за быстреешую ратификацию этих документов всеми государствами — и в первую очередь, своими собственными.

Обращение некоторых участников движения за права человека в СССР непосредственно к Организации Объединенных Наций формально оказалось столь же бесплодным, как и обращения к собственному правительству. ООН не только не ответила на обращение, но и никак не реагировала на судьбу подписавших обращение людей, подвергшихся за него или из-за него репрессиям и поныне находящихся в лагерях и психиатрических больницах. В первую очередь это объясняется, по-видимому, тем, что до вступления в силу вышеупомянутых пактов вмешательство ООН в конкретных случаях нарушения государствами прав человека в своей собственной стране не санкционировано никакими международными соглашениями. Но, может быть, не следует забывать и о том, что ООН — это организация государств, а в нарушении тех или иных прав человека или, по крайней мере, в возможности их нарушения в критических ситуациях кровно заинтересованы почти все, если не все, существующие на земле правительства. Отдавая должное многообразной и плодотворной деятельности ООН, сформулировавшей современное представление о правах человека и впервые в истории человечества провозгласившей их международной правовой нормой, приветствуя и всемерно поддерживая ее деятельность, мы, люди, должны понимать, что соблюдение и защита прав человека нужны более всего нам

самим и в первую очередь являются нашим собственным делом. Движение за права человека должно стать общественной силой, независимой от влияния и не связанной с интересами никаких правительств и заставляющей считаться с собой любое правительство по рознь и все правительства коллективно.

## **Как я потерял звездочку**

События развернулись на фоне следующей предыстории личного плана.

Я недавно поступил на работу после четырехлетнего вынужденного перерыва, дорожил подвернувшимся местом и предпочел бы, чтобы некоторое время некоторые органы об этом не знали — пока не истечет установленный законом испытательный срок, за время которого меня легко могли уволить без всяких формальных оснований. Вызванный вскоре на допрос по делу Якира—Красина, я при заполнении анкетных данных по рассеянности назвал место не моей настоящей работы, а предыдущей. Через пару дней после допроса, едучи утром на работу, я заметил в метро сопровождающего меня «хвоста». Заметил не потому, что приметлив на «хвосты», — обычно я мало интересуюсь возможной слежкой. Но тут просто оказался давно знакомый «хвост», на которого однажды мне показали пальцем, который неоднократно возобновлялся в моей памяти, случайно оказываясь на местах назначаемых мной по телефону безобидных свиданий, и на которого доводилось показывать пальцем и мне другим людям. Поскольку моя поездка на работу требовала нескольких пересадок, мне удавалось несколько раз «отматывать» его примитивными финтами, а когда он исчез, будучи начеку, легко обнаружить его преемника и продолжать отматывать и его тоже.

Вот на эти сопровождающие меня на работу «хвосты» и наложился первый, для меня начальный эпизод описываемой истории — в виде телефонного звонка ко мне домой, почему-то в рабочее время, когда меня не было, да и не могло быть дома. Трубку взяла моя жена. Мужской голос сказал, что звонят из военкомата, что меня вызывают к такому-то часу дня, а также поинтересовался местом моей работы.

Жена, зная ситуацию, естественно, интерпретировала звонок как попытку шпииков, не сумевших установить место моей работы слежкой, выполнить свое задание примитивным трюком. Она жестко

ответила, что справок по телефону не дает, а военкоматы сносятся с гражданами не телефонными звонками, а официальными повестками установленной формы.

Здесь уместно дать несколько пояснений. Во-первых, даже просто вызов в военкомат мог показаться в этот момент несколько неестественным. Как большинство граждан СССР мужского пола и призывного возраста, я числился на учете в райвоенкомате своего района и даже носил звание офицера запаса. Но ни я военкоматом, ни военкомат мной ни разу не поинтересовался на протяжении последних десяти лет, с того самого момента, когда при переезде из другого района Москвы я, в числе прочих формальностей, перевелся на учет в райвоенкомат по новому месту жительства. Да и возраст мой, хотя формально и призывной, был давно уже не тот, которым интересуются молодые девушки и военкоматы.

Во-вторых, жена была совершенно права, удивившись телефонному звонку вместо повестки. Я, например, не только за последние десять лет, но и за всю жизнь до того ни разу не общался с военкоматами по телефону, хотя повестками, полученными в молодые годы, мог бы, вероятно, оклеить комнату. Повестки запасникам чаще всего рассылаются по случаю разных неприятных мероприятий типа обучений в нерабочее время, причем в большем количестве, чем требуется по плану живых душ. Дураки, прибегающие по первой повестке, улавливаются, умные избегают сети. Повторную повестку присылают редко, она обычно означает, что в вас имеется более индивидуальная, но и более безобидная нужда типа перепроверки анкетных данных в учетной карточке. Каюсь, будучи умным, я не всегда ходил и на повторную повестку, а в одном исключительном случае в 1950 году стойчески выдержал то ли двенадцать, то ли четырнадцать — и все же дело ни разу не доходило до телефонных звонков.

А тут — телефонный звонок без повестки!

В-третьих, что, правда, мы сообразили позже, телефон в нашей квартире установлен был через несколько лет после въезда, я не мог дать его номера при заполнении учетной карточки. При нормальном ходе дела, то есть просто лежащей в столе карточке, военкомат не должен был знать номера моего телефона. Конечно, раздобыть номер телефона не такой уж большой труд, но кому охота делать даже малый труд без большой нужды. А какая могла быть большая нужда? Звонок из военкомата, если он был подлинным, мог указывать лишь на чрезвычайные обстоятельства.

В-четвертых, поскольку звонок оказался все-таки подлинным, есть ли вообще у него связь с предшествовавшей слежкой? Я говорю, конечно, не о той случайной связи, которую хорошо вижу со своей

стороны: не будь слезки, реакция моей жены могла бы быть иной, а тогда не было бы и последующего эпизода, а без него я повел бы себя по-другому, и вообще вся история потекла бы по другому руслу. Но с более важной, невидимой мне, стороны связь была ли? Не знаю. В моей упрощенной реконструкции она не фигурирует, но все могло быть сложнее моей реконструкции. Вопрос о месте работы — очень подозрительный штрих. Но мало ли какие бывают случайные совпадения.

И, наконец, чтобы покончить со слезкой, которую я — еще подозрительный штрих — с того самого дня перестал замечать и которая вообще исчезает из дальнейшего рассказа: а зачем вообще была она нужна за человеком, попросту едущим на работу? Ну, если кому-нибудь понадобилось срочно установить место моей работы, то о цели спросите их, а меня о чем-нибудь попроще. Но если вопрос идет о способе установления места работы, то спрошу вас сам: предположим, вы какой-то там чин КГБ и установление поручено вам. Что вы придумаете проще, чем послать филера?

Следующий эпизод имел место через несколько часов после телефонного звонка. Я уже был дома. Звонок на сей раз был не в телефон, а в дверь и возвестил явление полковника. Да, ей-богу, не вру, полковника из райвоенкомата, при всех положенных звездах, петушком прибежавшего с повесткой. Полковник был очаровательно смущен и любезен, не дожидаясь вопросов, объяснил, что требование повестки поставило военкомат в тупик, так как никого для разноски повесток под рукой не оказалось, он, полковник, сам вызвался занести повестку, так как живет в соседнем доме и ему почти не крюк... Вручив без всякой расписки повестку, полковник поспешил галантно раскланяться и удалиться.

В повестке фигурировал тот же час, который ранее назначался по телефону, и то ли капитан, то ли майор К., к которому мне надлежало явиться. Дабы не занижить чина, буду именовать его далее майором (хотя, кажется, он был все же капитан. Но что ниже полковника, это уж точно).

Полковник, прибегающий с повесткой к офицеру запаса, то бишь попросту к какому-то шпаку, — это уж был инцидент не только невиданный, но и неслыханный, осмелюсь высказать робкое предположение, вообще уникальный за всю историю советской армии. Тут дело пахло не просто чрезвычайными, но чрезвычайно чрезвычайными обстоятельствами — даже принимая на веру проживание в соседнем доме. Кстати, проживая в соседнем доме, я почему-то ни разу с ним на улице с тех пор не встретился. Но мало ли какие бывают иногда несовпадения!..

Не буду вдаваться в сложнейшую из проблем – как принимаются решения в чрезвычайно чрезвычайных обстоятельствах. Может быть, вспомнился старый опыт общения с военкоматами. Может быть, уже рисовались в тумане некоторые соображения: в военкомате в такой-то час ждет меня что-то чрезвычайно важное. Но чрезвычайно важное в нашем мире редко бывает хорошим. И чрезвычайно важное вряд ли станет дожидаться меня чересчур долго. Может быть, просто дернула внутренняя интуиция. Как бы то ни было, на следующий день я исполнился военно-патриотических чувств и ринулся в военкомат, как храбрый солдат Швейк.

Но оказалось, что добираться до военкомата гораздо дольше, чем я думал. Но оказалось, что военкомат давно перебрался куда-то с того места, где я когда-то становился на учет (и я ведь знал про это, да вот беда, забыл!). Но оказалось, что найти его новое место ужас как сложно. Словом, при всем усердии и патриотизме я оказался в военкомате часа через два, а то и три после указанного в повестке срока. И тут меня встретило нечто не то чтобы неожиданное, но все же ошеломляющее. В военкомате не ждали. То есть не просто, а по особенному не ждали, как не ждут, например, вставшего из гроба покойника.

Но как ни изумительно было неожиданное после столь необычного вызова, оно показалось бы мне еще изумительней, забеги я по дороге в военкомат домой. А тогда я узнал бы, как узнал получасом позже, что за время моей небольшой задержки мне *трижды* звонили из военкомата, справляясь, где я и почему не являюсь. Тут уж не требуются никакие комментарии, и без них можно сразу добавить еще одно «чрезвычайно», впрочем, не так уж много добавляющее к уже имеющейся информации.

Не ждали. Вообще в военкомате не замечалось никаких признаков оживления, какие бывают в дни вызовов по повесткам. Секретарша, к которой я спервоначалу обратился, на мою повестку вытаращила в изумлении глаза. Майора К. не оказалось в его кабинете, и я довольно долго его искал, причем, еще не знаемый мной в лицо, он несколько раз прошмыгивал мимо меня, скрываясь. Наконец, мне на него указали пальцем, но он и тут ускользнул в какой-то кабинет, захлопнув дверь у меня перед носом – то ли оправиться от смущения, то ли получить какие-то инструкции. Оправившись, он повел меня почему-то не в свой кабинет, а в помещение вроде красного уголка, где мы уселись за огромный стол – и понемногу крепнущим голосом изложил мне, наконец, таинственную причину моего столь небывалого вызова. Вы уже догадались какую?

Нет, думаю, не догадались, как не догадался и я. А оказывается, проверяя списки запасников, военкомат наткнулся на мою карточку

и, увидев на ней десять лет ничем не запятнанной службы лейтенантом запаса (солдат спит, а служба идет), счел необходимым немедленно присвоить мне более высокое воинское звание. Я скромно поблагодарил за столь высокую и незаслуженную честь, а про себя подумал, что после такого вызова следует ожидать производства в генералы, а то и в маршалы.

«Но, — продолжал майор К., — по нашим воинским правилам любое производство в более высокий чин требует формального медицинского освидетельствования, которое вам надо будет пройти. (Так вот где зарыта собака! Психиатрического?) К сожалению, вы пришли немного поздно. (Ни тени упрека. Констатация. Даже, пожалуй, извинение.) А у нас день полочки, так что все врачи, вероятно, разошлись. (Военная дисциплина в мирное время!) Впрочем, давайте зайдем и посмотрим, если кто-нибудь еще остался, часть обследований пройдет сегодня, а остальные — завтра».

Тут он забирает принесенную полковником повестку и выдает в обмен стандартный типографский бланк медосмотра. Пробегаю глазами список врачей: психиатра нет, только невропатолог. Идем вместе в кабинет медосмотра. Огромный кабинет — через который в живые дни проползает конвейер голых мужчин, а вдоль стен за столиками восседает десятка полтора врачей, кто стукнет молоточком по колену, кто посмотрит в зрачки, а кто заглянет в задницу — мертв и пуст. Только за ближайшим столиком сидит одинокая пожилая тетка в белом халате. «Ну вот, познакомьтесь с нашим председателем медицинской комиссии», — скороговоркой проговаривает майор К. и тут же исчезает.

Тетка (буду называть ее С.) просит меня садиться и начинает задавать вопросы:

— Не жалуетесь ли на самочувствие? Не бывает ли головных болей? Не бывало ли головных травм?

— Вы что, психиатр? — прерываю я ее.

— Да, психиатр, — отвечает С. И на моем бланке зачеркивает отпечатанное «невропатолог» и вписывает от руки — «психиатр».

Дальнейшие ее вопросы начинают приобретать политическую окраску:

— Выписываете ли газеты? Читаете ли их? А какие книги? А как относитесь к политическим событиям? А какие у вас недовольства советской властью?

Отвечаю, как на духу, лишь опуская недоступные ее пониманию дополнения в скобках. Самочувствие прекрасное, головных болей и травм нет (еще бы!). Газеты выписываю больше для бабушек и на бытовые употребления, читаю же редко, потому что некогда (тратить



время на галиматью), книги читаю в основном по своей специальности (самиздатские). О недовольстве советской властью нелепо даже подумать (ввиду ее несуществования. У нас реальна совсем другая власть). Вижу, мои ответы С. не удовлетворяют, ей хотелось бы иных. Она прерывает беседу (которую, кстати, при мне не записывала) и заявляет, что мне надо поехать в психиатрическую поликлинику и освидетельствоваться там.

— Но вы же психиатр, неужели вашего свидетельства недостаточно?

— Видите ли, я председатель назначенной по приказу комиссии, я должна давать окончательное заключение по всем анализам. По положению, я не могу давать одновременно и специальное заключение, требуется освидетельствование другим врачом. (А тогда зачем предыдущая бодяга?)

Далее С. дает мне адрес психиатрической поликлиники, но предупреждает, что там огромные очереди. Впрочем, ей как раз сегодня надо там быть и, если к такому-то часу (через два часа) я туда подъеду, она проведет меня без очереди (вот ведь какая удача!). Я забираю свой бланк, где кроме указанной переправки нет никаких записей, и, не говоря ни да ни нет, удаляюсь.

По дороге домой я обдумываю ситуацию. Первая мысль: дудки! Все ясно без всякой поликлиники. Но начинает рисоваться и другое, более авантюрное решение: а почему бы не съездить? Маловероятно, чтобы меня там уже ждали с каретой и санитарями. А если учую что-либо подозрительное, кто помешает мне тут же смыться? Но — никакого шаблона! Выигрыш в военкомате (уже уверен: бесспорный) был в швейковском промедлении, выигрыш в поликлинике — в суворовской быстроте. А у меня ну не два часа, потому что час туда добираться, но все же час форы.

Домой на несколько минут все же забегаю — сообщить, где искать меня в случае исчезновения, и запустить гулять по свету информацию о попытке сунуть меня в психушку. Опрямлю — в поликлинику. Да, конечно, ничего подозрительного. Я не жданный и не неожиданный гость, а самый обыкновенный посетитель. Правда, регистраторша, к которой я обращаюсь со своим бланком, удивлена и даже заявляет, что такого случая, как направление от военкомата, она не помнит в своей многолетней практике. Но удивление ее естественно и не слишком велико, она выписывает мне направление к дежурному врачу-психиатру Д. Конечно, С. мне наврала, в поликлинике нет никаких огромных очередей, в обычных поликлиниках в самый безлюдный час народу куда больше. Приходится ждать, пока Д. кончит с находящимся у него пациентом, — но и только.

Д. — на вид приятный и неглупый молодой человек с небольшими бачками. Он, как и регистраторша, удивляется направлению из райвоенкомата и даже осведомляется, не было ли вызвавших направление инцидентов. Я заверяю его, что инцидентов не было никаких, и разделяю его удивление. Беседа Д. не похожа на беседу С. Он обстоятелен, нетороплив, ведет запись в медицинской карточке. И — никакой политики, нормальная беседа изучающего пациента врача, какой я ее себе представляю. Настроение мое, однако, несколько портится, когда вдруг приоткрывается дверь и в нее просовывается нос С. Она подзывает Д. и обменивается с ним несколькими словами, которых я, к сожалению, не слышу. Но разговор их слишком краток для какой-либо существенной информации. Инцидент этот не изменяет стиля беседы Д. и не оказывает, видимо, влияния на его заключение. «Не понимаю, — говорит Д., — почему вас сюда направили. Не вижу у вас никаких отклонений. Думаю, вам можно присвоить какое угодно звание».

Мы вместе выходим из кабинета, он просит меня минуточку обождать, пока он забежит поставить штамп на моем бланке.

Но, как я и предвижу, минуточка оказывается довольно долгой. Наконец, Д. возвращается, красный и смущенный:

— Понимаете ли, мне отказались поставить штамп. Говорят, раз вас почему-то направил военкомат, мы не можем взять на себя ответственность, дав заключение на основании одного только психиатрического собеседования. Вам надо будет пройти стационарную экспертизу.

— Это что, к Сербскому, что ли? Прямо сейчас? Уже и санитары вызваны?

— Нет, что вы, что вы. В военно-медицинский госпиталь. Попастъ туда очень трудно, надо стоять в очереди две-три недели, а то и месяц. Так что о сейчас не может быть и речи.

— Ну, хоть на том спасибо. И не трудитесь, пожалуйста. Не нужно мне ни производства в какой ни есть чин, ни стационарной экспертизы.

— Ну, как хотите...

Ухватив-таки свой любимый, уже повидавший виды, но все еще пустой бланк медосмотра, я поехал домой. И на этом кончились бурные события этой детективной истории. Остался только небольшой эпилог.

Вечером того же дня о попытке сунуть меня в психушку сообщило несколько зарубежных радиостанций.

А потом, на протяжении около полутора недель, было несколько телефонных звонков. Первый, опровергший все прогнозы Д. и не знаю

от кого, — уже на другой день с сообщением, что меня ждет место в военно-медицинском госпитале.

А еще через пару дней — из военкомата: почему я не заканчиваю прохождения медицинской комиссии?

А еще через сколько-то дней — снова из военкомата: почему я не желаю повышаться в воинском звании? (Уже без упоминания о медицине.)

Все эти звонки происходили в рабочее время, попадали не на меня, а на моих домашних, они предлагали адресоваться ко мне, ко мне не адресовались, я никак не реагировал, тем дело и ограничивалось.

Наконец однажды в воскресенье, застав меня, прозвонился доктор Д. Он напомнил, что меня еще ждет место в госпитале и очень беспокоился, что у меня могут быть неприятности с военкоматом. Я сухо ответил, что ни в каком лечении не нуждаюсь, а со своими неприятностями как-нибудь разберусь и сам.

И на этом все заглохло окончательно. Чтобы не сплзнуть, добавлю: по крайней мере, на два года.

Но что значит приелость к чудесам! Не тогда, а вот только сейчас, при записи этой истории, до меня дошло, каким чудом был этот последний телефонный звонок: врач, к которому посетитель случайно зашел по формальному поводу, так о нем беспокоится, что звонит ему домой через полторы недели, для чего специально раздобывает номер его телефона! Выхлопатывает здоровому человеку место в больнице, куда по месяцу не могут попасть больные! И все это — из-за чьих-то чужих возможных неприятностей с военкоматом! Да полно, вправду ли мы живем в сем реальном (и жестоком) мире?

# СТИХИ

## Стихи без вывода

Я сижу за письменным столом.  
Девять часы пробили.  
Радио орет за углом.  
На улице фырчат автомобили.

Окно открыто и дует ветерок.  
Свет понемногу тухнет.  
Кто-то, проходя, споткнулся о порог  
И пошел на кухню.

Там моют посуду, ложками звенят.  
Кот за дверью мяучит.  
На лестнице ребенка бьют и бранят —  
Вежливости учат.

Муха крыльями болтает едва,  
Словно застыла.  
Одним словом, матушка-Москва —  
Вид с тыла.

Какой вывод? Никакой. Ура!  
Все прекрасно.  
Просто проба пера  
Праздного.

1942

## **В том же стиле**

За дверью ругань,  
Да еще радио...  
Голова идет кругом,  
Сказать по правде.

Типов до черта,  
А людей нету:  
Загнила что-то  
Старушка-планета.

Куда ни помотришь —  
Везде одна тина,  
Большая, как море —  
Плюнуть противно.

И сам я тоже —  
На себя люблюсь,  
Сам себе тошен  
И пишу глупости.

Впрочем, хоть скверный  
И немного сонный,  
Все-таки верю  
В свою персону.

А не будь этого,  
Взял бы я веревку,  
Сделал бы петлю  
Достаточно широкою —

Ну и прощайте,  
Любезные читатели.

*1943*

## Утопист

Синьор, мне стыдно, но помогите мне,  
Войдите в положение мое:  
Вещи проданы,  
Еды четвертый день как нет,  
А в кредит никто не дает.

Я ючусь на чердаке черт знает где  
Под дырявой крышей и с окном без стекол.  
Нажил ревматизм (это очень просто здесь)  
И весьма жестокий.

Хозяин за неуплату меня гонит вон,  
И уже жаловался в полицию,  
А куда я пойду, не имея никого  
Ни в провинции, ни в столице?

Свой дырявый сюртук я надеваю со стыдом.  
Я оброс, как какой-нибудь отшельник.  
Если я осмелюсь заглянуть в приличный дом,  
То меня прогонят в шею.

Не разврат и не пьянство, а только лишь одно  
Высокое служение  
Привело меня – верьте, Премилостивейший  
Синьор, –  
В столь бедственное положение.

Увидав однажды, сколько в мире зла,  
Что большинство из нас – рабы,  
Я решил исправить человеческие дела,  
А о собственных своих – забыл.

Ибо корень всех зол, несправедливостей и лжи  
Есть полное неведение  
Того, как темна и ужасна наша жизнь  
И какой счастливой ее можно сделать.

Я решился сорвать повязку с наших глаз,  
Переделать наши головы,  
Возвестить о будущем —  
и ниспровергнуть власть  
Золотого олуха.

И когда все люди услышат эту суть,  
Для них станут ясны положение и путь,  
И ничто уже их не остановит  
Сделать жизнь прекрасной и новой...

А пока — о, Синьор, — какие мелочи  
Могут помешать великому!  
Я бы спас человечество, но мне *не на чем*  
Дописать мою книгу.

Вообще мне надо тысячки три  
На пропаганду и на прочее...  
Синьор, я молю Вас, не поскупитесь подарить  
Их на благо общества.

Через полтора года благодарный мир  
Вам сторицею ответит,  
И на все века Ваше имя прогремит  
Как Величайшего из Благодетелей...

Но если этого уж нельзя никак,  
Если такая сумма слишком велика,  
То я прошу Вас о самой малости  
На мои ближайшие надобности.

Свой труд я закончу в несколько недель,  
И тогда все станет лучше...  
Синьор, помогите мне в моей беде,  
Будьте великодушны.

1943

\* \* \*

Вот я беру перо, сажусь за стол,  
Себя к стихам возвышенным готовя,  
Но брюхо чертово не смотрит ни на что  
И громким голосом тоскует про картофель.

И бедное перо из рук долой летит,  
И убегает дух от подвигов великих,  
И ясно слышу я, как в кухне у плиты  
Звенят ножи и вилки.

1940-е

### **Бацильное**

Я гляжу в окошко. Неужели лето?  
Хоть я и в постели, но что-то больно скоро.  
Только разве небо бывает фиолетовым  
Вроде марганцовочного раствора?

Какие-то пташки – наверное, вороны –  
Толпами летают туда и обратно.  
Мне бы хоть не крылья – ноги здоровые  
Пошляться по уличному беспорядку.

Там чистый воздух, и тротуары,  
И всякого народа чертова уйма.  
Ведь пока от мира так скверно отпал я,  
Мир этот милый все-таки не умер.

Впрочем, я тоже пока что существую –  
Конечно, прежалостно и препогано,  
Ставлю горчичники и пью микстуру,  
Но когда-нибудь плюну и воспряну.

Вижу возмездие: хвалился силой,  
Обещал навечно оставить память,  
А теперь вот первая встречная бацилла  
Может надо мною фортепьянить.

1940-е



## Сумасшедший

В окно глядит плешивая луна

С чепцом на голове...

Все говорят, что я сошел с ума,

Но ты им, друг, не верь.

Они завидуют, что я еще живой,

Что я вполне здоров.

Вот только здесь, в висках, не знаю отчего,

Так больно бьется кровь...

Они меня хотят из жизни устранить,

Но я не их лакей.

Я прилетел из голубой страны

Верхом на мотыльке.

Что мне до зависти, корыстной и тупой?

Все дым, все дым, все дым...

Несчастные, они не ведают того,

Что знаю я один.

Я тайну страшную в груди своей ношу.

Доселе никому

Ее я не открыл.

Но я скажу – скажу

Тебе лишь одному:

Настанет скоро час – и загремит труба

Во все земли концы.

Повсюду будет тьма, раскроются гроба

И встанут мертвецы.

И мать пожрет дитя, народ пожрет народ,

И будет страшный суд.

И мир умрет, умрет...

Ты думаешь, умрет?

Нет, я его спасу.

Собой пожертвовав за всех, за всех, за всех,

Я призван вас спасти.

И даже их... И их... Я слишком милосерд.

Я всех давно простил.

Все люди будут жить, как раньше лишь цари,

В дворцах среди садов...

Оставь, мой друг, оставь. Зачем благодарить?

Ведь это только – долг.

А помнишь ли – с тех пор прошло уж триста лет,

Но память тяжела –

В одной колоде карт был трефовый валет,  
И это тоже — я.  
И дама там была... Червонные глаза...  
Создал же их творец.  
Я думаю, он сам ослеп, когда создал...  
И был другой валет...  
Я их потом убил — изрезал на клочки,  
Зарыл в сырой земле.  
Я это сделал, да!.. Вы тоже, палачи,  
Грозите этим мне?  
Но я не так уж глуп, я знаю ваш обман.  
Мой друг, не слушай, нет.  
Все это дичь, и я сошел с ума,  
И скоро мне — конец.  
Но это ничего. Весь мир — такой пустяк.  
Червей летучих снесь.  
А ну, мой друг, давай, поднимем гордый стяг  
И в битве встретим смерть...

1943

\* \* \*

Опять от тоски ничего не осталось,  
Изрублен в щепы сомнений лес,  
Опять душа распускает парус,  
Уходя в неизведанный рейс.

Опять я чувствую голубое утро,  
Опять перед глазами выплывает даль.  
Сияет солнце... Ветер попутный...  
И везде — вода...

1940-е

\* \* \*

Богам земным я верить не желаю,  
Богам небесным — не могу.  
Сам тернием себе дорогу устилаю,  
И сам перед собою лгу.

В конце концов я прихожу к началу —  
И снова по кругу бежать.  
И не найду нигде достойного причала...  
Не стоит продолжать.

1940-е

\* \* \*

Еще одна поставлена заплата,  
На честном слове держится каблук...  
Весенний дождь  
                                так весело заплакал,  
Что, черт возьми, ей-богу вас люблю.

Глядит Москва  
                                шеренгой желтых окон,  
Фырча, летят шикарные авто,  
А я иду, стены касаясь боком,  
И мажу вдрызг последнее пальто.

Ах, все равно философу такому.  
Что там пальто!  
                                Весь мир в грязи размяк.  
И кто бы мог мне встретиться знакомый,  
Чтоб для него неволить мой размах?

Вздыхает город камнем и бензином,  
И шум дневной едва-едва примолк,  
И вечер-спрут широко пасть разинул  
Над головой игрушечных домов.

Кого позвать?  
                                Кто мне найдется ближний?  
Все суета — и благо, если так.  
Пойду дробить замызганный булыжник —  
И ничему заведомо не в такт.

Пойду не к вам — пуста моя дорога,  
Не вижу вех, не знаю, где конец.  
Такой талант громадный мне дарован,  
Что никуда, наверно, не донести.

Вон месяц встал — такой безбожно-юный,  
Вливает в лужи желтое вино.  
А обо мне вы можете не думать:  
Мне все равно.

Мне даже все равно.

*1940-е*

\* \* \*

Вдыхает Русь тоской осеннею  
На небо синее, глубокое.  
Я всюду чувствую Есенина —  
Не потому ль, что пахнет Волгою?

Осталось две минуты до ночи,  
Покроет мрак пустые пажити.  
Мне тоже хочется разбойничать,  
Мне тоже хочется бродяжничать.

И перед тем, что скоро сбудется,  
Стою в раздумье, замороженный.  
И горько чувствую распутицу,  
И не найду своей дороженьки.

*1940-е*

\* \* \*

Этот мир поистине забавен.  
Вот иду, скучая, по дороге,  
И одни лишь встречные собаки  
Лают на меня из подворотни.

Воробей под ноги скачет храбро.  
Тускло светит серенькое небо.  
Водокачка старая — направо.  
Каланча пожарная — налево.

Возле дома — мусорная яма.  
(В ней ли тебе место, моя муза?)  
Богатырь-красавец, в доску пьяный,  
Поперек дороги растянулся.

И корова с разными рогами  
Тянет жвачку старого обеда,  
Словно довершая поруганье  
Над святыми чувствами поэта.

1944

\* \* \*

Прокапал мелкий дождик.  
Вон – солнце смотрит радостно.  
Пойдем-ка, друг, на площадь:  
Веселый нынче праздник.

Во славу всех предателей  
Он будет нынче даден,  
Во здравие богатых  
Маркизов и аббатов.

В телеге под конвоем  
Прикатят их на площадь –  
А там: закон, синьоры,  
Затем закон, что точен.

Пожить любили с шиком –  
Скучать не станут долго:  
Не зря свою машинку  
Придумал добрый доктор.

Блеснет на солнце лезвие –  
Глаза зажмуришь, братец,  
Потом как чикнет весело –  
И голова покатится.

Покатится в корзину,  
Сверкая свежей кровью,  
И, знаешь, образину  
Преподлюю состроит.

Хоть хлебом не корми меня –  
Люблю я эти праздники,  
Где столько ловкой мимики  
И сколько хочешь – красного...

### **Джинн в сосуде**

Я лежу, окаянный,  
На самом дне океана,  
Заключенный в глиняный кувшин,  
Запечатанный талисманной  
Печатью Сулеймана,  
Да будет тих покой его души.

Я лежу спокойно,  
Мои силы скованы,  
Моему времени нет часов.  
Проплывают рыбы,  
Проползают крабы  
И ложится песок...

Песок ложится  
Желтоватой жижицей,  
Заслоняя свет.  
А жизнь движется,  
А день близится,  
И Аллах милосерд.

*1945, лето*

### **Философ на осле**

Я еду на чахлом ослике  
В далекий стан.  
Сыт нынче, а будет после как,  
Увидим там.

Не стоит вздыхать заранее  
Про свой уют.  
Ведь я не впервые странником  
В чужом краю.

Лишенья терпел суровые,  
Нужду терпел.  
Опасности все испробовал  
И вышел — цел.

Один, без друзей и логова,  
Который раз.  
Но мне ли бояться нового,  
Что нет добра?

Повсюду луга заросшие,  
Вода и кров.  
И люди везде хорошие  
На свой покрой.

Немало прошел я по миру  
Людей и мест,  
И наново много понял я,  
Припомнив днесь.

Вселенная вечной школою  
Была мне днем.  
Но стану на отдых скоро я  
В последний дом.

Закат угасает розовый  
Меж черных скал.  
Не стоит жалеть философу,  
Что ночь близка...

*1945, лето*

### **Дон-Жуан**

— Довольно, трус!  
Не верю в эти вздоры!  
Кивнул?  
Ха-ха!  
Пускай еще кивнет!  
Проси опять.  
Не можешь?  
Все равно!  
Я сам скажу:  
— Статуя Командора!  
Ну, не сердись.  
Мы — старые друзья.





\* \* \*

Про веселый город мой родной  
Я не вымолвил слово ни одно.  
Про страну переулков и домов,  
На меня наложившую клеймо.

Но о чем бы далеко я ни пел,  
Миллионом невидимых цепей  
К переливчатой уличной возне  
Я прикован до смерти и поздней.

На исхоженных, изъезженных местах,  
На московских Каменных мостах,  
У дверей захудалого кино  
Эта жизнь незаметно промелькнет.

Ни дороги, ни ласки, ни угла  
Для меня нигде судьба не сберегла,  
А пустила шататься без конца  
По асфальту Садового кольца.

Воробьевы горы и Манеж —  
Где-то затесался я промеж,  
Неудачно спрыгнувши на ходу,  
Под трамвай я, наверно, попаду.

И подохну в больнице через час,  
Не свершивши положенную часть  
В мировой суматохе пустяков,  
Благо время так рано истекло.

Велика ль человеческая смерть?  
Будет город по-прежнему шуметь.  
Если память кого-нибудь удел,  
Не миллиона, наверное, людей.

Эх, была бы мне власть на то дана,  
Я б сломал эти глупые дома,  
И асфальтом бы поверху залил  
До пришествия истинной зари.

1945

## Скоморох

Разве хуже королевского венца  
Мой колпак в заливчатских бубенцах?  
Разве это обида и позор –  
Мой узорчатый шахматный камзол?

Слишком много на свете дураков,  
Чтобы стоило думать далеко,  
Слишком много насилий и морок –  
И поэтому я только скоморох.

Скоморох я, скоморох я, скоморох,  
Обиватель порогов и дворов,  
Проходя от ворот и до ворот,  
Веселю без разбора всякий сброд.

Прихожу я на праздник и базар  
И ко всякому, кто бы ни позвал.  
И куда б я ненароком ни попал,  
Надрывается от хохота толпа.

Те же вечные глупые азы  
Повторяю я в миллионные разы,  
И колпак мой протянутый в момент  
Полон звонких серебряных монет.

Только, видно, в кармане у бродяг  
Эти штуки подолгу не сидят,  
И разочек побывши в кабаке,  
Ухожу я в дорогу налегке.

Ухожу, никого не обличив,  
Может, в сердце тайфуны и смерчи,  
Может, целый государственный совет  
Умещается в этой голове.

Я горбат, на глазу моем бельмо,  
Скоморохом до гроба заклею,  
И никто не откроет ни на сколь,  
Что смеюсь я над глупостью людской.

Чем же ниже королевского венца  
Мой колпак в заливчатских бубенцах,  
Чем же это обида и позор —  
Мой узорчатый шахматный камзол?

*1940-е*

\* \* \*

На воде дрожит дорожка лунная,  
Едет ночь в серебряной карете...  
Все же в морду никому не плюну —  
Видите,  
насколько я корректен.

Встали в ряд деревья вековые,  
Осторожно шепчутся в тумане...  
Никому тоски своей не вылью —  
Видите,  
насколько я гуманен.

*1946*

### **Зимнее**

По пустырям мороз скрипит веселый.  
Махают ветки снежную качель.  
Я не люблю зиму  
за то, что холод  
И много новых, лишних мелочей.

Рассвет такой неизмеримо-синий,  
А день блестит —  
глаза спалишь, глядя.  
Но, к сожаленью, дело в керосине,  
В картошке мерзлой и очередях.

Я не люблю  
за то, что полушубки,  
Что, как медведь, любой из нас мохнат.  
Что на губах, не спрыгнув, мерзнут шутки  
И спрятан мир разводами окна.

Что каждый день как будто исковеркан,  
Что слишком много кухни и родни,  
И не заметить можно человека  
Из-за того,  
                    что поднят воротник.

1946

### Эниок и Гнор

Прошу.

            Садитесь.

                                (Принесите карты.)

Сказать по правде, я вас не ожидал.

Но что же делать?

                                Приходит час расплаты,

И раздражается громовой удар.

При здоровом анализе

                                наше дело —

                                                просто:

Двоим нам

                                мир тесен —

                                                вуаля ту.

Я думал, что, спровадив на необитаемейший

                                                остров,

Я от вас отделался,

                                ан глядь —

                                                вы тут.

Следовательно,

                                один из нас должен убраться вовсе.

Может,

            это я,

                                ибо сделал, как подлец.

Но я люблю жизнь

                                и все ее удовольствия

И не собираюсь великодушно в петлю лезть.

Начинать — так заново,

                                Начинать — на равных.

Дуэль?

Презираю.

Неумно и старо.

Не убили,

повалялись,

подзалечили раны,

И снова будь здоров.

Предлагаю – карты.

Черная – уходит.

Каким образом – решает пусть сама.

И – по-честному.

Я буду благороден

И не пойду, проигравши, на обман.

(А, вот и карты. Хорошо. Спасибо.)

Распечатываю,

тасую

и кладу на стол.

Вы ощущаете ли, какая чувствам сила,

И какой фантазии простор?

Тяните первый.

Или я.

Судьба ли?

Валет бубен!

Берегитесь, мой дружок!

Судьба меня доньше неизменно баловала,

А вас не больно бережет...

Что, тоже красная?

Не ожидал.

Осечка.

Давайте заново.

Пусть первый – *вы* сейчас...

Туз червонный!

Кровавое сердце!

Везет любовнику на кровавые сердца!

Беру эту карту...

Но погодите, друг мой.

Тяжела.

Предчувствую...

Но, стоя на черте,  
Пока еще надежда последняя не рухнула,  
Я хочу пооткровенничать, тысяча чертей!

Я ждал вас, Гнор.

Я знал, что вы вернетесь.

Я думал о вас

почти что каждый день.

О нет,

не совесть,

а скука дня и ночи

И трусости тоскливой канитель.

Я вас боялся, Гнор,

боялся

нашей встречи,

Боялся до тех пор,

пока не увидел вас в глаза.

Теперь же вижу,

что терять мне,

кроме жизни, — нечего:

Проснись, приятель!

Приехали.

Слезай.

Вы что думаете, был я счастлив, что ли,

Пока вам

*там*

снились

паруса и месть...

Из-за этой бабы,

ей-богу,

вас убивать не стоило —

Но что сделано, то есть.

Я крутился по Азии, Африке и Европе,

Швырялся червонцами,

держал на жизнь пари.

Я глушил водку

и курил опий, —

А впрочем, не стоит говорить.

Вы погрубели, Гнор,  
отвыкли от цивилизации,  
Вы — зверь  
и на вещи смотрите верней.  
Да и вообще вам все это знать не обязательно,  
И я кончаю мое неудачное турне...

Да!  
Не считайте,  
что я хотел разжалобить.  
Скажу напоследок, поучая дураков:  
Лишь только тот, кто запанибрата с дьяволом,  
Играет в жизни широко.

Я не раскаиваюсь,  
и я не прячусь, —  
вот как!

Швыряй, что можешь!  
Сокровищ не копи!

Ну, жребий брошен.  
Открываю:  
Двойка!

Двойка —  
пик!..

.....  
Ну что ж, счастливичик.

Кончено.

Иди.

Все будет сделано, как уже сказал я...

Гости разъехались...

Хозяин остался один...

И мрак одевает залы...

1946

\* \* \*

Ослиный рев и верблюжий хрип.

Погонщиков ругань и крик.

По этим дорогам сюда текли

Шелка, ваниль и нефрит.

Хрустел песок и рыдал шакал,  
И ветер пустыню бередил,  
И пел, погоняя ишака,  
Веселый бродяга Насреддин.

Пустыня, сколько ни хватит глаз —  
Неделями путь считай.  
А ныне ее пролетит «дуглас»  
За полтора часа.

Не тот верблюд и не тот ишак,  
Наверно, не те цвета.  
Купцы с караванами не спешат  
На Индию и Китай.

Веселый бродяга давно истлел —  
Как Аладдинов клад,  
И, видно, романтикам на земле  
Нигде не найти угла.

1946

### **Капитан Скотт**

Надеяться не на что. Путь пройден.  
Последний привал — вот.  
В холодной палатке лежим втроем,  
И смерть за дверьми ревет.

Вы спите, друзья? О чем ваш сон?  
Наверно, тепло и дом.  
И ваша совесть чиста во всем  
Перед любым судом.

Вы шли вперед, как я ждал от вас,  
Не жалуясь и не ропща.  
Проснетесь ли вы в последний раз  
Мне прошептать прощай?



Наверное, нет. Прощайте так.  
Не сбрасывая одеял.  
Последним покинет капитан  
Палубу бытия.

Остатки бесценного тепла  
Вытягивает ледник.  
Найдут ли когда-нибудь наши тела,  
Прочтут ли мой дневник?

Дневник, где отмечен наш каждый шаг,  
Где памятник мне и вам.  
Дневник, где еще я пишу, спеша,  
Последние слова.

Едва начав, мы попали в сеть.  
Мёр пони, и глох мотор...  
Что полюс? Точка, совсем как все  
На ледяном плато.

Где нет ничего, кроме льда и льда  
Двухверстовою корой.  
Какие жизни ему я отдал –  
И то пришел – второй.

Поет пурга похоронный гимн,  
Готовит снежный склеп.  
Ну что ж, ошибки – урок другим,  
Которые будут вслед.

Ну что ж, такой принимаю гроб  
И им кончаю суд.  
Еще часок, и остынет кровь,  
И сердце кончит стук.

Редет дыханье... Слабеет пульс...  
Все медленней мысли ход...  
С открытым лицом кончаю путь  
Я, капитан Скотт.

\* \* \*

Калужский мост...  
Рекой струится свежесть.  
Звонит трамвай разлязганный мотив.  
И дура-ночь к земле прильнула, нежась,  
Как будто лучше не было найти.

И для кого по этой синей выси  
Разиня-бог  
                    рассыпал звездный бисер?

\* \* \*

Опять захлестнул меня старый мотив,  
Забывтый уже почти, —  
Что в будущем нет никаких перспектив  
На исполнение мечты.

Лети же быстрее, не считая вех,  
Сквозь мировую жидь.  
Еще не нам начинать тот век,  
Где будет можно жить.

\* \* \*

В окно вагонное деревни и поселки —  
Кому-то родины — однообразно тянутся.  
Родятся,  
                    ринутся,  
                                и поезд их отшелкал,  
И вон из памяти...  
Кому-то родины, где все мило и живо,  
И столько прошлого, которое не зажило...  
  
Чужие жизни пробегают мимо  
                    Не так же ли?

*1947*

\* \* \*

Есть такое мнение, неправильное и вредное,  
Будто человек — статистическое среднее.  
Отсюда и возникли абстрактные понятия,  
Вроде «человечество», «народ» и «нация».

А в действительности нет ни наций, ни народов,  
А ты,  
Я,  
Он

И так далее, и тому подобное.  
То есть именно не подобное, а о чем и говоримо,  
Каждый совсем особенный и неповторимый.

И можно не человечество или, там, народ,  
А тебя, например,  
Любить,  
Или наоборот,  
А это уже повесть длинная и сердечная,  
О которой я не расскажу, конечно.

И даже не потому, что глупые стихи  
При этом рассказе разодрались бы на лоскутки,  
Ибо годны они лишь для легкого романа,  
А не для жизни, как она дана нам.

А просто потому, что если говорить, так правду,  
А это очень трудно  
И никому не надо,  
Да и начал я, кажется, вовсе не с того,  
И пора кончить этот разговор.

1950

\* \* \*

Ну ее, поэзию.  
Ерунда и мелочи.  
Рифмочку сострять —  
Долго ли умеючи?  
Ни души не надобно,  
Ни ума хоть на волос.  
Только насобачиться самую малость.

А про то, что слово двигает горами, —  
Это только в сказках.  
Стоит ли старанья?

*1951*

\* \* \*

Людской мирок.  
Зеленые растенья.  
Весь Эсэсэсэр, изъезженный насквозь.  
А жизнь встает  
Все проще и бесцельней —  
Прямая и безветвенная ось.  
Ось времени.  
Координата тэ  
В ее неразведенной чистоте.

*1951*

\* \* \*

Разве можно счастье на весь век скопить,  
Рассчитать на всю жизнь, в чем оно.  
Бери, не стесняйся и давай, не скупись —  
Вот гуманизма высшего канон.  
А больше копейкой туда иль сюда  
Не стоит труда считать.

*1952*

\* \* \*

Не верь в счастливую звезду,  
А только в пару рук.  
Тебя, любимая, не ждут,  
А ищут и берут.  
И в этом мудрости итог  
Народов и эпох.

*1952*

## **Пережитки капитализма**

Господь, как известно, всемогущ и благ.  
Любая религия — на эту тему.  
Но как объяснить  
Существование зла,  
Которое с очевидностью наблюдаем все мы?  
С этой целью  
Еще на заре времен  
Понятие дьявола было изобретено,  
И на него, бедного,  
Валили без оглядки  
Человеческого общества вечные не порядки.

Наш строй советский  
Всемогущ и благ.  
Любая газета — на эту тему.  
Но как объяснить  
Существование зла,  
Которое, к сожалению, наблюдаем все мы?

С этой целью  
Уже почти что в наши дни  
Пережитки капитализма  
Были изобретены,  
И на них, бедных,  
Валят без оглядки  
Нашему обществу присущие не порядки.  
Вывод из сравнения  
Прост, как дважды два:  
Поменее бы  
Ханжества.

1952

## **Из Ибсена**

Что я консерватор, это, конечно, врут.  
Я все тот же я  
и ничуть не изменился.  
Фигурки передвигать — не вижу смысла,  
Но взял бы и смешал всю игру.

Из революций помню лишь одну,  
Всех остальных умнее и решительней.  
Кое в чем можно было на нее рассчитывать:  
Всемирный потоп —  
я к нему, конечно, гну.

Но и тогда  
                  дьявола надули:  
Ной —  
                  установил диктатуру!!!

О, если вправду хотите вы ловчей  
Сварганить дело,  
                  я готов помочь вам.  
Потоп — за вами,  
                  я же, чтоб докончить,  
С радостью загоню торпеду под ковчег.

*1952*

### **Из Ганса Шеффнера**

И вот я вновь, хотя не по плечу,  
Историю всемирную влачу,  
Тяжелый груз  
Сомнений и идей,  
Которые стучат в любую дверь —  
Но все засов накиннули, боясь.  
И, значит, мне  
Приходится за вас.

За вас за всех,  
Безвестные друзья,  
Кто в этом мире чувствует разлад,  
Кто век живет,  
Воды набравши в рот,  
И в одиночку понемногу мрет,  
Кто слишком слаб,  
В чьем сердце с лишком страх,  
Чтоб встать с колен во имя общих прав.

Я тоже слаб.  
Как вы, не потерял  
Любовь и страх  
И жажду бытия.  
В щемящем одиночестве моем  
Мне эти вещи  
Тоже не в подъем.  
Но я ташу.  
Сгибаясь и хрипя.  
Неужто лишь, покуда не упал?

Неужто нет, не будут, не придут,  
Чтоб мне помочь,  
Чтоб встать в одном ряду?

1952

### **Из сталинских времен**

Душно.  
Донельзя душно.  
Просто встань и кричи.  
Будет когда-нибудь лучше?  
— Нет, не видать причин.

— Нужно чего?  
— Свободы.  
— Где же найти ее?  
Знал бы, так этой боли  
Не было б в сердце моем...

1952

### **Золотой век**

Может быть, довольно заливать.  
Может, скажем просто и толково:  
Золотому веку не бывать —  
Ну и что ж особенно такого?

Обходились вечно без него.  
Вечно жили, гибли и хотели.  
Как-нибудь и мы переживем  
Эту бесконечную потерю.

1952

### **Корабельная крыса**

Берег за небом скрылся,  
Справа и слева — море.  
Я, корабельная крыса,  
Мордочку лапкой мою.

Кто-то дает команду.  
Каждый на месте — мастер.  
Мне вот одной не надо  
Знать паруса и снасти.

Мне не высчитывать румбов,  
Волн и ветров не силить.  
Спрячусь за бочку в трюме —  
Злитесь тогда, стихии!

В дальние страны еду я  
В поисках родины новой,  
Еду свершать победы,  
Грابتить и завоевывать.  
Парус надулся славно —  
Ветер попутный, значит.  
Я — это счастье плаванья,  
Верный залог удачи.

Бодро смотрю в туманы —  
Вот, не упасть за борт лишь...  
Эй, шевелись, команда! —  
Ты на меня работаешь.

1953



## **Оттепель**

Оттепель — это, право, значит совсем не много.  
Дурак, кто загонит шубу, поверив в нее всерьез.  
Оттепель — это только сегодняшняя погода,  
А завтра, смотришь, снова вьюги и мороз.

Мне надоел чертовски зимы костенящий холод.  
Что лужи, что с крыши брызжет, я, право, рад весьма.  
И можно пройти нараспашку, и ничего плохого...  
И все-таки оттепель — оттепель, а еще не весна.

*1954*

## **Форточка**

Открыли форточку. Ура, брависсимо.  
Но затхлой вони еще полно.  
Давайте к черту и раму выставим,  
Чтоб лился воздух во все окно.

Смешно довольствоваться полукрупицей  
Тому, кто вправе иметь сполна.  
Боятся воздуха одни мокрицы,  
А их и надобно dokonать.

*1955*

## **Доколе?**

Служить, платить и слушаться начальства —  
Почти всегда таков его удел.  
Он двести лет, пока не раскачался,  
Платил исправно Золотой Орде.

Он триста лет царям своим молился,  
Для жадных бар старательно корпел.  
Он — даже! — тридцать лет социализма  
И то, кряхтя, безропотно стерпел.

Поистине, терпение такое  
Достоинно изумления:  
доколе?

1956

## Суп

Человек до сих пор еще ужасно глуп:  
Только и умеет слушаться и стараться.  
И за это его режут и кладут в суп,  
Который называется государством.

И его съедают, если он жирен,  
И выплевывают, если он костистый,  
А он радуется и говорит: «Живем!» —  
И сам рассчитывает угоститься.

На том и вертится наш смешной мирок  
С тех древних пор, как Бог спустил курок.

1956

\* \* \*

Длинными руками  
Тянутся года.  
Под лежащий камень  
Не течет вода.

На лежащем камне  
Вырастает мох...  
Так оно и канет,  
Что умел и мог.

**Искры ночью**  
**(Пятьдесят шестой год)**

В ночи засверкали искры,  
И сердце забилось невольно.  
Далеко они или близко?  
Гнилушки они или молнии?

А может быть, просто это  
В глазах зарябило с отчаянья.  
Пропали опять... Нет, светят.  
Молчание.

1957

**Дядя**

Известно, что не даст свободы  
Ни бог, ни царь, ни дядя добрый.  
И все ж на дядюшку досель  
Обращены надежды все.

*Припев:*

Ах дядя, дядя,  
                        Мудрый и гениальный,  
Ах дядя, дядя,  
                        Демократичный и коллегиальный,  
Ах дядя, дядя —  
                        Мобилизующий и направляющий рычаг.  
Без дяди  
                        к коммунизму  
                                        мы ни на шаг.

Какие пошлые слова!  
Я сам в них веровал сперва,  
Потом оставил как-то  
И стал смотреть на факты.

За годом год — свободы нет,  
Великий мрет — свободы нет,  
Мерзавцу крест — свободы нет,

Двадцатый съезд – свободы нет,  
А дядя все у власти  
Стране своей на счастье.

*Припев:*

Ах дядя, дядя...

.....  
Давно, казалось бы, пора  
Понять, куда зашла игра,  
Но многие поныне  
Поют как о святыне:

*Припев:*

Ах дядя, дядя...

Нет, добрый дядя тот же царь,  
Свободы жди от подлеца.  
Скорей он с камнем в воду,  
Чем нам отдаст свободу.  
Одной лишь собственной рукой  
Ее добьется род людской.  
Когда же он добьется,  
Никем уж не споется:

*Припев:*

Ах дядя, дядя...

*Конец 1950-х*

### **К памятнику**

Многие скажут, что уже не время,  
Что незачем

мертвого

трогать смрадный прах,

Но у меня на это другая точка зрения,

И я, вероятно, прав.

Конечно,

страницу

позора несказуемого

Предать забвенью хотелось бы и мне,  
Но правильно ли это?  
                                                Нужно ли?  
                                                                        Разумно ли?  
Не говоря уж, возможно или нет.

Видите ли,  
                                                прошлое  
                                                                        плохое ли,  
                                                                                        хорошее ли,  
Как там ни судит тот или иной,  
Есть,  
                                прежде,  
                                                опыт,  
                                                                        доставшийся недешево,  
Подчас баснословною ценой.

Народы  
                                кровью  
                                                за него рассчитываются,  
Миллионами жизней  
                                                                        и горем без границ.  
И было бы поистине непосильной расточительностью  
Его не сохранить.

Нет,  
дело не в том,  
                                                что после драки кулаками,  
Что, вот, дождались,  
                                                                        и настал момент,  
И можно бросить запоздавший камень  
В то, что прошло  
                                                и чего уж больше нет.

Прошлое,  
                                к сожаленью,  
                                                                        не уходит просто,  
Оно оставляет гноящиеся следы.  
И тут не отделаешься дешевым благородством  
Простивши и забыв.

Что ж поделаешь?  
И руки будут грязными,  
И много потратится времени и сил,  
Но с прошлым  
приходится  
сражаться насмерть,  
Дабы его не воскресить.

Мертвым  
от памятника  
ни тепло, ни холодно,  
Мертвым,  
черт с ними,  
и земля легка.

Памятник ставится,  
чтобы поняли  
и помнили,  
У которых будущее в руках.

1950-е

**Евгению Евтушенко  
По поводу опубликованных им в «Правде»  
стихов «Наследникам Сталина»**

Удвойте, утройте над ним караул...  
*Евгений Евтушенко*

Удвойте, утройте над ним караул!  
А может, солдат отпустить?  
Он умер, как смертный, навеки уснул,  
Не встанет, не разбудить.  
Могила над прахом закрылась навек,  
Стоит караул или нет,  
В могиле усопший лежит человек...  
Чего ж ты боишься, поэт?  
Волхвы не боятся могучих владык  
Живущих, а мертвых подавно...  
Кляни, Евтушенко, свой длинный язык,  
Себя ты разделал славно.  
Ты корчишь трибуна. Приветственный гул

Тебе завихряет разум.  
«Удвойте! Утройте над ним караул!  
Ведь все потерять можно сразу!»  
Дрожишь, литератор? Понятная дрожь.  
И все же забавней всего,  
Что эта подбитая ужасом ложь  
Работает на него.  
Ты лжешь, что творцом он явился на свет  
В преступных деяньях велик.  
Такого примера в истории нет.  
Страшнее был этот старик.  
Умерь, литератор, воинственный пыл,  
Могилу не стоит топтать.  
Кому-то при жизни он нужен был.  
Попробуй, дерзни отгадать.  
Кому он служил, как карающий меч?  
Кто был за его спиной?  
И кто заставил его пренебречь  
Народом, классом, страной?  
Марксисты знают, что значит класс,  
Что значит слово борьба,  
А ты берешься уверить нас,  
Что это слепая судьба,  
Что Сталин рехнулся и лишь оттого  
Возник на земле Магадан,  
Что кроме себя почти никого  
Не посвятил он в обман.  
Постой, литератор, тут дело сложней,  
Диктатор всегда холуй.  
Какое мне дело до мертвых камней,  
Кляни ты их или целуй?  
Он предал нас, сдался. Но только кому,  
Кто санкцию дал на террор,  
Кому было нужно построить тюрьму,  
Кто в руки вложил топор?  
Лежит под могильной плитой ренегат,  
Немая добыча земли,  
И разное люди о нем говорят...  
Хозяев его не нашли!  
Но громко звучит подозрительный хор:  
«Насильник! Убийца! Злодей!»  
А те, что вручили ему топор,

Живые, среди людей.  
И любо им слушать мистический бред  
Про сумрачный гений его:  
«Ругайтесь, кляните, ему не во вред,  
И нам оно ничего».  
И ты запевалой, могилу топча,  
Бросаешь истошные кличи,  
Чтоб страхом своим в бреду, стгоряча  
Предателя труп возвеличить.  
Пиши, завирайся, поклонников множь,  
Валяй, проповедуй страх.  
Твоя вдохновенная ужасом ложь  
Оружие в тех же руках.

*Конец 1950-х*

### **Великие люди**

Великие люди...  
Право, я теряюсь,  
Когда о великих говорят —

Великие люди  
Много постарались,  
Чтобы из жизни сделать ад.

Великие люди  
Чересчур тяжелые —  
Надолго  
Болит от них спина.

Великие люди  
Чересчур прожорливы —  
Надолго  
Страна от них бедна.

Великие люди  
Хороши в могиле,  
Когда забыто,  
Какими они были.

*1959*



\* \* \*

Спит Москва.

На улицах пустынно.

Шум вечерний бесконечно стих.

Только где-нибудь в тени подъезда стынет

Неподвижный шпик.

Изредка машина промелькнет проворно,

Жжик —

и снова нет.

Да скребет лопатой одинокий дворник,

Убирая снег.

Засыпает след бесшумными снежинками,

Заглушает шаг пушистой тишиной.

В темном здании на улице Дзержинского

Одинокое окно освещено...

Что он значит, этот огонек безмолвный,

Звездочка,

сводящая с ума?

Может, просто засидевшийся чиновник

Задремал среди бумаг.

А быть может,

там идет допрос авральный,

И четыре дюжих молодца

Озверев от крови,

со стараньем

Топчут сапогами моего отца...

.....

1961

**Вперед — свободно**

Трясется автобус, набит битком.

Жир и давка, жара и крик.

По известной причине *не здесь* закон

Тяготенья кто-то открыл...

- Уберите локоть, вам говорят!  
Тычете... Шляпка съехала...  
– Дорогая гражданочка, я бы рад,  
Но, честное слово, *некуда*...
- Кому копейка?  
– Кому билет?  
– Христос терпел, да и нам велел.  
– Пустите, товарищ, дайте сойти!  
– Ишь... на рабочих-то отрастил!
- Ну вот и классовый начался...  
– А вы, товарищ, уж полчаса  
Стоите где? На моей ноге!..  
Еще, по виду, интеллигент!
- Такому бы неженке на такси...  
– Очки надел... крокодил!  
– А вы проходите: народ висит.  
Свободно же впереди!..
- 

Поэт, как известно, есть краснобай:  
Болтает про что угодно.  
Но сегодня мне тема одна любя:  
Про: впереди – свободно.

Вы только вслушайтесь в эти слова,  
В их музыку, в их мотив:  
Они обещают, они живут,  
Куда-то зовут идти.

В них есть улыбающаяся мечта.  
В них есть чего ждут и жаждут.  
Пусть их произнес крокодил в очках –  
Какие уста – не важно.

Довольно, век, подводить живот,  
Довольно тюрьмы и плахи.  
Христос терпел – это дело его,  
А нам сия чаша – на хер!

Свободно не где-нибудь, а впереди.  
Впереди не что-нибудь, а свободно!  
Ведь это значит: вперед иди,  
Ура! — и тому подобное.

Ведь это значит: не будет лжи  
И подхалимов пегоньких.  
(Как жаль, что Гоголь до нас не дожил.  
Он: «Тройка!» — а ныне: техника!)

Ведь это значит: вся пыль и грязь,  
В которой мы едем, дядя,  
Нам больше не будет втираться в глаз:  
Она остается сзади...

А кстати, эдак-то говоря,  
Вы думали что похोजее?  
Очень возможно, что и навряд —  
Но это не важно тоже.

Трудом кропотливым — осатанеть!  
Даются сии стихи мне,  
А слово, может быть, тем ценней,  
Чем попросту и стихийней.

Пуškai мы стиснуты до ушей,  
Поставить некуда ногу —  
«Впереди» и «свободно» у нас в душе:  
Ведь этого тоже — много!..

---

А впрочем: надежды, мечты, слова,  
А дело — увы! — далекое...  
Товарищ! Я возвращаюсь к вам  
И к вашей идеологии:

Где вас воспитывали? И как?  
На Марксе сплошном да Ленине?  
Почему о свободе в ваших мозгах  
Столь варварское представление?

Вдолбили: «интеллигентский зуд»  
И «необходимость познанная» —  
И вы довольны, что вас везут,  
А хочешь сойти — так поздно!

«Вперед — свободно!» — помилуй, где?  
Очки у вас, что ль, не протерты?  
Уж если некуда локтя деть —  
Какое «свободно», к черту? —

Другое что-то...

---

Нет, не об излишестве  
Для избалованных...  
Нельзя же воздух тот, которым дышится,  
Давать в баллонах

И по талонам.

Толстым — хоть на подлость:  
Катай купейным!  
А вам и мне — билетик на автобус —  
На пять копеек.

И — отупенье.

Радио, газетой  
И телевизором.  
И бабьей басней, петой-перепетой,  
Давно безжизненной —

О коммунизме!

Том, который сами  
Забыли с миром,  
А вам и мне по-прежнему бросают,  
Чтоб выли с ними

И были смирны.

Были бы орудием,  
Ведомой массой...

Но мы ведь все же не скоты, а люди...  
Но нам ведь тоже нужно полной грудью...

.....  
— Ну вот и классовый...

---

Да, в классовый я не хотел, а впал.  
От него никуда не деться.  
В этом-то Ленин таки, пожалуй, прав:  
Молодец он!

1964

### Послание М.Б.

Таким крик боли не втиснешь в уши,  
В их толстый череп слова не лезут.  
С такими только словами пушек,  
Их только вешать, стрелять и резать.  
*М.Б.*

Что надо резать, стрелять и вешать  
Всех толстопузых и разжиревших —  
Я это, право, давно усвоил,  
На это тратить не стоит слово.

Нет, не эмоции — живого дела  
Вопрос, который бы решить хотел я:  
*Как их повесить?*  
*Как их зарезать?*  
*Как это резанье начать хотя бы?*  
Какие требуются шаги и средства —  
Хотя бы в скромном, сперва, масштабе?

У них — атомная.  
У них — ракеты.  
Чего-то стоит, пожалуй, это.  
Не больно ловко:  
«Эх, братцы, ухнем!» —

Без подготовки,  
Простым-то кухонным.

Стреляет палка (слышал, бывает),  
Но ведь не массово, а лишь в особенных.  
И тоже, знаешь ли, бельевая  
Для веской туши не приспособлена:

На мало-мальски здоровой первой  
Ведь оборвется, пожалуй, стерва...  
Уж коли вешать — так вешать дельно,  
С такой веревкой, что можно взяться, —  
А это требует людей и денег,  
И, очевидно, организации.

(Организация...  
Не генерального  
Сначала выбрать секретаря ли?  
А может, деньги всего существенней,  
И взлома банка не предпочесть ли?)

Еще: чтоб вешать, наверно, нужно  
Не только вервие, но и мужество.  
Не с нашей, скажем, на это целиться  
Интеллигентскою мягкотелостью.

(Закалки ради в старинном стиле  
Тюфяк с гвоздями не завести ли?)

Еще: нельзя же — и это скажем,  
Хотя бы даже себе на горе, —  
Стрелять и резать с идейной кашей,  
Без разработанной теории.

(С философического начать трактата? —  
Оно доступней к тому же как-то...)

На сем посланье пока заканчиваю.  
А дело доброе. Пора раскачивать.

1964

\* \* \*

О-сень...

Золотая о-сень.

Золотая...

Голубая...

— Се-рая.

Мне что-то горестно очень.

Верую,

Что зима будет

(а это — точно),

И холодно

(тоже факт),

И что эти последние грустные листочки

Со-всем облетят...

1962

\* \* \*

...Ибо сильна, как смерть, любовь

И глубока, как ад, ревность...

*Из Библии*

Сильна, как смерть, любовь...

Не помню, кто изрек.

Такая ерунда, что злость меня берет.

Наверно, кто-нибудь впервые обронил

Из старых классиков, бездельник-дворянин,

Который прожил век, не ведая забот,

Трудом своих крестьян питая свой живот,

И кроме глупых мук и радостей любовных

Не в силах был найти, чем жизнь свою заполнить...

Теперь — двадцатый век.

Теперь — такого нет.

Теперь мы все умней

на целый сантиметр,

У всех у нас делов — тележка и вагон,

И где уж тут любовь, когда живешь бегом,

И где уж тут «как смерть», когда тебе и так,

Того гляди что факт, кондрашка и инфаркт.

Короче — мы не те, и жизнь у нас иная,  
И *сей романтики* она не принимает...

А жаль...

1956

\* \* \*

Я помню сталинские времена —  
Культ личности в лучшем стиле:  
Какие были тогда имена,  
И как их умильно чтили!  
Чего говорить, времена — чума:  
Под ней — и хорьки, и кролики,  
Почти одинаковая тюрьма  
По обе — колючей проволоки.

Но солнце все же чегой-то льет  
На землю инертную нашу —  
И вот поломался и тронулся лед,  
И мы туда ручкой машем...

Картинка — аж слезы ручьем бегут.  
Весна — валерьянкой на душу:  
Вот прямо сейчас расцветут на снегу  
Фиалки и даже ландыши —

Как это показывают в ином  
Кино.

### **Пророк перед Иерусалимским храмом**

Так вот он каков, знаменитый Храм!  
Ну что ж! Ничего — строение!  
Готов, как холуй, закричать ура  
И преклонить колени...

Хвала тебе, старик Соломон,  
Что так обессмертил нас ты!  
Ты здорово был, говорят, умен,  
А кое в чем — прямо мастер.



Конечно, первое: был богат —  
Но это — начало только:  
Не будешь богатым, коль ты не гад  
И жать не умеешь соков.

Не плетка ли — главное в той руке,  
Которая храмы строит?  
И *в этом* спутников и ракет  
Твой домик паршивый стоит!

Но *завтра* знает один пророк —  
Царям не дается оно,  
И я говорю тебе: дунет Бог —  
И камень летит соломой.

И в прах рассыпается гордый дом  
Кичливых царей-уродцев,  
И места его не найдут потом,  
И память о нем сотрется.

### Три эпиграммы

**Написаны в день, когда в газетах  
было поведано о снятии Хрущева**

#### 1.

Собрались шавки и сожрали льва.  
Но как же лев поддался своре псов?  
Мне кажется, причина такова:  
Тот лев был лыс и *не имел усов*.

#### 2.

— Наполеон (известно из истории)  
Ведь разогнал когда-то Директорию.  
Скажи мне, друг, постигший время наше,  
А почему у нас зевает маршал?

— А он

*Не Наполеон.*

3.

Жизнь — колесо, и мы — на колесе.  
Не унывай! Все может повториться:  
Марксизм совсем уж было облысел —  
Ан глядь, опять, обратно *обровился*.

### **Родинка**

Когда после многих покоренных стран  
Хромой Тимур, завоевав Иран,  
В столицу шахов торжественно вступил,  
Во славу победы он устроил пир.  
Все было, конечно, торжественно и богато,  
Как у великих мира повелось.  
Персидских сановников и монгольских батырей  
Видимо-невидимо собралось...

Когда была съедена половина яств  
И гости рыгнули не один раз,  
Поэтов персидских велел позвать Тимур,  
Чтобы лучшие стихи прочитали они ему.

Поэты свергнутого Царя Царей  
Немалую школу прошли при его дворе,  
И каждый из них искусно словами плести умел  
На тему любую и на любой размер.

Рабы по природе, особо большой беды  
Они, конечно, не видели от смены своих владык,  
И много од сложили, искуснейших и длинных,  
Во славу нового повелителя и властелина.

.....

Есть текст в Коране. Примерно он таков:  
«Когда исполняется мера человеческих грехов,  
Аллах разъяряется — и своим бичом  
Народы нагрешившие сечет».

Тимур в своей юности размышлял немалый срок:  
Что под «бичом Аллаха» подразумевал Пророк? —  
И, наконец, догадкой Аллах его озарил —  
Что это — сильные мира, завоеватели и цари.

Бичом Аллаха, не спускавшим никому,  
И был по профессии всю жизнь свою Тимур,  
Но все же претендовал на художественный вкус  
И считался покровителем и знатоком искусств.

И когда он выслушал их хвалебный хор,  
Сказал, презрительно махнув рукой:

«Слышал я от людей из самых разных стран,  
Что великими поэтами богат Иран,  
Но теперь я вижу, что наврали мне,  
Ибо много рифмоплетов, а поэтов — нет».

И тогда по залу пронесся ропот,  
Гудя и растекаясь в дальние углы, —  
Ибо там было много иранских патриотов,  
Которые не могли снести такой хулы.

И один из патриотов, старенький и хилый,  
Не в силах был возмущенья превозмочь,  
И поднялся с места, и слова такие  
Дрожащим голосом произнес:

«Когда ищут жемчуг — не идут в горы,  
Ибо он таится в глубине моря,  
И у рыбы, и у птицы есть свои места,  
А кто ловит не там, у того сеть пуста.

Но как не бывает жемчуга на горе —  
Не бывает поэтов при дворе царей.

А есть у нас Гафиз, пьяница и гуляка,  
Который ко дворцам вовек не ведал путь, —  
Но любая собака от Багдада до Герата  
Его газелы знает наизусть.

Ибо этот Гафиз, пьяница и гуляка,  
Есть поэт воистину милостию Аллаха —  
И прости, великий, но глупы твои слова,  
Ибо слушал канареек, а судил о соловьях».

И подумал Тимур, и разумен был ответ его:  
«Что ж, старик, быть может, я и поспешил.  
Но давай послушаем этого поэта,  
И тогда кто прав из нас — решим».

.....  
Натянуть тетиву — еще не сразу выстрел,  
Но повеления Тимура выполнялись быстро.

В дешевом кабачке на краю города,  
Где ругались караванщики и чадил шашлык,  
Несравненного Гафиза, хмельного и оборванного,  
Посланцы Тимуровы нашли.

Его во дворец привели, не дав опомниться,  
Обтерли губкой пьяные уста,  
Бархатный халат накинули на лохмотья —  
И в таком виде перед Тимуром он предстал

И сказал, озираясь: «О великий повелитель!  
Не знаю, что и прочитать тебе.  
Ибо я не восхвалял твоих добродетелей  
И не прославлял твоих побед.

Но у меня есть стихи о моей милой,  
Звонкие, как сердце, и ароматные, как мечта.  
Дозволишь ли прочитывать их, повелитель мира?»  
И Тимур сказал ему: «Читай».

И начал поэт медленно и нараспев,  
Глазами горящими глядя поверх гостей:

О том, что целовать ее он будет неустанно  
С зари и до зари, а иная мудрость — вздор.

И что кипарису подобен стан ее,  
Растущему на склоне Хоросанских гор.

И мудрый только тот, кто подымает чашу,  
И тот один — гафиз, кто пьет ее до дна,  
Что в мире есть стихи, вино, любовь и счастье,  
А жизнь у нас — одна.

И когда она с ним, то цветы довольны,  
И солнце радуется, и земля — кричит.  
И что зрачки ее глаз, как нубийские невольники,  
Держащие обнаженные мечи.

А когда ее нет, он в смятенье и тоске  
И готов отречься от этого лживого мирка.  
И что за одну только родинку на ее щеке  
Он отдал бы Бухару и древний Самарканд...

Но Тимур, услышав последние слова,  
Мановением руки поэта оборвал  
И, закрыв лицо, помолчал минуты две,  
И тяжелая слеза стекла по бороде.

И сказал он с горечью: «О человеческий род!  
О сколь ты жалок разумом и духом груб!  
Я завоевал полмира, проливая кровь,  
Чтобы возвеличить Самарканд и Бухару.

Но им все это — жалкие безделки!  
Им только бы добраться до первого кабака!  
И ради родинки на щеке гулящей девки  
Они отдают Бухару и Самарканд...»

И мгновенным бешенством внезапно распалась,  
Он схватил сосуд из венецианского хрусталя  
И ударил им об пол, так что руки в кровь,  
И осколки брызгами полетели в плов.

Воцарилось в зале могильное безмолвие,  
Ибо все ожидали пепелящей молнии —  
Но с поэта уже соскочил хмель,  
И спасти положение он сумел.

Он сорвал со своих плеч бархатный халат —  
И все гости увидели бывшие на нем  
Лохмотья нищего, сплошь из дырок и заплат,  
Покрытые грязью и залитые вином.

И воскликнул: «Великий, взгляни на это рубище!  
Посмотри до какого — поистине, барыша! —  
Довела меня щедрость, не знающая удержу,  
И моя неразумная душа».

И Тимур остыл, улыбнулся и простил,  
И благосклонно поэта отпустил,  
И халат подарил, как прощения залог,  
И с томанами золотыми дал полный кошелек.

И поэт с достоинством принял этот дар,  
С чем и покинул Тимуров пир,  
И пошел в кабак, и томаты раскидал,  
И халат вполдорога пропил...

*1948–1965*

### **Первое китайское**

Китаец раскос и желт,  
Китаец — прохвост и лжет.  
Не очень — за свой Союз,  
Но очень его боюсь.

Не были — далеко! — рай,  
Но были какой-то край,  
Восставший кусок — на мир,  
На чаше весов — одни.

Сидел во главе тиран,  
Гудел в голове дурман,  
Но красно маяк горел,  
И ясно стоял барьер...

Теперь мы давно — не край,  
Теперь по иной играй:  
Селедка — ни кол, ни тын —  
Середка: Нью-Йорк — Пекин.

Китаец — дурак и слеп,  
Китаец украл наш хлеб:  
Идею у нас забрал,  
И дело для нас — труба:

Сидим на песке одни,  
Спустив для ракет штаны,  
Да только от тех ракет  
Что толку? И с кем в крокет?

Когда на Китай эпоха,  
Куда ни кидай — все плохо.

1965

## Второе китайское

Марксизм для русского — чужое увлечение.  
Марксизм есть истинно китайское учение.  
Нас, как детишек малых, провела  
Китайца-Маркса накладная борода;  
Не разглядели азиатской стати  
Под маскарадным европейским платьем;  
И скрыл от нас монгольские азы  
Профессорский, под Гегеля, язык.

Спасибо Мао, мудрому, как Сталин,  
Что он нас в заблужденьи не оставил,  
Что напрямик, как самый верный враг,  
Разоблачил сусальный маскарад;

Что правильно и вовремя заметил,  
Где есть марксизму место на планете;  
И показал, его у нас отняв,  
Кому мы в мире все-таки родня.

Но показать — бывает слишком мало.  
Иные видят и не понимают,  
Зане — кому погибнуть под пятой,  
Господь казнит сначала слепотой.

Но вот приходит истинный хозяин,  
И из чужого платья вылезают,  
И голая кончина настает  
Для бедных мавров, сделавших свое.

Мне образ начинает рисоваться  
Империи, принявшей христианство,  
В которой всем до времени темно,  
Что не ее, а варваров оно.

1965

\* \* \*

Наш двадцатый век бесконечно мудр  
И, пожалуй, поймет насилию,  
Что сажать невинных людей в тюрьму  
Неразумно и некрасиво.

Но, боюсь, хоть и много иных идей  
Вылезает из нор стихийно,  
Это будет крайний его предел —  
Да и то не вполне достигнутый.

1965



## **Мы — нигилисты**

**1.**

Мы — нигилисты,  
Вот как нас чествуют...  
Думаю, высказаться  
Лучше, чем молчать:

Придуманно словечко,  
Приклеен ярлычок.  
Что человечкам  
Надобно еще?

Можно словечком  
При-крыть во-прос.  
Мир за словечком  
Кажется прост.

Но есть, конечно,  
И в веке сем,  
Которым словечко —  
Еще не все.

За словечком  
(Словечко — дым)  
Видеть вещи  
Хочется им.

Для них и требуется,  
Обосновав,  
Наше кредо  
Истолковать.

Для них без тайностей,  
В рост во весь  
Должны пред-ставиться,  
Кто мы есть...

**2.**

Да, мы молоды  
И по-шлы.  
Да, мы многого  
Не прошли.

Может, лучшие,  
Кем, до нас, —  
Ре-во-люция  
И война.

Может, лучшие,  
Кто — впе-ред! —  
Рас-ку-лачивал  
Свой народ.

Может, лучшие,  
Кто — ура! —  
К стенке, скручены,  
И: «Да здра...»

Может, лучшие —  
Тут же: «Пли!»,  
Может, лучшие,  
Кто смогли

Выжить с верою  
В новый век,  
Ибо де-ре-во  
В голове.

А не дерево,  
Так ведь вот:  
Плохо с верою —  
Не идет;

Хоть и хочется,  
Да — каюк!  
(Что ли почветцы  
Не дают.)

Как ни всажена —  
Не живет!  
(Впрочем, важно-то  
Для — кого?)

3.

Мы — нигилисты,  
Наша ль в том вина?  
Может, помолиться  
Хочется и нам?

Может, почествовать,  
Как еще готовы? —  
Только, по чести,  
Было бы кого бы.

Вашего Ленина  
Сунете опять?  
А, может быть, гения  
Стоит покопать?

«Спасайте, соратники,  
Груб ведь больно очень.  
Власть необъятную —  
Ах! — сосредоточил...»

А-нализ классовый  
(Владели дивно)  
Куда девался-то,  
Ильич, родимый?

«Личность груба, мол» —  
Просто умиление:  
Вон он как рубает,  
Великий Ленин!

Ныне, видимо,  
Стало не про Вас,  
Что личность выдвинул  
Некто Класс?

История — дура:  
По книжке не течет,  
Чью диктатуру  
Делал, дурачок?

Скажешь, рабочего? –  
Дер-жи кар-ман!  
Хватит, поморочили,  
Понять пора...

4.

Мы – нигилисты,  
Все нам нипочем:  
Вы ему молиться,  
А мы – дурачком!

Так вот и гаркнули,  
В душу прямо харкнули,  
А, может быть, к стареньким  
Надо деликатнее?

Были все же искренни  
(Лет сто назад).  
Даже если истину,  
Зачем – в глаза?

Тоже и сажали их  
Или просто жали.  
Можно и не жаловать,  
Все же уважая.

«Век-то был который? –  
С той еще историей! –  
Сами-ка попробуйте  
Что-нибудь устроить...»

– То бишь, не начальники –  
Значит, не судите...  
Для иных молчалиных  
Ах, как убедительно!

Да не все же – куцые,  
Чтоб одни овации...  
Если сердцу судится,  
То куда деваться?

Мы ведь все же молоды  
И слегка с задором.  
Нам ведь нужно многое —  
Не одни заборы.

Тут: могу держаться  
Гиля или нигиля.  
Тут: какие джазы  
И какие книги.

Тут: в кого нам метить  
И на что — монету.  
Тут война за место —  
Не до сантиментов!

5.  
Мы — нигилисты.  
Что ж, не жеманясь:  
Нечем — хвалиться.  
Точен — диагноз.

Только и те-то,  
С верой и правдою,  
Тоже рецептом  
Нас не порадуют.

Чем-то навеяно,  
Ныне созрело  
Время — безвременья,  
Время — безверья.

Нету — рецептов.  
Нету — религий.  
Спрятались где-то  
Так, что не видно.

Мы — нигилисты.  
Мы — отрицанье.  
Это — не пристань,  
Знаем и сами.

Это — с отчаянья.  
Это — в печали.  
Это — скончание.  
Это — начало.

Марксы и Ленины  
И революции  
Щучьим велением  
Не создаются.

Рано — глашатаев.  
Делать — потомкам.  
Время — расшатывать  
Первым в потемках.

Первым — без чести.  
Первым — без истин.  
Нам, не нашедшим,  
И — нигилистам...

6.

Вот мы как разохались —  
Совсем бу-за!  
Вышла-то мозаика —  
Рябит в гла-зах:

Чуть ли не мессиями  
Сошли с небес! —  
Надо ж покрасивее  
Портрет се-бе...

Сходство все же схвачено,  
Есть — и — фон.  
Умному — достаточно —  
А-дью — на — том...

*1965—1966*

## Комментарий на текст № 1

Я знаю силу слов, я знаю слов набат.  
Они не те, которым рукоплещут ложи.  
От слов таких срываются гроба  
шагать четверкою своих дубовых ножек.

*Маяковский*

### 1.

Вижу, в силу слов поверив на слово:  
Нет, не кладбище поэт имел в виду,  
Нет, не кладбище, скорее – площадь Красная,  
И – гроба по площади идут.

Слова поэтического мощью  
Вырваны со дна могильных ям,  
Тук-тук-тук – стучат своими ножками  
По давно притоптанным камням.

Много их: колонны и колонны  
Медленно шагают в тесноте.  
Над гробами – алые знамена  
(Как поэт, наверно, и хотел).

Гроб – трибуна. А в гробу том – барин.  
А на гробе – новый (из гробов).  
Ну, а сверху – солнце ярко шпарит,  
Ветерок, и небо голубо...

### 2.

У поэта что ни слово – золото  
(Знаю, мол, те самые слова).  
Вот: «дубовые»... Конечно, сплошь дубовые –  
Прямо в лоб, и сразу – наповал!

Вот «четверкою». Не символ ли воистину?  
Угловат, приземист и широк...  
Ведь не скажешь — присмотришь попристальной —  
То ли гроб он, то ли — носорог!

А «набат»? прислушайтесь: ...Программа!  
Сила слов, срываются гроба...  
Если вера — целыми горами,  
Уж гробами запросто — набат!

Э-эх, набат! Ударить размахнувшись!  
Святцы побоку и раззудись плечо!  
А всего и дела — ах, как нужно!  
Чтобы гроб по площади пошел...

### 3.

Нет, смешны ходульные котурны,  
И с романтикой неладно гробовой.  
Не гробам шагать — живые бы подумали,  
Для поэзии довольно и того.

Может быть, не столь оно красиво —  
Черная работа, дорогой, —  
И, конечно, слов слепая сила  
Тут должна немного быть другой.

Тут не больно в точку жест широкий,  
И в набатик, мальчик, не играй:  
Без гробов дубовой маршировки  
На земле хватает через край.

Для того, чтоб было что-то дальше,  
Надо людям капельку ума:  
Трудный век, и трудная задача —  
Не гроба набатом подымать...



**Ответ поэту Юлии Друниной  
на ее письмо к миссис Энн Смит  
(«Литературная газета» от 26 июля 1966 года)**

Простите, Друнина, я не поэт,  
И мы не знакомы с Вами.  
И все же мне хочется дать ответ  
На Ваше письмо о Вьетнаме.

Я Вам бы, конечно, не стал писать,  
Не будучи этой миссис,  
Но я опасаясь, что Ваш адресат  
За нас не сумеет мыслить:

Он – слишком янки и слишком прост  
(По Вашему судя тексту),  
А совесть – это больной вопрос,  
И рано ее на экспорт.

Не знаю, Друнина, как для Вас? –  
По-моему, режет фальшью,  
Когда поэт поднимает глас,  
Но только того подальше.

С одной – Евтушенко, с другой – Стейнбек,  
Под дудочку оба ломают.  
Какого Вы мненья об их борьбе?  
По-моему, пошлый номер.

Про Джона, пожалуй, у Вас хорошо,  
И парень, жаль, оболванен –  
Но далеко ль от него ушел  
Знакомый нам ближе Ваня?

Поэт рассеян и мог забыть,  
И, видно, напомнить надобно,  
Что Ваня тоже здоров бомбить,  
Как только ему скомандуют.

Его испугает, что он палач?  
И много у Вас надежды,  
Что тетя Дуня, поднявши плач,  
За стремя его удержит?

Я Ваню отнюдь не хочу винить,  
И все мы — простые люди,  
Но все мы впутаны в ту же нить,  
И чуда от нас не будет.

Ваш Джон, по-моему, просто мил:  
Бомбил — и всю жизнь казнится.  
Боюсь, страшной настоящей мир  
С обеих сторон границы.

Поэты в сердце палят себе,  
Когда их берет отчаянье, —  
Но очень редко сие чепэ  
Случается с палачами.

Для Вас, как видно, силен резон:  
Который из двух попался? —  
И что над Вьетнамом шурует Джон,  
А Ваня пока в запасе.

Велят пилоту — бомбит пилот,  
Не больно большая тайна.  
И в том ли дело, каков холоп?  
И дело решают паны.

Ответственность здесь *целиком моя*,  
И Вы *не хотели*, Друнина, —  
Но только нельзя про Вьетнам, боясь  
Из скромного выйти уровня.

Америка — знамо, что не свята.  
А что на вьетнамской бойне  
И мы наживаем свой капитал —  
От этого Вам не больно?

Кричать надрывно о палачах —  
Нехитрая это штука,  
А вот, когда надо помочь кончать,  
Мы что, умываем руки?

Когда дерутся — чего уж тут,  
Тут пальцем любой покажет,  
А чистенький сзади кричит: «Ату!»  
По-Вашему, он не гаже?

Вьетнам истерзан! Вьетнам горит! —  
Друг с другом никто не ладя,  
В большую политику на крови  
Играют большие дяди.

И дядя-враг, и дядя-сосед,  
И дядя — «дерись, с тобой мы» —  
Они, черт возьми, виноваты все,  
Их всех бы — одной обоймой!

Вот Вы о тростинках — а наш глава  
На то заявляет прямо,  
Что чей-то важней для него провал  
Тростинок того Вьетнама.

Большие дяди — не нам чета,  
Иные у них инстинкты.  
При ихнем размахе чего считать  
Какие-то там тростинки.

А Ваша, Друнина, в том беда,  
Что хоть незаметно сразу,  
Для нас-то Вы говорите «да»  
Всей этой кровавой грязи.

И Ваша, Друнина, в том беда,  
Что очень длинна дистанция,  
И Ваше «нет» не дойдет никуда,  
И Ваше «нет» пропадет без следа,  
А «да», может быть, останется.

И я не хотел бы обидеть Вас —  
Я в искренность верю Вашу —  
И я не буду сводить баланс  
И выводы делать дальше.

### **Могилка**

...И я не ведаю  
Судебной техники —  
Но был за дело  
Повешен Эйхман.

Хотя известно,  
Что — ах, бедняжка! —  
Приказам сверху  
Он подчинялся.

А наши сволочи  
Того же ранга  
Приходят все еще  
Смотреть парады.

Какой бы ни был,  
А все же — Ленин:  
Не место гнидам  
На мавзолее!

Он вам — великий,  
Мне — просто дядя,  
Но на могилку  
Зачем же гадить?

*1966*

\* \* \*

Откровенный человек был когда-то – фюрер!  
Прямо резал, презирая экивок:  
«Когда я слышу слово “культура”, –  
Тотчас же

инстинктивно

взвожу курок».

С фашистскими лозунгами нам не по дороге!  
Мы в общем за культуру,

и только в частности,

Когда произносим слово «идеология»,

Зовем

инстинктивно

товарища Семичастного.

И вот в результате:

фюрер – капут,

И на могиле его вырос лопух,

А мы с вами живем и здравствуем,

И строим коммунизма светлое царство,

И будем строить на страх врагам

Сто лет,

и тысячу,

и всегда!

...Учитесь, детки, на сем примере,  
Насколько откровенности выгодней лицемерье.

## **Кабинет**

Кабинет был обширен, строг и прост –  
Особо, не просто строг.

Казалось, он сам начинал допрос,

Заранее зная срок:

Мол, Пете – пять, а вот Сене – семь,

И *сто миллионов* – всем...

Ну что ж! Опишем сей кабинет.

Ха-ха! Почему бы нет?

Там было четыре прямых угла  
(Четыре стены — при них!),  
Прямых, как закон, прямых, как кулак,  
Как власть над людьми — прямых.

Прямых — что не надо кривых зеркал:  
Лишь взглядом по ним скользнув,  
Чтоб каждый с трепетом постигал  
Собственную кривизну.

Чтоб это было: как вдруг — конец,  
Как молния прямо в лоб —  
И, осознав, преклонился б ниц  
Пред прямою углов...

Досель мне мерещатся те углы,  
Голодны и голы.

.....  
А окна были — без решеток даже:  
Зачем — решетка? Все-таки — этажик.  
С какого-то большого этажа  
Не прыгнешь, головою дорожа,

И все-таки — иллюзия свободы:  
Теперь не культ, теперь другие годы,  
И на асфальт бросаться головой  
Не станет посетитель рядовой.

А те, которым следует бросаться,  
Они в *другое* место пригласятся,  
И *там* решетка будет их стеречь,  
И все довольны, обо что и речь.

.....  
Окна — одно, углы — иное,  
Линии четкой — нет.  
Нашу эпоху с ее помоями  
*Так* отразил кабинет.

Нашу эпоху с ее безмозглостью,  
Из-за которой она безмолвствует,  
Из-за которой всего превыше  
Только: кабы чего не вышло.

.....

Кабинет был обширен, как я сказал.  
Кабинет был почти как зал.  
Но его половину (огромен столяр)  
Занимал  
Генерал  
Стол!

Немного поэт, я стол любил  
(У Цветаевой есть о том),  
Но тут сперва: шириной с Сибирь,  
А что это был стол — потом.

.....

Заткнись, душа, и умри, любовь,  
Недостойных не удостой —  
Потому что сначала: он был дубов —  
И неважно, что он был стол.

Заткнись, душа, ничему не верь,  
Благодушие свое — долой! —  
Потому что взаправду он был: барьер,  
Лишь прикидывающийся столом.

Заткнись, душа, и оцепеней,  
Держи наготове нож...  
Коли не сволочь, в тот кабинет  
Волею не пойдешь.

Но я — человек советский,  
И я получил повестку.

И вот я сижу перед тем столом,  
Кабинет озирая тот,  
И что тот кабинет — не родной мой дом,

На лице моем черт прочтет...  
(Эх, лгу же,  
И — дюже!)

.....

Может, вправду «веет ветер свежий»,  
Может, просто: «ничего, нагоним»,  
Но полковник — безусловно вежлив,  
Ангелочек в крылышках-погонах.

Не полковник — девица-полковница:  
«Очень рад, мечтаю познакомиться...  
Не считайте ничего такого  
С глазу на глаз — что нам протоколы?..»

Тема о кабинете исчерпана, и стихотворение на этом интересном месте обрывается. В виде компенсации к нему прилагаются два निжеследующих примечания:

#### **Примечание о ста миллионах**

Мол, Пете — пять, а вот Сене — семь,  
И *сто миллионов* — всем...

*«Кабинет»*

Не правда ль, хорошенькое число?  
— Поэты — любители громких слов.  
Для них миллион — что мячик...

— Простите, считал с бумажкой.  
Простите, даю оценку  
Ошибки: сорок процентов.  
Порядок — на плаху — тот.  
И — помолчите... Вот...

...Итак, возьмем: фараон Хуфу,  
Начало мира по Библии.  
Да нам до Хуфу до того — фу-фу!  
Мы даже еще не выбыли!



...Пещерный пращур из обезьян  
В людей превращался скопом.  
Ведь это тоже еще нельзя  
Увидеть без микроскопа.

Да что! Смешно говорить про нас,  
И пращур — какая вежа?  
...Исчез и не был старик Кавказ,  
И полюс гулять поехал.

Земля меняет морей узор.  
Ее заселяет ящер.  
Мы с вами — шутите? — в ме-зо-зой  
Залезем числишком нашим.

И это тоже — простите, что? —  
Всего только *точный счет*.

### **Примечание о полковнике**

Но полковник — безупречно вежлив,  
Ангелочек в крылышках-погонах...  
*«Кабинет»*

Человечек, восседавший там,  
Кажется, по звездам, капитан,  
Но — пускай в убыток мне зачтется —  
Не знаток я в этом звездочетстве.

Слышал только, что не жди добра,  
Коль, назвавши, чином не добрал,  
А избыток сходит преспокойно.  
Посему: да будет он — полковник!

Не меняет сущности вещей,  
Мне не жалко, да и вообще:  
Ах ты, душка с вежливостью лисьей,  
Я б тебя и более повысил...

\* \* \*

С судьбы роковой иронией  
Я мало чего имел.  
Я не был, увы, на фронте  
И не сидел в тюрьме.

Когда, за порогом смерти,  
Предстану, нагой и бесхвостый, —  
Что я напишу в анкете,  
Которую даст Апостол?

Наверно, поставлю прочерк  
(Потребуют покороче).

Когда дойдет среди прочих  
Очередь до меня,  
Апостол глянет на прочерк  
(Давно — профессионал)

И скажет усталым голосом  
(В сколько-миллиардный раз?):  
«Не был угоден Господу,  
Стало быть, не про нас».

На чем навсегда кончается  
Не только моя фантазия...

### **Индийская философия**

Бог совершенен — правду говорят,  
И кроме Бога ничего не надо.  
И бодрствуй Бог, все было бы олл райт,  
Но Бог заснул...  
А в это время Дьявол

Тяп-ляп — и создал мир.  
Посредственный весьма.  
Какой из Дьявола, помилуйте, работник?  
Добро была бы цель, а то из озорства.  
К тому ж еще спешил, не вкалывал добротно.

А мы расхлебывай, как попки, это все:  
И шутки Дьявола, и тихий Божий сон...

### Пророк и Креститель

Давай закончим наш разговор.  
Неправильно он ведется.  
Какой-то больно не деловой,  
А только одни эмоции.

И что за странные словеса:  
«Тебе ль у меня»... И далее...  
Я, кстати, могу развязать и сам  
Ремни у моих сандалий.

С чего такие восторги вдруг?  
Оно мне, конечно, лестно.  
Но только, знаешь, восторги врут,  
И им не должно быть места.

Взгляни сюда: Иордан течет.  
Вот правый, вон левый берег.  
И ты — пророк, а я новичок  
В пророчества трудном деле.

И я креститься к тебе пришел,  
И ты, очевидно, старший —  
А кто из нас больший — нехорошо  
И незачем Бога спрашивать.

И я в пророки не с тем полез,  
Чтоб рангом затмить кого-то, —  
Но каждый должен нести свой крест  
И делать свою работу.

Настало время вести людей  
Из царствия лжи и страха —  
И тут целина непочатых дел,  
И дорог здесь каждый пахарь.

Но каждый пахарь, увы, не Бог,  
Хоть что-то иметь и должен.  
В мозгу извилин и у него  
Про все не хватает тоже.

И вот — получается: мы с тобой,  
На землю и небо зарясь,  
Мы тащим обид комариных боль,  
Тщеславье и просто — зависть.

Настолько ль ты сердце свое постиг,  
Чтоб знать, преклонив колени,  
Что завтра тоже оно простит  
Сегодняшнее умаленье?

А завтра будет тяжелый час,  
И разные будут двери.  
И ты осудишь, ожесточась,  
В кого чересчур поверил.

Осудишь чистой своей душой  
За то, что поверил втуне, —  
А он, подлец, не туда пошел,  
Куда за него ты думал.

И я, учитель, не жду добра  
От этих восторгов гретьих...  
Давай привычный тебе обряд  
Исполним по трафарету.

### **Пророк и хлеб**

Кто нас обозвал тунеядцами,  
Небольшо далек умом...  
Не будем, как он, смеяться,  
Давайте его пойдем:

Ведь разве неправда, что ли,  
Хоть вывод его нелеп, —  
Что потом не нашим полит  
Съедаемый нами хлеб?

А сеюший хлеб — полезен,  
На том согласятся все:  
И сеюший хлеб, и цезарь,  
И мытарь, и фарисей.

Но так из них всякий прямо —  
Гни спину и землю рой?  
Теперь не век Авраама,  
И общества сложен строй,

И мытарь берет налоги —  
С того хлебопашца — первого! —  
Чтоб цезарь строил дороги  
И развивал империю.

И фарисей (с него же!)  
На Храм собирает лепту —  
Ведь Богу пристало тоже  
Некоторое великолепие.

А дальше — с лихвой довольно  
От главных от сих кормиться:  
Империю нужен — воин,  
И Храму нужна — полиция!

Матросы, торговцы, стряпчие,  
Кабатчики и актеры,  
Писцы, проститутки, прачки —  
Не нужен из них — который!

Оплачено государством —  
И, значит, не тунеядство...

И только за дело наше  
Не платят ни Храм, ни Рим,  
И мы не жнем и не пашем,  
И мы не поем и не пляшем,  
А ходим и говорим.

А дело ли это разве  
Для тех, кто забыл людей?  
Для тех, кто лишь рад стараться?  
Для тех, кто в бездумном рабстве  
Удобный нашел удел?

Без санкции государства —  
Так как же не тунеядство?

Подумал ли тот фарисеик,  
Судить поспешивший нас,  
Что хлеба и *он* не сеял  
И спица — ему же в глаз?

Да нет, получил от Храма  
И дом, и хороший стол,  
И жизнь у него оправдана,  
И думать ему — на что?

И, тоже, о тунеядстве  
Изволим распространяться!

Оттуда его! Сюда бы!  
За нами денек вослед!  
Попробовал бы, как даром  
Мы свой добываем хлеб!..

Пешком, от города к городу  
С друзьями бредет пророк,  
И ноги у них ободраны  
О камни трехсот дорог.

В глазах чернота от зноя.  
Песок на зубах хрустит.  
И пот иссушен до соли  
Ветрами пяти пустынь.

Добрались, всхрапнуть бы часик —  
Ан смотришь, уже спуют,  
Больных штабелями тащат  
И язвы в лицо суют.

Людей не погонишь, братцы:  
Их хлеб, и живем для них.  
А значит — куда деваться?  
И значит: пророк, тяни...

А глотка-то что — луженая?  
Легко говорить: гора!  
А тоже отменный жернов —  
Народу с горы орать.

И птица гнездо имеет,  
Любая лиса — с норой,  
А нам вот, бывает, негде  
Башку преклонить порой,

И брюхо подводит с голоду  
(Небольно с чудес живем),  
И в бурю на утлой лодочке —  
Авось, пронесет! — плывем.

И так ли легко и мило  
Вздыхать, отходя ко сну,  
Что нынче Господь помиловал,  
А завтра, гляди, распнут?

И, может, не станет друга —  
Твои повторить слова,  
И вспять перепашут плугом,  
Что подняли мы едва.

Известно: кричишь — внимательны,  
Замолк и пошел — забыт...

И это все — не романтика,  
А ежедневный быт...

.....

Ну что ж! Ничего... Солдаты!  
Солдатам какой уж дом...  
Не унывай, ребята:  
Знали, на что идем.

## **Пророк и город**

В последний наш вечер, дети,  
Кружком посидим своим,  
А завтра мы на рассвете  
Выходим в Иерусалим.

В тот город, где Храм для Бога,  
А люди темны и злы,  
Где сходятся все дороги  
И спутаны все узлы.

В тот город, где наше сердце,  
Судьба и свершенье дел.

В тот город, где фарисейства  
Исконная цитадель.  
В тот город, где был камнями  
Побит не один пророк.

В тот город, где вас обманут  
У самых еще ворот.

В тот город, где всюду сети,  
Сплетенные так хитро,  
Что где их тебе заметить,  
Простой рыболов Петро.

В тот город, где от лохмотьев  
И злата рябит в глазах.

В тот город, куда приходят,  
Но мало следов назад.

Бродя по дорогам дальним,  
И сея свои слова,  
Мы все этот город втайне  
Мечтали завоевать.

Но там новичкам не верят  
И старый закон силен.



Мы входим в логово зверя —  
И голову в пасть суем.

Но доводы все изложены  
И надо уметь решать...

А все же еще возможно  
Не сделать опасный шаг.

Оставим, давай, другому  
Испить эту чашу зла.

Никто нас туда не гонит.  
Никто нас туда не звал.

Вернемся в деревню нашу,  
Где начали мы с азов,  
Где приняли нас однажды  
И стерпят еще разок.

По старым путям проторенным  
Пройдем без большой борьбы.  
Ученье свое повторим  
Для тех, кто его забыл.

Иной и впервой послушает —  
Не всех обошли, поди.  
Еще нам остались души,  
Не вовсе зазря ходить.

А дальше-то что начертано? —  
Ведь надо смотреть вперед...

А дальше — наш путь исчерпан,  
И дело на нем умрет.

Нас много, пророков, ходит.  
Болтаем, какой во что.

Но нужен сегодня подвиг,  
А прочее все — не в счет.

Болтать иногда красиво —  
Есть тоже бесценный дар, —  
Но Царство берется силой,  
Уйти от того куда?

Оставим, давай, другому,  
Кто более нас готов...

Но Богу, увы, угодно,  
Что если не мы, так кто?

А если Господь так хочет —  
Его и судьба, и час...

Спокойной вам, дети, ночи —  
Быть может, в последний раз.

## **Комментарий на текст № 2**

И разве я не мерюсь пятилеткой,  
Не падаю, не подымаюсь с ней?  
Но как мне быть с моей грудною клеткой,  
И с тем, что всякой косности косней?

*Пастернак*

### **1.**

Рифму «клетка» к пятилетке  
Не поэт придумал, детки.  
Рифмы — верю и стою —  
Никогда не создают.

Как никто не создал воздух  
И никто не создал звезды,  
В языке народных масс  
Жили рифмы раньше нас.

Вот, возьмите, и Вертинский,  
Чуть с чужбины воротился  
И певцом советским стал —  
Эту рифму отыскал.

Хоть любитель криминала,  
Я не думаю нимало,  
Будто кто-то, подлый вор,  
У кого-то рифму спер:

Пятилетка — клетка, детки,  
Детки в клетке — в пятилетке, —  
То ли метко,  
То ли едко,  
То ли думаем нередко...

Словом, Бог с известным привкусом  
Эту рифму породил...

Вышесказанное — присказка,  
Сказка будет впереди.

## 2.

Смешно до слез, как вспомню наше прошлое,  
Тридцатые года...  
Вот — Пастернак, и был поэт хороший,  
А нужен ли — гадал.

Тянул себя по пятилетке мериться:  
Я с вами, братцы,  
А не сумел, что сделаешь, — инерция  
Должна караться.

И за мою грудную клетку эту,  
Где косность ноет,  
Валяй меня телегою проекта,  
Товарищ новый.

Твоим уставам верить я не стану,  
А впрочем — мимо:  
По вдохновенью, а не по уставу  
Обречены мы.

Еще, добро, осталась нам природа,  
Капель и кустики...  
И мне уйти, безвольному уроду,  
В мое искусство...

### 3.

Глупца секли однажды,  
Но мыслил он и тут:  
Не в том ли и сермяжная,  
Когда тебя секут?

С чего поэт талантливый,  
Какая в том нужда,  
Почти что по Лоханкину  
Изволит рассуждать?

Конечно, ты калека —  
Не сам ли уловил? —  
Когда грудная клетка  
Умнее головы.

Но мы не будем строги:  
Легко судить назад.  
И не было у многих  
И вовсе ни аза.

Грудная клетка с норовом,  
Зовущая на бунт,  
Досель дается смолоду  
Не каждому рабу.

...Добротная, от предков,  
В падении верна —  
Спасибо вашей клетке,  
Товарищ Пастернак!

Но клетка есть не только,  
Которая в груди,  
И страшен дух эпохи,  
Когда она смердит

И ложью наши души  
У самых лучших ест,  
И вот мы сами душим  
Души своей протест.

Пока «король-то голый!»  
Детишки не кричат,  
Спешим по долгу горло  
Подставить палачам:

«За вами, братцы, правда,  
А я — всего урод»...  
А их оно и радует —  
И *дух эпохи* прет...

#### 4.

По уставу, по вдохновенью ли —  
Мы пока разобрались мало —  
Разыгралась обыкновенная,  
Хоть отменная, вакханалия.

Не телегой проекта — проще! —  
Человечек новый работал:  
Просто ставил в бумажке росчерк —  
И валяй в Колыму кого-то.

Где уж там, не копались много —  
Не хватило б, наверно, века, —  
Кто из старых, а кто из новых  
И какая грудная клетка.

Всех туда, кто попался под руку,  
Всех туда, кто урод, кто рыжий, —  
Ну а *там* обходились коротко,  
Так что разве десятый — выжил.

Сколько их — посчитаем, что ли? —  
Для которых на том кончается,  
По которым потом свечою  
Догорала душа-печальница?..

Ну, а мы, от большого жира —  
Ах, как жили в хорошем мире! —  
Кто, дрожа, оставались живы  
И кого обходило мимо.

И не бросим ненужный камень –  
Слишком просто и слишком больно, –  
Что тебе о зиме стихами  
Пополнять свой весенний сборник.

5.

...И умер Пастернак. Остались мы.  
Живем себе, тоскуя и надеясь.  
И даже нет (почти что) Колымы –  
Но те же бездны никуда не делись.

Никто из нас все так же не пророк,  
А дух эпохи пахнет неприятно,  
И если есть в стихах моих упрек –  
Его придется принимать обратно.

И мы порой сбиваемся с пути,  
Не *той* из клеток слушаясь покорно,  
И рассудив: «не поле ж перейти»,  
Всю жизнь чудовищ неразумно кормим.

Но жизнь – и то! – не вся в сплошном бою,  
И редко в бездну заглядится мальчик,  
И на краю играют и поют,  
И так и надо, и нельзя иначе...

### **Бедный Генрих**

1.

В древнебрежневское время  
Жил в России бедный Генрих...  
– Бедный? – Полно! – Отчего? –  
Благородное чело,  
Рост – высокий, взгляд – горящий,  
Жест – профессор настоящий,  
А бородка, хоть бела,  
Очень славная была.  
И довольно денег было,  
И жена его любила,  
Словом, «бедный» – было б свист,  
Кабы не был он – марксист...

## 2.

Ах, бедный Генрих,  
Ах, бедный, бедный:  
Ну как не бедный,  
Коль в богадельне?

Для самых бедных,  
Для нищих духом  
Была в то время  
Сия наука.

Кто слеп и нищий  
(Таких ведь масса),  
Те вместо пищи  
Глодали Маркса.

Он им ответил  
На все вопросы —  
И жить на свете  
Им было просто.

Ну как не бедный —  
Крохи у древних?  
Я не про деньги:  
«Ах, бедный Генрих».

## 3.

Но Генрих возмущен  
И требует слова:  
— Все мы еще  
Не ведаем основы!

Глядим на Маркса  
Мутными глазами,  
С какими диаматство  
Зубрили к экзаменам.

Но как от палатки  
До каземата —  
Так от Маркса  
До диамата,

Нашего, школьного,  
Выхолощенного дочиста,  
С которого покойник  
В гробу ворочается.

#### 4.

Надо знать истоки и историю  
Чуть побольше школьного вещания:  
Никого со времени Христова  
Больше Маркса ведь не извращали.

Разве Маркс — он лбом уперся узко:  
«Диктатура! — и пиши, Россия —?»  
Разве Маркс — он только против прусского  
Выступал цензурного засилья?

Разве Маркс в коронном «Капитале»  
Не кричал о творчестве свободном?  
Разве Марксу тот же пролетарий  
Был, как нам теперь, бесспорной догмой?

Разве главным не было у Маркса —  
Приговор над миром отчужденья?  
Разве Маркс мечтал о государстве —  
А не о его уничтоженьи?

#### 5.

Ах, бедный Генрих,  
Я совсем не спорю,  
Что очень полезно  
Изучать историю.

Очень отратно,  
Что теперь вот ищут —  
Кем были вправду  
Робеспьер и Радищев.

Надо изо всех сил  
Изучать Маркса —  
Боже упаси  
От любой дискриминации! —



Но в том-то и горе,  
Господа марксисты,  
Что вы не историки,  
А с иных позиций:

Какими глазами  
Смотреть на век свой,  
Ищите указаний  
В священном тексте.

А Маркс — он все-таки  
Жил в прошлом веке,  
И мы далеко  
От него уехали.

6.  
Какого черта,  
Мой бедный Генрих,  
Что Маркс там что-то  
Про отчужденье?

Нас отчуждением  
Не испугаешь:  
Ведь для людей же,  
Не для себя лишь.

Из нас, пожалуй,  
Любой согласен,  
Чтоб отчуждали  
Его по Марксу.

Не отчужденье,  
А много хуже.  
Не отчужденье,  
А просто лгут же,

А просто душат —  
Куда нам деться? —  
И наши души  
Калечат с детства.

А вы на службе,  
С любимым гением,  
У тех, кто душит,  
Мой бедный Генрих...

7.

Но Генрих, хоть бедный, не так-то прост:  
Он подымается во весь свой рост  
И делает ручкой, как средневековый монах,  
Которому воочию привиделся сатана:

— Есть у вас уши?  
Или вы — гориллы?  
Что ли, не слушали,  
Что вам говорил я?

Между марксизмом чистым  
И марксизмом грязным  
Надо же научиться  
Понимать разницу!

Много вы знаете  
О марксистах наших? —  
А тоже, обвиняете!  
Так вот, знайте же:

Марксистов этих  
(Чересчур покорных!)  
Прежде генетиков  
Вырезали под корень.

Что это, случай?  
Или необходимость?  
А может, для службы  
Все же не годились?

8.

Что Маркс, безусловно,  
Жил в прошлом веке —  
Истина не новая  
И довольно мелкая.

А что уехали  
От него далеко —  
Так просто телегу  
Вывернули в болото:

Одни — давят,  
У других — брюзжанье...  
В большие дали  
Такое уезжанье!

Кроме смеха,  
При нашем-то уродстве —  
Ехать и ехать,  
Когда-то доберемся!

А что до Маркса —  
Хоть оболган в доску,  
Но, право, наш он!  
Не оставим толстым!

## 9.

— Ах, бедный Генрих,  
Печальный рыцарь!  
Боюсь, не дело  
Вы говорите,

Оставив даже  
Куда нам ехать —  
Как слишком важную  
Проблему века...

Мне очень жаль их,  
Но право слово,  
Что, вот, сажали —  
Увы, не довод:

Сажали много,  
Сажали разных,  
И самых годных,  
И самых грязных,

И вы на выбор  
Любых оттенков  
В те дни могли бы  
Найти в застенках.

**10.**

Про нас, брюзжащих,  
Есть правды толика —  
Но воздержаться,  
Быть может, стоило:

Не наша — воля,  
Не наша — подлость,  
Что наше слово  
Не в полный голос.

И вы, марксисты,  
Теперь утешены —  
А мы, простите,  
Еще под тем же.

**11.**

А вот не жаловать  
Марксистов грязных —  
Для вас, пожалуй что,  
Неблагодарность.

Теперь любые  
Пошли марксисты —  
Но их плодили  
Отнюдь не чистые,

А те, которые  
В марксистской маске  
Творят историю,  
Не зная Маркса...

Не ради грязных,  
Скажите, Генрих,  
Вы были б разве  
На свете белом?

## 12.

Схватить бы Маркса,  
У грязных вырвать —  
Оно прекрасно б,  
Да ведь не выйдет:

Что он нимало  
Не был марксистом,  
Великий Мао  
Не согласится!

И будет прав он,  
Хотя и грязный:  
Ему и вправду  
Нельзя без Маркса —

Не идеального,  
С его водою,  
А чтоб на знамени  
И с бородою...

## 13.

Ах, бедный Генрих,  
И так мы долго —  
Но я последнее  
О вашем боге:

В сем грязном мире,  
Где всюду путы,  
И где поныне  
Живут на культах,

Святое имя —  
Что делать? — вредно  
Одним помином,  
Мой бедный Генрих.

Тут не Радищев,  
Тут вам — почище,  
И вы — потише!  
И вы — почтите!

И вы – марксисты  
Его Величества,  
И пусть хоть чистый,  
Но чтоб – на цыпочках!

А нам – не имя,  
И мы – не быдло ведь,  
И мы своими  
Хотим раскидывать.

А чтобы цыпочки  
Простить за чистого –  
И не просите,  
И не случится.

#### **14.**

За культ и против,  
И нету средних,  
Мой смиренный котик,  
Мой бедный Генрих...

### **Созвездие птеродактиля Романс 2067 года**

Уже давно последний пролетарий,  
Забыв завод, играет на гитаре –  
Но диктатура пролетариата  
И до сих пор сильнее, чем когда-то.

Уже давно у Кашенко скончался  
Последний Маркса, кажется, читавший –  
Но до сих пор, не ведая значенья,  
Мы веруем в бессмертное ученье.

Уже давно ни Штатов, ни Китая –  
Но до сих пор агентами считают,  
И до сих пор, куда ни кинешь камень,  
Заедешь в государственную тайну.

Но я терпеть не стану больше это,  
Я украду фотонную ракету  
И улечу куда-нибудь бесцельно  
Из этой лживой солнечной системы.

Быть может, где-то на краю Галактики,  
В каком-нибудь созвездье Птеродактиля  
Еще кружит забытый астероид,  
Где коммунизма все же не построят.

1967

### «Тобольск»

#### 1.

Свинцовы и неприятны Охотского моря волны,  
А в брызгах играет радуга, и гребней верхи белы...  
Я жил посреди континента, весь век, так сказать, в колонии,  
И *мой прародитель древний* не был для меня живым.

Но ныне мне подфартило — и вот я стою на палубе,  
И сзади плывут касатки, и всюду морская ширь.  
И, может, еще не буря, но шесть с половиной баллов,  
И нас принимать не хочет неведомый Кунашир.

А вещи имеют имя — но часто оно поддельное.  
А вещи имеют судьбы — но память их коротка.  
Качается под ногами корыто из дальней Генуи  
С названием захолустного сибирского городка...

#### 2.

— Заказчик вполне солидный.

Заказчик весьма известный.

Солиднее и известней найти на земле нельзя:  
Его Святейшество Папа, Святого Петра наместник,  
Серию пароходов желает нам заказать.

— Да, господа, заманчиво...

— Оно б хорошо, да только...

— Зато какова реклама! Тут выгод нельзя и счесть.

— Мы — деловые люди, но добрые все католики.

Его Святейшество Папа...

Для фирмы — большая честь.

- Построим ему пароходы – в музей их поставить прямо!
- Каких никогда и в сказке не видел морской простор!
- Хотите – карельской березой?
- Хотите – каррарский мрамор?
- Конечно, если все это оплатит Святой Престол...

Его Святейшеству Папе хватает своих музеев,  
 Не нужен каррарский мрамор, и – никаких берез!  
 Его Святейшество хочет наладить в Святую Землю  
 Для самых простых паломников массовый перевоз.

А что есть простой паломник? Давайте смотреть открыто:  
 Паломник в Святую Землю едет не для забав.  
 Тут прежде всего – дешевка, пусть будет одно корыто,  
 Но чтобы и безработному было бы по зубам.

- Да, господа, не жирно...
- Папа жалеет денег...
- А все-таки цель – святая.
- Что ж делать, пускай хоть так...
- А лучше б – каррарский мрамор...
- ...Правлением фирмы... в Генуе
- Копия будет завтра же выслана в Ватикан.

### 3.

Арабы не любят евреев. Евреи не любят арабов.  
 И в сем ненадежном мире того и гляди – война.  
 И в сем ненадежном мире Его Святейшество Папа,  
 Увы, ненадежен тоже, и – не его вина.

Евреи не любят арабов. Арабы не любят евреев.  
 Бен-Гурион упорен, но тоже кремень – Насер.  
 Конечно, большие державы давно уже руки греют:  
 «Мэйд ин Юсей» – на ящиках и «Сделано в СССР».

Что там такое в ящиках?

– О, это большая тайна!

Но их разбивают спешно, срывая с нее покров.  
 И вот – грохочут орудия, ползут по пустыне танки,  
 И мечутся самолеты в струях прожекторов.



Арабы ли мы, евреи ли — но гул нарастает ближе:  
...Разрывы... Разрывы... Взрывы!.. —

Так каждый из нас хотел! —  
И разлетаются веером куски глинобитных хижин  
Вместе с клочками мяса забившихся в них детей...

Словом, для нашего века картина весьма обычная,  
А чьи там на бомбах клейма — ничуть не заботит нас,  
Картина настолько привычная, что попросту неприлично,  
Что мы ради той картины замедлили наш рассказ.

#### 4.

С этой войною фирме полнейшее невезенье:  
Арабы там и евреи друг друга пошли бомбить —  
И не заманишь паломников под бомбы в Святую Землю. —  
Его Святейшество Папа изволил заказ забыть.

— Корыта, кому корыта?..

Никто их не купит просто:  
Стальные красавцы-лайнеры в наш век бороздят моря.  
Смешно говорить: «корыта», а мы на краю банкротства:  
Стоят пароходы в гавани, а денежки в них горят.

— Так, стало быть, все потеряно и нет никакого средства?  
— Одно, но, увы, последнее, прошу вас иметь в виду:  
Ведутся переговоры с этим... как бишь?.. Торгпредством:  
Ходить на Курилки ихние, быть может, еще сойдут.

Конечно, пойдут за бесценок синьор из Москвы прижимист.  
Конечно, оно пикантно: от Папы — большевикам!  
Но я вас прошу, синьоры, сейчас проявить решимость,  
Тем паче, что сам виновен сиятельный Ватикан.

#### 5.

Давно за кормой остался лазурный ажур Лигурии.  
Ползем черепашьям шагом — на лаг бы и не глядел!  
А все же ползем упорно, не глядя на ночь и бурю:  
Конечно, оно — корыта, а держатся на воде.

Вперед, через три океана! —

Крючок получился длинный:

Тащись по следам Да Гамы, с Атлантикой злой борись.

Но в темных Суэцких водах

еще не словили мины.

Корыта — а все же — за золото, нельзя же идти на риск!

В сердцах старикан трезубцем болтает свое какао,  
Из тьмы выползают горы, и вновь за горой — провал,  
А где-то на левом траверзе блестят огоньки Дакара —  
Наверно, хороший город, но что от него добра?

Нам надо идти по курсу, работа у нас такая,  
И есть чернота и волны, и нет огоньков Дакара...

\* \* \*

Поэт никогда не любил мещан  
(Не в счет Щипачев и Симонов),  
Но вот о мещанах где прочитать,  
Что это такое именно?

Листая усердно за стихом стих  
В недавних и давних сборниках,  
Почти с изумленьем я вдруг постиг,  
Что тема довольно голенька.

Он их ненавидел, он их клеймил  
За то, что они мещане,  
За то, что уйти в его высший мир  
Они иногда мешали.

Но жаль поэтов и их громов,  
Потраченных, видно, втуне...  
Ну что — клеймо? Ничего — клеймо.  
Никто от клейма не умер.

Клеймить мещан — что давить клопов —  
Довольно бесплодный спорт...

\* \* \*

С лица Европы сползал ледник.  
За ним (по глобусу — вверх)  
Тащился покамест не мещанин,  
А попросту — человек.

Он был еще и космат, и дик,  
И попусту не болтал,  
И часто еще на звериный рык  
Сбивалась его гортань.

По нашей мерке, бывал он груб,  
Как человек простой.  
Случалось даже, что лучший друг  
К нему попадал на стол.

Но он с моралью своей не лез  
(Морали не понимал),  
И если друг его тоже съест,  
Не видел в том криминал:

«Ну что ж, сплошал, так кого винить?  
Туда и дорога, брат...»

Он был не то чтобы гуманист,  
Но все-таки — демократ...

\* \* \*

Не торопясь, но шагал прогресс  
Через хребты веков —  
И лучшего друга на завтрак есть  
Стало не комильфо.

Еще он в душе оставался груб,  
Пожалуй, и людоед —  
Но вот введено для него табу,  
Чтоб это преодолеть...

Я против табу не скажу ничего:  
Полезная это вещь,  
И как ни хочешь набить живот,  
Но друга, дружок, не ешь.

Но нам известно, увы, досель,  
Что нету узды узде,  
И если кампания – жми на все,  
И – никаких гвоздей!

Уж раз оказались табу нужны,  
Чтоб друг тебя не сжевал –  
Чужой коровы или жены  
Тоже не пожелай!

Уж коли пошли по земле табу,  
Так стало быть их – табун!

### **О тех, кто...**

#### **1.**

– Народ, народ! – кричат, как торгоши...  
А что – народ? Куда ему податься?..  
И я предпочитаю о больших:  
О тех, кто управляет государством.  
Кто говорит, когда кругом молчат.  
Кто бодрствует, когда кругом лишь одурь.  
О тех, кто нажимает на рычаг,  
Об Атласах, что держат на плечах...  
О ласточках, что делают погоду.  
О маленьких людишках, вроде нас,  
Которым в лапки перепала власть.

#### **2.**

В начале – Слово, а потом – дела.  
В начале – свечка, а потом – огарок.  
В начале Дева Слово родила  
Про государством правящих кухарок.  
Я не скажу, что Слово есть ничто:  
Я сам за Слово ратую ретиво,

Но Бог смеется над людской мечтой –  
И кардинально вносит коррективы,  
Поскольку Богу все-таки дано  
В мечте подметить слабое звено.

3.

Идея о кухарке *чем* слаба?

Да, в общем, всем.

Не будь великий Ленин,

Не только Бог, любой бы увидал,  
Что вся она из о-чень слабых звеньев.  
Стихи не есть логический трактат,  
Но главное отметить все же стоит:  
Кухарка с государством на руках  
Не сможет наклоняться над плитой:  
Она переродится, потеряв  
Все качества былого бытия.

4.

Большим умам не видно с высоты,  
А без большого можно догадаться:  
Кухарка – остается у плиты,  
А *не кухарка* – правит государством.  
А за спиной заслуги и грехи –  
Анкетный факт и *очень малый* – фактор.  
Кухарка от плиты или сохи,  
Или охранки царской провокатор –  
Что – прошлое?

Когда имеешь власть,

Его как хочешь можешь перекласть.

5.

Трофим Лысенко ныне в дураках –  
Не воссияет, вероятно, снова:  
Он отрицал значенье ДНК,  
Материальной жизненной основы.  
Он думал, что мифический флюид  
Быть огурцом иль кошкою велит.  
Но что флюид не делает картины,  
А должен быть костяк консервативный,  
Как теорему, доказал наш век  
И тем его навеки опроверг.

6.

И есть прогресс,  
и прет он на катках,  
На всех господ мечтателей нахаркав,  
И общество скрепляет ДНК,  
А не флюид мифической кухарки.  
Единство цели – верные слова,  
Свобода и сознательность – для вида.  
Концов имеет слишком много (два!)  
Свободный выбор вольного флюида:  
Из меньшего числа возможных дам  
В раю подругу выбирал Адам.

7.

На этом мы с кухаркой разошлись:  
Варить обед ушла она безмолвно,  
А управлять пришел специалист,  
Который называется чиновник.  
Чиновники...  
Ну что сказать про них?  
Они – диоды в схеме управления:  
Для *сверху вниз* чиновник – проводник,  
Для *снизу вверх* – он есть сопротивленье.  
Как видите, простейший, спору нет,  
Но специфичный все же элемент.

8.

Иметь не надо много в голове  
И за душой на функцию такую...  
И все ж чиновник – в чем-то человек:  
Их на заводе скопом не штампуют.  
Он должен, по примеру ДНК,  
Себе рождать на смену двойника,  
И хоть зараз не можем обо всем мы –  
Но в этом суть законов Паркинсона,  
Которым подчинен *в любых мирах*  
Чиновников любой агломерат.

9.

...Законы Паркинсона – высший шик,  
Но мы никак не выполним проспекта.  
Мы, вроде, обещали о больших,  
О ласточках, об Атласах, о тех, кто...

Нам надо вверх, хотя любой диод  
Для нас — мегом и ходу не дает,  
А сколько их!

И чем мы дальше в гору,  
Тем все диоды высшего подбора,  
Поскольку там, хоть не произнесен,  
Но действовал товарищ Паркинсон.

### 10.

Итак, отсюда начинаем текст  
О тех, к кому нам незачем соваться:  
О птичках тех, ти-танах тех, о тех,  
Кто кажется, что правят государством...  
...Над Атласом — один небесный свод.  
Над ласточкой — что тоже, кроме свода?  
И это значит:

наверху диод  
Имеет выход, не имея входа,  
Коль не принять, что прямо от небес  
Подведена к диоду ЭДС.

### 11.

Но черт возьми, в последние года  
Мы что-то в мире поняли немного,  
И кто теперь поверит в провода  
От батареи Господина Бога?  
Помилуйте! Ну кто же их видал?  
Какой там Бог? Какие провода?  
Простой диод — и то уж слишком жирно:  
*Полудиод* в единственном режиме,  
Чья функция особенно нища  
И сводится к тащи и не пушай.

### 12.

Когда-то были гений и тиран —  
Ну, словом, люди в некотором роде, —  
Но так могло быть лишь позавчера,  
Пока наш мир еще не одиодел,  
Пока еще не вымер весь реликт  
Тех первых лет, когда кипел флюид

И ласточек, которые погоду,  
И Атласов, которые диоды,  
Лишь шлифовал точильным колесом,  
Но породил еще не Паркинсон.

13.

Но и сейчас, придя на самый верх,  
Я все-таки хочу принять условно,  
Что и чиновник — в чем-то человек  
(Хоть человек, наверно, не чиновник).  
Кто эти *люди*, скинув их чины?  
Чем изнутри они начинены?  
Быть может, Бог, не направляя прямо,  
В них заложил разумную программу,  
И Паркинсон, хотя и голова,  
Не до конца ее измордовал?

14.

Оно ж не схема — настоящий мир!  
Чиновники — вполне диоды разве?  
Одним — футбол, хоть хлебом не корми,  
А у других — желудочная язва...  
А женщины? А собственность? А власть?  
Она ж не только функция, но страсть:  
Хоть наверху — а все еще бы выше...  
А страх за то, кабы чего не вышло?  
Мечта о том, что палка доведет  
До райских врат?.. Какой уж тут — диод?

15.

Диод — с мечтой?..

А даже и с мечтой.

Каких уродов не найдешь порою?  
Да и мечта, я думаю, ничто,  
Когда она — диодного покроя.  
Диодный мир того гляди в тартар,  
А дуракам — про райские врата!  
Чтоб трепетали и не трепыхали —  
Вот их мечта со всеми потрохами.  
Диод с мечтой — прекрасная чета!  
Диод с мечтой — какая там мечта!



## 16.

Последняя черта, увы, проста,  
И мы не открываем новых Азий:  
Диодный мир технически отстал,  
Он есть система без обратных связей.  
А потому — он вздорен и нелеп,  
И костенеть он будет год от году,  
И это всем понятно на земле,  
За исключением круглого диода.  
Но смерти час покуда не пришел,  
И смерти вид еще не предрешен...

\* \* \*

Хозяин — высоко, хозяин — бог!  
Хозяин — имеет власть.  
И он посылает своих рабов,  
Чтоб сделать рабами нас.

Хозяин — велик, а раб — забит,  
Хозяина всякий чтит —  
А раб не ведал ничьей любви,  
А только одни тычки.

И он принимает свои тычки,  
И стучает в землю лбом,  
И он не знает другой мечты,  
Как жить на земле рабом.

И он к нам идет, не желая зла  
(В таких же, как он, — рабов!),  
Идет, потому что его послал  
Хозяин, который — бог!

Но завтра, слышишь? гремит труба,  
Но завтра гудит набат —  
И ты не стеснясь убей раба  
(Хозяин живет в рабах).

Жесток наш мир, и смешна мечта,  
Что дверь отворит любовь.  
К хозяину можно пройти лишь так:  
По трупам его рабов.

Убей раба — и ногой топчи:  
Рабам ни к чему дышать...  
А если совесть — пускай молчит:  
Какая его душа?

## **Мастер и Маргарита**

### **1.**

Когда проходят по грязи,  
То липнет она к ногам.  
А грязь, увы, непролазна,  
И где ее берега?

В Кремле сидит параноик.  
Топор у него — и нимб.  
На тысячу лет установлен  
Порядок, введенный им.

Он мудрый и вездесущий:  
Все видит с своих высот,  
И ты не шепчи в подушку:  
А может быть, донесет.

Куда уж поверить ближнему?  
Поди за него реши,  
Какие остались выжимки  
У ближнего от души?

Быть может, не всякий прытко  
Продать поспешит за грош —  
Но ты ведь и сам под пыткой  
Не знаешь, чего наврешь.

В упрек ли поставишь ближнему,  
Что, мол, не сумел хранить —  
Когда ты и сам на «выдержать»  
Не знаешь своих границ?

Чего говорить о падали?  
Всегда на нее урожай.  
Какие титаны падали,  
Головкой своей дорожа!

Но мудрые — против гнева,  
И хватит печальных тем!  
Мы лучше о тех, кто не был  
Титанам подобен тем.

Ведь все-таки были люди,  
Которых иной покрой,  
Ни страхом, ни словоблудием  
Кому не вползли в нутро.

Гремело тогда с амвона:  
«Не с нами — так против нас!»  
— Но я не такой подонок,  
Чтоб быть за сусальный класс.

Что надо быть в ногу с веком,  
Звучит и сейчас — ого!  
— Но я не приму ни сделки,  
Ни века с его ногой.

Нога-то?.. Ха-ха!.. Нога-то!  
Она у тебя хрома...  
И это — про Вас, Булгаков,  
И дьявольский Ваш роман...

.....  
.....

**6.**  
«С нами не попробуют шутиться,  
С нами выйдут фокусы ребром.  
Ну, вперед, ребятушки-чекисты,  
Всю их шайку сразу заберем!»

Идут – железные  
(О да, вполне!),  
Дрожит вся лестница:  
«А вдруг ко мне».

Но – так слу-чается  
(На то – роман), –  
На на-ше счастье,  
Пока не к нам.

На на-ше счастье,  
Живи, пока  
Про нас начальство им  
Не даст приказ.

Пройдет какой-нибудь  
Десяток лет –  
Про всех не вспомнится,  
Которых нет.

Навек у-катаны  
Из наших сфер:  
Ко-торым – каторга,  
Кому – расстрел...

А эти мальчики –  
Лишь первый пласт.  
Им предназначено:  
Почин не сласть.

Им та же ча-шечка  
В их черный год.  
Их, первых, начисто  
Сведут в расход.

Но то – история,  
А нам – роман...  
– Что, на запоре?  
Ло-май!

– Ура! Браво!  
Дверь – с петель!..  
– У-драли,  
Сукины дети!

Тихо, пусто,  
Пол гол,  
И только люстра,  
А на люстре –  
О-го! –

Котище!  
Жирный! Черный!  
– Тех не вышло,  
Так погоди же,

Обжора!  
– Трах-бабах!  
– Трах-бабах!  
– А, чтоб тебя!..

Только кот-Бегемот –  
Он ведь кот не простой:  
Из винтовочек в него –  
Что горохом об стол.

Сколько пуль он заглотал,  
Сколько выплюнул, –  
А ни убытка для скота  
И ни прибыли.

Он поводит усами,  
Да хихикает,  
Да на этих на самых,  
На чекистов-то.

А ребята впали в раж:  
Знай, волтузят –  
Так что вышел ералаш,  
И с конфузом:

И в упор того kota —  
А не сымешь.  
— Вот я, братцы!.. — Да куда! —  
Чертовщина ж!

7.

Ах, как Вам хотелось, Мастер  
(Надеюсь, я верно понял),  
Чтоб было побольше власти  
Хотя бы у черта, что ли.

Чтоб был бы такой котик,  
С его господином дивным,  
Которым на всех чекистов  
И ихнего господина...

Которых героям века  
Убить или ранить нечем,  
Поскольку с иного света,  
Поскольку мудры и вечны.

И только у них и дела  
Под вечность (как нам — под старость)  
Выискивать в мире: где вы,  
Душа у кого осталась?

Нас мало, нас бьют и душат,  
И мы — в сумасшедшем доме,  
Но ветер свистит нам в уши,  
И адские мчатся кони.

Зачем? — не совсем известно,  
Куда? — не вполне понятно...  
Туда, где живым не место,  
И Мастером быть не надо.

Там только покой бессрочный,  
Чтоб точку на нем поставить...

Но все это — сказка, впрочем,  
А жизнь на земле простая:

С душой или нет – умрете,  
И нет премиальной суммы,  
И сахар бессмертья в ротик  
Никто за нее не сунет.

И черт по Москве не ходит  
И нашей души не ищет.  
И выдуман черный котик,  
Который сильней чекистов.

И как это нам ни дико,  
Но пуля – не вовсе шутка,  
И делает в теле дырку,  
И можно ее пощупать.

...*Их* вещи стоят на месте  
(Про мазь – и не говорите),  
И нет утешенья мести  
Возлюбленной Маргарите.

И нету на свете знающих –  
Пускай он хоть трижды Мастер, –  
Кому и какая Аннушка  
Уже подстелила масло.

И как нам ни будет больно  
На сем неуютном свете –  
В свой рай не умчит нас Воланд  
В волшебной своей карете...

## 8.

...Чудны бывают желания:  
Чудней, чем хоть черту власть.  
Вы помните у Шаламова  
(Наверно, дошло до Вас):

«А я бы хотел обрубком  
Остаться без рук и ног.  
Тогда я за наши муки  
В лицо им бы плюнуть мог...»

Мечтать — и о чем? Безрукости!  
И ради, увы, чего!  
Да что им плевков? Утрутся!  
Подумаешь, им — плевков!

И верить довольно странно  
Прошедшему адский круг,  
Что вроде охранной грамоты  
Им сунешь, что ты без рук.

Нашел чем смутить: обрубок!..  
Тем проще с тобой раздел!  
Не смеет никто, паскуда,  
Плевать на родных вождей...

Ах, критика! Дело легкое.  
Одно вот в ней только — гниль:  
Что пошлая наша логика  
Не влазит в безумный мир.

А в мире безумной скрутки,  
Где разум к чертям свезен, —  
Есть логика быть обрубком,  
И дьявол обрел резон.

— Заткнись, прямоты глашатай,  
Рацеи свои оставь!  
По миру (по Сеньке — шапка),  
По миру — моя мечта.

Безумной своей нелепостью  
Навек, до конца концов,  
Не смоешь ничем — *свидетельствую,*  
*Какое твое лицо...*



### Третье китайское

Коль есть на земле возмездие  
И время пришло сквитаться,  
То Богу вполне уместно  
Советы предать китайцам.

Известно давно в Китае  
О нации нашей малой,  
Что мы об одном мечтаем:  
Идти за великим Мао.

Но те, кто стоят у власти,  
Вступили в позорный сговор  
И дело рабочего класса  
Продали давно за доллар.

Но Мао ученье — верно,  
И солнца другого — нету,  
И, значит, велит их свергнуть  
Марксизма всесильный метод —  
И вот:

На помощь, на зов, законно,  
На каждого — пять (хватает!),  
На танках, чертях, драконах  
Пришли из того Китая.

Единая ночь — и кончено.  
Века потом разбираться.  
Прodelана быстро и точно  
Невиданная операция.

Ракеты? Ну что — ракеты?  
Они и не взяли старта!  
...Петух не пропел рассвета,  
И ворон во сне не каркнул.

...Глядим ошалело спросонок:  
Откуда несет горелым?  
И вроде мотив знакомый  
Гремит изо всех тарелок.

В окне – синемлузый лагерь,  
Картавый, щебечущий гомон;  
Полощутся красные флаги,  
И Мао – на каждом доме.

Единая ночь – и кончено.  
И мы под китайским игом.  
– Как Чехия? Нет, не очень.  
Не Чехия вам, а фи́га!

Свои ведь – чего считаться.  
Похожи и так недурно.  
А кто не хотел китайства,  
Сидят и без них по тюрьмам.

Обтесаны все колоды,  
Заплеваны все колодцы,  
Ни Свобо́ды, ни свободы –  
Так что же нам остается?

Рабы предержавшей власти,  
Которым молчать – что воздух,  
Мы с вами не станем свастик  
Чертить на китайских звездах.

И, видимо, не предвидится  
Особо больших эксцессов  
С того, что родное правительство  
Неведомо где исчезло.

По-русски: люблю по чину,  
И тонущего – покину,  
И нет никакой причины  
Ему воскресать в Пекине.

О просьбе нижайшей нашей  
(Китайский удар – нам в челюсть)  
Без слов подмахнет бумажку  
Какой-нибудь вшивый Шелест.

И помощь – не оккупация,  
И как не любить друзей нам,  
А паче всего – китайцев,  
Пришедших на нашу землю.

Века потом не проехать,  
Что в ночь одну размесили...  
Какая там к черту – Чехия?  
Всего лишь, увы! – Россия.

\* \* \*

– Куда нас ведет дорога?

– Куда б ни вела, так что ж?  
Земля до сих пор – коробка,  
Куда *из нее* уйдешь?

– Но есть, говорили, где-то  
Обетованный край...

– Никто не давал обета,  
И – к черту дареный рай!

– Но есть, говорили, пристань,  
Где счастье, тепло и дом...

– До пристани, братец, триста.  
Мы *мимо*  
ее пройдем...

### **Отчаянье**

Не мотыльков бесплодное сгоранье  
И не тоска за письменным столом...  
Отчаянье не двигало мирами,  
И ничего еще не создало,  
И никуда не отворило двери...

Отчаянье оставим тем, кто верил.

## Положено!

Положено — отменное словечко.  
Его наш век спустил с своих стропил,  
Безличное, тупое и зловещее.  
Под ним живем. Его не преступи.

Стояло дерево в копне зеленых листьев,  
И сок и молодость, звеня, бродили в нем —  
Но вот какой-то изверг и завистник  
Его срубил и — *положил* бревном...

Положенный, поваленный, повальный,  
Повапленный... Лежи и не вставай.  
Положено: оставить упованья! —  
И вообще чтоб не существовал.

Положенный, уложенный, лежащий:  
Пластом, ничком, ногами на восток,  
На землю, на лопатки, в долгий ящик,  
В золу, в залог, под пресс, под микроскоп.

Клеймо, печать, поклон, предел, начало,  
Краеугольный камень и главу  
На плаху, крест, отраву и опалу,  
Оружие — и что еще кладут?

Положено — истоков не касаться.  
Положено — без смысла и границ.  
Положено — кто клал, не расписался.  
Положено — и, значит, преклонись!

С положенной покорностью блаженной  
Мы служим злу и предаем добро  
И этим достигаем *положенья*  
(И вновь ассоциация: во гроб)...

«Я сам пошел бы стройными рядами,  
Не убоясь, на ихние ножи —  
Да только положительной программы  
Передо мной никто не положил»...

Положено — и бьют тебя по роже.  
Положено — и гнут тебя в дугу.  
Положено — и, может быть, заложат.  
Положено — и, стало быть, налгут.

Положенный по плану или спьяну...  
Положенный, как черт его повел...  
Положенный, как агнец на закланье...  
Положенный, как под ноги ковер...

Положено мистическою силой.  
Положено — до Судного ли дня?  
Положено чертовски некрасиво.  
Положено, да некому поднять.

### Савл

Еще не успели апостолы  
В случившемся дать отчет —  
Он встал между ними  
и просто  
Толпу их оттер плечом:

Чего там! Ни виду — плебеи!  
Ни хватки — кишкой слабы!  
С трудом повторяют, робея,  
Учитель чего вдолбил...

А тут — краснобай завзятый,  
Энергия, страсть, размах,  
Боец и организатор,  
Каких еще мир не знал

(Ибо —  
Нового типа).

Он голос в пустыне слышал  
(Что может любой из нас),  
Но сила не в том, что свыше  
И что на пути в Дамаск.

Железны рука и воля,  
От Бога: вождем рожден! —  
Таких на «пошто» не словишь,  
Пока не припрешь рожном...

— Слыхали? Интеллигенты-то —  
Иаков, его братва —  
Додумались, дальше некуда,  
Что вера без дел — мертва!

Не ведаешь, так помалкивай!  
Письмо написал... Речист!..  
Учитель! Тебе бы няньку бы,  
А тоже полез — учить!

«Мертва» — и о чем? О вере!  
Не соединить — абсурд!  
По вере тебе отмерят,  
По вере тебя спасут.

По вере — воскрес, очищен.  
По вере — греми, хорал!..  
Имей хоть с зерно горчичное,  
И — поползла гора!

Превыше любых уставов,  
И тверже любых камней.  
На вере сбивают стадо,  
И Церковь стоит на ней!

Не ведающему грамматик —  
Вся мудрость зараз дана...  
И всех твоих дел праматерь:  
Дел много, она — одна!

Богатство, талант, убожество —  
Все в вере — одних кровей...  
Есть вера — дела приложатся.  
Нет веры — сперва поверь!

Дела вам... Но-но, помягче!  
Дела вам... А ну, валяй!  
Хотите скажу, что значат,  
Зачем вам нужны дела?

Дела — это корм подножный:  
Нет крыльев — пасись, телок!  
Кто стада вести не может,  
Тот ждет от него делов.

Ни хлеба тебе, ни рыбы,  
Ушла от Христа душа...  
Дела — это значит: выбор.  
Дела говорят: решай!

А людям решенье трудно,  
И выбор — кому в подъем?  
И много ль на этом уровне  
Мы в стадо голов собьем?

И те, погоди, возропшут:  
«Я сам — голова себе!»...  
Младенцы!  
А мы — попроще.  
А мы для людей — добрей:

Уверовал — ну и баста,  
И рай тебе, голубок...

А действовать будет пастырь,  
Которого выбрал Бог.

### **Кочетиана**

Слава капризна:  
Где хочет, там и вскочит...  
Гений новопризнанный —  
Всеволод Кочетов.

Вся интеллигенция  
Больна повально:  
Только и делится  
(Только и телится)  
Что его романом.

Налево, направо ли –  
И слева и справа:  
«Мисс Порция Браун»  
Да «синьоре Страда».

«А вы не читали?» –  
«Да можно ль так срамиться?» –  
И чешут цитаты  
Целыми страницами.

Папчонка тощая  
Самиздата  
От этого Кочетова  
Стала пузата:  
Тут в разном роде  
Критические перлы.  
Тут и пародии  
Смирнова и Паперного.

Тексты, подтексты,  
Вместе и отдельно –  
И просто протесты  
Гневных академиков.

А у непрофанов  
Ходит бурда его  
Дороже Авторханова  
И Бердяева

(По гроб истории,  
Как и по старинке –  
Самое бесспорное  
Признание – рынка).



От сердца чистого  
(Чужда мне зависть),  
Всеволод Анисимыч,  
Позвольте поздравить.

\* \* \*

Вокс попули — вокс деи...  
Но и боги,  
Бывает, ошибаются.  
И вот  
Старушка тащит на костер для Гуса  
Вязанку хвороста...  
Ах, бедный Гус!  
И бедная святая простота...

(Особенно, которая не очень...)

\* \* \*

Сидим мы по коробочкам-квартирам,  
Уставшие от фальши и оваций,  
И тешимся замызганным мотивом,  
Что некуда и незачем соваться.

Что правды нет, и завтра не предвидится,  
И вообще на свете все пустое,  
И оттого паршивое правительство,  
Что наш народ другого и не стоит.

Ах, как мы все довольны и покойны!  
Ах, как полны ума и благородства!  
И ах, с какой высокой колокольни  
Оплеываем запросто народ свой!

А с колокольни блуда и холуйства  
Особенно внушительно плюется...

## Прощальное Александру Галичу

И сказал Господь Моисею...  
выведи из Египта народ Мой,  
сынов Израилевых.

*Исход: III*

Неужели и в то далеко,  
Ныне ставшее нам судьбой,  
Вашу скрытую боль упрека  
Мы должны унести с собой?

Нет! Позвольте к Вам обратиться  
Мне без пафоса и затей —  
Не к истории очевидцу,  
А к провидцу ее путей.

Не от Ваших ли дум седея,  
Покидая мертвых своих,  
Моисей воззвал к иудеям,  
Выводя из плена живых?

А за ними без слез и страха —  
Несть начала и несть конца —  
Души павших встают из праха  
И зовут своего певца.

И над мерзлой пустой равниной  
Облака плывут, как псалмы,  
И встают

из яров

равнины,

Отдают младенцев холмы.

Пламя скорби летит, как знамя,  
Сквозь последний печной заслон,  
Это мертвые рядом с нами  
По пустыне идут в Сион.

Скорбным списком — за парой пара,  
Крестным строем — за рядом ряд,  
Сквозь Освенцимы и Понары,  
Через Потьму и Ленинград.

Далью памяти не скудея,  
Вы следите издалека,  
Как над Вашею Иудеей  
Облака плывут, облака.

1972, 2 апреля

## Комментарий к стихам\*

«Утопист» — безусловно самое раннее из стихов сборника (около 1943 года). Навеяно отчасти некоторыми фактами из биографии Фурье, отчасти некоторыми реальными типажам.

«А о собственных своих — забыл» — подлинное выражение, сейчас не помню чье.

«Прокапал мелкий дождик...» — на тему 1793 года.

«Добрый доктор» — Гильотэн, и «машинка» — гильотина.

«Эниок и Гнор» — написано в 1946 году по сюжетной канве рассказа Грина «Жизнь Гнора». Для меня очень долго имело символический подтекст: развратный, яркий, говорящий и гибнущий Эниок — старый мир; добродетельный, темный, молчащий и торжествующий Гнор — новый. Сейчас мне такая символика чужда, но исторически, может быть, небезинтересно.

«Вуаля ту» — вот все (фр.).

Последние две строки стихотворения — цитата из «Жизни Гнора».

«Ослиный рев и верблюжий хрип...» — стихотворение написано перед поездкой на практику в Среднюю Азию в 1946 году. Образ Насреддина как веселого бродяги — видимо, по роману Соловьева «Возмутитель спокойствия». «Дуглас» — самолеты этой марки тогда еще летали на трассе Москва—Ашхабад. Аладдин — герой сказки из «1001 ночи».

«Капитан Скотт» — по мотивам трагической гибели и дневника знаменитого полярного исследователя Роберта Скотта, замерзшего с товарищами в Антарктике на обратном пути от Южного полюса, открыть который их опередил Амундсен.

«Мёр пони и глох мотор» — одной из причин неудачи экспедиции Скотта было то, что эти способы передвижения, на которые он рассчитывал, оказались непригодными в условиях Антарктики.

---

\* Комментарий был составлен Г.С.Подъяпольским к первому изданию книги его стихов «Золотой век» (Франкфурт-на-Майне: Посев, 1974).

- «**Калужский мост**» — на самом деле Крымский мост в Москве. Переименование обусловлено некоторыми личными ассоциациями. Пессимизм этого и двух следующих маленьких стихотворений — моя основная нота тех лет, обычный пессимизм молодости, усугубленный реальной атмосферой последних лет сталинской эпохи.
- «**Опять захлестнул меня старый мотив...**» — неконкретизированная «мечта» — видимо, о свободе.
- «**Золотой век**» — около 1952-го, где-то на грани «оттепели» или, для меня, с каким-то предчувствием. Три следующих стихотворения уже безусловно после смерти Сталина, в период 1953—1955 годов.
- «**Корабельная крыса**» была для меня связана с довольно сложной и неоднозначной символикой: это и интеллигенция, и партия, и поэзия, и почти что угодно еще. Пусть лучше она воспринимается просто как корабельная крыса.
- «**Я — это счастье плаванья**» — по известному поверью, с корабля, которому суждено затонуть, крысы уходят; следовательно, присутствие на корабле крысы есть примета благополучного плавания.
- «**Суп**». «как Бог спустил курок» — выражение из лекции по космогонии, употребленное в связи с гипотезой о начале мира или «особой точки во времени».
- «**Впереди — свободно**» — стихотворение, которым был развязан мой поэтический взрыв 1964—1968 годов. Оно рассчитано на серьезную и строгую интонацию, изредка сбивающуюся на умеренно-патетическую, что должно оттенить его ироническую суть.
- «**Не здесь закон...**» — т.е. яблоку негде упасть. (По легенде, Ньютон догадался о законе всемирного тяготения при виде упавшего с ветки яблока.)
- «**Он: “Тройка!”**» — знаменитое место из 11-й главы первого тома «Мертвых душ».
- «**необходимость познанная**» — это довольно темное определение свободы, данное Марксом и имеющее некоторый смысл в определенном контексте; в устах теперешних начетчиков превратилось в полнейшее издевательство не только над свободой, но и над смыслом.
- «**Послание М.Б.**» — написано в ответ на юношеское стихотворение М.Б. эпохи 1956 года. Смысл и ведущая нота этого стихотворения видны из четверостишия, взятого из него в качестве эпиграфа. Мне кажется, что «Послание» тоже следовало бы читать в серьезной интонации, оттеняющей его иронию, — но практика показывает, что иногда ирония сама не доходит и призывы к резанью воспринимаются на полном серьезе; поэтому ироническую интонацию в степени, зависящей от уровня аудитории, приходится все же вводить.

- «Тюфяк с гвоздями» — намек на «Что делать?» Чернышевского, где герой романа Рахметов ложится на таковой, чтобы закалить себя для революционной деятельности.
- «0-сень...» — это маленькое стихотворение рассчитано на очень точную интонацию — грустную и протяжную. Особо: слово «серая» не должно быть продолжением перечня: «золотая», «голубая» — оно за чертой, как итог (серость — суммарный итог золотизне и голубизне).
- «Я помню сталинские времена...». «Как это показывают в ином...» — стихотворение и навеяно этим кино, где символически показывался ледоход (хрущевская оттепель) — сейчас не помню ни его названия, ни содержания.
- «Три эпиграммы». «Не имел усов» — сталинских.
- «А почему у нас зевает маршал?» — т.е. почему при коммунизме не возникает военная диктатура? Серьезный ответ на этот вопрос дается в книге «Новый класс» Джиласа. Но серьезный — это еще не исчерпывающий и не верный.
- «Не Наполеон» — к сожалению, никакое ударение на этом «не» не дает того эффекта, что его напрашивающаяся, но, к сожалению, нецензурная замена.
- «Обровился» — от корня бровь.
- «Родинка» — интонационно рассчитана на имитацию простого и безыскусного рассказа, неторопливого, но с некоторым замаскированным напряжением.
- «Хромой Тимур» — в европеизированной форме Тамерлан, от Тимур Ленг, что и означает «Тимур Хромой» — знаменитый монгольский завоеватель конца XIV — начала XV века.
- «Персидских сановников» — ко времени своих походов на Иран (Персию) Тимур действительно от политики полного порабощения и истребления побежденных народов перешел к политике частичного привлечения местной феодальной знати.
- «Царя царей» — исторически неверно. Перед завоеванием Тимуром Иран разделялся на ряд независимых феодальных государств и владетель ни одного из них не имел титула Царя царей (шахиншаха).
- «Есть текст в Коране» — толкование Тимуром текста не выдуманно мной, а взято из «Автобиографии Тимура» — в действительности анонимного произведения, написанного после его смерти кем-то из его сторонников. Эпизод с толкованием, видимо, имеет цель дать благовидное обоснование прозвищу «бич Божий» Тимура, установившемуся еще при его жизни.
- «Пророк» — здесь: Мухаммед, автор Корана.

«*Покровителем и знатоком искусств*» — Тимур действительно оказывал покровительство искусствам и ремеслам. Насчет знатока — спорно. Он был неграмотным, но чего-то нахватался от своего окружения и некоторых современников (льстецов?) иногда поражал эрудицией.

*Гафиз* (настоящее имя Шамс-эд Дин Мохаммед) — величайший иранский поэт-лирик. Он был старшим (на сорок лет) современником Тимура и умер в глубокой старости в Ширазе, на юге Ирана, во время начала походов Тимура на северный Иран. Встреча их, по-видимому, является легендой; по более правдоподобной версии, Тимур возмущался тем, что Гафиз раздаёт не принадлежащие ему города, заочно. Газелы (правильнее «газели» — искажаю, чтобы звучало как термин и не тащило ассоциации с газелью-животным) — одна из канонических форм персидского лирического стихотворения, излюбленная Гафизом.

«*Пьяница и гуляка*» — авторская маска Гафиза.

«*Который ко дворцам вовек не ведал путь*» — в действительности Гафиз занимал в Ширазе придворные должности.

«*И сказал озираясь*» — в первоначальном варианте «и сказал смущенно»; я заменил смущение на озирание, поскольку последнее более живописно и несет дополнительную информацию, а смущение может быть передано одной интонацией. Но для замысла «Родинки» чрезвычайно важно, чтобы оно не пропало и чтобы последующие «не восхвалял» и «не прославлял» звучали бы именно как смущенное извинение, а отнюдь не как похвальба и вызов. (Конфликт между Гафизом и Тимуром происходит из их глубочайшей внутренней несовместимости, а не по внешним поводам. И он должен быть подчеркнут смиренностью Гафиза, контрастирующей с хотя и на коленях, но все же явным вызовом Тимуру «старенького и хилого» патриота — вызовом, который Тимура не задевает и который он парирует своим «разумным» ответом.)

«*Кипарису подобен стан ее*» — в предисловии к сборнику газелей Гафиза (1964) это сравнение превозносится как новаторское по тем временам и сравнивается с есенинским «Как жену чужую, обнимал березку». Каюсь, оно мне представляется даже по тем временам довольно банальным, тем более что разного рода сравнения, особенно при описании женской красоты, были высоко развиты в персидской поэзии задолго до Гафиза.

«*Кто подымает чашу*» — такая чаша, которую символически можно наполнять чем угодно, характерна для поэзии Гафиза. Его недаром комментировали чуть ли не больше, чем любого другого из поэтов, выдавая по желанию то за правоверного мусульманина,

то за мистика, то за рационалиста и чуть ли не атеиста. Не исключено, что, будучи поэтом, он действительно все это в себе совмещал.

«*И тот один — гафиз*» — этим словом тогда называли человека, знающего на память Коран. Сам Гафиз, принимая его своим поэтическим псевдонимом, видимо, придавал ему более широкое толкование — человека, постигшего высшую мудрость или достигшего в чем-то высшей степени совершенства. Позже оно стало означать просто поэт — уже по его имени, ставшему на Востоке нарицательным.

«*А зрачки ее глаз как нубийские невольники*» — сравнение из Гафиза, по праву считающееся одним из его перлов.

«*За... родинку... Бухару и... Самарканд*» — этот удивительный обмен Гафиз действительно предлагает в своих газелях, кажется, даже в нескольких.

«*О человеческий род!*» — как все великие деспоты, Тимур, очевидно, относился к «человечьему роду» довольно пренебрежительно. Ему приписывается изречение, что «все пространство земли не стоит того, чтобы иметь двух царей».

«**Первое китайское**». «Китайские» стихи особых комментариев не требуют. Отмечу только, что они, конечно, не про Китай, а про нас самих в том мире, где существует Китай, и что эпитеты «прохвост и лжет» и «дурак и слеп» — маска, а отнюдь не истинное мнение автора.

«**Второе китайское**». «*Империи, принявшей христианство*» — Римской империи.

«**Мы — нигилисты**». Это длинное стихотворение рассчитано на быстрый, местами очень быстрый темп, с определенными вариациями в разных частях. Оно начинается разухабисто, «нигилистически» (1–2), далее разухабистость прикрывается сарказмом, организующим свой собственный строй (3), далее нарастает трагическая или, вернее, фатальная тема (4), доходящая, несмотря на быстроту, до мрачной и торжественной мерности (что-то вроде боя часов времени — 5), которая в самом конце вдруг срывается, и стихотворение завершается резко дисгармонирующим нигилистическим вывертом (6). При правильном прочтении предыдущего этот выверт не должен его ослаблять, а, наоборот, подчеркивать и усиливать своим контрастом.

«*Груб ведь больно очень*» и далее — перефразировка письма Ленина XII съезду партии, так называемого его завещания: «...Сталин очень груб, товарищи... Сталин сосредоточил в своих руках необъятную власть».

«*Чью диктатуру?*» — очевидно, нового класса, по терминологии Джиласа, которая мне не была тогда известна.

*Молчалин* — персонаж из «Горе от ума» Грибоедова, олицетворение подлости и угодливости.

«**Комментарий на текст № 1**». Эпиграф — из неоконченного стихотворения Маяковского.

«*Как поэт, наверно, и хотел*» — сравни:

«Волны

будоражить мастера:

детство выплеснут;

другому —

голос милой.

Ну, а мне б

опять

знамена простирасть!..»

(В.В.Маяковский. «Атлантический океан»)

«*А в гробу том — барин*» и далее — перефразировка из «Забытой деревни» Некрасова.

«*...небо голубо*» — из Маяковского.

«*Носорог*» — намек на пьесу Ионеско того же наименования, где это животное выступает как символ животнo-мещанской стадности, порождающей тоталитарные режимы нашего века.

«*Раззудись, плечо*» — цитата из «Песни пахаря» А.В.Кольцова.

«**Ответ поэту Юлии Друниной**» — на ее стихотворение «Письмо к миссис Энн Смит» (не знаю, вымышленному или реальному адресату) о войне во Вьетнаме. Основные образы стихотворения: вьетнамская «девушка-тростинка» под бомбами крылатых американских чудищ и сын миссис Энн, Джон, терзаемый угрызениями совести за совершенные во Вьетнаме преступления; но главное, что дернуло меня на ответ, — это следующая концовка:

«Миссис Смит, может, есть еще время

Материнское слово сказать.

В старых сказках держалась за стремя,

Стремя сына-разбойника мать» —

и удерживала его от преступной дороги, удержите и вы своего Джона.

«*С одной — Евтушенко, с другой — Стейнбек*» — незадолго перед этим советский поэт Евтушенко и американский писатель Стейнбек обменялись открытыми письмами, в которых каждый поддерживал позицию своей страны по вьетнамской проблеме.

«**ЧП**» — чрезвычайное происшествие, почти официально принятая аббревиатура.



«*А наш глава*» — советское правительство тогда отказалось от содействия урегулированию вьетнамского кризиса путем переговоров, причем председатель Совета Министров СССР Косыгин заявил премьер-министру Англии Вильсону: мы не заинтересованы помогать США выпутываться из неудобного положения, возникшего из-за их агрессии во Вьетнаме.

«**Могилка**». *Эйхман* — один из нацистских военных преступников, организатор массового истребления евреев. Много лет спустя после войны был опознан и похищен в Южной Америке агентами государства Израиль. Его главный защитительный довод на процессе в Иерусалиме — что он не действовал самостоятельно, а выполнял приказы Гитлера — не был принят во внимание при вынесении ему смертного приговора.

«*А наши сволочи*» — сравни: «О чести Ворошилова и Буденного: ее не было и нет. Многие материалы, хранящиеся в наших архивах... вынуждают к резко отрицательным выводам в отношении их деятельности... У меня сердце обливается кровью, когда я вижу их во время парадов на мавзолее». (Выступление Анфилова из Генштаба на заседании в Институте марксизма-ленинизма 16 февраля 1966 года.)

«*Мне — просто дядя*» — по некоторым архивным изысканиям, автор приходится В.И.Ленину дальним родственником.

«**Откровенный человек был когда-то — фюрер!**» «*Когда я слышу слово “культура”*» — изречение, кажется, не самого Гитлера, а кого-то другого из нацистских главарей (Розенберга?).

*Семичастный* — тогдашний председатель КГБ, являющийся непреременным участником всех идеологических комиссий ЦК КПСС.

«**Кабинет**». «*Мол, Пете — пять*» — пародирование стихотворения для детей Маяковского:

Жили-были Сима с Петей,  
Сима с Петей были дети.  
Пете — пять, а Симе — семь,  
И двенадцать вместе всем.

Те же 5 и 7 лет лагерей были даны Даниэлю и Синявскому.

«*У Цветаевой есть о том*» — цикл стихотворений Марины Цветаевой «Стол».

«*Веет ветер свежий*» — из песни 30-х годов.

«**Примечание о ста миллионах**» — «*Сто миллионов*» — суммарная цифра лагерных сроков, полученная из сопоставления множества официальных и неофициальных данных. Скорее всего занижена и, может быть, гораздо больше, чем на «сорок процентов».

*Фараон Хуфу* — Хеопс, строитель пирамиды, середина III тысячелетия до н.э.

*Начало мира по Библии — 5509 год до н.э.*

*Мезозойская эра — по современным оценкам: интервал времени от 200 до 70 млн лет тому назад.*

*точный счет — от читателя не должен ускользнуть двойной смысл слова счет — не только подводящего итог, но и предъявляемого к оплате.*

**«Примечание о полковнике».** *«И более повысил» — сравни:*

Шут: повысить можно их.

Король: куда еще?

Шут: повесить!

*(В.Гюго. «Король забавляется»)*

**«Пророк и Креститель»** — три последующих стихотворения, образующих единый цикл «Пророк», написаны на тему Евангелия, вероятно, как бессознательное возражение на пастернаковскую трактовку образа Иисуса, которую автор, будучи реалистом и атеистом, не принимает. Не надо искать в них того, чего в них нет, — например, христианского учения, это сознательно только один из аспектов Евангелия — биографический, о пророке и его внутренней более, чем внешней, судьбе, если хотите — психологии. Утверждаю, что для трактовки, данной в этих стихах, в самих Евангелиях имеется достаточно глубокое основание. Меня иногда упрекают за то, что я приписываю Иисусу черты деятелей современного демократического движения в СССР. Может быть, отчасти и так, но думаю, что скорее просто в психологии любых деятелей есть нечто общее.

Главная трудность прочтения этих стихотворений, написанных в виде монологов от лица Иисуса, связана с тем, что экспозиция, с первой же строки определяющая тональность, не дается предварительно, а постепенно разворачивается на протяжении стихотворения. Поэтому они требуют неоднократного чтения. Слово «экспозиция» здесь следует понимать максимально широко — это и общая авторская концепция, и региональная обстановка, и конкретная ситуация, вызвавшая данный монолог.

*Иисус этих монологов* — не абстрактное совершенство и не пассивная жертва, он — пророк, то есть деятель, он энергичен и страстен, у него сильный ум и живое воображение. «Пророк и Креститель» относится к началу его пророческой деятельности, когда он только вступает на свою стезю — но уже с полным и продуманным убеждением.

**«Креститель»** — Иоанн Предтеча. В Евангелии его встреча с Иисусом описывается так: «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну — креститься от него. Иоанн же удерживал Его и

говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (Матф. 3: 13–15).

В стихотворении этот эпизод интерпретирован как психологическое столкновение. Иоанн, человек эмоциональный и чуткий, уловил превосходство Иисуса над собою и с горячностью тут же заявил ему об этом. Но Иисус умнее и рассудочней, он сразу улавливает слабое место в восторженности Иоанна и четко и холодно на него указывает. В этом есть, может быть, и некоторая жестокость — но не забудьте, что он еще молод, он только начал свой путь, и абстрактная рефлексия еще заменяет ему недостающий опыт.

Отсюда и следует тональность этого монолога: он произносится медленно и внешне спокойно, почти чеканно, странность самого Иисуса здесь глубоко скрыта за полной и безоговорочной обдуманностью.

«*Ремни у моих сандалий*» — «И проповедовал [Иоанн], говоря: идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись развязать ремень обуви Его» (Марк. 1: 7).

«*Вот правый, вон левый берег*» — Иудейская пустыня, где проповедовал Иоанн, находится на правом берегу Иордана.

«**Пророк и хлеб**» — приурочен уже к середине пророческой деятельности Иисуса. Он окружен учениками, к которым диалог и обращен, — и за плечами у него теперь воспоминания и опыт. Он стал человечней и уязвимей и только что получил «комариный укол», который его неожиданно больно задел по ряду внутренних причин: он физически устал от тревог и трудностей, но главное — он внутренне не удовлетворен своей деятельностью, чувствуя, что погряз в мелочах, из которых пока не может вырваться.

В отличие от первого монолога «Пророк и хлеб» рассчитан на максимальную экспрессию и чрезвычайно быстрый темп: страсть в нем ведет рассуждение, а не подчиняется ему. Сарказм, и гнев, и боль, и возмущение — все это должно быть доведено до состояния накала, особенно в первой половине монолога, вплоть и до выкрика «оттуда его! сюда бы!» — во второй половине, где Иисус переходит к «жалобе на жизнь», накал несколько снижается, но все же остается еще очень высоким.

Я не могу указать в Евангелии конкретный эпизод или текст, с которым «Пророк и хлеб» непосредственно связан, но весь его внутренний настрой, включая и неудовлетворенность Иисуса своей деятельностью, утверждаю, взят оттуда. Название «Пророк и хлеб»

перекликается с евангельским изречением «ибо трудящийся достоин пропитания» — но тема стихотворения этим, очевидно, не исчерпывается.

*Цезарь* — римский император. Во время деятельности Иисуса Иудея была римской провинцией.

*Мытарь* — сборщик налогов.

*Фарисеи* — одна из иудейских религиозных сект. В Евангелии фарисеи изображаются ханжами и лицемерами, что, вероятно, не совсем справедливо. В действительности фарисейское движение было сложным как по составу, так и по различным внутри него самого течениям. В общем фарисеи поддерживали духовную власть Иерусалимского Храма, но умеренно, ставя Закон выше Храма.

«*И спица — ему же в глаз*» — евангельское изречение о том, что в чужом глазу видна спица (щепочка), а в своем не видно бревна.

«*Легко говорить: гора!*» — знаменитая Нагорная проповедь Иисуса (Матф. 5–7).

«*И птица гнездо имеет*» — «И говорит ему Иисус [книжнику, выразившему желание за ним следовать]: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Матф. 8: 20).

«*И брюхо подводит с голоду*» — намеки на различные эпизоды из Евангелия, в частности на чудо с хлебами и плавание с учениками во время бури по Тивериадскому озеру.

«**Пророк и город**» — отчасти на тему Моления о Чаше.

Суть монолога ясна — это последнее раздумье перед ответственным и необратимым решением с непредсказуемыми последствиями. Поэтому тон спокойный и грустный, темп медленный. Это, по существу, внутренний монолог, а обращение к окружающим ученикам — форма.

«*Рыболов Петро*» — апостол Петр.

«**Комментарий на текст № 2**». О чтении «Комментария на текст № 2» замечу только, что раздел 1 подразумевает ту звонкую, наивную и даже не понимающую интонацию, с которой обычно читают стихи маленькие дети, и должен резко контрастировать с трагической нотой всего последующего.

*Эпиграф* — из стихотворения Пастернака «К другу».

«*И Вертинский*» — цитата на память через двадцать лет:

«Мы птицы русские, мы петь не можем в клетке

.....

Вот почему законы пятилетки...»

(А. Вертинский. «Птицы певчие»)

«*Детки в клетке*» — стихи для детей Маршака.

«*Валяй меня телегою проекта*»:

«...А если из калек,  
То все равно: телегою проекта  
Нас переехал новый человек».

(Б. Пастернак. «*Когда я устаю от пустозвонства...*»)

«*По вдохновенью, а не по уставу*»:

Оно [*небо*] росло стеклянною заставой  
И с обреченных не спускало глаз  
По вдохновенью, а не по уставу,  
Что единицу побеждает класс.

(Б. Пастернак. «*Спекторский*»)

«...*безвольному уроду*»:

И я урод, и счастье сотен тысяч  
Не ближе мне пустого счастья ста.

(Б. Пастернак. «*К другу*»)

*Лоханкин* — Васисуалий, карикатура на русского интеллигента в романе Ильфа и Петрова «*Золотой теленок*». Предавался размышлениям о сермяжной правде в момент, когда соседи по квартире секли его за то, что он забывал тушить свет в общей уборной.

«*Конечно, ты калека*» — см. первую цитату к этой странице.

«*Король-то голый*» — см. сказку Г.Андерсена «*Голый король*».

«*Вакханалия*» — заглавие стихотворения Пастернака.

«*По которым потом свечою печальница*» — «*Свеча горела на столе*» и «*Душа моя печальница*» — стихотворения Пастернака. Последнее, кажется, ходило только в списках, поэтому привожу его начало:

Душа моя, печальница  
О всех в кругу моем,  
Ты стала усыпальницей  
Замученных живьем.  
Тела их бальзамируя,  
Им посвящая стих,  
Рыдающею лирою  
Оплакивая их...

«*Кто, дрожа, оставались живы*» — ответ Сийеса на вопрос, что он делал во время яacobинского террора: «*Я оставался жив*».

«*Что тебе о зиме стихами*»:

«Прикинул тотчас я в уме,  
Что я укроюсь, как затворник,  
И что стихами о зиме  
Пополню свой весенний сборник».

(Б. Пастернак. «*После перерыва*»)

«*Не поле ж перейти*»:

«Я один. Все тонет в фарисействе,  
Жизнь прожить — не поле перейти».

(Б. Пастернак. «Гамлет»)

«**Бедный Генрих**» — по мотивам разговора, происходившего на квартире у автора в ночь на Новый, 1967 год. Изложен довольно точно, за исключением того, что «бедный Генрих», один из современных молодых прогрессивных марксистов, говорил нудно и путано и суть его мысли приходилось тянуть клещами. Словосочетание «бедный Генрих» — из средневековой немецкой легенды.

«*Разве Маркс — он только против прусского...*» — имеются в виду статьи Маркса о прусской цензуре. В СССР замалчиваются, так как в них Маркс защищает свободу слова.

«*В коронном “Капитале”*» — точнее, в предисловии к первому изданию «Капитала».

«*Разве Марксу тот же пролетарий*» — согласно прогрессивным марксистам, Маркс отнюдь не был столь уверен, что именно пролетариат сможет осуществить справедливое переустройство общества, и остановился на нем только потому, что не нашел других подходящих для этого социальных сил в современном ему обществе.

*Отчуждение* — термин из раннего Маркса, которому прогрессивные марксисты придают кардинальную важность. Я не берусь его за них истолковывать.

«*Робеспьер и Радищев*» — статья Плимака в № 6 «Нового мира» за 1966 год.

«*Созвездие Птеродактиля*» — рассчитано на исполнение под гитару в духе душещипательного романса. Такого созвездия на самом деле нет, подразумевается, что к 2067 году его откроют. Птеродактиль — ископаемый летающий ящер.

«*У Кашенко*» — в психиатрической больнице имени Кашенко в Москве.

*Фотонная ракета* — гипотетическая ракета, основанная на реактивном действии отбрасывания не вещества, а потока света — фотонов. Подразумевается, что к 2067 году она будет осуществлена.

«**Тобольск**» — название парохода, на котором автор плывал в 1965 году во время командировки на Курильские острова. За правильность его истории, изложенной в стихотворении, автор не ручается, это — правдоподобная реконструкция.

«*И мой прародитель древний*» — т.е. океан:

«...Океан, мой древний прародитель,  
Ты хранишь тысячелетний сон...»

(К. Бальмонт)

*Кунашир* — южный остров Большой Курильской гряды.

*Святая Земля* — Палестина, ныне территория государства Израиль.

*Бен-Гурион* — премьер-министр Израиля во время египетско-израильской войны 1959 года, о которой здесь идет речь. Стихотворение было закончено в день накануне молниеносной войны 1967 года.

«*Мэйд ин Юсей*» — сделано в США (англ.).

*Лигурия* — древнее (по племени лигуров) название областей по берегам Лигурийского моря (часть Средиземного), где находится Генуя.

*Да Гама, Васко* — португальский мореплаватель, впервые обогнувший Африку и добравшийся до Индии.

«*Старикан*» — здесь бог моря Нептун.

*Траверз* — направление, перпендикулярное курсу корабля (морской термин).

«*О тех, кто...*». «*Или охранки царской провокатор*» — имеются подозрения, что Сталин был таковым в своем прошлом.

*ДНК* — дезоксирибонуклеиновая кислота, по современным представлениям — материальный субстрат наследственности, в котором закодирована генетическая информация.

«*Из меньшего числа возможных дам*» — намек не на библейскую легенду, а на анекдот о том, что в СССР выборы происходят, как в раю. Бог привел к Адаму одну Еву и сказал: «Ну, Адам, выбирай себе жену».

*Диод* — простейшая (двухэлектродная) радиолампа без управляющих сеток, служит для выпрямления (одностороннего пропускания) электрического тока.

*Законы Паркинсона* — анонимный памфлет, вышедший в Англии после конца Второй мировой войны, ныне получивший широкую известность и цитируемый в серьезных социологических исследованиях. Посвящен развитию бюрократии в современном мире. Главный из законов Паркинсона состоит в том, что число чиновников в любой области непрерывно спонтанно растет и никакие посторонние причины, вроде полного захирения данной области, никакого влияния на этот рост не оказывают (например, на рост английского министерства колоний никак не повлияла ликвидация Британской колониальной империи.)

*ЭДС* — электродвижущая сила (источник электрического тока).

«*Хозяин — высоко, хозяин — бог!*» — это небольшое и крайне экспрессивное стихотворение не есть, конечно, буквальный призыв к убийству, «убей раба» — это прежде всего в самом себе. Но в этом оно непримиримо, и за эту непримиримость — стою.

- «**Мастер и Маргарита**» — по одноименному роману Булгакова. Ссылками на него пропитан текст, поэтому их не указываю. Предполагавшиеся первоначально части: 2 — о нэповской Москве, 3 — о Массолите, 4 — о Христе и Пилате и 5 — о чудесах Воланда — не написаны и, видимо, отставлены совсем.
- «у *Шаламова*» — неопубликованная серия лагерных рассказов В. Шаламова. О мальчишке, сказавшем во время разговора с другими заключенными, что его самое большое желание — остаться без рук и ног, чтобы получить возможность плюнуть в морду своим палачам, — из рассказа Шаламова «Надгробное слово».
- «**Третье китайское**» — очевидно, в связи не с Китаем, а с Чехословакией.
- «*Марксизма всесильный метод*» — диалектика.
- «*Прodelана быстро и точно невиданная операция*» — многие как в нашей стране, так и за рубежом восторгались той быстротой и четкостью, с которой Чехословакия была занята 21 августа 1968 года войсками СССР и его союзников по Варшавскому пакту.
- «*Откуда несет горелым?*» — это китайцы сжигают ревизионистскую литературу.
- «*Мотив знакомый гремит изo всех тарелок*» — репродукторов. Это китайцы исполняют по городской радиотрансляционной сети «Интернационал».
- «*Ни Свободы, ни свободы*» — во время чехословацких событий ходили, может быть, легендарные, рассказы о мужественном поведении президента Чехословакии Людвиг Свободы в критическую минуту, когда все остальные руководители государства были увезены в Москву и он оказался единственным представителем государственной власти, продолжающим функционировать.
- «*He станем свастик чертить на китайских звездах*» — как чехи на советских.
- «*Ему воскресать в Пекине*» — как Дубчек и прочие воскресли в Москве через несколько дней после бесследного исчезновения в Праге.
- Шелест* — секретарь ЦК Украины, в данном контексте, очевидно, собирательное, а не индивидуальное лицо.
- «**Савл**». *Савл* — настоящее имя апостола Павла в те дни, когда он еще не обратился и был ярым гонителем христианства (см. «Деяния Апостолов»). Стихотворение посвящено борьбе между павловским тезисом «спасения через веру», обосновывающим учреждение организованной церкви, и явно полемичным по отношению к нему «вера без дел мертва есть» из Соборного послания Иакова.



- «*Ибо — нового типа*» — намек на высказывания Ленина о партии большевиков как «партии нового типа».
- «*Таких на “пошто” не слышишь, пока не припрешь рожном*» — согласно «Деяниям Апостолов», голос сначала сказал Савлу: «Пошто ты гонишь меня, Савле?», а потом — «трудно тебе против рожна прати (идти)».
- «*Ни хлеба тебе, ни рыбы*» — хлеб и рыба имели символическое значение в раннем христианстве.
- «**Кочетиана**» — по поводу популярности черносотенного романа «Чего же ты хочешь?» В.Кочетова в среде либеральной интеллигенции.
- «*Дороже Авторханова и Бердяева*» — то есть самых высококотирующихся произведений Самиздата. Роман «Чего же ты хочешь?» действительно продавался по высокой цене на черном рынке, но это «дороже» — преувеличение.
- «**Вокс попули — вокс деи**» — глас народа — глас Божий (*лат.*).
- Гус, Ян* — профессор Пражского университета, один из деятелей ранней Реформации. Был обвинен в ереси и сожжен на костре. По преданию, увидев, что какая-то старушка принесла вязанку хвороста, произнес с костра: «О санкта симплицитас» (О, святая простота).

ВОСПОМИНАНИЯ  
СОВРЕМЕННОКОВ  
о Григории Подъяпольском



## Мария ПЕТРЕНКО-ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ

### Записки жены

Самое дорогое, что осталось у меня после ухода из жизни в 1976 году моего мужа Григория Подъяпольского, — это память. Она материализована в нашей дочери Анастасии, в ее семье, наших внуках, которых он не знал, но которые знают о нем, в Ирине Кристи, в наших родственниках и друзьях, с которыми было общее прошлое, протянувшее свои ростки в настоящее, в нашей общественной деятельности, в стихах и прозе Григория Подъяпольского, в его научной деятельности, которая тоже играла значительную роль в его жизни.

Мою жизнь можно разделить на два периода: жизнь до встречи с Гришей и жизнь вместе. Жизнь вместе продолжается и по сей день.

Главной целью книги является публикация материалов, автор которых сам Г.С.Подъяпольский. Я и написавшие свои воспоминания наши общие родственники и друзья иллюстрируем Время.

В моей части воспоминаний нет жесткой конструкции. Они страдают незавершенностью в связи с тем, что процесс воспоминаний продолжается.

### Мы встретились

50-е годы для нас с Гришей — это не только годы образования нашей семьи, но и годы формирования духа нашего общего дома, хранительницей очага которого я продолжаю быть и по сей день. Мы оба вышли из мира непреходящих ценностей, существовавшего в России и во все периоды развития коммунистической системы. Гриша называл этот мир катакомбным.

В начале лета 1952 года я устроилась работать в Центральный геофизический трест Министерства геологии СССР. Ехать пришлось на исследование трассы Главного Туркменского канала в экспеди-

цию, которая базировалась в Каракумах, в оазисе Ильялы, тогда называвшемся поселком Ленинским.

Я сняла комнату в казахском доме. Дом пустовал, рядом стояла большая юрта, в которой жили хозяева. Впрочем, я видела только хозяйку и кучу ее детишек, с которыми у меня установились вполне дружеские отношения. Платила я исправно, ночевала не так часто, ибо в основном жила в войлочной палатке на территории гравиметрической съемки за 135 километров к северу от Ильялы. Хозяина я не видела, он был в отъезде.

В комнате, которую я снимала, у меня стояли раскладушка, стол, стул, чемодан со шмотками, куча обуви и коробка с продуктами. Спать я пристрастилась во дворе: выбирая между соседством жившей там верблюдицы и духотой в доме, я предпочла свежий воздух. Очень скоро мы с верблюдицей поняли, что можем сосуществовать, и вполне дружелюбно поглядывали друг на друга. Я приходила поздно, выволакивала свою раскладушку во двор, забиралась в спальник и под аккомпанемент дыхания и жвачных звуков верблюдицы засыпала, чувствуя себя защищенной в общем-то в не очень привычной обстановке пронзительной южной ночи. Пронзительными были и войцикад, и жар, исходящий от перегретой за день земли, и свет, текущий от луны, и звуки, издаваемые ночными птицами и мелкими животными, снующими вокруг.

Неожиданно приехал хозяин дома. Он был против того, чтобы в их доме жил посторонний. Хозяйка плакала и жестами объяснялась мне в любви, но поделаться ничего не могла. Все осложнилось еще тем, что моя хозяйка не знала русского языка, а я — ни казахского, ни туркменского. Пришлось мне идти спать к двум женщинам-геофизикам. Они работали на несколько месяцев дольше меня, жили в центре поселка в цивильном доме, в комнате при клубе. Наутро я устроила большую стирку-мойку и с наслаждением плескалась в воде, которая на базе партии была привозной и ценилась если не на вес золота (золота у нас ни у кого не было), то на вес страха, что она кончится, и того, что нас ждет тогда. Еще я наслаждалась одиночеством и отсутствием какой-либо ответственности за все, что происходит и может произойти, — чудное чувство.

Вдруг что-то скрипнуло в сенях, и я увидела двух мужчин, проходящих в соседнее большое помещение — клубный зал. Я отправилась за ними. Это были завхоз и незнакомый мне светловолосый мужчина — худой, с тонкими породистыми чертами лица и очень голубыми глазами. Едва ответив на мое приветствие, они продолжали обсуждать возможности поместить в зале сколько-то столов и людей. Я молча наблюдала. А вот когда они сунулись в комнату, в

которой жили мои хозяйки и ночевала я, я взорвалась. И неліщеприятно объяснив, что лезть в чужой дом без хозяев не только неприлично, но и преступно, не пустила их туда. Почему я это сделала, не знаю. Ситуация была вполне штатной и легко объяснялась формулой: «производственная необходимость».

Прошли месяцы. Я нашла для себя и еще одной девочки-коллектора, которая попросила меня взять ее жить с собой, вполне приличную квартиру — и не частную, а принадлежащую местным властям. Там было куда больше удобств, чем в казахском доме, и мы туда переехали. Лето кончилось — с ним и полевые исследования. Вовсю шли камеральные работы — обработка и освоение полевых материалов. Все исполнители разных методов трудились над интерпретацией картины изменения и сопоставлением различных геофизических полей. На работе все общались, а по вечерам ходили в гости. У нас с Любочкой (моей подшефной) тоже бывали гости — милые, но не всегда воздержанные.

Однажды мы с Любочкой, посоветовавшись с нашими наиболее постоянными посетителями, вывесили большой плакат: «Долой безинтеллектуальные пьянки!» и на другом листе объявили принципы, которым должны были подчиняться и хозяева и гости дома: пить спиртные напитки в рабочее время категорически запрещается, любители поесть обязаны сами приготовить еду и после застолья вымыть посуду. Мы приглашали всех, кто хочет, играть в шарады — разделить с нами эту нашу шарадоманию.

Экспедиция была большая, около тысячи человек. Инициативных было много, затравка подействовала. В это примерно время нашим постоянным гостем стал Гриша Подъяпольский — тот самый светловолосый мужчина, которого я когда-то выгнала из клуба, где тогда жила.

И выяснилось, что нам очень интересно общаться. Он был образованней меня, больше читал и шире думал, однако объекты обдумывания так часто совпадали, что мы только ахали от удивления. И объекты сопереживания тоже оказались общими. Мы обсуждали события прошлых лет и наших дней. И еще неисчерпаемой темой была поэзия. Гриша знал множество стихов и эмоционально читал их, я же слушала не уставая. У меня не было такой богатейшей памяти, но вкус к стихам был всегда.

Наступила холодная среднеазиатская зима и прошел удивительно веселый праздник — Новый, 1953 год. В январе Гришу срочно вызвали с материалами в Москву. Инициатором проекта — канала, по которому сырдарьинская вода потечет не в Арал, а в Каспий, — был великий Сталин. Мы исследовали трассу будущего канала и давно понимали абсурдность подобного сооружения. Где-то впереди маячила необходимость обосновать эту абсурдность, но это предстояло

делать потом. Спасительное «потом» иногда пробегало мурашками по коже, а пока работали.

Жизнь без ежедневных разговоров с Гришей потускнела, но я крепилась, и если бы не всеобщее сочувствие и желание меня поддержать, мне бы, наверное, было легче смотреть на то, что между нами было, как на полосу замечательную, но ограниченную во времени и пространстве. Молва связала наши судьбы воедино до того, как это сделали мы сами.

Очень скоро выяснилось, что все камеральные работы переводятся в Москву. Все паковали свои наработки, и я тоже. Запакованные ящики отправляли нам вслед. И когда я была уже в Москве, выяснилось, что в привезенных материалах не хватает моего, мною написанного, секретного отчета. Начался переполох: телефонные разговоры, телеграммы. Через три дня после начала паники я вылетела в Туркмению и прилетела одновременно с «мальчиками в полушубках»: ГБ отследило наш переполох и прислало оперативников.

Отчет я отыскала сразу по прибытии: в сейфе, в который я его и положила, «чтоб не забыть»! Вечером, как и положено в таких случаях, обмыли благополучный исход. Один из оперативников, выпив, рассказал нам, что был-де в его жизни случай, когда его ударил зэк, а он спустил ему, никому не доложил. Как видно, гордился. Я слушала, кивала головой и на всякий случай молчала.

Еще произошел забавный случай. Перед отъездом из Москвы я получила письмо из бухгалтерии экспедиции с требованием заплатить крупную сумму, порядка 2000 руб. Оказавшись в экспедиции, я сходила в бухгалтерию, и выяснилось, что не я им, а они мне должны 3000, а также и самолетный билет оплатили. Такие дела. И еще я своими глазами увидела начало весны в Каракумах. Февраль там весенний месяц. Почки налились и зазеленели дымкой, травяные ростки ползут из всех пор, все зверюшки оживились и суетятся, а воздух, как нектар, — плывет над пустыней, живой и удивительно, непривычно свежий.

Естественно, я сообщила домой и в трест, что все хорошо, и дала себя уговорить остаться здесь еще на неделю.

И вот прилетела в Москву. В аэропорту меня встречал инженер по электроразведке Юра Бычков-Поморцев. По его осунувшейся физиономии я поняла, что мои близкие не очень надеялись на благоприятный исход моей одиссеи. Мне стало стыдно за те несколько дней, которые я там благодушествовала, легкомысленно наслаждаясь пустыней. Времена были настолько маразматические, что ждать можно было всего и всегда: еще не стих приступ борьбы с космополитизмом, бушевал захлеб по «делу врачей», шли расправы с лучшими

специалистами в медицине, распространялись слухи о «предательстве в промышленности». Госбезопасность работала с размахом.

Юра самоотверженно опекал моих, особенно мою маму, с которой очень подружился, и эта дружба длилась до самой ее смерти. Он и сейчас дружит со всем нашим семейством.

Гришу я увидела только на следующий день. После работы он зашел за мной, и мы пошли не в сторону Новогиреева, куда все устремлялись на электричку, а к шоссе Энтузиастов. В каком-то сквере сели на поваленное дерево. Гриша был бледен и сдавленным голосом сообщил: «Я уже сказал жене, что ухожу из семьи. Что у меня есть ты. Она просила не делать этого еще два года, что ты скажешь?»

Я ответила очень эгоистично, что готова ждать его из экспедиции, из тюрьмы, откуда угодно судьбе, но не от другой женщины. Да, у Гриши на ту пору уже была семья.

Все взаимоотношения с миром внешним Гриша решал сам, категорически меня от них отстранив. К марту мы «легализовались», объявив о своем союзе родителям, родственникам, друзьям.

Двадцать три года мы пробежали вместе, а потом произошло страшное: у Гриши случился инсульт, и он ушел из жизни. Четверть века я без него, но с ощущением, что мы все равно вместе.

## Из истории нашей семьи

Многие родственные и знакомые нам семьи принадлежали к некоему миру, не имеющему четких границ, но все же вполне определенному. В основе культурной традиции лежало ощущение этических ценностей, не связанное ни с национальной, ни с религиозной принадлежностью, однако наделяющее жителей этого мира твердыми правилами. Этическое чувство помогало «вычислять» себе подобных и жить достойно, не обращая внимания на дымовые завесы коммунистических кодексов, сообразительств и прочих ухищрений советского камуфляжа.

### Тетки Подьяпольские

К этому миру принадлежал дом Гришиной тетки Елены Петровны Подьяпольской – специалиста по истории России XVIII века.



Она работала в Институте истории АН СССР и в те годы занималась публикацией петровских архивов. В год они выпускали один том. Среди указов Петра попадались занятные, например запрет читать выступление по бумажке, «дабы дурь каждого всем ясна была». Тогда же она писала книгу о восстании Болотникова.

Жила Елена Петровна вдвоем со своей и Гришиного отца няней Эфочкой, заволжской немкой, маленькой, очень доброй и трогательной старушкой. Эфочка, хотя и прожила более семидесяти лет в русской семье, продолжала говорить на языке, где смешались русские и немецкие слова. Они ютились в небольшой комнате на одной из улочек Бутырского хутора в многонаселенной квартире. Опасная нестандартность положения состояла в том, что Эфочка не имела прописки не только в Москве, но и вообще нигде.

В войну ее немецкое происхождение неизбежно явилось бы причиной для репрессий. Уже в эвакуации ее присутствие не зафиксировали. Ей было в войну более шестидесяти лет, но по правилам того времени для ареста и депортации это не могло стать помехой. С возвращением в Москву тем более ни в каких бумагах ее фамилию не указали. Знали ли об этом соседи — неизвестно. Во всяком случае, могли догадаться: Эфочкино немецкое происхождение было очевидно. Однако никто не донес. Эфочка дружила со всеми детьми в квартире и со многими в доме. Занятые работой родители в безвыходных ситуациях подкидывали ей на какое-то время своих отпрысков — к обоюдному удовольствию и детей, и Эфочки. А над семейством висел дамоклов меч не просто возможного скандала, а непредсказуемых репрессий.

Эфочка умерла в возрасте девяносто трех лет, уже на другой квартире. И когда Гриша и его брат Сережа с трепетом пошли оформлять ее смерть и заказывать погребение, все обошлось на удивление просто. Но это уже были другие времена — шли 70-е годы.

По пятницам у Елены Петровны обязательно собиралась какая-то часть рассеянных по Москве Подъяпольских. Мы чаще всего приходили вчетвером — с Гришиной мамой Анной Григорьевной и Сережей. Бывал там и Гришин отец — агроном Сергей Петрович, и тетки — Екатерина Петровна, работавшая в Фундаментальной библиотеке АН СССР, Варвара Петровна, известный гельминтолог, членкорреспондент АН СССР, и Ольга Петровна, тоже биолог. Во время своих отпусков у Елены Петровны жила ее сталинградская сестра биолог Вера Петровна.

Иногда приходил кто-то из поколения «детей», к которому относились и мы, иногда друзья, которых было не так уж много. Пили чай, вели интересные разговоры, ибо все, и старшие, и младшие, были

творческими людьми, увлеченными своими науками. Щадили мнение друг друга. Вера Петровна почитала Лысенко за ученого, и мы ни разу открыто не высказали ей свое удивление и возмущение. Это относилось не только к нам, молодым, но и к старшему поколению, часто высказывавшему свое непонимание и несогласие с ее позицией, но за глаза.

«Пятницы» у Елены Петровны, как мне кажется, существовали всегда. Во всяком случае, вернувшись из эвакуации, Подъяпольские их только восстановили, а когда учредили — никто не вспоминал. Подобные чаепития представляли собой типичное катакомбное явление, когда общение с себе подобными охраняет от пагубных влияний окружающей среды.

## Романовы

Другим таким же часто посещаемым семейством были Романовы — Василий Николаевич и его жена Леночка Огородникова, наша ровесница, потому так и называемая. Жили они на Таганке в фамильном двухэтажном доме, который достался Романовым по наследству от дядюшки — профессора МГУ Львова. В доме жило несколько случайных семей. Налоги за дом платили сообща. На ремонт и создание элементарных удобств (уборная была только во дворе) ни денег, ни сил не было. Хлопотали о передаче дома Моссовету.

Романовым принадлежали две комнаты по 25 кв. м каждая, разгороженные шкафами на клетушки и уголки. Над головой торчали выпроставшиеся из-под каркаса потолочные балки. В первые посещения нависающие над головой балки несколько смущали. В конце концов дом был принят на баланс Моссовета, и в нем произвели ремонт. Для выравнивания потолка пришлось приложить титанические усилия: балки оказались невероятно прочными, несмотря на их наклонное положение. Говорили, а может, и шутили, что для того, чтобы их выдрать, понадобился динамит.

Отремонтировав дом, Моссовет выселил из него жильцов и сломал его в связи со строительством новой станции метро. Новую квартиру Романовы получили в Черемушках. С трудом втиснули в нее библиотеку. Содержимое старых сундуков (а в них оказался генеральский мундир и много других вещей прошлого века) передали в музей, расположенный почти напротив Политехнического, кажется, он назывался «Музей старой Москвы», не помню точно.

Василий Николаевич и Леночка работали в Фундаментальной библиотеке АН СССР. Через их руки проходило много современной

литературы. Василий Николаевич свободно владел основными европейскими языками и много читал. За чаем он пересказывал прочитанное. Мы благодарно его слушали. Василий Николаевич был из тех потомственных интеллигентов, которые не получили официальных дипломов «по техническим причинам», созданным социальным устройством. Дворянское происхождение, кратковременный лагерь по доносу сокурсника, ранний, еще до 30-х годов, выход на волю в какой-то из узких просветов и долготелая работа с книгами способствовали тому, что он трезво оценивал и наше общество, и государственный строй.

Леночка выросла без отца. Он был то ли эсером, то ли кадетом, что и послужило причиной для его уничтожения. Случилось это, когда Леночка Огородникова была еще ребенком, но определило ее мироощущение на всю жизнь. Советская идеология имела для нее один знак – отрицательный. Она была деятельней, чем Василий Николаевич. Писала в стол. Иногда вытаскивала очередной опус и давала Грише на рецензию. Обсуждение Леночкиных работ они вели при закрытых дверях. Пережив пару часов непрерывного гвалта, оба, по-видимому, оставались довольны друг другом, ибо через несколько недель Леночка опять давала Грише читать свою новую работу.

В доме Романовых мы познакомились с Григорием Соломоновичем Померанцем – их сотрудником и постоянным оппонентом Василия Николаевича, с Александром Воронелем, Александром Гуревичем, Наташей Горбаневской и другими замечательными людьми. Стиль общения здесь тоже был катакомбный, но уже не столь затворнический. Сама Леночка в период опалы Пастернака старалась поддержать его телефонными звонками. Помогала Солженицыну в его библиографических поисках.

## Мой отец

Среди наших ближайших родственников был один некатакомбный человек – мой отец Гавриил Яковлевич Петренко. Он происходил от рабоче-крестьянского корня. Мой дед Яков Иванович Петренко до 1905 года жил с семьей на Украине, под городом Сумы, в селе Лука. Летом дед обрабатывал свой надел земли, а зимой нанимался слесарем на сахарный завод. В революцию 1905 года он проявил весьма умеренную активность, однако попал в черные списки и был вынужден искать работу за пределами Украины. Он нашел ее в Питере и обосновался там.

Образование деда ограничивалось двумя классами приходской школы. Отец окончил среднюю школу для детей рабочих, организованную прогрессивными педагогами Петербурга недалеко от Волкова кладбища. Школа не имела ни статуса гимназии, ни статуса реального училища, у учеников не было формы, но образование там давали отличное. Аттестат этой школы обеспечивал право поступления в любое высшее учебное заведение России.

Из папиных наставников я помню фамилию Лопарева, который потом стал директором той же, теперь обычной советской школы, в которую по семейной традиции отдали учиться и меня.

Высшее образование отец получил в сельскохозяйственном институте, где генетику читал Николай Иванович Вавилов. Вавилов организовал грандиозную сеть селекционных станций для внедрения науки в сельское хозяйство. Очевидно, под влиянием вавиловских идей в 1928 году отец увез свою семью на Северный Кавказ, в Ставрополь, где получил работу заведующего Егорлыкской селекционной станцией.

По духу своему отец мой всю свою жизнь был борцом за правду. Когда в 1930 году арестовали директора Ставропольского сельскохозяйственного научно-исследовательского института Михаила Васильевича Соловьева, мои родители взяли в нашу семью его старшего сына — поступок по тем временам был неординарный. Отец, когда начали косить его старших коллег, твердил нам и всем, кто хотел его слушать, о безусловной их невинности и о вредительстве в органах. В те годы он, как мог, боролся с коррупцией. В 1936 году он вдруг вступил в ВКП(б), хоть до этого отвергал все попытки его туда втянуть. Я думаю, он не обладал достаточно широким пониманием тотальной преступности этой организации и надеялся на большую эффективность своих правдоборческих усилий.

Во время войны, когда отец был директором СибНИИСХОЗа в Омске, начался долгий и жуткий период конфронтации его с академиком Лысенко. Отец пытался не позволить Лысенко сфальсифицировать результаты опытной проверки очередной идеи фикс академика — сева по стерне. В результате отца сняли, а институт возглавил лысенковец. Мы вернулись в Москву. Отец, как и до войны, стал работать заведующим лабораторией почвенной микробиологии в НИИ сельского хозяйства Нечерноземной полосы.

Наши претензии по поводу существующего миропорядка высказывались именно ему, ибо он олицетворял активное начало. Пусть доброе и справедливое, но с партийным билетом в кармане. Он же нас всячески сдерживал, слишком хорошо зная, что случается с такими, как мы.

После XX съезда он попримолк, а в августе 1968 года, потрясенный оккупацией Чехословакии, сказал мне с горечью: «Был бы мо- ложе, пошел бы на площадь». Он понимал, что среди демонстрантов, вышедших 25 августа на Красную площадь с лозунгами, мы не ока- зались не по идеологическим, а по «техническим» причинам. И впер- вые так явно и откровенно признал невозможность для нас жить в согласии с коммунистическим режимом.

### Наши «среды»

Для Гриши и меня 50-е годы ознаменовались включени- ем в поток событий, с которых начался для нас выход из катакомб- ного мироощущения. Мы установили у себя приемный день, вернее, вечер — «среды». Это было время, которое мы всегда проводили дома в обычных хлопотах и в ожидании того, что кто-нибудь забредет на огонек. Жили мы далеко от центра, на улице Плеханова, выходящей на шоссе Энтузиастов, за окружной железной дорогой. Не то что телефона, канализации и водопровода в доме не было.

Нескольких званых «сред» оказалось достаточно для образования традиции. Укреплению ее способствовали рассказы возвращавших- ся из лагерей, информационный ливень из зала XX съезда и начало самиздата. Незаурядность дома определялась и тем, что здесь не только кормили и поили, но и разговаривали. Гриша был склонен к анализу, историческим параллелям и обобщениям. В доме не было атмосфе- ры страха. Мы не боялись, что, обсуждая события и советскую идео- логию, мы кого-то подставляем. Своим особым, для стихов, распев- ным голосом Гриша читал:

Может быть, довольно заливать.  
Может, скажем просто и толково:  
— Золотому веку не бывать —  
Ну и что особенно такого?

Обходились вечно без него.  
Вечно жили, гибли и хотели.  
Как-нибудь и мы переживем  
Эту бесконечную потерю.

Традиция наших «сред» оказалась живучей. Она просуществовала около тридцати пяти лет. Ее не сломили два переезда на другие квар- тиры. Ее не оборвала смерть Гриши.

Стиль «сред», естественно, менялся. Если в 50-е годы к нам приходили катакомбные интеллигенты, потому что велика была потребность высказаться, то в 60-е характер наших вечеров стал иным. В стране возникло движение противостояния строю и идеологии, прошли первые демонстрации протеста, начался сбор денег в помощь пострадавшим, распространялась самиздатская правозащитная литература.

Появились люди, которых в официальной советской печати потом обозвали диссидентами. Время от времени их поносила пресса, а советское правосудие преследовало как нежелательный для «коммунистического рая» элемент. На наших «средах» мы обсуждали конкретные меры помощи людям, терпящим политические преследования, и их семьям. Во времена, когда «Архипелаг ГУЛАГ» еще не был издан и Русский фонд помощи политзаключенным еще официально не существовал, мы с Татьяной Сергеевной Ходорович распределяли, как умели, стекающиеся к нам средства. Деньги мы получали в основном от религиозных общин, среди которых авторитет Татьяны Сергеевны был очень высок. Когда в 1977 году держателем Фонда стал Сергей Ходорович, наш дом стал одним из мест его работы. На наши «среды» приходили доброхоты Фонда, а порой и те, кому помощь требовалась. Кое за кем тащились наблюдатели в гэбэшных машинах, и толпились эти машины вокруг дома, дожидались, пока «предметы наблюдения» выпьют чай, закусят пирогом и поговорят с кем им необходимо, как правило, с помощью карандаша и бумаги. Все конструктивные разговоры велись именно так. Вслух говорили о погоде, искусстве, бытовщине и всласть ругали советскую власть. 27 сентября 1988 года завсегдаитаи «сред» провожали нашу семью в эмиграцию в Шереметьевском аэропорту.

В суete первых лет эмиграции традиция «сред» заглохла, но когда я в 1991 году приехала в Россию, Лавуты устроили две большие «среды Подъяпольских» у себя. То же происходило во Франции у Ходоровичей и Некипеловых — и не единожды. С 1996 года «среды» возобновились у меня в Бостоне. Собираемся реже, чем в Москве. На «среды» приходит много новых людей, но дух тот же: неравнодушие ко всему, что происходит в нашем Отечестве.

Я отклонилась от рассказа о 50-х годах. Возвращаясь к этому времени, я хочу еще сказать, что для нас с Гришей оно было захватывающе интересным. Кажется, только в «среды» мы спешили с работы домой. В Москве всегда что-нибудь происходило: то лекция в Обществе испытателей природы, то семинар в Институте Капицы или доклад в Политехническом музее. Мы, выросшие на скудном хлебе лысенковской биологии и прочего мракобесия, жадно добирали знания о мире.

XX съезд не ошеломил нас. «Отчаянье оставим тем, кто верил» — напишет в своих стихах Гриша. Мы к тому времени уже не верили ни в светлые идеалы тех, кто манипулировал властью, ни в какую-либо будущность для социалистической системы. Наличие тупиковой ситуации стало очевидно не только для Гриши, но и для меня, гораздо позже перешедшей от спонтанного невосприятия и частных возмущений к более обобщенной концепции. И тем не менее...

Даже самое смелое воображение отступало перед приоткрывшейся бездной личной безнравственности «вождей». Иллюзию, что такова была власть в прошлом, то есть при Сталине, и что-то изменилось в настоящем, разрушили события в Германии, а потом в Венгрии. Было ощущение, что утечка информации во время доклада Хрущева на XX съезде КПСС произошла в основном только потому, что разбойничий клан хотел обеспечить безопасность свою и своих семей, и было очевидно, что борьба за власть в верхнем эшелоне продолжается.

Нить жизнеописания в Гришиных мемуарах оборвалась на 1953 годе, когда из многочисленных мест заключения стали возвращаться призраки — те, кого уже и не числили в живых. У тех, кто «там» побывал, развязался язык. Нам стали известны подробности потупроволочной жизни. Потом появилась и мемуарная литература.

Наша семья в этом смысле была исключительно благополучной. И Гришины, и мои родственники избежали сталинских репрессий. Думаю, скорее всего, только по случайным обстоятельствам, и только. Вокруг косило, и вопрос, почему взят тот или другой, был так же бессмыслен, как и вопрос — зачем?

## Юрий Германович Вендельштейн

В Москве живет друг Гришиного детства, юности и всей жизни — Борис Вендельштейн. Его мама Нина Николаевна Эвергетова и моя свекровь Анна Григорьевна учились в одном классе Первой Московской женской гимназии. Большой дружбы между девочками не было. По воспоминаниям Анны Григорьевны, как-то они подрались — из-за чего, не помню, и когда начальница гимназии вызвала их на ковер, Анне Григорьевне показалось, что она покровительствует Нине Николаевне, и ее это страшно возмутило.

Потом они изучали химию — сначала на Бестужевских курсах, а потом в Московском университете, который обе и окончили, долгое время мало что зная друг о друге. Однако в начале 30-х годов, когда они уже не только были замужем, но и имели детей, стало известно, что в семье Нины Николаевны случилась беда. Неожиданно, непо-

нятно и нелепо был арестован ее муж – Юрий Германович Вендельштейн. С этого момента возникли близкие отношения между семьями и на всю жизнь подружился Боря Вендельштейн с Гришей и Сережей Подъяпольскими. Став женой Гриши, я приняла и полюбила Бориса и все его семейство.

Юрий Германович Вендельштейн стал первым возвращенцем, с которым мы познакомились. Он был очень крупным ученым-химиком, руководителем одной из лабораторий. Он рассказал нам, что в начале 30-х годов с верхних этажей власти ему было спущено задание по разработке какой-то очень сложной методики и указаны абсолютно нереальные, очень короткие сроки для выполнения работы. Он, естественно, сообщил начальству о невозможности уложиться в назначенный срок и, тем не менее, приступил к разработкам.

Шли месяцы, Юрий Германович и весь коллектив трудились в поте лица. Работа оказалась захватывающей, и уже наметились перспективы ее завершения, когда в один из полных напряжения рабочих дней Юрия Германовича вызвали к директору и предложили путевку в какой-то южный санаторий. Он очень удивился и категорически отказался ехать. Работа была в той стадии, когда каждый потерянный день казался преступлением. Он возражал, начальство настаивало, приводя свои доводы. Основным козырем начальства было состояние здоровья Юрия Германовича.

Со здоровьем, действительно, не все было благополучно, сказывалось многомесячное переутомление – усилился тик, барахлило сердце, одолевала тяжкая бессонница. Но все это ощущалось как временное, преходящее, что неизбежно должно было кончиться после завершения работы. Однако под флагом заботы о ценном специалисте начальство победило. Юрий Германович уехал отдыхать в Кисловодск. Там его действительно эффективно лечили, а он считал дни и обдумывал, как довести до конца порученную ему работу. Накануне отъезда его окликнул главврач и попросил зайти к нему в кабинет. С полотенцем через плечо Юрий Германович пришел и был представлен молодому мужчине с военной выправкой. «Вот ваш попутчик», – сказал главврач. «Попутчик» конвоировал Юрия Германовича до первого на его пути следственного изолятора КГБ. А потом, пройдя через все ужасы коммунистической инквизиции, Вендельштейн попал на Медвежью гору, в зону – в один из старейших лагунктов Страны Советов, в котором ему уже не нужно было решать научные вопросы.

С Юрием Германовичем мы познакомились в 1953 году. За плечами у него остался двадцать один год сталинских лагерей и ссылок. Он не выглядел здоровым человеком – очень длинный и худой, он



по-прежнему страдал тиком, у него барахлило сердце и еще какие-то органы. При всем этом он был удивительно светлым человеком, сияющим внутренней добротой и доброжелательностью. От всех этапов его гулаговского странствия у него сохранились дружеские связи с односидельцами. В 53-м он уже с кем-то мог перезваниваться по телефону, как-то кому-то помогать и о многих рассказывать. Он зарабатывал, реферируя статьи по химии, как правило, из иностранных журналов, что давало ему не только средства к существованию, но и возможность знакомиться с современной наукой.

Его дело пересматривалось в процессе реабилитации, и он сначала жил в Серпухове, так как имел «минус 100 км», а после пересмотра — в Москве. Молодой следователь, изучавший «дело», сразу установил некую закономерность: все листы, на которые ссылались обвинительное заключение, были изъяты. А может, их никогда и не было, кто знает.

О себе Юрий Германович говорил мало, только в связи с другими людьми или когда хотел рассказать что-то занятное. Кажется, самым длинным был рассказ о том, как во время войны его вдруг привезли на Лубянку и торжественно предложили работать по специальности... И он в течение многих месяцев, даже лет, делал работы для своего института, как мы поняли, вел теоретические изыскания. Однажды он в библиотеке столкнулся с сотрудницей, которая не шарахнулась от него, а поставила на полку справочник так, что он понял — в справочник можно положить записку. Конвоир, его стороживший, ничего не заметил. Таким образом ему удалось сообщить близким, что он жив и даже в Москве.

Этот период был для него спасительной передышкой. Каждое утро он на легковой машине в сопровождении конвоира ехал в нужную ему библиотеку и просиживал там целый день, занимаясь химией. Конвоир сидел при нем. Вечером конвоир вызывал машину и вез подопечного «домой» — в Бутырки. Так шли дни. Юрий Германович прилежно работал, и работа его, наверное, удовлетворяла заказчиков, потому что это длилось долго. С конвоирами у Юрия Германовича складывались разные отношения, иногда даже доверительные с их стороны (водителей гэбэшных машин Юрий Германович боялся куда больше). Были случаи, когда конвоиры отпрашивались у Юрия Германовича, уходили по своим делам, возвращались, как правило, к концу рабочего дня, и процедура возвращения в Бутырки не нарушалась. Но однажды отпросившийся конвоир загулял. Кончился рабочий день, библиотека должна была закрываться. Молча и обреченно в «предбаннике» сидели Юрий Германович и дама, которая работала на контроле. Она, видимо, все понимала и вопросов не задавала. Конво-

ир прискакал совсем поздно и вдобавок навеселе. Вызвал машину и все пытался объяснить, что встретил фронтowego товарища и не углядел, как время прошло. В машине он продолжал делать Юрию Германовичу заговорщицкие знаки. Тот закрыл глаза — действительно, очень устал. Что подумал водитель, никто не знает. Обошлось. Так выглядела его «персональная шарага».

О том, что было на следствии, рассказывал скупо. Однажды сказал, что не признавать любые, самые абсурдные обвинения было бессмысленно. Он все признавал, за исключением случаев, когда в обвинение вклинивали второго, третьего. Соучастников он отвергал категорически, либо беря все на себя, либо не признавая обвинения. Подобная позиция имела не только чисто моральные основания: вне ее выжить было еще труднее. Характеризуя общую бессмысленность обстановки, он рассказал об одном своем сокамернике. Измученный следствием, тот дал абсурдные показания, утверждая, что он лично перерезал все оптические оси инструментов в лаборатории, в которой работал. Его расстреляли.

В те времена мы часто бывали у Вендельштейнов. Юрий Германович был доступен и очень близок нам. Десятилетия бессмысленной травли, сломленная карьера ученого, многолетняя разлука с семьей, потеря здоровья — все это не затронуло его душу. Умер он в начале 60-х годов. Для нас это было большой потерей.

## Бычковы-Поморцевы

Туркменская экспедиция 1952 года прочно прибила к нашему дому Юру Бычкова-Поморцева. Был он геофизиком-электро-разведчиком, человеком больших габаритов и большого добродушия. В нашей семье он дружил со всеми, особенно с моей мамой Ксенией Владимировной, трогательно принимая ее заботы и отвечая на них шумной благодарностью. Временами он жил у нас подолгу. В один из таких наездов вдруг выяснилось, что к нему должна приехать его мама, а потом и отец. До этого мы об их существовании просто не слышали.

Было неясно, куда они приедут. У Юры в то время своего жилья не было, а мы жили очень тесно. И тут Гришу осенило. Он понял, что родители Юры возвращаются из лагерей. Удивительно было не их возвращение, а то, что, сойдясь с нами, месяцами живя у нас, Юра ни разу не проговорился об их существовании. Как потом выяснилось, он был преданным сыном, ездил к ним в лагерь, писал, помогал им, как мог.

Конечно же, Юрина мама, Ольга Михайловна, приехала в наш дом. Потом они сняли комнату в районе Измайлова, и уже туда приехал отец. В те времена нас потрясло именно то, что наш друг и сверстник, выглядевший таким теленком, балагуром-весельчаком и благодушным малым, таил в себе постоянный источник боли и тревоги, тщательно охраняя его от других, а других — от соприкосновения с ним. Историю преследования их семьи нам рассказала Ольга Михайловна Поморцева (отец Юры носил фамилию Бычков, а сам Юра — двойную).

Родители Юры происходили из дворянских родов и жили в Вышнем Волочке. Кем был отец до войны, не помню (думаю, служащим). Ольга Михайловна работала в больнице врачом-гинекологом. В городе был госпиталь. При отступлении с советскими войсками ушли все врачи, кроме нее. Она осталась в госпитале. По-другому поступить не могла — в палатах лежали раненые. Ольга Михайловна была немолодым человеком. Образование она получила до революции, на Бестужевских курсах. Клятва Гиппократата и представление о долге врача не были связаны для нее с идеологией, а существовали над ней.

Страшными были часы междувластия. Немецкие войска заняли город без боя, обнаружили госпиталь, кому-то доложили. Разбираться в ситуации явился немецкий военный врач. Как я понимаю, он оценил поступок Ольги Михайловны и проникся к ней уважением. Потом последовал калейдоскоп практически непредсказуемых событий. Ольге Михайловне предложили на базе госпиталя организовать поликлинику и больницу для населения. Она согласилась. Выяснилось, что в немецком лагере находятся ее сослуживцы-врачи, которые попали в окружение при передвижении на восток. Ольга Михайловна составила список нужных ей врачей, и под ее ручательство их освободили для работы в больнице.

В связи с тем, что отец Юры действительно был сыном предводителя дворянства, немецкое командование назначило его бургомистром. Ольга Михайловна рассказывала, что, заняв эту должность, он использовал ее для всяческой помощи партизанам. Погорели они не на его связях с партизанами, а на том, что некоторые врачи, вырученные Ольгой Михайловной из лагеря, бежали на восток. Разразился скандал. Ольга Михайловна была приговорена к расстрелу и избежала его, как она считает, по чистой случайности. От работы в больнице ее отстранили. Ей приходилось работать на эпидемиях в разоренных селах. Ее мужчины, муж и Юра, всегда были при ней. В конце войны в Прибалтике они прятались в развалинах от немцев, которые вылавливали таких, как они, с овчарками, чтобы увезти с собой в Герма-

нию. Чудом пронесло. Пробрались в Россию. И опять она работала врачом.

Отца Юры арестовали в 45-м или в 46-м за сотрудничество с немцами. Ольга Михайловна очень энергично хлопотала, собрала неопровержимые доказательства того, как полезен он был партизанам, скольких людей спас. Ее никто не слушал. Отец получил десять лет лагерей. В 1949 году была арестована Ольга Михайловна. Тогда по-вально давали не десять, а двадцать пять. Она и получила их за то, что в условиях оккупации лечила местных жителей.

Отец Юры вышел из лагеря в плохом физическом состоянии. Это был красивый седой старик, очень молчаливый. Я не помню ни одного разговора с ним. Ольга Михайловна, наоборот, удивляла своей энергией и жизненной хваткой. Ее рассказы из лагерной жизни сводились к тому, как ей удалось справиться с теми или другими заболеваниями, распространенными среди женщин. Она и там работала врачом. На мой вопрос, сохранились ли у нее личные связи с односидельцами, она ответила удивленно: «В таком ужасе я не о том думала». О чем — я не решилась спросить.

А сейчас, ворочая в памяти свои воспоминания, я хочу рассказать вот о чем. Мы восхищались ее героической жизнью. Она всегда выполняла свой долг — профессиональный, человеческий. Но было что-то в ней нам чуждое. Она не умела, не смела, не хотела обобщать. А может быть, так же, как Юра скрывал ее и отца от нас, она скрывала от нас свои мысли? Или гнала от себя серьезные раздумья, ибо только в молчании видела залог выживания? А может быть, и не в молчании, а в запрете думать о самом насущном. Не с этого ли порога начинается тот паралич, который охватил весь подкоммунистический мир, отдавший прерогативу думать разбойничьей шайке власть предержащих?

## Молодые диссиденты

Первым активным диссидентом, появившимся в нашей жизни, была племянница Гриши Ира Кристи. В 1954 году она окончила среднюю школу и поступила на механико-математический факультет Московского университета. Студенческая среда бурлила. Через Иру отзвуки этого бурления доносились до нас.

К ноябрю 1956 года на факультете выпустили газету. Событие это произошло после XX съезда и почти в то же время, когда шло подавление восстания в Венгрии. В качестве эмблемы в газете были изображены знамя, колокол и фигура пролетария, который разрывает

цепи. Газета провисела один день. Она была снята членом парткома, преподавателем политэкономии Соколовским. И сразу стало известно, что партбюро настаивает на исключении из университета чуть ли не всей редколлегии. Через несколько дней студентов, выпустивших газету, прорабатывали на общефакультетском комсомольском собрании.

Гриша каким-то образом проник на это собрание. Вернулся возбужденный и окрыленный. Собранию, по давно укорененному трафарету, было предложено осудить факт выпуска антисоветского номера газеты, содержащего статью Белецкого о Марке Щеглове, статью Стоцкого о Джоне Риде и другие идеологически порочные публикации. Зал встал на дыбы. Было ясно, что без предъявления материалов собрание выносить резолюцию не будет. Доводы о том, что потерял ключ от комнаты, в которой лежит газета, и что ведущие собрание комсомольские вожаки ее читали и свидетельствуют о ее антисоветском содержании, не возымели действия. Собрание ждало. Ключ нашли, газету прочитали. По окончании чтения статьи Белецкого о Марке Щеглове раздались аплодисменты. В прениях происходила довольно ожесточенная борьба между здравым смыслом и страхом перед последствиями.

На самом деле антисоветских материалов в газете не было. Статья Белецкого была написана в добрых традициях реализма, а не соцреализма. Стоцкий делился впечатлениями от прочтения книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», незадолго до этого переизданной государственным издательством, и приводил цитату, из которой можно было понять, что в какой-то момент Троцкий и Ленин одновременно усомнились в прочности и длительности существования ими установленной советской власти. Криминал был в упоминании этих деятелей рядом, в одной цитате.

Грише очень понравились многие студенческие выступления, но его огорчила и расстроила позиция Колмогорова, математика с мировым именем. В погоне за ведьмами решалась судьба его учеников, самых активных и, может быть, самых любимых. Колмогорову была отведена роль пристава. Он то сердился, то каялся, то пытался что-то объяснить. Мишу Белецкого исключили из университета. Стоцкий взял годичный отпуск. Их приютил, то есть дал им работу, академик С.Мергелян в армянской Академии наук.

На следующий год мы с Гришей изменили Крыму и отправились в Ереван. Кроме прелестей Кавказа нам захотелось познакомиться с единомышленниками другого, мало знакомого нам поколения. Мальчики отнеслись к нам сдержанно. Как я поняла уже много лет спустя, мы знали о них больше, чем они о нас. В нашем доме хранился

архив их газеты (его к нам как в безопасное место принесла Ира Кристи), включавший и подборку стихов Горбаневской. Молодые шебуршились, и мы смотрели на них из своих катакомб с чувством некоторой зависти. А они на нас? Возрастной разрыв между студентами и нами составлял десять-пятнадцать лет. У них уже что-то на счету было – некоторое противостояние режиму, который ни нас, ни их не устраивал. Они отнеслись к нам вежливо, но равнодушно. Позже Гриша в своем «Послании М.Б.», приведя в качестве эпитафии стихи Миши Белецкого, подвел итог несостоявшимся отношениям.

## Лето 1957 года

Лето 1957 года. Я возвращаюсь из очередной командировки. Поезд пришел почти как раз к открытию метро. На грани ночи и дня велико ощущение нереальности, застывшее на лицах, и как-то зябко, хоть день и обещает быть ясным.

В то время я работала в геологической партии по проверке заявок на нефть и газ. Любой гражданин мог заявить в самую высокую инстанцию о том, что он открыл местонахождение нефти или газа. А эта самая наивысшая инстанция (когда-то – канцелярия Сталина, в мое время – канцелярия Хрущева) спускала полученные заявки в Министерство геологии. Далее они шли в нефтяные институты с требованием проверить каждую индивидуально, на месте. Результаты мы докладывали заявителю, а свои соображения излагали в научном отчете. На долю нашего института (ВНИГНИ) досталась Русская платформа и территории на стыке с ней.

В тот раз я возвращалась из Архангельской области, где у меня была самая дальняя заявка, а по дороге домой я должна была еще захватить в Переславль-Залесский. В Архангельской области ничего путного, кроме эрозирующей железистой пленки, я не обнаружила. Заявитель, конечно, огорчился. Пожилой был мужик, и жена у него была славная. Жили они уединенно, в согласии с природой: пчельник развели, большой огород. Он рыбачил и охотился, а еще работал сторожем при колхозных службах. Меня принимали, как дорогую гостью. Пекли пироги и с рыбой, и с картошкой, и с разной ягодой и с собой завернули большой сверток.

Выбиралась я от них местным рейсовым самолетиком до железной дороги, что шла от Ухты в Центральную Россию. На маленькой станции недалеко от Котласа ждала поезда много часов. И все меня уже знали, и куда и зачем ездила – тоже. Когда пришел проходящий поезд, начальник станции уговорил старшего проводника, своего друж-

ка, найти мне место и продал мне плацкартный билет. Стояла светлая северная ночь — часы недолгих сумерек. Мы с этим самым дружкой-проводником прошли почти весь состав, пока не дошли до вагона, где все спали сидя. Видимо, вагон был все-таки бесплацкартным и заполнен бывшими заключенными, едущими из зоны. Я это поняла потом, а поначалу залезла на верхнюю боковушку, которую освободил мне проводник, положила рюкзак под голову, накрылась курткой и заснула.

Утром проснулась от гула голосов. В воздухе стоял густой мат. Попробовала подремать еще — не получилось. Слезла, поздоровалась с соседями — двумя молодыми парнями. Я предложила им по очереди поспать на моем месте. Молодые люди смущенно попереглядывались и тут же устроились вдвоем, освободив мне внизу место у подъемного столика. Я сняла с верхней полки рюкзак и развернула сверток с едой, засунутый туда гостеприимными заявителями. На первой же станции ребята раздобыли чайник кипятку, кружки у нас у всех были свои. У одного из попутчиков нашлись карамельки. Стали чаевничать, разговорились. Я рассказала, зачем ездила и с чем еду обратно. Заметила, что по перспективам на нефть и газ те земли, по которым мы едем сейчас, считаются пустыми, объяснила, что железистые пленки легко принять за нефтяные и по каким признакам их можно отличить друг от друга. Пожаловалась на то, что приходится быть гробовщиком надежд и чаяний заявителей. «Какая-то ненастоящая работа, — сказала я. — Попала в переплет и мучаюсь больше года».

Разоткровенничались и мои попутчики. Ехали они оба из лагеря, расположенного под Ухтой. Денег в дорогу дали им крайне мало. Они уже почти все проели, а ехать нужно было: одному в Ростовскую область, другому — в Краснодарский край. В Москве предстояла пересадка.

Сверток с пирогами растаял очень быстро. На ближайшей станции подкупили картошки, и только после того, как она была съедена, я увидела, что ребята насытились. Так мы ехали много часов: один спал на верхней полке, другой рассказывал мне свою судьбу и свою мечту, как должна сложиться его жизнь после освобождения. Но спокойный ход событий вдруг тревожно нарушился.

В вагон, вихляя всем телом, ввалился тип. Меня он заметил, видно, еще из тамбура и кликушеским голосом стал вопить, что узнает меня, что я работала на втором лагпункте в раздаточной, и он мне не простит, как я смотрю сквозь него и не признаю его. Все это говорилось не столь цивилизованно и с явным намерением затеять скандал. Я взяла книгу, стала читать, вернее, размышлять, глядя в строчки и не

улавливая смысла слов что будет дальше. Мои попутчики напряглись. Мы опустили столик у боковушки, и все трое уселись с независимым видом.

Напрягся и проводник. В ожидании разворота событий он открыл дверь своего купе. Через некоторое время послышался шум: «бесноватый» шел обратно. Он не забыл обо мне и еще издали сообщил всему вагону, что книга в моих руках — блеф, что я такая... такая... и такая и что он меня знает такую.

Когда он поровнялся со мной, оба мои попутчика встали так, что достать меня ему было не с руки и некуда ему было деться, как пройти в тамбур. Туда же отправились ребята и проводник. Вернулись довольные, мне ничего не объяснили, а стали рассказывать о лагерных нравах, о том, как трудна там жизнь для «мужиков» (что они не из «воров», я поняла, как только мы познакомились) и как разнообразен и изощрен уголовный мир.

Так в разговорах, воспоминаниях и обсуждениях их планов мы доехали до Ярославля. Расставаться было грустно и мне, и, кажется, им. Я посчитала свою наличность, оставила минимум себе, остальное вложила в два конверта и, когда мы на перроне прощались, отдала каждому по конверту. Они опешили, брать не хотели, я уговорила и шутя потребовала клятвенного обещания, что все будет потрачено на еду.

Поезд стоял долго, мне нужно было спешить, а уходить не хотелось. Казалось, мы прожили вместе какой-то кусок жизни, и то, что он вот так обрывался, выглядело неестественным, а продолжения у него не было. Молодые люди вскочили в вагон, когда поезд тронулся, и махали мне руками и что-то кричали очень доброе. А я? Я пошла отметить остановку в Ярославле и выяснить, как мне добраться до Переславля-Залесского. Настроение было на подъеме. Казалось, что должно повезти. И действительно, я очень скоро нашла грузовик из Переславля-Залесского, который забирал какой-то груз на вокзале. Ехала в кузове вместе с теми, кто этот груз встречал, и еще с какими-то людьми, которым тоже нужно было в ту сторону. Шофер, угадав во мне командированную, денег не запросил — в те времена «казенных» людей возили бесплатно.

Машина несла нас по всхолмленной древними ледниками равнине сквозь старые лесные массивы. Нас обдувало ветром, напоенным лесным духом. Я дышала им с наслаждением. Вдруг глазам открылась панорама города, увенчанного куполами, с крепостными стенами, с рекой и озером, — как в сказке. Через несколько минут машина остановилась, и я на несколько часов стала жителем этого города. В ощущение сказки вторглась современная жизнь, возникла



необходимость действовать по правилам времени, в котором живу. Дала себе обещание вернуться сюда вместе с Гришей и побежала в райисполком уточнять адрес заявителя и выяснять, как я смогу из этой сказочной глухомани выбраться на железнодорожную магистраль и доехать до Москвы.

Заявка опять оказалась пустой. Те же железистые пленки послужили обманым сигналом, поводом к мечте и причиной жесточайшего разочарования. С заявкой я разобралась быстро и успела по земляному валу мимо остова совершенно чудесной церквушки XII века добежать до большой церкви, стоящей в устье реки Трубеж, протекающей через город и впадающей в Плещеево озеро. Издали картина виделась ладной и очень вписывалась в общий пейзаж. Двери церкви стояли открытыми. Я вошла и горько пожалела, что вошла: разрушенный иконостас зиял провалами выданных икон, пол использовался как отхожее место, во всех удобных для гнезд углах сводчатого потолка ютились птицы. Я тихо вышла, и вслед мне ветер гулко стукнул незапертой дверью. Внутри сказки правил тризна «зрелый социализм». Впрочем, тогда этот термин еще не был в ходу. С грустью осмотрелась кругом, прошлась по валу вдоль берега озера и повернула к автобусной станции. И время оставалось, но осматривать что-либо подробно не хотелось — все отложила на наш с Гришей приезд.

В Ярославль вернулась затемно. Ближайший поезд ожидался ночью. Вот на нем я и приехала в московское предрассветное утро и стала думать, куда себя деть. Мы жили тогда на Большой Калужской в квартире Гришиной мамы Анны Григорьевны. Явиться туда в столь ранний час было немыслимо: квартира была заселена плотно, и будить всех в неурочное время я не решалась. Звонить — тоже. Решила ехать по кольцевой до Киевского вокзала, а дальше идти пешком.

Так и сделала. И получилась чудная прогулка. Жаль только, что рядом не было Гришеньки! Когда около семи утра он открыл мне дверь — теплый, заждавшийся и бесконечно прекрасный, — я ему об этом и сказала. А он, оказывается, всю ночь не спал. Он, наверное, чувствовал, что я где-то еду или иду, и дверь в прихожую держал открытой и не раздевался, чтобы сподручней было, тихо выскочив, бежать мне навстречу.

В тот день начался в Москве первый Международный фестиваль молодежи и студентов. У нас было мало возможностей смотреть запланированные программы, не было умения доставать билеты. Мы просто ходили по улицам Москвы. А еще напротив нашего дома, в бывшем Нескучном саду Парка культуры и отдыха имени А.М.Горького, была дырка в заборе — наш даровой вход, который служил ве-

рой и правдой не только нам. Яркая, спокойная, доброжелательная россыпь гостей фестиваля преобразила город. Толпы молодых людей струились по улицам — разноцветные, разноязыкие, пестро одетые, непринужденные и веселые. Наша закомплексованность рядом с ними таяла.

В Парке культуры была открыта художественная выставка. Нас тянуло на нее даже не потому, что нравилось, а потому, что столь многое было абсолютно необычным. Мы оба любили живопись, не пропускали выставок, которые появлялись в Музее изобразительных искусств или в других выставочных залах. Самым впечатляющим событием тех лет была выставка Николая Рериха. Переступив порог первого же зала, я почувствовала присутствие Бога. Так с этим чувством и проходила не только первый день, но и все последующие (мы были несколько раз, и ощущение близости Бога не меркло). В те времена все картины экспонировались в рамках, но без стекла. Через несколько лет я видела их уже через стекло. Конечно же, впечатлительные поблекло, и если бы мы не видели первой выставки, я никогда бы так глубоко не увлеклась Рерихом.

### Пожар на улице Плеханова в начале 1959 года

Кто-то из нашей семьи прочел афишу, в которой сообщалось, что в ближайшем к нашему дому клубе Проекторного завода будут показывать фильм, снятый по мотивам великих технических провидений Жюль Верна. Фильм шел днем в воскресенье. Мы очень воодушевились и пошли его смотреть всей семьей. Когда вернулись, страшно довольные фильмом, увидели, что наш дом горит.

У нас с Гришей была комната на втором этаже, который полыхал вовсю. Родители, Елена Владимировна и Скориковы (семья моей сестры) жили на первом. Пожарные обливали все, что можно и нельзя, водой. Жильцы выкидывали вещи из комнат, ибо все считали, что дом сгорит. А он не сгорел. Его удалось потушить.

Дом был деревянный, барачного типа, простоял больше двадцати пяти лет без ремонта и к этому времени находился если не в аварийном, то в предаварийном состоянии. В результате побитые и замоченные водой вещи тащили назад в обгоревшие квартиры и писали петиции в городские ведомства о предоставлении погорельцам жилплощади. Наше семейное положение осложнялось еще тем, что мы с сестрой обе были беременны: она на девятом месяце, я — на пятом. И как это ни удивительно, квартиру мы получили довольно скоро.

Переехали немного ближе к центру города – на Молодежную улицу, в дом 10. Квартиру нам дали на седьмом этаже, трехкомнатную, свежевыкрашенную и с паркетными полами. Новых вещей мы не покупали. Мы с Гришей и до этого жили на два дома – у себя и на Большой Калужской, у Гришиной мамы Анны Григорьевны. «Среды» стали устраивать на Молодежной. Читали самиздат. Первой ласточкой самиздата оказался Пастернак – «Доктор Живаго». Получили на малый срок, читали вслух большой компанией несколько дней подряд. Долго жил у нас толстый самиздатский том Хемингуэя «По ком звонит колокол».

Летом, когда быт после появления на свет двоих детей устоялся, случилась беда: по стенам поползли клопы. В нашем барачном доме на Плеханова паразитов не было. Мы сначала удивились, потом попытались одолеть их подручными средствами и, убедившись в неэффективности, вызвали специалистов по их уничтожению.

Специалисты – мощные женщины в халатах, фартуках, с приспособлениями, заливающими все щели едкой жидкостью, – обсуждали убогость нашей обстановки. Сами они жили в квартирах, обставленных гарнитурами, диванами, креслами и широкими кроватями. Двигая наши кровати-матрасы и кучи книг с обгоревшими переплетами, они определили наш социальный статус, обозвав «научниками». В термине не было презрения, а лишь констатация далекости жизненных интересов. Они же объяснили нам, откуда появились клопы.

Оказывается, на месте нашего дома раньше стояли старые бараки с сезонниками. При строительстве деревянные переборки использовали как подсобный материал при возведении стен новых многоэтажных домов. Зимой клопы примерли, а летом ожили и пошли в наступление.

У Гриши была раздражавшая всех в доме привычка: он читал за столом книги, как правило, беллетристику, и чаще всего классику. С этой привычкой боролись и его мама Анна Григорьевна и я. После пожара, пока не установился обычай семейных трапез, он не читал, но этого как-то никто не замечал. Зато как все обрадовались, когда увидели его с книгой, пристроенной между тарелками. Старый добрый уклад возвращался в наш делавший скачки быт.

50-е годы завершились очень счастливым событием: в 1959 году у нас родилась дочь Настенька. Ее появление было долгожданным. Шесть с лишним лет мы вели «холостяцкую» жизнь. Бездетные пары в чем-то ущербны, и кто-то, сейчас не помню уже кто, охарактеризовал их способ существования как «эгоизм вдвоем». Появление Настеньки создало множество тревожных и радостных проблем. Она

родилась семимесячной, у меня не было молока, его приходилось покупать по бешеным ценам сначала в роддоме, потом в донорском пункте. В донорском пункте молоко стоило дешевле, но однажды я понюхала молоко и поняла, что из бутылочки пахнет воблой и пивом. Я тут же вылила его в раковину. Больше мы за женским молоком не гонялись и растили ребенка на коровьем.

Гриша считал, что процессом кормления малышки из бутылочки он овладел лучше меня, чем очень гордился. Ребенок рос и доставлял нам много радости. В то время мы жили по-московски: то в квартире моей мамы, где у нас была своя комната, то на Большой Калужской, где были прописаны Гриша и Настя, в комнате, в которой жили Гришина мама Анна Григорьевна и тетка Наталия Григорьевна. Жили дружно, хоть и неудобно...

## Шестидесятые годы

В конце 1963 года в результате сложного квартирного обмена мы переехали на Запад Москвы в весьма стандартный для тех времен «хрущобный» панельный дом. Он и до сих пор стоит на улице Ярцевской под № 18. Жить нам предстояло в квартире 27, на втором этаже второго подъезда. Удивительным и нечто символизирующим казалось название улицы — Ярцевская. Гришиным дедом, отцом его матери, был художник-передвижник Григорий Федорович Ярцев.

Улица была названа не в его честь, а во славу Ярцевского направления, сыгравшего какую-то роль во Второй мировой войне. Тем не менее, то, что мы поселились на Ярцевской улице, было приятно, ибо личность Григория Федоровича жила в воспоминаниях, легендах, фотографиях и в картинах, чаще всего в этюдах, которые висели на стенах новой квартиры и превращали ее в родной дом.

Незадолго до переезда, в 1962-м, умерла Гришина тетка Наталья Григорьевна Ярцева (Наташа), о которой он много пишет в своих записках. Случилось это в доме ее младшей сестры Екатерины Григорьевны (Кати). Две последние в ее жизни недели мы провели у ее постели — мы с Катей круглосуточно (я взяла отпуск), а Гриша приходил прямо с работы и часто оставался ночевать. Наташе перевалило за семьдесят пять, а в семьдесят она оставила работу химика, рассчитывая написать монографию, и тут на нее набросился жесточайший склероз. Она перестала ориентироваться во времени и про-

странстве, но при этом сохранила способность воспринимать и об-суждать многое, но не столько обыденное, сколько абстрактное. До того как Наташе стало совсем плохо, Катя читала ей вслух Вернадского, и Наташа объясняла ей все трудные для Катиного понимания места. Очень толково объясняла, профессионально. Интеллектуальные способности широко образованного химика сохранились.

Переезд состоялся после смерти Наташи. С нашей семьей стали жить Гришина мама Анна Григорьевна и тетка Екатерина Григорьевна, а с семьей моей сестры — моя мама Ксения Владимировна и тетка Елена Владимировна. Переехали мы в декабре 1963 года. Насте к этому времени исполнилось четыре с половиной года. Она освоила чтение и умела учить стихи с листа. Вечерами Гриша читал вслух доступные ей книги нашего детства, а перед сном отвечал на ее вопросы. Мне было порой грустно — я не могла так часто, как Гриша, общаться с Настей. На мне лежали хозяйственные заботы. Однако такой отлаженный быт просуществовал недолго.

Уже через полгода после переезда умерла Анна Григорьевна, а меньше чем через два года у Екатерины Григорьевны случился глубокий инсульт, после которого она осталась прикованной к постели и в таком состоянии прожила в нашей семье около двенадцати лет. Кроме потери движения, Катя лишилась возможности облекать свои мысли в слова. Она произносила одно словосочетание «семь-восемь». Вся смысловая нагрузка сосредоточивалась в очень богатых интонациях, мимике, тоже очень выразительной, в жестикуляции левой руки.

При этом у нее сохранился доброжелательный и веселый характер, она всем интересовалась и живо откликалась на события в семье и в мире. Она могла сама «сесть за стол», который мы составляли из высокой табуретки и чертежной доски, то есть спустить ноги с постели. Одинокие часы она делила между тем, что раскладывала пасьянсы (знала больше двадцати) и листала тома энциклопедии (у нас на полках стояли две — Брокгауз и Большая Советская) и художественные издания, которые собирала до болезни и собрание которых пополняли все ее гости. У нее вполне сохранился живой и даже профессиональный интерес и к прикладному искусству и к живописи, которой она занималась всю жизнь для себя, особенно много после ухода на пенсию.

Вырубив речь, инсульт способствовал восстановлению физического здоровья: выздоровело сердце (в пятьдесят лет у нее был инфаркт и до рокового часа инсульта ее мучили аритмии, которые теперь оставили ее), прошел бурсит, и нервы пришли в норму. Она не стала равнодушной, а просто утратила истеричность и обрела заме-

чательную способность сочувствовать всем и, несмотря на все свои ущербы, получать радость от жизни.

Болезнь Кати физически осложнила нашу жизнь, однако никак не сказалась на духе семьи, и это было очень важно. Материальные трудности содержания больной Кати с нами разделили наши родственники и Катины друзья. Для ухода за ней удалось (опять же через друзей) найти женщину, согласившуюся жить у нас, — тетю Шуру. Она приехала к нам из далекого уральского городка Березовского. А до ее приезда в доме дежурили те же друзья и родственники. Настенька тоже оставалась с ними. Как правило, это были люди пожилые. Среди них были и кандидаты, и доктора наук. Помощь в уходе за Катей, которую они оказали нам, была героическим поступком с их стороны, но не могла быть долговременной.

Тетя Шура прожила с нами четыре года, а когда она навсегда уехала в свой Березовский, к нам переехали моя мама Ксения Владимировна и тетка Елена Владимировна. Они обе были старыми и больными людьми, но что было делать, если в пределах Москвы мы не смогли найти никого, кто бы согласился ухаживать за лежачей больной за то вознаграждение, которое мы в состоянии были платить. Вся семья помещалась в трех небольших комнатах общей площадью 42 кв. м, с кухней в 5,5 кв.м и крохотной прихожей.

А за стенами шли 60-е годы, и мы с Гришей всеми фибрами души были обращены в мир, ставящий перед всеми живущими этические проблемы. Осенью 1963 года мы подружились с Айхенвальдами. У нас продолжались наши «среды», и после знакомства с Айхенвальдами состав приходивших на «среды» существенно расширился.

В сентябре 1965 года в Москве были арестованы писатели Юлий Даниэль и Андрей Синявский, которые печатали свои произведения под псевдонимами Николай Аржак и Абрам Терц в зарубежных издательствах. Событие это и мы, и большинство людей нашего круга рассматривали как попытку власти вернуться к сталинским нормам произвола и насилия над личностью. Оно широко обсуждалось и у нас, и во многих знакомых нам домах, а кроме того, мы участвовали в сборе средств для найма адвокатов. Собирали «трешки на адвокатов», и, как правило, эти «трешки» нам давали с выражением сочувствия. А в одном доме произошла осечка, о которой я и хочу рассказать.

Мы были приглашены на день рождения нашего друга, Гришиного однокашника по нефтяному институту. Народу собралось много. В основном окончившие тот же институт — геологи и геофизики выпусков конца 40-х — начала 50-х годов. За пятнадцать лет само-

стоятельной профессиональной деятельности все обрели вес: кто-то в науке, а кто-то в номенклатуре. Большинство имели степень кандидатов, а некоторые и докторов технических наук, да и должности немалые — руководителей геолого-разведочных трестов или главных геологов. Обстановка была вполне непринужденной и даже веселой. И в какой-то момент меня черт дернул. Я рассказала, что случилось с Даниэлем и Синявским, и предложила дать «трешки» на адвокатов.

Ответом мне было гробовое молчание. Застолье стало медленно растекаться по площади квартиры. Общие разговоры сменились частными. Мой призыв повис в пустоте. Я почувствовала себя очень неуютно. Случилось это поздним вечером, пора было уходить, и мы все расходились, неловко прощаясь и очень формально договариваясь о новых встречах.

По дороге Гриша вспоминал биографии всех, кто сидел за праздничным столом. Почти все судьбы были типичны для нашего поколения — родители репрессированы, у большинства расстреляны отцы. Через несколько дней смущенный случившимся именинник, предлагая мне десятку, а если нужно, и больше, взволнованно говорил, что моей ошибкой было то, что я затеяла публичный сбор денег: «Подойшла бы по-тихому, каждый бы дал». Такова была степень несвободы катакомбного мира, из которого мы как-то выкарабкивались.

Осенью того же 1965 года у нас на «средах» обсуждалась идея демонстрации — митинга гласности на Пушкинской площади. А.С.Вольпин составил гражданское обращение, в котором призывал власти выполнять собственные законы. Митинг состоялся 5 декабря 1965 года. Мы сочувствовали, но пойти — не пошли. Думаю, что сработала, кроме всего прочего, «идиосинкразия» на демонстрации вообще, да и объективная причина была: Катин инсульт требовал от нас новой организации быта, который еще не устоялся. Из близких нам людей на площади были Ира Кристи и Алик Вольпин.

Имена многих демонстрантов мы слышали впервые. В основном это были молодые люди студенческого возраста. О брожении среди творческой молодежи мы знали и до этого, знали, что собираются они у памятника Маяковскому, что читают там стихи и что их разгоняют милиция и КГБ. Мы им сочувствовали, но сами на площадь не стремились. Быт в нашей семье был труден и, естественно, «заедал», а главное, тогда мы еще не понимали, что именно они — эти мальчики и девочки — стоят у истоков демократического движения в России. В это движение мы втянулись, когда стали сажать не только «провинившихся» писателей, но и тех мальчиков и девочек, которые активно защищали свободы, попранные государством.

Ю. Даниэля и А. Синявского судили в феврале 1966 года. И опять мы, переживая это событие, около суда не толклись. Даниэль был осужден на пять лет, Синявский — на семь лет лагерей строгого режима. Сразу же после суда Александр Гинзбург начал собирать материал, предполагая издать «Белую книгу», в которую вошли бы все опубликованные и частные материалы, содержащие оценку происшедшего. Делал он это практически открыто. К концу 1966 года сборник был готов. Один экземпляр сразу же был передан в КГБ, а с остальными предполагалось познакомить ряд депутатов Верховного Совета СССР.

Мы с Гришей прочли «Белую книгу» примерно в то же время. Впечатление очень трудно описать, но было оно потрясающим. В книге были собраны письма, которые писали люди со всех концов Союза, протестуя против преследования писателей за их творчество, против суда над ними и против бесчеловечно жестоких приговоров. Все письма были адресованы либо в органы власти (в Верховный Совет, ЦК КПСС), либо в органы правопорядка и судебные инстанции.

Казалось, страх отпустил людей, пишущих объединяла одна забота: беспредел сталинского лихолетья не должен повториться. В книге была протокольная запись суда, которая говорила сама за себя. Обвиняемые не каялись, не признали себя виновными на политическом процессе.

Прошло десять лет после разоблачительного выступления Хрущева на XX съезде КПСС, но не произошло никаких изменений в идеологии правящей партии, не произошло изменений и в структуре власти, законы остались те же и даже ужесточились. XX съезд породил иллюзии, надежды на перерождение системы, но — этого не случилось. А общественное мнение, вопреки всему, возникло, и его появление было зафиксировано в «Белой книге».

В этой же книге были собраны отклики на дело Синявского и Даниэля, опубликованные в официальной прессе; в сравнении с фактическим материалом из зала суда и «неофициальными» откликами граждан они выглядели жалкими и стыдными, ибо базировались не на фактическом материале, не на законах, а были просто огульной ругательской литературой в худшем ее варианте.

1966 год характеризовался ростом двух тенденций: общество дозревало до уровня гражданского противоборства, а власти, напуганные тем, что на XX съезде были преданы гласности их преступные деяния, изобретали способы удержать общество в узде повиновения. 16 сентября 1966 года специальным Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в Уголовный кодекс были введены статьи 190-1 и 190-3:



## *«Глава девятая*

### ***Преступления против порядка управления***

***Статья 190-1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй.***

*Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме произведений такого содержания —*

*наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей.*

***Статья 190-3. Организация или активное участие в групповых действиях, нарушающих общественный порядок.***

*Организация, а равно активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок или сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, или повлекших нарушение работы транспорта, государственных или общественных учреждений, организаций, —*

*наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей.*

Так же, как и статья 70 — аналог ст. 58-10 сталинского кодекса, статьи 190-1 и 190-3 создавали возможности квалифицировать «преступление» без события преступления.

### ***Особо опасные государственные преступления***

***Статья 70. Антисоветская агитация и пропаганда.***

*Агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений, распространение в тех же целях клеветнических измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй, а равно распространение либо изготовление или хранение в тех же целях литературы такого же содержания —*

*наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до семи лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки или ссылкой на срок от двух до пяти лет.*

*Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным за особо опасные государственные преступления, а равно совершенные в военное время, —*

*наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет и со ссылкой на срок от двух до пяти лет или без ссылки.*

Бороться за гражданские права в условиях существования перенесенных статей Уголовного кодекса было делом почти самоубийственным. А не бороться за гражданские права, декларируемые Конституцией, тоже было невозможно.

Появилось письмо протеста, которое подписали композитор Шостакович, академики Астауров, Энгельгардт, Тамм, Леонтович, Сахаров, писатели Войнович, Каверин и режиссер Ромм. Тогда им, да и нам казалось, что статус в иерархии творческой и государственной охраняет заявившего протест от преследований. Потом, в процессе борьбы за гражданские права, мы убедились, что это не совсем так. Беда была в том, что борьба против узаконенного беззакония не носила массового характера.

На очередную «среду» первым к нам пришел Сергей Мюге. Я в кухне кормила Гришу, Сережу и себя поздним обедом, а Настеньку ужином. Разговор вращался вокруг предстоящей встречи Нового, 1967 года. Поскольку Катя была прикована к постели, мы всех ближайших друзей звали к себе. Основная компания определилась давно, а «новичков» обсуждали, дабы не создать ситуацию, неприятную для кого-то из старожилов. Сергей предлагал позвать одну даму, характеризуя ее следующими словами: «Она бабка добрая, семья ее прошла через Караганду, в Москву вернулись после XX съезда. Их реабилитировали. Она поверила в кардинальные изменения власти и вступила в партию. Сейчас работает физиком в «ящике», защитила диссертацию, преуспевает, однако и нашим братом-самиздатчиком не брезгает».

Пообедав, мужчины пошли стирать пыль с шахмат, то бишь сыграть партию до чая и возможного прихода других гостей — оба были любителями. А Настенька подняла на меня свои ясные, очень чистые глаза и спросила: «Мама, а какого черта она пошла в партию?» Я тихо съела «черта», решив, что выправлять ее язык буду в менее серьезной обстановке, и говорю ей: «Каждый решает сам. Придет время, и ты будешь решать, вступать ли тебе в партию». — «Нет! — отозвалась она очень жестко. — Я, как и вы, буду читать запретные папочки». Тут я, допуская некоторую бестактность, говорю ей: «А ты уразумела, что про эти папочки трепаться не стоит?» Подарив мне взгляд, полный возмущения, ребенок ставит точку: «Давно уразумела», — отвечает она и уходит. А я думаю, думаю горькую думу о том, что мир для нее уже утратил гармонию и что ей всего восемь лет, а она, умница, уже многое поняла.

После новогодней вечеринки, на которую Мюге привели Генриха Батищева, марксиста из Института философии АН СССР, Гриша в маленькой поэме «Бедный Генрих» почти протокольно передал суть разразившихся дебатов (см. также мемуары С.Мюге).

5 декабря 1966 года в годовщину дня сталинской Конституции на Пушкинской площади состоялась вторая массовая демонстрация, посвященная теперь памяти жертв сталинского террора. Прошла она в полном молчании, лозунгов не поднимали, постояли и разошлись. Может быть, власти восприняли это как признак того, что в кругах активно сопротивляющихся возврату сталинизма наступил период инертности, — во всяком случае, в середине января 1967 года КГБ возобновил аресты. Были арестованы: издатель машинописного литературного журнала «Феникс-66» Юрий Галансков, Вера Лашкова — машинистка, печатавшая материалы к «Фениксу» и «Белой книге» Гинзбурга, а также двое их знакомых — Алексей Добровольский и Павел Радзиевский.

22 января 1967 года на Пушкинской площади состоялась демонстрация молодежи. Были развернуты лозунги с протестом против только что произошедших арестов и с требованием отмены антиконституционных статей 70, 190-1, 190-3 УК РСФСР. КГБ ответил волной обысков и арестов: за решетку за десять дней попали еще десять человек. В том числе и пятеро демонстрантов — Владимир Буковский, Вадим Делоне, Евгений Кушев, Виктор Хаустов и Илья Габай. А 23 января вечером арестовали и создателя «Белой книги» Александра Гинзбурга.

Арестованные в январе 1967-го проходили по разным статьям. Тех, кого обвиняли в том, что они вышли на демонстрацию, судили в разное время по статьям 190-1 и 190-3. Александра Гинзбурга, Юрия Галанского, Веру Лашкову и Алексея Добровольского (Радзиевского вскоре отпустили) — по 70-й статье. Их объединили в одном процессе, хотя деятельность их была различной.

Когда 8–12 января 1968 года проходил процесс четырех, мы с Гришей ни с кем из героев этого события знакомы не были. Мы в то время находились на стадии, когда мудрая катакомбная психология исчерпала себя и уже не представлялась столь мудрой. Во всяком случае, летом 1967-го Гриша ходил на кассационный процесс над Витей Хаустовым и познакомился за дверьми судебного зала с защищавшей его Софьей Васильевной Каллистратовой и Павлом Литвиновым. На процесс ни он, ни Павел, впрочем, как и сам подсудимый, не попали, что было обычно и, тем не менее, впечатляло.

С Юрой Галансковым мы никогда знакомы не были. Уже после суда мать Гинзбурга Людмила Ильинична рассказала нам о его инициативе — личной демонстрации у посольства США против американского вторжения в Доминиканскую Республику — и о том, что из этого вышло (его забрали в милицию). Он был трубадуром «Маяков-

ки», а мы на «Маяковку» не ходили. А вот под дверью суда над Галансковым, Гинзбургом, Добровольским и Лашковой Гриша уже стоял. После суда его кто-то из своих познакомил с Людмилой Ильиничной. Цепочка была очевидной. Гриша отправился на суд, потому что прочел «Белую книгу» и пришел к убеждению, что гласность может подточить коммунистический морок в Советском Союзе.

После суда Гриша взялся за перо и написал заявление Генеральному прокурору СССР. Для Гриши это письмо определило ту жесткую позицию, которую он таким образом довел до сведения властей и всех, кто хотел знать, как он относится к данному конкретному преступлению, совершаемому властью.

Перечислив ряд совершенных во время судопроизводства нарушений Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РСФСР, он квалифицировал эти нарушения как «дискредитацию советского судопроизводства в глазах общественного мнения как внутри, так и за пределами СССР» и указывал на то, что подобная практика «наносит не поддающийся оценке ущерб престижу нашего государства». Далее Г.Подъяпольский предлагал ряд конструктивных мер для устранения подобной практики (см. раздел «Публицистика» этой книги).

### Письмо 99-ти

14 февраля 1968 года нашего друга – математика, логика, поэта и правозащитника Александра Сергеевича Есенина-Вольпина насильно поместили в психиатрическую больницу. Эта акция властей вызвала возмущение широкого круга ученых и правозащитников. Возникла идея обратиться к министру здравоохранения СССР Петровскому, к главному психиатру Москвы и в Прокуратуру Москвы с коллективным письмом-протестом.

Мысль о написании такого открытого письма принадлежит Ирине Кристи, литературно письмо оформил Юрий Айхенвальд. Ирина Кристи и Акива Яглом были самыми активными собирателями подписей. Есенин-Вольпин работал на мехмате МГУ, Ирина Кристи была выпускницей мехмата, Акива Яглом преподавал там.

В письме разоблачались преступные методы борьбы режима со свободомыслием, использование властями медицины как карательного инструмента. Его подписали девяносто девять ученых – оно и получило неофициальное название «Письмо 99-ти». Позже список пополнился еще несколькими десятками подписей. Всего авторами открытого письма стали сто тридцать человек. В числе подписантов

был и Григорий Подъяпольский. В Гришиных записках есть очерк о том, как на тему его подписание с ним беседовал директор Института физики Земли АН СССР академик М.А.Садовский. Там же приведен текст этого письма.

Власти не ограничивались лишь инициированием «воспитательных бесед». Волна репрессий накрыла многих с головой. Так, в том же Институте физики Земли были устроены серьезные неприятности еще троем подписантам.

В Институте теоретической и экспериментальной физики, где работала Ирина Кристи, было организовано собрание, на котором с погромными речами выступали партийные боссы и подготовленные «представители рабочего класса». От подписантов требовали раскаяния и отказа от подписей. Кристи не раскаялась, и ее уволили «по сокращению штатов».

Многие ученые, подписавшие «Письмо 99-ти», были уволены или понижены в должности. Из наших знакомых потеряли работу доктор физико-математических наук лауреат Сталинской премии Александр Кронрод, доктор физико-математических наук лауреат Сталинской премии Наум Мейман, доктор физико-математических наук Исаак Яглом, преподаватель математики на филологическом факультете Московского университета Юрий Шиханович.

Никому из подписантов многие годы не давали разрешения выезжать за границу. Власти пытались таким образом запугать общественность, заставить честных людей бояться и молчать.

Как показали дальнейшие события, эта попытка оказалась, к сожалению, неэффективной...

### Людмила Ильинична Гинзбург

После того как Гриша в помещении суда познакомился с Людмилой Ильиничной поздно ночью он рассказывал мне о том, что происходило на суде и возле, и больше всего о том, каким исключительным героем показала себя матушка Гинзбурга. Мы оба поняли, что должны включить ее в круг своих забот.

Так и случилось. Мы приняли ее, а она — нас как нечто естественное и очевидное. Мы стали бывать у Людмилы Ильиничны очень часто — и не в официальных гостях, а потому, что ей и нам этого просто хотелось. У Людмилы Ильиничны был дар общения с людьми самыми разными. Она обладала огромным внутренним достоинством даже в трагических обстоятельствах ее жизни. А деятельная доброта, терпимость, неравнодушие к трудностям других обеспечили

ей широкий круг друзей и знакомых. Ее стали звать «Старушкой» (говорят, с легкой руки ее сына Алика), и была в этом нарицательном имени дань ее замечательным человеческим качествам.

К Людмиле Ильиничне ходили толпы друзей Алика из всех времен его жизни – и не только потому, что жалели ее, а потому, что черпали в ее позиции нравственные силы. Вот так и мы...

Мы собирались после работы и, следовательно, из разных концов города, но одинаково голодные. На Полянке была хорошая «Кулинария», в которой я знала толк: схватывала мясо для Гриши и Людмилы Ильиничны и что-то овощное для себя, а порой и рыбу для кота Мишки. Звоню в дверь, обычно слышу шаги Людмилы Ильиничны: значит, Гриша еще не пришел. Под внимательным взглядом кота Мишки решаем, что приготовить. У меня с котом вполне доброжелательные, хоть и не близкие отношения, но Людмила Ильинична его не просто любит – она его обожает, а кот ее... терпит. Может, он не в силах забыть какой-нибудь ее прошлый промах, а может, ему просто на всех наплевать: бывают люди-эгоисты, отчего бы и коту эгоистом не быть.

Обычно, когда еда и чай аппетитно украшают стол и заполняют комнату пряным духом особого уюта, приходит Гриша. Обед сопровождается многими историями, которые рассказывает Людмила Ильинична. Они посвящены Алику, его жизненным коллизиям и многим событиям из жизни того круга, к которому принадлежат и он, и она и который мы почти не знаем. Нам все это очень интересно. После обеда Людмила Ильинична и я убираем со стола и моем посуду, а Гриша забивается в какой-нибудь угол, оккупирует кресло и пишет свои формулы, которыми увлекается со страстью, как и всем, что делает всерьез. Он нас не слышит (способен отключаться), а мы обсуждаем рецепт и объемы изготовления «зэковского» печенья.

Его секрет мне сообщила Людмила Ильинична в один из первых же дней знакомства. У нее он из времен первой посадки Алика и с годами совершенствуется. Главный секрет в том, что печенье должно иметь «фабричный» вид черных сухариков, а калорийность, елико возможно, высокую. Я быстро приобрела навыки мастера, а так как тогда «заметали» по политическим мотивам очень многих и подследственным полагалась раз в месяц передача, то и количество печенья требовалось соответственное. Одна Людмила Ильинична даже при том, что она раздавала рецепты родственникам арестованных, справиться не могла. На этом поприще подвизалась также мама Володи Буковского Нина Ивановна. На этой почве мы с ней познакомились, а потом стали и друзьями.

Однажды я пекла печенье для арестованного Петра Якира, и оно не получилось. Что-то я не доложила или переложила. Печенье вышло жестким и малосъедобным. За ним приехали, когда оно еще дозревало в духовке. Я рванулась сделать новую порцию, но приехавший ждать не захотел и ухватил испорченные сухарики, а утром их понесли в тюрьму. У меня до сих пор ощущение вины перед Петей. Думаю: может, подкрепившись моим печеньем, он занял бы другую позицию?

Очень скоро Людмила Ильинична стала бывать у нас на «средах» и уж совсем непременно — на всех «табельных» днях. У нас в семье существовала — да и сейчас существует — традиция празднования дней рождения всех членов семьи. Особенно веселыми бывали детские праздники. В комнату, где происходило торжество, из взрослых допускались только те, кто умел самозабвенно веселиться; те же, кто не умел, сидели на кухне и пили чай с пирогами. Нина Ивановна Буковская приводила на Настины и Викины (Любарской) дни рождения внука Мишу и в первый же раз была отлучена от детей за нравоучение, которое прочла расшалившемуся внуку. А Гриша играл и шалил со страстью и беззаботностью. Если играли в «гоп-доп», то от его ударов готов был рассыпаться стол. А каким выдумщиком и спорщиком он проявлял себя в словесных играх и шарадах! Людмила Ильинична пробиралась в гущу играющих, весело смеялась и потом долго переживала перипетии и подробности того, что происходило.

Ее единственный и бесконечно любимый сын Александр Гинзбург отбывал свой пятилетний срок, а у нас на «средах» и во всех домах нашего круга формировалось то, что прошло стадию общественного мнения и вступило в стадию демократического движения. Мы все в этом участвовали, и доля Людмилы Ильиничны была немалой.

С Аликом Гинзбургом и его женой Ариной мы познакомились и сблизились уже после возвращения Алика из лагеря в 1972 году — в те времена, когда они жили в Тарусе с двумя малышами. Шли 70-е годы. Гриша был членом Инициативной группы по защите прав человека в СССР и членом Сахаровского комитета прав человека. Случилось это потому, что, написав свое первое правозащитное заявление на имя Генерального прокурора в январе 1968 года, он выбрал судьбу, уходить от которой не собирался. Он подписывал и составлял письма в защиту очень многих, сведения о которых приходили разными путями и содержали информацию о нарушениях прав человека. Эти письма пересекали государственные границы, распространялись по всему миру и создавали поток гласности...

С Юрием Александровичем Айхенвальдом и Валерией Михайловной Герлин (Вавой) нас познакомила Ира Кристи. Мы не просто подружились с ними, а ринулись в эту дружбу. С порога их дома для нас начались многие дороги, ведущие из катакомбного мира в мир относительной свободы.

Сами Айхенвальды представляли собой невиданное в нашем кругу явление. Оба они происходили из элитарных советских семейств, которые были разрушены репрессиями 1937 года.

Еще до пика сталинского террора, в период становления советской власти, был репрессирован дед Юры, Юлий Исаевич Айхенвальд, известный литературный критик и философ. В 1922 году вместе с большой группой интеллигентов он был выслан за рубежи Страны Советов. Высылка сопровождалась лишением гражданства. Господ-интеллектуалов отлучали от возможности строить «светлое будущее социализма». А сын его, отец Юры, Александр Юльевич Айхенвальд, стал активным строителем этого будущего. Красный профессор, сподвижник Бухарина, верный сын партии, он пятнадцать лет вдохновенно работал на этом поприще. Отец Вавы был крупной фигурой в КГБ и служил тем же идеалам. Оба они были арестованы и расстреляны на рубеже 30–40-х годов. Мамы Юры и Вавы отбыли лагеря и ссылки. Дети росли без родителей: Юра — у бабушки, Вава — у подобранных ее друзей семьи. И так — до совершеннолетия. А потом настал и их черед: тюрьмы, пересылки, ссылки, а для Юры и психбольница. На самом-то деле только за то, что они были детьми репрессированных.

Мы подружились с ними в период, когда гражданские права их были восстановлены. Жили они в двухкомнатной квартире по улице Сайкина, идущей по-над краем грузовой железнодорожной ветки, недалеко от самого крупного автозавода, носившего имя Сталина, — ЗИС. Потом его переименовали в ЗИЛ — завод имени Лихачева, а ближайшую к нему станцию метро «Завод им. Сталина» просто в «Автозаводскую».

Я написала о восстановленных гражданских правах, но это не исключало пристального и постоянного внимания к ним органов госбезопасности. Многие признаки свидетельствовали о том, что КГБ числит их за собой и досье на них пополняются. Естественно, это мешало жить. И вот году в 1964-м, после того как безымянный гэбэшник провел с Вавой превентивную беседу в школе, где она работала, Юра отправился в приемную КГБ на Кузнецкий мост, 24 и сам напросился на прием. Времена были еще неопределенные: провернун массовый террор, КГБ осуществил и массовую реабилитацию. Во



время «беседы» обличительную речь держал Юра, гэбэшник молчал, но с тех пор явная опека со стороны КГБ на некоторое время прекратилась.

Квартира их находилась на четвертом этаже большого многоэтажного и многоподъездного дома, ограничивающего длинный двор, внутри которого существовало подобие сквера с качелями, столиками и скамейками, в вечерние часы пустующего и мрачноватого. Окна обеих комнат выходили во двор, окно кухни — на улицу Сайкина, а следовательно, и на полотно железной дороги. Стены большой комнаты и коридора, в торце которого была кухонная дверь, были заставлены стеллажами с книгами. На свободных участках причудливо разместились картины очень современного направления. В комнате висел бело-зеленый флаг и стоял весьма вызывающий скульптурный кукиш, изображение которого красовалось и на флаге. Все это было атрибутами игр того класса, в котором Юра был классным руководителем.

В доме витал дух свободомыслия. Хозяин и хозяйка преподавали литературу в школах и относились к своей работе неформально. К ним запросто заходили ученики, настоящие и бывшие, обсуждались проблемы глобальные и личные, составлявшие ткань их жизни. Кроме того, в доме часто бывали друзья. Именно там мы познакомились с Сашей Асарканом, Аликом Есениным-Вольпиным, Петром Якиром и всем его семейством, Сергеем Мюге, Асей Великановой, Толей Якобсоном, Майей Улановской и другими участниками зарождавшегося тогда правозащитного противостояния властям. И было это еще до первой правозащитной демонстрации 1965 года.

У Айхенвальдов существовала традиция многолюдных празднований дней рождения членов семьи. Гости переполняли квартиру. На первом же таком празднике мы насчитали около семидесяти человек. Тут были бесчисленные ученики, друзья, кто-то приводил своих знакомых, не известных ни юбиляру, ни хозяевам дома. Однажды Вава на своем дне рождения спросила молодого человека, лицо которого видела впервые: «Вы кто?» — «А вам какое дело?» — парировал тот независимо. Смутьившись, виновница торжества отступилась от нахала, а может быть, и от штатного наблюдателя, так и не выяснив, кто он, ибо ее отвлекла новая партия гостей, вполне ей знакомых и дорогих. Царило веселье, читали стихи — в основном, их авторы: хозяин дома Юра Айхенвальд, Алик Вольпин, Юлик Ким. Гриша Подъяпольский со своими стихами вписался в эту традицию вполне. А поздними ночами, обычно на кухне, шли разговоры «за жизнь».

В Юре жило непреодолимое желание проанализировать историческую обстановку и понять, почему все произошло так, а не иначе.

Как возник этот уродливый мир? И кто и что его существование определили? Его позиция была пронизана чувством сопричастности к грехам нашего времени непосредственно его родителей: они делали революцию, они закладывали фундамент коммунистического мировоззрения, они создали систему, при которой жизнь превратилась в затхлое болото. Он искал пути выхода из этого болота.

Еще на первом этапе знакомства мы с Гришей достали билеты на спектакль «Сирано де Бержерак» в театр «Современник». Пьеса шла в Юрином переводе. Вещь эту я постоянно читала в юности, потом в Вахтанговском театре видела нечто непохожее на моего затверженного Сирано и даже решила никогда больше не смотреть спектакль, так далек он был от возникших при чтении и живших во мне с юности образов. А тут... Гриша меня уговорил: были куплены билеты с чудовищной нагрузкой — билетами в какой-то прогорающий театр, которые мы тут же выбросили. Возникло предощущение чего-то нового, незнакомого. И это ожидание не обмануло: спектакль очень понравился. Любимый рыцарь скинул паутину времени и заговорил страстно и трепетно о том, что болит в наших душах, истерзанных стремлением к справедливости и борьбе.

Так случилось, что подружились не только мы, взрослые, но и наши дочки — Саша Айхенвальд и Настя Подъяпольская. Кроме того, нас связывали общие близкие отношения с Ирой Кристи. И когда в нашем доме случилась беда: с инсультом слегла Катя, родная тетка Гриши и двоюродная бабка Иры, Айхенвальды стали чаще бывать у нас, чем мы у них. В эти годы Юра интенсивно занимался литературным творчеством. На наших «средах» и в субботы он читал у нас свои стихи и прозу. В любом общем обсуждении Юра лидировал. Это было интересно, хоть я не всегда бывала с ним согласна. Иногда он отстаивал тезис, не вытекающий из его мировоззрения, а скорее ему противоречащий, и с любопытством наблюдал за тем, какова будет реакция аудитории.

К концу 60-х годов ростки правосознания окрепли в наших катакомбных душах. Реакция режима была адекватной. Если в начале нашей дружбы мы на пришедшего после беседы из КГБ Айхенвальда смотрели как на чудо-героя, то к концу 60-х ощущение необходимости оказывать сопротивление заставило нас совершать поступки, вполне замечаемые КГБ. В следственных тюрьмах оказались многие, поднявшие свой голос против возрождения сталинизма. Вышла «Белая книга» о процессе над Даниэлем и Синявским. Была организована Инициативная группа по защите гражданских прав в СССР, в которую вошел и Гриша Подъяпольский. С допросов стали возвращаться Гриша и многие другие, и этим другим следователи сообщали

ли, что Подъяпольский натворил такое, что является первым кандидатом на арест. Естественно, в правовом отношении все «претензии» КГБ были мыльными пузырями. Однако существующая традиция и разбойничья логика коммунистического мира уплотнила их до твердости ядра, способного убить. Контакт с КГБ боялись все. Особенно тягостны они были для тех, кто имел этот опыт в сталинские времена. Юра и Вава имели.

И тем не менее, потребность не только писать, но и глаголом жечь души современников толкнула Юру на очень трудный, нервный и опасный путь: живя и работая в СССР, он печатался и на родине, и за рубежом.

Бывали периоды, когда каждый прожитый день казался последним. Последним перед арестом. Реально было предположить и прослушивание телефона, и наличие микрофонов, вмонтированных в стены. В минуты, когда напряжение хватало за горло, Юра срывал телефонную трубку и кричал в нее: «Я тебя не боюсь, Вася! Тудысюды твою душу!» Напряжение спадало, и он садился работать.

А вечерами приходили друзья — и очень часто не развлечься, а обсудить сложные жизненные коллизии, в которые их или кого-то из их близких ставила господствующая советская система. И Юра, и Вава многим помогли не сорваться и не натворить глупостей, а также не прийти в отчаяние. Наша Ира Кристи, по существу, сделалась членом этого беспокойного дома. Дар сопереживания был свойствен всем троем.

В 1968 году Айхенвальды подписали письмо в защиту Галанскова, Гинзбурга, Добровольского и Лашковой («Письмо 170-ти»). В школах, в которых они работали, им устроили «проработку» и оформили увольнение. Они пустили протокольную запись того, как все это сделалось, в самиздат и подали в суд на администрацию. Очень скоро случилось непредвиденное: «протоколы» передали по «голосам», а суд восстановил их на работе. Тем не менее Юра не вернулся в школу. К тому времени он опубликовал достаточно много переводов, литературоведческих статей и журнальных очерков и был принят в существовавший при издательстве «Художественная литература» профком — организацию, обеспечившую ему некоторые права и социальную защиту. Его не так просто было обвинить в тунеядстве и заставить забивать гвозди или копать канавы, даже когда он «не выдавал продукцию», т.е. какое-то время не публиковался. Когда он заболел, ему оплачивали бюллетень. Вава получила место учительницы в старших классах в окраинном, «пролетарском» районе. Все, что она рассказывала про свою работу, выглядело очень смешно.

— Они молчат. Молча слушают, — говорила она. — Мне кажется, они ничего не улавливают. Просто я говорю гладко, и им это нравится.

Позже со мною в качестве лаборанток работали две бывшие «молчаливые» ученицы Вавы. Они рассказывали, каким чудом показалась им новая учительница, а когда возник литературный кружок, в котором все разговорились, всем стало интересно жить. Валерия Герлин проработала в этой школе несколько лет. Ее выжили не «серые» ученики (ученики оказались всякими), а весьма «серые» учителя, среди которых она была «белой вороной».

Жизнь на улице Сайкина текла в обычном ритме. Юра читал стихи, иногда прозу то на каких-то студенческих вечерах, то у нас дома, на «средах». Все бури, возникавшие в связи с существованием демократического движения в России, не миновали этот дом. Юре принадлежала роль тайного (ибо ни в какие структурные организации он не вступал) «кардинала». Именно с ним обсуждались стратегические планы поведения многих из тех, кого вызывали на допросы в КГБ и в прокуратуру, обсуждались письма в защиту тех, кого уже загнали в следственные изоляторы, и сведения о тех, кто уже перешагнул порог ГУЛАГа.

Мне не хочется повторяться. В моем описании 60-х и 70-х годов семейство Айхенвальдов присутствует всегда, ибо было оно одним из очень близких. В этой книге есть и воспоминания Юры о Грише, и критическая статья о Гришином литературном творчестве, и ссылки на книгу Айхенвальда «Високосный год», которую автор посвятил памяти Григория Подъяпольского.

Ю.А.Айхенвальд пережил Г.С.Подъяпольского на семнадцать лет. Он умер 28 июня 1993 года, вовсе не исчерпав своих творческих сил и возможностей.

## Оболенские

Гришина бабка Анна Владимировна Ярцева (в девичестве Вишнякова) через несколько лет после замужества заболела открытой формой туберкулеза. Врачи рекомендовали ей переехать в Крым: тамошний воздух издавна считался целебным при туберкулезе. Гришиному деду Григорию Федоровичу Ярцеву пришлось выхлопотать место лесничего в Крыму, тем более что у него были для этого основания — в молодости он окончил Петровско-Разумовскую академию.

Семья переехала из Москвы в Ялту. К этому времени Григорий Федорович уже состоялся как художник и архитектор. В Ялте он по

собственному проекту построил большой дом, в котором поселилась семья Ярцевых и семья доктора Л.Средина. Во дворе стоял флигель, в котором обитало семейство Пешковых (А.М.Горького). Существует фотография того времени, с которой на нас дружелюбно смотрят главы трех семей, образовавших эту маленькую «колонию».

В начале 50-х годов мы с Гришей, путешествуя по Крыму, разыскали ярцевский дом. Основными приметам того, что мы не ошиблись, была мемориальная доска, висевшая на доме и утверждавшая, что в нем жил А.М.Горький (на флигеле такой доски почему-то не было), и то, что улочка, на которой этот дом располагался, носила имя доктора Средина. Имя Григория Федоровича Ярцева не фигурировало.

Все, что я знаю о жизни Ярцевых в Крыму, я почерпнула из рассказов моей свекрови Анны Григорьевны, которая росла в этом доме. Из фамилий, встречавшихся в ее рассказах, я помню Чехова, Зобниных, Эйлеров, Бальмонта, Шаляпина, Волошина, Короленко, Оболенских, ну и, конечно, Срединых и Пешковых. Дочка Ярцевых Ася (моя будущая свекровь) дружила с сыном А.М.Горького Максимкой и вспоминала о нем с теплом и жалостью, а об отце его, Алексее Максимовиче, — с ужасом и недоумением, особенно о его манере шутить, которая противоречила ее понятиям о приличиях.

Связи тех времен чудом сохранились в нашей семье. Одним из самых живых ростков оказалась связь с семейством Оболенских.

Владимир Андреевич Оболенский и Григорий Федорович Ярцев играли видные роли в жизни крымского земства. Они оба состояли в кадетской партии и были депутатами от Крыма в каких-то из Государственных Дум. Их семьи общались, дети дружили. Сам Владимир Андреевич уехал из России со старшей дочерью (тогда сестрой милосердия) и старшими сыновьями (участниками Добровольческой армии) в период врангелевской эвакуации. Остальная часть семьи пережила много мытарств, в том числе тюремные застенки крымского и московского ЧК. В Москве же семья Оболенских оформляла выездные визы, кто-то из них жил у Ярцевых. У них, например, скрывался младший сын Владимира Андреевича — Лева Оболенский. Появление на улице грозило ему мобилизацией в Красную Армию, а выяснение его фамилии могло кончиться большой бедой. Очень близкими подругами были Ирина Оболенская, Ася Ярцева и Лиза Шишмарева. К 1924 году все Оболенские перебрались за кордон, и все сведения о них для нас затерялись за «железным занавесом».

Больше чем через тридцать лет, в середине 50-х годов, в период хрущевской оттепели и освоения целины в Москве появились две уже немолодые художницы русского происхождения, приехавшие из Франции «для работы на целине» — таков был официальный мотив

их возвращения в Россию, изложенный в заявлении на имя Н.С.Хрущева. Их пустили в Союз. Они пробыли какое-то время в Москве и получили направление в Ташкент, где, кажется, вполне благополучно прожили много лет.

Художницы до революции принадлежали к тому же кругу российской интеллигенции, что и Ярцевы. Анна Григорьевна ходила повидаться с ними и узнала от них подробности жизни многих знакомых и адрес своей подруги Ирины Оболенской. Я уже не помню, кто написал первый, но именно тогда началась переписка, которая длилась несколько лет и затухла после кончины Анны Григорьевны. Письма приходили очень регулярно, были милыми и содержательными и как-то быстро восстановили дружеские отношения и взаимный интерес.

Ирина и ее муж жили в Гренобльских Альпах, работали в маленьком местном музее: Ирина телефонисткой, ее муж сторожем. Ирина много писала о семьях своего младшего брата Левы и сестры Натальи и об их детях. В письма всегда бывали вложены открытки с видами Альп, а иногда и уголков Парижа. Приход каждого письма для нас был событием: оно прочитывалось с пристрастием, и вокруг него велись долгие разговоры. Анна Григорьевна обладала богатейшей памятью и даром очень живого рассказчика. Так Оболенские из Франции вращались в нашу жизнь.

В 1962 году в Москву приехала Французская промышленная выставка, и в числе ее представителей — Миша Оболенский, старший сын Левы Оболенского. Он навестил Анну Григорьевну, а мы в первый же выходной день побежали его разыскивать и нашли-таки и пригласили к себе в гости. Миша Оболенский оказался первым иностранцем из западного мира, с которым нам удалось побеседовать. Беседа длилась долго, далеко за полночь. Наше любопытство, наверное, показалось ему неистощимым, а может быть, порой нелепым. Мы, особенно после XX съезда, вконец растерявшие всякое уважение ко всем, кто в Стране Советов стоял у власти, с большим удивлением обнаружили, сколь велик у Миши пиетет по отношению к Де Голлю.

А осенью 1967 года в Московский университет по обмену с Францией приехал учиться младший сын Левы Алеша Оболенский. К этому времени мы уже жили на Ярцевской своим домом, который понес большие потери: умерла Анна Григорьевна и слегла в инсульте ее сестра Екатерина Григорьевна. Насте шел девятый год. Мы принимали друзей, обсуждали чешские реформы и угрозу возврата в нашу жизнь сталинского беспредела. Мы еще ничего не предприняли, но все ближе подходили к идее противостояния режиму.

Именно в такое непростое время на пороге нашей квартиры возник очень длинный, очень худой и очень милый юноша Алеша Оболенский. Я не помню минут замешательства. Переступив порог, он стал своим в нашей семье. Алеша то появлялся, то исчезал. Он слушал университетские курсы, общался с находившими его родственниками, обретал новых знакомых и друзей и очень много и увлеченно рисовал. Каждый его приход к нам был радостным событием для всех членов семьи, в том числе и для Настеньки, с которой он играл с непосредственностью недавно ушедшего детства. В июне 1968 года Алеша уехал во Францию: кончился срок его стажировки. А в ноябре 1969-го появился снова — и не один, а с совершенно очаровательной женой Жоэль.

Мы виделись каждую неделю — по субботам обязательно, а порой и чаще. Теперь Алеша приехал уже не учиться, а служить. Как это ни казалось нам парадоксальным, он отбывал армейскую службу в качестве преподавателя МГУ. Правительство Франции заключило контракт с Московским университетом на его работу и в течение срока его армейской службы зарабатывало на нем, ибо ему-то оно выплачивало воинское довольствие, а разницу забирало себе. Такова традиция: так или примерно так поступают многие молодые французы, имеющие высшее образование или дефицитную специальность.

Мы видели, как из довольно бедных и ищущих подработку Алеша и Жоэль превратились в людей вполне состоятельных — когда кончился срок Алешиной службы в армии, отчисления в пользу французского правительства прекратились и он стал получать полноценную зарплату.

Войдя в нашу семью, Жоэль и Алеша познакомились со всем кругом наших родственников и друзей. И так как время их пребывания в России совпало со временем рождения и формирования демократического движения, они сделали свой выбор — стали помогать нам. У них была возможность передавать в свободный мир правдивую информацию о событиях в России. И они эту возможность использовали. Через них ушли на Запад рукописи Гришиного сборника «Золотой век», первого сборника Юры Айхенвальда «По грани острой» и многие другие произведения и свидетельства. Гриша просил Алексея Оболенского быть его поверенным и дал ему генеральную доверенность на ведение всех его дел.

Сотрудники КГБ что-то проведали. Когда Алеша и Жоэль вместе с годовалой Лидусей летом 1971 года уезжали из России морем через Одессу в Марсель, на таможне им был устроен беспрецедентный для иностранных граждан обыск. Искали крамольные бумаги, но... ничего серьезного не нашли.

С тех времен наши семьи связаны тесными узами, мы вместе пережили радостные события рождения их детей – Лидуси, Гриши и Бориса. Гриша Подьяпольский был провозглашен с амвона крестным отцом Гриши Оболенского. Фотографии малышей воспринимались как фотографии внуков, а у портрета своего крестника Гриша часто останавливался и как-то растроганно что-то высматривал в его чертах.

У нас в гостях побывали многие члены клана Оболенских. Училась в Архитектурном институте Алешина двоюродная сестра Катя и тоже стала другом дома. Я очень сблизилась с ее мамой Натальей, дочерью Владимира Андреевича, а вот с Левого Оболенским, младшим сыном Владимира Андреевича и отцом Алеши, нам помешал познакомиться КГБ. Алеша и Лева собрались в Москву. Уже были известны номер рейса и время посадки самолета в Москве, чуть ли не в последнюю минуту им сообщили, что Москва отказала Алексею Оболенскому в визе.

Шли 1973, 1974, 1975 годы. Мы переписывались. Иногда кто-то из родственников или знакомых приезжал и привозил из Франции сумку, полную детских вещей. Нас включили в круговорот, который всегда существует в больших семьях, да и не только в семьях. Получив очередную французскую одежду, Настенька говорила: «Какая она мягонькая, уютная, старенькая», а как только вещь делалась мала, ее передавали к следующей деточке-диссидеточке. По размеру следующей была Викуха Любарская. А от нее продолжался бег вещей теперь уже не по французскому, а по русскому кругу.

Вместе мы пережили горе – смерть Гриши. От тех времен у Оболенских сохранилась связка моих и Настинных писем, которые помогли мне написать очерк «Туруханск», – ведь все мои архивы были украдены КГБ во время обысков и при переезде из Москвы в Вену.

Когда в 70-х годах власть стала избавляться от диссидентов, выпихивая их за пределы СССР, многие ехали во Францию, ибо там издавалась русская газета («Русская мысль»), а уезжавшие не представляли свою жизнь вне борьбы с тоталитарным режимом на родине, так как сами были жертвами этого режима. Оболенские многим помогали освоиться в эмиграции, а с целым рядом людей, с которыми были знакомы по нашему дому, сблизилась и подружилась.

Алеша не оставлял попытки приехать в Москву, и зимой 1980 года он все-таки появился в нашем доме. Для этого ему пришлось проявить настойчивость и изобретательность. Он создал ситуацию, при которой отказ ему в визе для работы в МГУ привел бы к тому, что некоему «ученому» из СССР пришлось бы срочно покинуть университет в Ницце. Для нас с Настей недели, проведенные Алешей в



Москве, остались ярким бликом на общем мрачном фоне тех лет. Естественно, что Алеше очень хотелось увезти нас «в кармане». Нужно сказать, что КГБ хотел того же. В то время меня часто тревожило это ведомство, и на одной из проработок мне прямо сказали, что с их стороны возражений против отъезда нашей семьи не будет.

Я пишу эти строчки на десятом году нашей эмигрантской жизни. Связь двух ветвей потомков двух земских деятелей предреволюционной России, кадетов Владимира Андреевича Оболенского и Григория Федоровича Ярцева, продолжается. Очень хочется верить, что и пятое поколение останется верным русской вековой традиции и наши внуки и правнуки сохранят интерес к русской культуре, истории, а главное, будут нужны и интересны друг другу.

Лето 1968 года. Суд над Анатолием Марченко.

Демонстрация у Лобного места на Красной площади

Летом 1968-го мы отдыхали в Литве на озерах в компании с Асей Великановой, Сережей Мюге и двумя Асиными подругами. Детей было много, но я помню только двоих — нашу Настеньку и мюговского Коляшу. Весь отдых прошел под знаком обсуждения «Пражской весны», в состоянии надежды на то, что она выживет, и в страхе от предчувствия, что советский сапог ее раздавит. А еще мы в то же время читали Оруэлла «1984 год». Книга была на английском языке, Гриша читал и переводил мне построчно.

Мягкая чарующая природа литовского Полесья проникала в наши души, как виды за окном мчавшего нас куда-то поезда. До конца намеченного срока не выдержали — вернулись в Москву. Настеньку удалось пристроить к подружке, которая ехала с родителями в Таганрог, а мы решили никуда не выезжать и посмотреть, что будет. Естественно, побежали по знакомым домам и узнали, что 21 августа будут судить Толю Марченко, формально — за нарушение паспортного режима.

Выяснили, где будет суд, и с утра были там. Зал заполнялся быстро. Рядом со мной сидел Кома Иванов, с другой стороны — какой-то весьма серого вида пенсионер. Грише сесть рядом не удалось. В зале было много знакомых и явно своих, примерно столько же чужих гэбэшного вида молодцов и просто пенсионеров, преимущественно мужчин. Сидя в зале, мы узнали (конечно, от своих), что советские войска вторглись в Чехословакию.

Начался процесс-фарс. Предъявленные Толе Марченко прокурором обвинения не имели ничего общего с теми претензиями, кото-

рые к нему имели власти. Судьи обсуждали не только не бывшее в действительности, но и абсолютно несущественное: было ли Толей Марченко совершено нарушение режима, то есть ночевал ли он подряд три ночи в Москве.

Защиту очень скрупулезно вела адвокат Д.И.Каминская. В ходе прений сторон обвинитель — прокурор Миронов — признал, что адвокат Каминская разбила все его доказательства по пунктам, и авторитетно заявил: «Но мы диалектики, и поэтому я утверждаю, что совокупность наших доказательств неопровержимо доказывает, что Марченко проживал в Москве». Послушный суд проштамповал своим решением то, что определил прокурор, — год лагерей строгого режима.

Мы шли из зала суда большой группой, грустно перекидываясь словами, а позади, в отдалении, по другой стороне улицы шла примерно такая же по численности группа гэбэшников. Никаких эксцессов не происходило, никто никого не задирали, однако противостояние двух этих групп, существующих в одной стране, в одно время, висело в воздухе.

Мы с Гришей, дойдя до Ленинградского шоссе, наспех попрощались с теми, кто был рядом, и пошли в сторону Боткинской больницы с ощущением, что оторвались от чего-то опасного и непредсказуемого. В общем, дали стрекача, хотя понимали, что никто за нами не гонится. И впоследствии, когда за нами действительно ходили топтуны, мы не боялись так, как в тот короткий интервал времени, когда бояться было нечего, ибо все было на виду, все устали и никому ни до кого не было дела.

Через три дня после вторжения советских войск в Чехословакию Таня Великанова рассказала Грише о предполагающейся сидячей демонстрации у Лобного места на Красной площади в Москве и спросила, не хочет ли он участвовать. Взвесив наши семейные обстоятельства, Гриша ответил, что не может. Он очень хорошо понимал, что всех участников арестуют, и не был готов оставить на меня домашний госпиталь с тремя на ладан дышащими старыми женщинами и девятилетней Настенькой.

25 августа мы поехали к Тане домой узнать, что все-таки происходит, ибо, естественно, очень волновались. На лестнице нас перехватила соседка, и мы сидели в ее квартире и ждали, когда закончится обыск: Таниного мужа Костю Бабицкого арестовали на площади...

Суд над демонстрантами, вышедшими к Лобному месту на Красной площади с протестом против оккупации Чехословакии, состоялся 9–10 октября 1968 года. Действо проходило в помещении суда Пролетарского района Москвы.

Нас много у здания суда, но и незнакомых и непонятных людей тоже много.

Помню совсем еще мальчика Саню Даниэля, разговаривающего очень живо с Толей Якобсоном. Подумала тогда: у этого мальчика отец в лагере, мать в зале суда в качестве подсудимой; как хорошо, что у него есть такой старший друг. Мальчику явно хорошо рядом с этим сильным, умным и храбрым человеком.

Петр Григорьевич Григоренко еще чужой. Мы с ним не знакомы. Гриша подписывает какие-то письма с требованием впустить нас в зал. В руке у генерала палка, выглядит внушительно.

Из глубины соседнего переулочка появляются фигуры в рабочих фартуках, очень похожие на ряженых, от всех пахнет водкой. Говорят, их поят в каком-то жэковском красном уголке. Мы гуляем по набережной и опять возвращаемся — и так много раз. Кто-то показывает мне женщину, немолодую, энергичную и волевою, говорит: генеральша.

Около входа в здание суда стоит дезинформатор. Все сведения, которые он сообщает корреспондентам «из зала суда», — туфта и бред. Выясняется это легко и быстро — как только выходит первый же свидетель.

А в городе, в Морозовской больнице, лежит Сашенька Айхенвальд. У нее какое-то тяжелое осложнение после операции аппендицита. Положение критическое. Мы и туда мотаемся. И при нас ее увозят в Сокольническую больницу: глаза даже не отчаянные — остекленевшие, а губы капризные, и это обнадеживает. Замечательный хирург Долецкий спас ей жизнь, за что она долго выражала ему... свою нелюбовь. А мы, наоборот, искренне им восхищались.

В последний, третий день суда наблюдали, как после окончания судебного заседания разъезжалась «расквартированная» вокруг армия. А в районе Солянки мимо прокатил огромный грузовик, в кузове на многих скамьях один к одному тесно сидели милиционеры.

Все это выглядело устрашающе, однако, кажется, мы перешли некий рубеж, за которым дороги назад нет и пугаться не имеет смысла...

## Похороны А.Е.Костерина

Мы не были знакомы с Алексеем Евграфовичем Костериним. Более того, тогда мы еще не были знакомы и с П.Г.Григоренко. Но мы уже вышли из катакомбного состояния настолько, что кто-то из друзей посчитал нужным сообщить нам о смерти Костерина и о том, что похороны состоятся 14 ноября 1968 года.

Тогда в Москве был только один крематорий — у Донского монастыря. Непрерывный людской поток втекал в здание и втянул нас

туда. Мелькали лица знакомых; незнакомых было много больше. Мы с Вавой Герлин прижались друг к другу, и я почувствовала, как она дрожит. Старались не терять из виду своих мужчин.

Такого числа громадных венков я не видела никогда.

К нам подлетела Ира Корсунская, вручила красные банты на булавках. «Это чтобы отличить своих от гэбэшников», — сообщила она жарким шепотом. Мы прикрепили банты к пальто, оглянулись вокруг и поняли, что нас больше, чем их. Где-то рядом Ира отказывалась дать бант какому-то типу. Было件нятно, что она считает этого типа гэбэшником.

Началась панихида. Много слов было сказано о мужестве, бескорыстии, величии души А.Е.Костерина. Я запомнила слова Петра Григорьевича Григоренко, который сопоставлял мужество ратное и гражданское, характеризуя последнее как некую высшую категорию мужества. Мы с Гришей переглянулись и поняли: генерал — наш человек.

На поминки мы все-таки постеснялись поехать. Пошли по Донским улицам на Малую Калужскую, к метро. Бант на своем пальто я тогда ощущала как символ убежденности и протеста, даже бунта против мракобесной системы. Казалось, что все смотрят на нас, на наши банты, а может, и «хвост» за нами идет. Эти банты жили у нас в доме годы.

В тот вечер мы посмеялись над собой и над ситуацией. Если бы нам заранее сказали, что мы наденем красные банты и будем гордо и с ощущением риска нести их на себе через весь город, мы бы не поверили. Но ведь — случилось! Так велика была жажда продемонстрировать свое несогласие. И как-то стало件нятно, что портрет Сталина у мальчишки-шофера на ветровом стекле (а такие тогда стали входить в моду) отражает не его пристрастие к вождю, а всего лишь протест в неуязвимой для репрессивных действий форме. И многие свои поступки из области психологии взаимоотношений с миром отнесли мы к той же бравате в пределах дозволенного. Пройдя после похорон по Москве с бантами, мы сделали еще один шаг в сторону от катакомбных правил поведения.

Петр Григорьевич и Зинаида Михайловна Григоренко

Зинаида Михайловна числила датой нашего появления в их доме 13 января 1969 года. Я ни дату, ни антуража этого события не помню. Я помню, как бежала к ним темным вечером зимой

1968/69 года от метро «Парк культуры», и около переулка, на котором находится Хамовнический храм, навстречу мне вышел большой, весь темный мужик и очень ласковым, даже проникновенным голосом сказал (будто знал, что бегу к старикам, что несу какие-то гостинцы и что стою на пороге дружбы, которая будет длиться многие годы): «Бог помощь тебе, маленькая, Бог помощь». И будто одобрил меня и благословил. И звучит во мне этот голос, скрепляя отношения с Григоренками особой аурой понимания и притягия.

А мы принадлежали не только к разным поколениям, но и к разным социальным слоям советского общества. Петр Григорьевич был единственным генералом, с которым мы с Гришей были знакомы, Зинаида Михайловна — единственной генеральшей. И если Петр Григорьевич за время героического бдения с системой подрастал свое типично генеральское оперение, то Зинаида Михайловна до конца дней своих оставалась при обличке. Главным же связывающим нас фактором было то, что оба они, прошедшие в молодости через все этапы формирования советской психологии, сумели разглядеть сущность строя и системы и не убоились вступить в борьбу с воспитавшей их идеологией — сначала с целью ее очищения от недостатков, а позже отрицая самые основополагающие ее доктрины.

Казалось, все дороги демократически настроенных людей и движений шли через этот дом, а мы, бывая у них, впитывали информацию и потом переживали судьбы отдельных людей и целых народов. Впрочем, и мы уже были не такими катакомбными. Позади были демонстрации на Пушкинской площади, на которые мы ходили каждое 5 декабря, процесс четырех, по поводу которого Гриша сделал свое личное заявление Генеральному прокурору Советского Союза, стояние у суда над теми, кто не смирился с вводом войск в Чехословакию, похороны А.Е.Костерина и многое другое. Наше участие в событиях вместе с кучкой осмелившихся выражать свое мнение интеллигентов стало нормой. Все это способствовало обретению многих друзей, связь с которыми стала определяющей во всей последующей жизни.

Шла первая неделя апреля 1969 года. Традиционно (в те времена такие традиции росли, как грибы) конец недели числился по календарю то ли днем геолога, то ли днем нефтяника. Во всяком случае, у меня на работе бывала пьянка — как правило, в подвале на улице Шухова, в котором в то время обретался наш геологический отдел. К Григоренко нам показалось приличным принести торт и устроить чаепитие.

Апрель — чудный месяц в Москве. Весна. Все звенит и радуется теплу. Даже уличный шум, напоминающий веселые аккорды, не уг-

нетаает, а бодрит. Мы беззаботно вошли в дом, в котором оказалось много народу.

Зинаида Михайловна, замешкавшись на минутку, проводила нас в комнату, в которой шло совещание. Председательствовал Виктор Красин. Перед ним вдоль стенки сидели П.Якир, А.Якобсон, П.Г.Григоренко и еще какие-то мужчины. В конце ряда сгрудившийся раек образовывала группа женщин. Мы с вновь приходящими составили левый фланг. Атмосфера уже была накалена весьма основательно. Шло обсуждение предложения Петра Григорьевича о создании инициативной группы по защите недавно арестованного Ивана Яхимовича. Иван Яхимович, бывший учитель, филолог, выпускник Латвийского университета, председатель колхоза «Яуна Гварде», студент-заочник Латвийской сельхозакадемии, постоянно слушавший «голоса», за личное письмо в ЦК КПСС по поводу процесса четырех был исключен из партии и снят с работы. На него завели уголовное дело в декабре 1968 года по статье 183-1 УК Латвийской ССР (в РСФСР она шла под № 190-1). 20 марта 1969 года Яхимовича арестовали. Остались без отца три малолетние дочки. Жену его тоже репрессировали — лишили преподавательской работы в школе, и она вынуждена была работать в детском саду. Петра Григорьевича глубоко тронула судьба этой, по всем показателям очень честной и преданной советскому образу мыслей семьи.

Характеризуя настроения в этой семье, люди рассказывали, что, когда у них производили обыск, выпущенные во двор девочки, взявшись за руки, пели под окном Интернационал, и не в течение пяти минут, а долго — может быть, все время, пока шел обыск.

Однако коллизия складывалась не то что не в пользу Яхимовича, а не в пользу Петра Григорьевича. Чем больше Петр Григорьевич волновался, обрисовывая создавшуюся ситуацию, тем жестче становился Красин. А он председательствовал. Он бесцеремонно использовал свое положение, не давая Петру Григорьевичу возможность защитить идею создания инициативной группы. Красин обрывал П.Г. начальственными окриками с требованием соблюдать регламент. При этом он ничего существенного не возразил по сути идеи. Очевидно, Петр Григорьевич заранее обсудил проблему, во всяком случае с Якиром и с Якобсоном, и непонятно было, обговаривал ли он ее с Красиным. Во всяком случае, Якир и Якобсон вели себя так, будто они что-то пообещали одновременно и Петру Григорьевичу, и Красину.

Очень четко и без обиняков выразила свою позицию Майя Улановская, жена Якобсона. У нее за плечами был опыт следствия, осуждения и лагерного срока в сталинские времена. Она проходила по

групповому делу. Отсутствие вины каждого, отсутствие оснований для создания уголовного процесса никак не отразилось на приговорах, которые получили Майя и ее друзья: троих расстреляли, десять человек, в том числе и Майю, приговорили к двадцати пяти годам, остальных — к десяти. Все — с отбытием срока наказания в исправительно-трудовых лагерях с последующей ссылкой и поражением в правах на пять лет и с конфискацией имущества. А всего их было шестнадцать юных, жаждущих добрых дел душ. Старшему к моменту ареста был двадцать один год, младшей — шестнадцать. Вся их «вина» состояла в обсуждении того, что их не устраивал тоталитарный строй, укоренившийся в стране после революции. Их организация называлась «Союз борьбы за дело революции». Их арестовали в 1951 году, судили в 1952-м. Дело пересмотрели в 1956-м и выпустили на свободу всех, кто выжил.

У Майи остался естественный и вполне понятный страх перед «групповым действием», и слова «группа» ее тревожило. Я не разделяла ее позицию (может быть, потому, что не была так бита, как она), но считала, что она вполне имеет на нее право и имеет право быть выслушанной без раздражения, имеет право на то, чтобы все, что она говорит, приняли во внимание и учли при решении. Я тогда по застенчивости не высказалась, и это легло камнем мне на душу, тем более после того, как я прочла описание ситуации в книге П.Г. Григоренко «В подполье можно встретить только крыс». На том совещании комитет защиты Яхимовича создан не был, а Петр Григорьевич в заключение сказал такие горькие слова: «Вначале я обращался в разные партийные органы, и меня выслушивали. Потом отвечать перестали. Нам нужно менять тактику. Какова будет реакция, никто поручиться не может. Это разведка боем. Я готов идти впереди и предложил вам пойти со мной. Но сейчас я убедился, что вы — не те люди, с которыми стоит идти в разведку. Поэтому я свое предложение снимаю».

Мы вспомнили о намерениях, с которыми пришли в дом, и начали организовывать чаепитие с тортом. Кто-то уходил, кто-то оставался, мы еще далеко не всех знали. На фоне всеобщего топтания вдруг возникло замешательство. Якир, Красин и Надя Емелькина праздновали свою победу над генералом на окне лестничной клетки, у них была бутылка, но не было из чего пить. За стаканом явились в квартиру. Запредельность такого поступка настораживала.

В следующий месяц мы очень много общались с Григоренками. Они жили в атмосфере провокаций со стороны КГБ. Петр Григорьевич хотел ехать в Ташкент на очередной судебный процесс над крымскими татарами и быть на нем общественным защитником.

Неосуществимость такой идеи он в принципе понимал, а отступить от ее выполнения не мог: выбор позиции диктовался твердым нравственным принципом.

Вся национальная политика в Советском Союзе состояла, в сущности, из лозунгов интернационализма, за ширмой которых свирепствовал партийный, чиновничий беспредел по отношению к национальным территориям, культурным и языковым особенностям живущих на этих территориях народов. Целый ряд народов пережил ужасы тотального административного выселения, в процессе которого погибло множество людей. Некоторые народы вернули на исконные территории, некоторые — нет.

Крымские татары, выселенные в Узбекистан, вели борьбу за право возвратиться на родину — в Крым. Они использовали только конституционно-законные методы борьбы: письма, петиции, демонстрации. Они, как и другие народы, уже добились того, что акция геноцида по отношению к ним была признана незаконной. Перед ними вроде бы извинились, списав все на культ личности, и оставили дискриминационные законы.

Отдельные семьи пытались явочным порядком переехать в Крым. Их административно лишали возможности приобретать жилье, землю и даже права работать на территории Крыма. За нарушение административных (и в то же время антиконституционных) установлений их арестовывали, наказывали лагерными сроками.

Первым за права крымских татар стал заступаться А.Е.Костерин, к нему присоединился П.Г.Григоренко, и многие участники демократического движения стали помогать им в их борьбе за право народа жить и трудиться на своей этнической родине. В квартире Григоренко часто жили представители крымско-татарского народа, хлопочущие о восстановлении своих гражданских прав на своей земле.

Для него, так же как и для Алексея Евграфовича Костерина, восстановление справедливости по отношению к репрессированным народам было одним из актов, необходимых для существования многонационального нашего государства. Таким же насущным, как реабилитация невинно осужденных. В нем глубоко сидело чувство вины за свою слепую и разрушительную комсомольскую юность, когда он служил строю, который теперь не мог уважать и не хотел поддерживать. Руководящие и силовые структуры рассматривали его как человека опасного. Выделялись люди и деньги для уничтожения его авторитета. В доме напротив был оборудован круглосуточно работавший наблюдательный пункт. Осуществлялись по отношению к нему и его окружению — семье, друзьям — провокации с целью най-



ти возможность создать уголовную ситуацию и подменить идейную подоплеку противостояния уголовной. Обо всем этом он рассказал в своей книге «В подполье можно встретить только крыс».

Весной 1969 года Петру Григорьевичу позвонили из Ташкента и сообщили дату суда над крымско-татарскими активистами. Он решил лететь в Ташкент, но, опасаясь провокаций со стороны «опекунов», постарался покинуть дом незаметно. Поменявшись с Гришей пальто и шляпами, он приехал к нам, переночевал, а утром окольным путем отправился в аэропорт. Однако улететь ему не удалось: придя на следующий вечер к Григоренкам, мы застали его дома.

Улетел он в Ташкент 2 мая, после дня рождения его пасынка Алика. Провожала его уйма народу, мы с Гришей тоже. Было ощущение безнадежности и захлопнувшейся западни, хотя по дороге к аэропорту филеров не наблюдалось. В Ташкенте его арестовали. Сразу после ареста выяснилось, что звонок по телефону с просьбой приехать в Ташкент к определенному числу был провокацией: суд перенесли, не назначив определенной даты.

Как ни ожидали мы ареста Петра Григорьевича, когда он свершился, событие это показалось почти невероятным. Петр Григорьевич — первый человек, против которого практически у нас на глазах была совершена провокация, завершившаяся арестом. Нас потрясли ощущение бессилия, ощущение необходимости что-то предпринять, понимание, как «это» происходит, и тревога за судьбу человека, которого мы уже включили в нашу жизнь и глубину которого почувствовали вполне, которым восхищались и которого полюбили. Мы почти ежедневно бывали у Зинаиды Михайловны и вместе со многими знакомыми и незнакомыми нам друзьями Петра Григорьевича и Зинаиды Михайловны обсуждали ситуацию.

Арест Петра Григорьевича сблизил наши семьи и очень расширил круг наших друзей и знакомых. В первые же дни после ареста Петра Григорьевича было составлено и многими приходящими в дом подписано письмо в защиту Григоренко. Куда-то оно было адресовано, не помню, да и не важно для нас это было. И Гриша, и я его подписали. Весь сценарий выманивания Петра Григорьевича из Москвы в Ташкент, а также последующая фабрикация его «психического заболевания» выглядели омерзительно.

И Гришу, и меня за подписание письма в защиту Григоренко прорабатывали в научных учреждениях, в которых мы работали. Более того, подготовленная Гришей научная диссертация не была допущена к защите в связи с «отсутствием характеристики со стороны треугольника» (партийной организации, профсоюзной организации и администрации). О том, как все это происходило, рассказывается в

мемуарах его сотрудников А.А.Гвоздева и Л.И.Ивановой. О связанных с этим событиях в моем институте я пишу дальше.

Свое членство в составе Инициативной группы Гриша воспринял как судьбу, и даже экстравагантная форма ее создания (см. воспоминания Сергея Ковалева) казалась ему не столь уж важной. На какое-то время группа позволяла действовать, и это ощущалось необходимым и первоочередным.

### Суд над Ильей Бурмистровичем

Суд над Ильей Бурмистровичем состоялся 21 мая 1969 года. Мы пришли поздно. Зал полон, но в дверях нас никто не задержал, а мест практически уже не было. Меня позвала Наташа Горбаневская. Я втиснулась рядом с ней, и сразу же началось заседание.

Оглядела зал. Илья, темноволосый, интеллигентный, сидел одиноко на стуле перед составом суда, состоящего из трех женщин, расположившихся у стола на возвышении. Председательствовала Л.И.Лаврова, уже известная своим изуверским поведением на политических судах. По бокам — две безмолвные фигуры, которые кивали, как куклы, когда она обращалась к ним за одобрением принятых ею решений. Я стала глазами искать Гришу и нашла его в компании Пети Якира, Красина и еще кого-то из своих — за забором загончика, возможно, предназначенного для прессы или свидетелей, которых уже допросили, но еще рано было изгонять из зала.

Илью обвиняли по ст. 190-1 УК РСФСР. Ему инкриминировали распространение произведений Юлия Даниэля («Говорит Москва», «Руки», «Искупление», «Человек из МИНАПа») и Андрея Синявского («Любимов» и «Что такое социалистический реализм»). Илья — математик, кандидат наук, автор девяти научных работ — был арестован 16 мая 1968 года. Чуть более года до суда находился в Лефортовской тюрьме. Следствие вел КГБ.

Илья Бурмистрович отрицательно ответил на вопрос, понятно ли ему обвинение, и отказался отвечать на вопрос о признании себя виновным до тех пор, пока ему не разъяснят сущность обвинения. Он ссылаясь на свое право знать, в чем его обвиняют. Он заявил, что из обвинительного заключения это ему не ясно. Таким образом он пытался направить внимание не на мелкие факты, на которых основывалось предварительное следствие и которые обсуждал суд — кто кому и что давал читать или перепечатывать, а на суть, на то, совпадает ли содержание распространяемых произведений с формулировкой статьи 190-1. Его позиция была обоснованна вполне.

Судья Лаврова отказалась дать разъяснения, мотивируя это тем, что она была бы обязана что-то разъяснять малограмотному, а он — кандидат наук, сам должен понимать.

Нам с Гришей позиция Ильи очень импонировала. Позже мы познакомились с его женой и навсегда включили их семью в число близких.

Суд присудил Илье срок наказания максимально большой по статье 190-1 УК, так и не сумев внятно сформулировать обвинение.

Меня прорабатывают за письмо в защиту

П.Г.Григоренко

В один из осенних дней 1969 года к нам в геологический отдел позвонили и сказали, что мне к двенадцати нужно зайти в отдел кадров института (на Дербеневскую набережную). Обсудила ситуацию с Саньчем и пошла.

Саньч — Владимир Александрович Строгонов, начальник геологического отдела, в котором я работала. Он старше меня на год. В войну служил боцманом на Северном флоте и еще через год или два после войны с трудом демобилизовался. Во все времена службы противостоял стремлению начальства дать ему военное образование и оставить служить в вооруженных силах; поступил в геолого-разведочный институт, работал в Западной Туркмении, защитил диссертацию и теперь командовал нами.

Мировоззрение у нас с ним довольно близкое — мы оба не верим в рациональность советского социалистического общества, а вот на перспективы его изменения у нас точки зрения разные: он думает, что насыщение партии порядочными людьми может изменить ее и из аппарата насилия превратить в демократическую структуру. Я в это не верю. В связи с этим своим убеждением он в 1956 году, после разоблачительной речи Хрущева, вступил в партию и очень призывал к этому молодых геологов, которые к нам попадали прямо из университета. Я не верю в перерождение партии, я верю в ее крах, полное банкротство и в крах экономической системы, ею созданной. Я пытаюсь отговорить молодых пополнять ряды партии. К моему огорчению, мальчики следуют советам В.А., ибо это соответствует их карьерным устремлениям. А потом они не единожды предадут его ради своих интересов, но это будет потом. Итак, я иду в отдел кадров.

Я захожу на этаж, на котором находится отдел кадров, и уже в коридоре встречаю, мне кажется, ждущего меня ученого секретаря.

Мы с ним практически не знакомы, он геофизик, а я далеко не всех геофизиков знаю. Он, наверно, болен какой-то болезнью позвоночника: фигура неестественно мала по сравнению с длиной рук и величиной башмаков. Может быть, он в корсете, а может, у него горб. Встречает меня очень радостно, суетится, находит мне место в комнате кадровиков, и те дают мне чистую анкету, которую я должна заполнить или хотя бы заполнить те графы, ответы на которые устарили, а главное — подписать.

Не успеваю я освоиться с анкетой (всю жизнь меня от их бессмысленных вопросов мутило), как мой чичероне возвращается, суетливо предлагает мне анкету подписать, а проверку всех данных оставить на потом: дескать, вызовут меня еще раз, если понадобится что-то уточнить. Важно выступая передо мной, он ведет меня в торец длинного коридора, в комнату, на двери которой красуется надпись «Партбюро». Открывает дверь и... вижу целую комиссию. Комната небольшая, и я сразу вспоминаю, что когда-то в ней просидела целый год. Это было лет шесть тому назад, в тот период, когда директор института Ф.А.Алексеев делал на меня некую ставку, пустую для него, но это — отдельная тема. Так вот, эта комната, преобразившись в партийную, отмечена двумя столами, стоящими буквой «Т», как это и положено в кабинете любого начальства.

Столы заполняют комнату почти целиком. Во главе конструкции сидит секретарь партбюро Грумков, за вторым столом — заместитель директора института Петросьян и, как я поняла потом, представитель месткома Шемилевич. Треугольник, подумала я. Наш партийный секретарь — брат одноклассника Саныча по мореходному училищу, с которым Саныч дружит всю жизнь и с которым они оба пережили кратковременный арест в связи с тем, что Грумкова-старшего посадили по доносу, а Саныч полез его защищать. Времена были военные, мальчишки держались стойко и никого за собой не потянули. В общем, им повезло, их через «губу» вернули в часть. Они повидали беспредел органов КГБ, и, думаю, это укрепило позицию Саныча, благодаря которой он остался в должности боцмана, что давало возможность демобилизоваться и получить гражданскую специальность.

Я поняла: меня будут прорабатывать — за что, сообразила не сразу, скорее всего за то, что «не с теми дружу». Грумков начал расплывчато и точь-в-точь о том, что не с тем дружу. В качестве примера «не того человека» привел фамилию Вольпина и весь набор чуши, который распространяли о нем газеты. Через пень-колоду добрался до письма в защиту П.Г.Григоренко и опять навалился на то, что нужно соображать, в компании с кем ставить подписи.

Я объяснила, что с большим уважением отношусь к Александру Сергеевичу Вольпину, но не поэтому подписала письмо в защиту П.Г. Григоренко, а исключительно из-за того, что в отношении Григоренко были совершены противоправные действия. Сейчас он в тюрьме — и не по закону и не согласно Конституции, а потому что органы, преследующие его, творят произвол.

Очень скоро стало ясно, что никто из проработчиков письма не читал. Все чувствовали себя скверно, высказывались расплывчато и сыскных вопросов не задавали. Все, кроме доктора наук и, как мне было известно, очень небесталанного ученого Шемилевича. Ему вдруг стало интересно, где, кем и при каких обстоятельствах письмо было подписано. А мне стало страшно не за себя, а за него, Шемилевича, который, если он тот, за кого я его принимаю, должен же будет когда-то очнуться, понять всю мерзость своего поведения и очень этим мучиться. Более того, мне потом казалось, что нечто подобное с ним происходило, что он порывался о чем-то со мной поговорить и не решался это сделать, может быть, просто боялся. Во всяком случае, при встречах со мной он источал благожелательство, услужливость и нерешительность.

Чтобы разрядить обстановку (по существу, очень скучную), я обратилась к Николаю Григорьевичу Петросьяну — заместителю директора ВНИИЯГГ — и сказала ему, что если незаконно преследовать станут его, я и в его защиту письмо подпишу. Петросьян, хватаясь за голову и выдирая негустые волосы на периферии большой лысины, воскликнул: «Заклинаю вас жизнью своей дочери, не пишите никуда, особенно в ООН!!!»

Всем стало до крайности неудобно, а Петросьян никак не мог успокоиться и все мусолил перспективу возможности его, Петросьяна, защиты с моей стороны. На этом все и кончилось, меня отпустили, и я отправилась на Шухова, в свой геологический отдел. Вел ли «треугольник» протокол и какова была резюмирующая запись, не знаю, меня с ней не ознакомили.

Однако второй акт проработки состоялся. Было собрано общее собрание отдела, на которое прибыл другой представитель дирекции, некто Берзин (забыла его имя и отчество). Ходили слухи, что он сын знаменитого Берзина, что был королем ГУЛАГа. Этакий длинный и тощий, то ли латыш, то ли немец. Одет аккуратно, даже шеголеват, в серый костюм, с каким-то западным лоском. Он был геофизиком, и поэтому я его знала, хоть и издали. Его вступительную речь можно свести к одному тезису: нельзя терять бдительность. Почему-то в качестве примера он привел книгу Дудинцева «Не хлебом единым», которую массивированно ругали в печати в 50-х, а потом выпустили боль-

шим тиражом и продавали в книжных магазинах. Пример был явно неудачный и скорее доказывал нежизнеспособность, случайность и безосновательность осуждений, инспирируемых официальной печатью. Однако Берзин стоял на своем, его не интересовало снятие запрета. Объявленная когда-то вредной, книга эта оставалась для него клейменной и реабилитации не подлежала, а главное, не вызывала и интереса.

Очень занятно вел себя коллектив отдела. Еще вначале, кажется Берзиным, мне был задан вопрос, насколько сознательно я подписала письмо. Естественно, я сказала, что в здравом уме и твердой памяти, что от подписи отказываться не намерена, и объяснила почему. Рассказала, что знаю Петра Григоренко, кратко о его деятельности и о том, что считаю его правым, а преследование его незаконным. Моего выступления вроде бы и не услышали. Все, кто выступал после меня, говорили совершенно не относящиеся к ситуации слова: меня хвалили за доброту, за сердечность, за постоянное стремление прийти любому на помощь, за самоотверженную работу и между прочим предполагали, что подпись я поставила не по злему умыслу, а потому, что вот такая есть и о себе не думаю, а все для других.

Слушать все это было смешно и досадно. Меня толкали снять подпись, золотя при этом пилюлю. Я стояла на своем праве заступничества, они — на своем плане меня «спасти». Все это слушали три малознакомых нам всем человека — Берзин и два недавно принятых в институт по конкурсу геолога: Кузьмин, который за весьма короткий срок пребывания пробился на уровень партийного босса отдела, и еще один — громкий, безапелляционный и всегда идущий с Кузьминым в паре.

Перепалка затянулась, и в какой-то момент Кузьмина прорвало: «Мы зачем сюда собрались? Чтобы проработывать или хвалить ее?» После некоторого замешательства все загалдели, и отдельское собрание закрылось. Владимир Александрович на собрании, видно, не присутствовал, ибо его выступлений я напрочь не помню. Долго тянули с протоколом. Никто его составлять не хотел, а потом уговорили это сделать меня. Что ж, я сделала, как могла объективно. Куда он делся потом, не помню. Во всяком случае, переделывать его меня никто не просил.

А сейчас, вспоминая эти события, я думаю, что:

1. Канитель с анкетой была затеяна и осуществлена с целью добыть мою подпись для графологической экспертизы на случай, если я буду отказываться от подписи под письмом в защиту П.Г.Григоренко. Я от подписи на письме не отказывалась. Подписанная анкета оказалась неиспользованной заготовкой, поэтому меня никогда не пытались заставить ее дозаполнить.

2. Истерика замдиректора Петросьяна, когда он умолял меня ни при каких обстоятельствах не защищать его в ООН, что бы с ним ни случилось, связана с тем, что, быть может, он один из присутствовавших знал, что я подписала тот экземпляр защитного письма, которое Красин и Якир отправили в ООН вместе с декларацией о возникновении Инициативной группы защиты прав человека в СССР (о чем подробно написал С.Ковалев в своих воспоминаниях). Я действительно подписала письмо в защиту П.Г.Григоренко, не очень понимая, в какой адрес оно будет направлено, но с полным убеждением, что арест этого честнейшего человека — преступление и непротест против ареста — преступление тоже.

3. Проработка на собрании отдела была акцией воспитательной, с попыткой дать мне возможность снять свою подпись.

Как выяснилось потом, проведя меня через ряд испытаний, которые устроил мне КГБ руками моих сотрудников различного ранга, эта организация не перестала мной заниматься. Однажды, в начале 70-х годов, в актовом зале была объявлена лекция полковника КГБ. Из нашего отдела на нее пошли только те, кто не участвовал в очередном тематическом научном отчете, который мы выпускали каждые два—два с половиной года. Я была одним из соавторов и, естественно, на лекцию не пошла. Мы переживали очередной аврал. Мне потом рассказали: полковник весьма уничижительно упоминал о еврейских отказниках (какие-то были и в нашем институте), назвал и мою фамилию. Что он говорил — не запомнила, а вот реакцию моих институтских сотрудников помню очень отчетливо. Коллектив раскололся на две части: одни, даже не очень знакомые мне люди, стали подчеркнuto и уважительно мне кланяться при любых встречах, другие, с бегающими глазами, старались уклониться от встреч. Однажды я оказалась на пути целой комиссии, идущей по коридору во главе с директором института Е.В.Карусом. Он сделал шаг мне навстречу, протянул руку и произнес: «Здравствуйте, Мария Гавриловна». Потом представил меня всем идущим с ним. Я не ожидала такой приветливости и, грешным делом, подумала, что этот человек совершил героический поступок. Придя домой, я рассказала Грише о случившемся, и мы посплетничали насчет Каруса. До того как возглавить наш ВНИИЯГГ, он довольно долго был и.о. директора Института физики Земли, в котором тогда работал Гриша, и потому имел в нашем доме прозвище «Твой-мой Карус».

Гриша в том же 1969 году не только подписал письмо в защиту П.Г.Григоренко. Он оказался в составе Инициативной группы по защите прав человека в СССР, а значит, начал политическую деятельность. В те времена это выражалось в составлении и подписании

правозащитных писем, оповещающих мир о несправедливостях, творимых советской системой. А за спиной у него были и его личное письмо Генеральному прокурору СССР, посланное в 1968 году, и подпись под «Письмом 99-ти» математиков в защиту А.С.Вольпина. Его еще не уволили из Института физики Земли, но уже отклонили подготовленную им диссертацию.

## Семидесятые годы

### Сахаровы

Впервые об Андрее Сахарове мы с Гришей узнали после появления в самиздате его статьи «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». Впечатление было очень сильным. Поражала широта взглядов автора, не свойственная ни официальной, ни даже самиздатской литературе нашего отечества. Как всегда, мир оказался тесен. Нашлись общие знакомые, восстановились связи, которые тянулись в прошлые времена, как бы сами собой выяснились сведения о нем: один из создателей водородной бомбы, однако сам против ядерных испытаний, очень активно выступает против загрязнения среды обитания. Андрей Сахаров происходил из того же круга московской интеллигенции, к которому принадлежали наши родственники и сейчас принадлежит наша семья.

А познакомились мы впервые у Валерия Чалидзе. Очень скоро и Андрей, и его жена Елена Боннэр, и ее дети и ее мать Руфь Григорьевна стали неотъемлемой частью нашей жизни. Была радость узнавания, было много общих интересов и переживаний.

В 1970 году Валерий Чалидзе, Андрей Сахаров и Андрей Твердохлебов образовали Комитет прав человека. Позже в него вошли Игорь Шафаревич и Григорий Подъяпольский. В квартире на улице Чкалова не переводились «ходоки» из разных концов страны. Всем казалось, что если Сахаров — трижды Герой Социалистического Труда, лауреат государственных премий — заступится, то справедливость восторжествует. И он писал, просил, протестовал. Сначала его заступничество помогало довольно часто, потом все реже и реже. Однако тяга к справедливости в народе была так велика, что поток ходоков не иссяк и после того, как Сахарова выслали в Горький.



В какие бы трудные обстоятельства ни ставили Андрея Сахарова власти и жизнь сама по себе, голос его всегда звучал свободно, раздумчиво, ясно. Многое из того, что мне дано в ощущениях, в эмоциях, приобретает в его формулировках смысл истинных проблем, без разрешения которых мир не может обойтись.

Я не мастер писать высокие слова, мое восхищение личностью Андрея почти беспредельно, а в жизненных буднях я просто любила его, как и всю семью Сахаровых—Боннэр, и мне хочется вспоминать, ибо что нам остается от прошлого, кроме воспоминаний и опыта?

Ясное осеннее утро в октябре 1973 года. Воскресенье. Мы втроем — Гриша, Таня Ходорович и я — идем на улицу Чкалова, в дом номер 48б. Они — что-то обсуждать и решать, я — вместе с ними. О том, что мы придем, договорились заранее. Нас должны ждать. Звоним в дверь. Голоса в глубине квартиры, какой-то шум, перебранка... Прислушиваемся. Холодком мысль: «Неужели обыск?» Гриша и Таня остаются у двери, я бегу звонить из автомата у подъезда. Возвращаюсь с сообщением: длинные гудки, к телефону не подходят. У Тани и Гриши не много новостей. Шум в квартире смолк. Вроде на восьмом этаже, в квартире над сахаровской — праздник, слышны голоса. Может, там была перебранка? И все-таки нет. Очень уж четко были слышны голоса за дверью. Решаем, что я опять пойду к телефону — сообщить о том, что происходит, детям и еще кому-нибудь по собственному усмотрению, а они будут продолжать звонить в дверь.

Удивляюсь тому, что никакие «топтуны» у дома не околачиваются, да и когда мы шли, их тоже вроде не было. Вот необычно. Автомат у дома уже не работает. Это обычно. Пришлось бежать за Язу, только там нашла исправный автомат. Дозвонилась по нескольким телефонам. Меня трясет: что-то там? Бегу назад. Около Язузы встречаю Гришу и Таню. Они встревожены тем, что я так долго отсутствовала. Говорят, что за дверями все то же: никаких признаков жизни. Поворачиваем к дому и видим, как к подъезду подходят такси и высаживаются знакомые люди — те, кому я дозвонилась. Мои звонки сработали. Спешим наверх. Дверь закрыта. Куда же делись приехавшие? Звоним. Нам открывают. В квартире полно народу. У дверей Андрей Твердохлебов возится с телефоном, у которого обрезан шнур. Узнаем, что произошло, — и столбенеем.

Оказывается, перед нашим звонком в квартиру проникли люди, представившиеся членами палестинской террористической организации «Черный сентябрь». Требовали, чтобы Андрей Дмитриевич отказался от заявления, сделанного ливанскому корреспонденту, об октябрьской войне в Израиле. Угрожали убить его и его близких. Тут

позвонили мы. Террористы вроде бы перепугались. Под дулом пистолета заставили всех молчать, отвели в дальнюю комнату. А выскочили они из квартиры в тот короткий промежуток времени, когда Таня и Гриша ушли встречать меня, а те, кого я подняла телефонными звонками, еще не появились.

Странная история! Милиция на заявление о вооруженном шантаже реагировала весьма вяло. Только к ночи приехал какой-то опер. В общем, ни милиция, ни Комитет государственной безопасности господами террористами, орудующими на улице Чкалова в Москве, не заинтересовались. Будто это самое ординарное явление. Штатов им, что ли, не хватает? И это в то время, когда вокруг многих безоружных, а лишь думающих (так называемых инакомыслящих) топтуны так и роятся...

Может быть, и можно было бы поверить в вылазку арабских террористов, если бы не планомерная кампания, направленная на то, чтобы запугать Андрея: газетная шумиха в августе того же года, вызовы Люси Боннэр в КГБ на допросы в качестве свидетельницы, записка от никому не известного «Христианского союза» с нехристианской угрозой убить Матвея (внука), появление в Петрово-Дальнем двоих мужчин, угрожавших смертью Ефрему (мужу Татьяны, Люсиной дочери) и их ребенку, если Сахаров не уgomонится, открытие надуманных уголовных дел на Татьяну и Ефрема, что вынудило их эмигрировать, исключение из института Алеши (сына Люси) и его вынужденная эмиграция. И наконец, еще один способ давления на Андрея и Люсю: Лизе (невесте Алеши) не разрешали выезд к жениху. Это только некоторые «мероприятия», но были еще и официальные беседы в Прокуратуре СССР с недвусмысленным требованием замолчать, травля в печати, высылка 22 января 1980 года без суда и следствия в Горький, под домашний арест и неусыпный надзор. Такова была жизнь семьи Сахаровых. Жизнь, требующая постоянного напряжения, самоотверженности и героизма всех ее членов.

Однажды по дороге к Сахаровым я обогнала троих человек, которые мне показались необычными: молодой высокий мужчина, очень красивая, тоже высокая дама в шляпе и пожилая дама остановились у светофора на улице Обуха и ждали, когда загорится зеленый свет. Они никуда не спешили. Мимо них пробежали люди озабоченные, усталые, не обращающие внимания на светофор, да и на них, наверное. И я пробежала. Через некоторое время в квартире Сахаровых зазвонил звонок, и я, открыв дверь, увидела поразившую меня группу. Красивая молодая дама оказалась американской певицей Джоан Баэз.

Как выяснилось потом, она не только поет, но еще занимается общественной деятельностью. Ей хотелось услышать слова поддержки и одобрения от Сахарова. Она приложила много сил, уговаривая правительство своей страны разоружаться, чтобы подать добрый пример другим. Она не могла поверить, что такой благой порыв не получит отклика и не повлечет за собой всемирного разоружения. Андрей терпеливо объяснял ей свою позицию. Обстановка, в которой это происходило, определялась следствием по делу Гинзбурга и Орлова. Сама многотрудная жизнь Сахаровых тоже что-то сказала ей. Женщине было непреодолимо грустно. Она плакала, и ее нечем было утешить. А потом она пела, и ее голос очаровал всех...

### Обыск по делу № 24, 1972 год

Зазвенел звонок. Я подошла к двери. Послышался голос соседки, живущей этажом ниже. Мы мало общались, но наши дочери учились в одном классе, и голос ее меня не насторожил. Я открыла дверь и первое, что увидела, была мужская нога, просунутая в чуть приоткрытый проем, а за ней свора серых безликих людей, штурмом берущих открытую дверь. Соседку оттеснили. Она свою роль выполнила.

Случилось это 6 мая, на другой день после дня рождения моей мамы. Накануне ей исполнилось семьдесят семь лет. Всюду, где можно было пристроить вазу, банку или стакан, благоухали живые цветы. Через открытые окна квартиру заполняло свежее майское утро. Стрелки часов показывали около восьми, и все члены семьи, которых ждали дела в городе, уже были готовы покинуть дом.

Следователь произнес некую преамбулу по поводу того, что мы должны добровольно сдать валюту, бриллианты, золото и прочие ценности, и предъявил постановление об обыске. В постановлении никаких слов о ценностях написано не было, но указывалось, что обыск будет проводиться по делу № 24, а мы уже знали, что касается оно издания «Хроники текущих событий», осуществляемого с 1968 года анонимной редакцией.

Закончив формальности, следователь уселся за Гришин рабочий стол вершить протокол. Кроме него в команде было еще несколько мужчин и женщина. Как мы потом узнали из протокола, двоим надлежало производить обыск под руководством следователя (они смотрелись гэбэшниками и вели себя как начальники), а двое или трое числились понятыми. В протоколе значились адреса их проживания. Они вломались в дом вместе с командой и тоже участвовали в обыске,

хотя по закону должны были осуществлять надзор и быть гарантами ненарушения следственными органами процессуального кодекса.

В суматохе первых минут мы с Настенькой проверили, знает ли она телефоны, по которым нужно было сообщить о творящемся в нашем доме разбое. Она знала и, выйдя из дома, забежала к подруге и сообщила Айхенвальдам и, кажется, Григоренко о том, что у нас идет обыск. Настя ушла в школу, а у нас события разворачивались своим чередом. Мне почему-то тоже сказали, что я могу идти на работу.

— Хорошо, — ответила я, — но предварительно я хочу принять душ.

И мне разрешили. Естественно, я не собиралась никуда уходить, о чем, выйдя из ванной, и сообщила следователю.

— Хорошо, — ответил он равнодушно.

Гриша ходил молча по квартире, я тоже. Катя восседала на своей постели, как на троне, раскладывала пасьянсы и величественно надзидала за суматохой. Когда я или Гриша подходили к ней, она сдавленным голосом произносила свое всегдашнее «семь-восемь, семь-восемь», старалась приласкать нас, выражая сочувствие и беспокойство, и приглашала посмотреть на то, как у нее выходит пасьянс, явно давая понять, что пасьянс — дело, а вся суматоха — бред.

Когда обыск докатился до их с Настей комнаты и «сотрудники» завернули матрас на Настинной кровати, Катя вдруг громко закричала, пытаясь объяснить, что это плохо — искать в детской кровати. Они, конечно, решили, что мы что-то в кровати запрятали, и попусту перебрали подушки и одеяла и прощупали матрас.

К своей кровати Катя пустила их со смехом и даже пыталась что-то отодвигать, изображая усердие в поиске и явно издеваясь над взрослыми дядями, копавшимися в тряпье парализованной старухи. Долго они что-то искали в книжных шкафах и в стеллажах. Во втором часу дня, на шестом часу обыска, пришла Настенька. Что она пережила, сидя в школе, я поняла, взглянув на ее, кажется, похудевшую вдвое, очень прямую и напряженную фигурку. Она пересекла нашу с Гришей комнату, подошла ко мне и положила полную решимости тонкую руку мне на плечо. На минуту все стихли, а потом на допросе следователь поделился с Гришей ощущениями, возникшими у него в этот момент. Он сказал, что ему стало стыдно перед девочкой. Фамилию следователя я не помню. Он был немолод, невысок и не шибко образован. Он не проявлял поискового ажиотажа. Ажиотаж проявляли гэбэшники — крупные мужики с армейской выправкой. Они шныряли по квартире и несли, и несли следователю «криминал».

А настоящего криминала не было. Из Гришиного стола забрали все, что было написано пером и напечатано на машинке, вовсе не

разбираясь в содержании. Те, что числились понятыми, тоже что-то тащили, проглядывали каждую книжку — нет ли там какой-либо записки или письма, и что-то находили, случайно застрявшее в книгах. Очень досадно было, когда в мешок пошла прекрасно изданная книга стихов Ахматовой, подаренная нам Оболенскими. Пытались ее отстоять, но тщетно. Книгу забрали формально потому, что она была издана за границей и имела предисловие западного публициста Филиппова. На предложение отдать им предисловие, вырезав его из книги, не клюнули.

Забрали первый вариант Гришиной автобиографической повести, по поводу чего я очень расстраивалась, а Гриша, утешая меня, шутил, обещая, что второй вариант будет лучше первого. Еще забирали письма. Походя украли весь запас мумие, который был необходим для лечения послелазерных болезней тех, кто освобождался, но это мы обнаружили уже без них. И еще они увезли с собой портативную пишущую машинку.

После двух в дом стали приезжать друзья. Оказалось, что в этот день были произведены обыски у Петра Якира, Иры Кристи, Юры Шихановича, Иры Каплун, Володи Гершовича, Володи Гусарова, Алены Арманд и Нины Петровны Лисовской.

Пока было шумно и людно, то, что все перетрогано чужими руками, как-то не угнетало, а вот когда мы остались своей семьей, ощущение грязи на всем дало себя знать. А ведь «они» не создавали беспорядка, «они» все клали на свои места, и все равно казалось, что все испачкано, и долго этот дух запачканности не проходил...

## Петр Якир и Виктор Красин

Гриша пришел домой раньше меня. Сидел за моим столом и раскладывал пасьянс. Он таким образом приводил себя в порядок — снимал стресс. Начались времена, когда его часто стали вызывать по делу № 24 («Хроника текущих событий»). Сидевшие в Лефортово Якир и Красин всю давали показания. Грише предъявляли их в надежде на то, что он что-нибудь подтвердит или опровергнет. Гриша никаких показаний не давал.

В тот день следователь был особо противен ему. Он был явно моложе Гриши, Гришу раздражала в нем уверенность победителя — расчетливого и холодного. В предъявлявшихся Грише показаниях не было подлогов. Они существовали в двух видах: на бумаге и на магнитофонной пленке, с которой звучали вполне знакомые голоса, упоминались дела да случаи, которым Гриша был свидетелем, а порой и

участником. Якир и Красин показывали правду. Петр безапелляционно, деревянным голосом, Виктор – вкрапляя свои оценки, как бы готовя сюжет, угодный ГБ.

Через довольно продолжительное время, когда стал уставать не только Гриша, но и гэбэшник, молодой человек ушел то ли советовать, как быть, то ли отдохнуть и перекусить. Вернувшись, продолжил ту же канитель. К показаниям Якира и Красина присовокупил показания Мухамедьярова. Гриша с ним знаком не был. Явные лже-свидетельства Мухамедьярова были составлены следствием по оперативным данным и представлениям о том, как можно поймать на крючок и заставить говорить «свидетеля», утомив и разозлив его.

Гриша попросил внести в протокол вторичный и окончательный отказ от дачи показаний. Следователь прищурился презрительно и весьма высокомерным тоном спросил: «Вы что же, по моральным соображениям отказываетесь давать показания?» Гриша впервые позволил себе эмоциональную оценку – не по поводу подследственных и их показаний, не по поводу самого следователя, а по поводу того, что следователь задал ему некорректный вопрос. «Вы мальчишка по сравнению со мной, – жестко заявил он следователю. – Записывайте мои отказы. Вы не имеете жизненного опыта и поэтому – молчите!» Следователь юркнул в соседнюю дверь и вернулся с подписанной на выход повесткой, которая потом могла послужить Грише оправданием того, что он отсутствовал на рабочем месте.

КГБ в эти времена в поте лица работал над разгромом диссидентского движения всеми доступными ему средствами. По всему Союзу шел вал арестов. Всех, кто участвовал в движении, сортировали по только ГБ известной системе. Очевидно, пытались запугать, а если не удавалось, то либо загнать в лагерь, либо выставить за рубеж.

Оба признанных лидера движения, сидевшие ранее, в сталинские времена, испугались. Они не только давали показания на своих сподвижников, но и призывали нас следовать их примеру – идти сдаваться. Я не думаю, что они пересмотрели свои убеждения, согласно которым боролись с существующим строем. Впрочем, не исключено, что в головах у них не было порядка. Победили инстинкты многолетних эзков и страстное желание выжить.

Я сейчас не помню дословно содержания тех двух писем, которые они – явно по инициативе ГБ и через ГБ же – отправили «пастве». Якир адресовал свое письмо А.Д.Сахарову, и принес его в дом малый, судя по знакам отличия, гэбэшный чин. Красин передал свое «послание» на очной ставке Юлию Киму. Эмоционально письма были

очень разные: вялое, формальное Якира (А.Д., по-моему, его почти никому не показывал, и общественного резонанса оно не имело) и в форме приказа — Красина, который, в сущности, требовал расформирования движения.

Серьезные люди позиции не изменили, а слабые наделали много глупостей.

Авторы этих писем были разными людьми. Петр Якир — человек добрый, обаятельный, эмоциональный и... пьющий. Красин — холодный, тщеславный и тоже пьющий. Ходили слухи, что Петра сломили водкой. Про Красина ничего не знаю. Он написал книгу, как это случилось, — по-моему, не очень искреннюю, в которой он собой любит. Они оба получили близкую от Москвы ссылку — в Рязань и Калинин. Потом Красин уехал за рубеж, а Якир остался в Союзе и боялся поднять глаза и встретить осуждение знакомых, ибо сам себя казнил и ничего, кроме осуждения своих действий, не ждал. Кто-то его осуждал, кто-то избегал. Мы с Гришей избегали и очень жалели.

### Возвращаясь из Тарусы

Все произошло по дороге из Тарусы в Серпухов. Мы там бывали и у Гинзбургов, и у Марченко, и у Григоренок. На этот раз, придя на автобусную станцию в воскресенье вечером, поняли, что купить билет и уехать просто невозможно. Народа скопилось много больше, чем мог вместить последний автобус, и в то же время нам нельзя было не уехать — в понедельник предстояло идти на работу и мне и Грише. И еще с нами была Настасья, наша дочь — двенадцатилетний подросток.

Мы стояли потерянные и несчастные, наблюдая посадку счастливых, заранее купивших билеты, и вдруг увидели, что какие-то люди побежали вперед, опережая чуть сдвинувшийся автобус. Мы тоже побежали. Проехав пару сотен метров, автобус остановился, и мы бросились к открывшейся двери, которая, впустив кого-то, ведомого водителю, стала захлопываться, и автобус опять двинулся. Наша Настасья оказалась зажатой в створке двери, и ее поволокло по земле. Поднялся крик. Перепугались не только мы, но и водитель. Дверь открылась вновь. Мы втолкнули Настеньку, втиснулись сами, подпираемые еще какими-то людьми, жаждущими уехать, и стали зализывать полученные царапины. Когда стресс после столь бурного вторжения в автобус прошел, из общего гула вычленился разговор трех мужиков, очень нас заинтересовавший и вскрывший драматическую ситуацию, возникшую в их среде.

По-видимому, они познакомились где-то на берегу Оки и сошлись там случайно, объединенные желанием выпить. Во всяком случае, дальше, чем знание имен, их знакомство не зашло, но оно зашло много дальше по глубине обсуждаемых за бутылкой проблем и вопросов. Возвращаясь домой и с опаской глядя друг на друга, они вдруг поняли, что наговорили лишнего, и, возможно, нечетко помня — что, запаниковали. Близость и полубовность остались в Тарусе, в автобусе ехали три загнанных зверя, опасующихся за благополучие всей своей будущей жизни. Это были, нет — не интеллигенты, а какие-то мастеровые люди, озабоченные тем, чтобы скрыть свое имя, место работы, адрес и пугающие бывших собутыльников тем, что все эти сведения о них каждый может легко узнать. На что каждый из них или кто-то из них был способен — на доноительство или только шантаж, — разобраться было невозможно. Двое грязно ругались и изображали из себя более пьяных, чем были на самом деле, а один задавал вопросы и угрожал всезнайством и, может быть, делал это по пьянке.

Ситуация ярко характеризовала время, в которое все это происходило. Собутыльники при первой же возможности разбежались в разные стороны и, разбегаясь, путали следы, спасаясь друг от друга в панике, и каждый считал других провокаторами, а тень КГБ, за всем этим стоящего, подгоняла их.

### Осень 1975 года. Прогулка втроем

Итак, мы жили в Москве на Ярцевской улице. Против торца нашего дома располагался большой пустырь, по которому протекала речка Филька — приток Сетуни. Воды ее в районе этого пустыря водосборник заковывал в трубу. Наш микрорайон был построен над речкой, уже ранее загнанной под землю. Он состоял из облицованных мелкой плиткой пятиэтажных панельных домов, выходящих торцами к нашей Ярцевской улице. Пойма и береговые террасы незакованной Фильки ограничивались Ольшанской и Партизанской улицами. Филька вытекала из некоего сооружения на пустыре около улицы академика Павлова. Пустырь с весело журчащей Филькой, со всей системой речных террас был просто чудом. Он зарос буйными травами, кустарником и деревьями и издавал запахи, свойственные заповедной природе. Пересеченный тропами, исхоженный людьми и собаками, он был как-то не захлавлен, не запакошен. Наличие собачников делало это место безопасным, ибо хулиганы собак боялись, а мирные выпивохи сидели по своим насиженным



местам, к которым относились с уважением, почти как к собственности. Днем на пустыре паслась детвора — и под присмотром взрослых, и самостоятельно. Я не помню криминального случая, связанного с пустырем. Мы переехали на Ярцевскую улицу в 1963 году, а уехали с нее в Америку в 1988-м. Двадцать пять лет пустырь служил нам местом прогулок. Я вспоминаю его с грустью и нежностью.

Осенним вечером 1975 года мы (Гриша, Настя и я) выбрались на прогулку по верхним дорожкам пустыря, ибо было грязно и мы боялись в темноте утонуть в лужах. Мы шли, переговариваясь. Вдруг ребенок (Насте шел семнадцатый год) заявил: «Что вы наделали, родители?! Вы не научили меня лгать!» До этого разговор не раз возвращался к теме, животрепещущей в ее последнем школьном классе: в какой институт идти учиться по окончании школы, как его выбрать и можно ли его менять, если выберешь неудачно.

По поводу возможности менять мы с Гришей оба считали, что вполне можно, а если окажется, что выбрал не свое, то — нужно. Вопрос же выбора образования казался нам куда труднее. Насте хотелось заняться прикладным искусством, но это — уже почти гуманитарное направление. Значит, нужно не просто сдавать марксизм и диалектику, а еще и изучать в искаженном свете историю. Этого она не хотела, категорически не хотела кривить душой, чтобы получить приличную отметку. Она очень хорошо понимала, что прожить в гуманитарном вузе, не кривя душой, невозможно.

Гриша, хитро прищурившись, рассказал нашей дочке притчу о Ходже Насреддине. Подходит Ходжа к аулу и слышит с минарета голос муэдзина, созывающего народ на молитву. Чем ближе подходит, тем отчетливей слышит слова, а тот глаголит вроде привычное, но если обратить внимание на смысл слов, то и вовсе непривычное. «Как говорят правверные, — распевает он, — нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — пророк его». Остановил Насреддин почтенного старца и спрашивает, почему он, муэдзин, такое несет, кого он созывает на молитву? Пока спрашивал, проходящие мимо останавливались, заинтересованные беседой. Собралось несколько человек. Все галдели, пытаясь понять, почему с минарета произносятся такие странные слова. А причина оказалась до смешного простой: что-то случилось с аульским муэдзином, и мулла нанял на его место еврея, имеющего зычный голос.

— Так можно прожить, сохраняя собственное мироощущение, собственную точку зрения, ссылаясь на то, что эти мысли — не твои, а принадлежат корифеям и авторитетам, а о своем отношении к проблеме умалчивать, — грустно заключил Гриша.

— Мне это не подходит, — мрачно сообщила Настасья.

А погода вдруг переменялась. Ветер унес нависавшие в начале прогулки тучи. Яркая луна осветила Фильку, ее берега и береговые террасы. По ближайшей проторенной дорожке мы спустились к самой воде и шли по берегу, упиваясь пряным ароматом омытых дождями трав. Все лужи просматривались, как при дневном свете. На душе стало легче — не от того, что проблема прояснилась, а от того, что Настя так категорически отвергла для себя катакомбный рецепт существования, такой естественный для нас — вчерашних. Она не вступила в комсомол ни в школе, ни в университете...

## Проблемы эмиграции

1975 год шел к концу. Мы сидели вчетвером у Сахаровых на кухне в доме на улице Чкалова. Пили чай. О чем разговаривали, не помню. Помню, я уже посматривала на часы и напоминала Грише, что пора, что мы можем не успеть на пересадку.

И вдруг он бросил, как шар, фразу: «А Маша уезжать не хочет!» Все насторожились. Люся быстро стала излагать свою тогдашнюю позицию, согласно которой ехать надо. И мы не то что заспорили, а далеко не в первый раз стали перебрасываться давно известными и ничего не доказывающими доводами. Андрей встрепетулся, но молчал. Я понимала, что и его Люся хочет убедить в своей правоте, что у них эта тема болезненная. Признаюсь, моя позиция по вопросу отъезда из Союза была скорее никакой, чем активно отрицательной. О стране, в которую хотелось бы уехать, мы тогда и вовсе не задумывались.

В последние минуты, обеспечивающие возможность пересадки, мы вывалились в полудождь-полуснег, заливающий Садовое кольцо, взглянули друг на друга, и я увидела, что Гриша смотрит на меня отнюдь не с задором оттого, что под занавес этакую кашу заварил. Его лицо исказила гримаса не просто боли, а выстраданного отчаяния. Мы остановились, забыв о том, что спешим, и Гриша говорит: «А имеем ли мы моральное право, понимая, насколько советская система — тупик в развитии цивилизации, оставлять здесь нашего ребенка?»

В этом плане мы проблему никогда не обсуждали. Чаще всего отъезд исключался из-за наших стариков и друзей, находившихся в заключении. А их было много: В.Буковский, К.Любарский, П.Г.Григоренко, С.Ковалев, другие. Тревожила судьба и недавно выпущенного из лагеря Виктора Некипелова. Решение об эмиграции ощущалось нами в этих условиях как акт предательства.

В марте 1976 погиб Гриша. Не помню, сразу ли или несколько спустя я рассказала Настеньке о нашем разговоре об эмиграции осенней ночью в сахаровском доме, а потом на улице Чкалова. Нашу дочь перспектива отъезда за рубеж не прельщала.

### Как это случилось. Смерть Гриши

Зимой 1976 года на нашу квартиру напали мыши. Они ходили табунами по полу и по антресолям, и как-то неясно было, как от них избавиться. Перед их нашествием приходила «тетенька» из организации, которая с ними борется, и спросила, нет ли мышей, и я ей сказала, что нет, а через несколько дней они нагрянули. Их присутствие создавало тревожную атмосферу... Никаких координат «тетенька» не оставила, и к тому же мы не были готовы к убиению даже мышей. Но уж очень много их было.

А тут еще одна неприятность: Гришу отправляют в совершенно бессмысленную командировку в Саратов, и не одного, а с коллективом сотрудников, которым эта командировка тоже была ни к чему.

Ситуация вычислялась просто. Приближался XXV съезд КПСС. Гришу изымали из Москвы, а сотрудники, очевидно, должны были его «этапировать». Как назло, он еще прихворнул. Привычки обращать внимание на мелкие недомогания не было, он крепился, перемогал себя, к врачу не шел. Настроение накалило мерзкое, и он затеял чистить авгиевы конюшни, то бишь свой стол, и выкидывать казавшиеся в тот момент ненужными бумаги. Что он в раздражении выкинул и отнес на помойку, восстановить невозможно. Когда я вернулась из Саратова одна, ящики стола были почти пусты.

...В день отъезда мы ходили в магазин. В Саратове жили близкие нам люди. Хотелось привезти им продукты. Там, как всегда, «дефицит держался на уровне». Вид Гриши меня все больше тревожил. Я думала, что нужно уговорить его лечь в постель, вызвать врача, даже попробовала ему это предложить. Время неудержимо ползло к моменту отхода поезда, а за отказом ехать мерещились скандал и суматоха. Ему же хотелось одного: лечь и заснуть под стук колес. Успокаивая меня, он так и сказал: дескать, буду добавлять там, все равно командировка нерабочая — отдохну.

На вокзал поехали втроем. Когда на перроне здоровались с Гришинными сотрудниками, Настенька, наша дочь, наверное, первая почувствовала атмосферу напряженности и недоброжелательности к нам. Протягивая руку одному из сотрудников, она представилась: Настасья. В доме ее так величали в ситуациях, когда были ею недовольны.

Потолклись около ступенек вагона, услышали, что объявили отправление; уезжающие забрались в вагон, поезд тронулся, и мы сначала пошли, а потом побежали вслед вагону и еще некоторое время видели Гришину черную меховую ушанку и клочок выбившихся из-под нее белобрысых волос...

На следующий день пришло сообщение, что Гриша в больнице, у него инсульт.

Как собралась и выехала, не помню. Помню, что рядом была Вера Федоровна Ливчак — верный друг нашей семьи и всеобщий диссидентский доктор. В дороге выпила данный ею седуксен и на несколько часов выпала из жизни.

С вокзала — прямо в больницу по заснеженным улицам почему-то пахнувшего весной Саратова. В палате уймища народа, а Гриша где-то в глубине. Рванулись друг к другу. «Какая ты красивая!» — говорит он не только словами — всем существом. И я смеюсь, радуясь тому, что нравлюсь ему, что мы вместе, что все еще поправимо.

Начинается длившаяся две недели наша общая больничная жизнь. Я почти не ухожу из больницы. Знакомые через своих знакомых организуют мне жилье вблизи больничных корпусов. Иногда я часок-другой сплю там и готовлю какую-нибудь еду. Как правило, мы съедаем вместе Гришин обед. Разносчицы предлагают мне больничный суп и кашу, и я не отказываюсь — так не хочется расставаться даже на малое время. Из тесноты многолюдной палаты нам удастся переместиться на койку у выхода в коридор. Там не так душно, и ближайший больной — через проход. Койка стоит у стенки.

Первые дни мы живем, защищенные аурой наших взаимоотношений. Мы счастливы тем, что вместе, легко и много разговариваем, переименовали по-смешному бытовые предметы и даже на будущее смотрим без боязни. Правда, в один из первых же дней Гриша, пригнув меня за плечи к своему лицу, полупшепотом просит пообещать, если будет повторный инсульт, не выхаживать его — пустить все на самотек. Я понимаю, чего он боится. У нас в доме лежит парализованная Катя, его родная тетка. Его мама и его бабушка умерли от инсульта. Его тетки, Мария Григорьевна и Наталья Григорьевна, — тоже.

— Это все женщины, — говорю я. — С мужчинами в роду этакого не случилось.

Он закрывает глаза, улыбаясь сквозь дрему, кладет мою руку себе на сердце и засыпает. Режим у него ужасный: двигаться нельзя, все дела в кровати. Утка у нас называется «сосуд Кочетова» или просто «Кочетов». Почему-то это смешно. Вилка и ложка тоже по-своему, а вода — аш-два-о.

Чем дальше продолжался постельный режим, тем труднее он его переносил. Просил, умолял меня позволить ему дойти до уборной, походить по коридору. Врачи все это категорически запрещали, а я не была уверена, что они были правы. Состояние не улучшалось. Я не видела выхода и очень нервничала. Звонила в Москву, советовалась, а наверное, нужно было увозить его из больницы. Эта мысль во мне зрела. А тут приехал Миша Бернштам, благостный, балагуристый, весь улыбочивый и бородатый. Вместе они решили отпустить меня переночевать в квартиру моей саратовской тетки Ольги Владимировны, которая на время болезни Гриши заменила меня в нашем московском доме. Я успела вымыться, но не успела лечь спать, когда за мной приехали: Грише стало совсем плохо.

Дорога казалась сплошным красным светофором и длилась бесконечно долго. Наконец меня ввели в какую-то комнату, в которой на столе, очевидно, Гриша. За сетью проводов, трубок и шумом мотора его нельзя было ни рассмотреть, ни почувствовать.

— Не мешайте, он без сознания, отойдите! — приказал чей-то голос. Я послушно отошла к стенке. Потом меня позвали к телефону — звонили из Москвы. Дальше ничего не помню — не помню, как мне сказали, что наступил конец, ничего.

\* \* \*

Мне не пришлось встретиться с Гришиными сотрудниками, которые ехали с ним в Саратов. В Москве во время похорон их расспросил наш друг Юрий Александрович Айхенвальд. Пользуясь его рассказом, я хочу представить свою реконструкцию событий. Я не знала этих людей, но около тридцати лет проработала в той же среде, из которой были «конвоиры» Гриши.

Итак, когда выяснилось, что им предстоит ехать в командировку в сомнительном качестве сопровождающих, никто из них не пришел в восторг. Я думаю, что с ними, во всяком случае с их начальником, побеседовали и объяснили, какой Подъяпольский «антиобщественный элемент» (расхожий штамп для газетных и журнальных статей того времени). Они были раздражены, и всё, что произошло потом, было вызвано раздражением на тех, кто им навязал столь неблагоприятную роль, — на ГБ, начальство и, в конечном счете, на Гришу.

В поезде завязался разговор, в котором они — думаю, что не по заданию ГБ, а так, от скуки, из желания самоутвердиться — обсуждали Гришину правозащитную деятельность, квалифицируя ее как дело абсолютно бессмысленное. Их распирал не комсомольский задор, а

ощущение безоговорочной правоты, свойственное прагматикам всех времен.

Гриша парировал вяло, а они воодушевились и стали спрашивать его, не могло ли так случиться, что он увлекся общественной деятельностью, потому что исчерпал себя в науке. Такая постановка вопроса — сколь абсурдна она ни была, ибо все они как ученые находились на несоизмеримо более низком, чем Гриша, уровне, — наверное, шокировала Гришу. И он, чтобы прекратить дебаты, ответил иронически:

— Может быть, я исчерпал себя как ученый. Вам виднее.

Но они не унялись и стали объяснять ему, что в СССР нет никаких психиатрических преследований:

— Не может быть, чтоб арестовывали ни в чем не виноватых; не может быть, чтоб осуждали без суда; не может быть...

И стало Грише совсем плохо: началась рвота. Гриша потерял сознание. Среди пассажиров нашелся врач, который диагностировал инсульт. Вместо того чтобы организовать отправку Гриши домой, в Москву, его повезли в Саратов. При транспортировке из поезда в больницу врач «Скорой помощи» заставила его пешком пересечь всю территорию вокзала, мотивируя это тем, что диагноз не окончательный.

Что чувствовали сопровождавшие его молодые люди, не знаю. Прагматики не мучаются от вида чужой беды. Болезнь и последующая смерть Гриши не сказались на их карьерах и благополучии...

## Без Гриши

Смерть Гриши болит во мне до сих пор. В том далеком марте 1976-го я внутренне не поверила в то, что безусловно свершилось. Мы в молодости много ездили в экспедиции — он в нефтяные районы Татарии, я на украинский Кристаллический щит. А потом он занялся теорией распространения сейсмических волн в твердом теле, а я продолжала ездить на Украину, позже на Усть-Урт и Мангышлак.

Разлуки скрашивались письмами, а потом наступал медовый месяц, даривший нам радости узнавания и близости и совместное переживание того, что с каждым случилось в разлуке. Ощущение временности моего одиночества не покидает меня и сейчас. Таковы реалии, вовсе не согласующиеся с логикой и моим материалистическим воспитанием.

Обряды панихиды и кремации прошли как в тумане. Высвечиваются лишь отдельные детали. На панихиде в институте, где Гриша работал, директор института Еременко, сказав положенные слова,

распорядился, чтобы «посторонние» покинули зал и остались только родственники. Вдруг голос Софьи Васильевны Каллистратовой: «Мы все здесь родственники!» И меня пронизывает понимание, что и я, и сжимающие мои руки два Андрея (мой племянник Андрей Скориков и Андрей Сахаров), и все, кто не по долгу службы присутствует в этом зале, вечны, даже и за порогом, который перешел Гриша.

Настоящая панихида состоялась в крематории. Из того, что говорили Андрей Дмитриевич Сахаров, Никита Вячеславович Звалинский и Зинаида Михайловна Григоренко, слышала отдельные слова, ибо вся была в полном оцепении и лишь видела, как обслуга и КГБ пытаются заткнуть им рты, поскорее включить музыку и опустить гроб. А они сказали вечные, полные любви и горя слова, свидетельствующие о человеческих достоинствах перешедшего порог земной жизни. И если апостол Петр их слышал, ему должно было быть все ясно. В этом я не сомневалась.

Потом были поминки у нас дома. Пришло много народу. И именно в это время возникло ощущение временности разлуки, и я даже как-то успокоилась: ведь все наши расставания кончались. Я стала организовывать жизнь, будто Гриша не потерял в ней свое место.

Весь стиль дома, его бытовой уклад остались прежними. Каждую среду приходили друзья. Когда Сергей Ходорович взял на себя обязанности распорядителя Фонда помощи политзаключенным, «среда», как я уже говорила, стала присутственным днем для тех, кто там работал, а порой и для тех, кто имел право такую помощь получить. За стенами дома таились гэбэшные машины, приходившие вслед за гостями. Настя училась в последнем классе. Раньше других в среду, сразу после работы, приходил Слава Бахмин. Они с Настей урывали час, чтоб позаниматься физикой. Еще она и ее подруга занимались с молодыми математиками из МГУ, которые таким образом отрабатывали методику подготовки школьников в вузы. Многие нам помогали, как могли.

Мы завели котенка. Кисс-скотиной прозывался этот зверь. Он оказался кошкой с совершенно неумным темпераментом. В «среды» Кисс-скотина усаживалась на шкафчик в прихожей и, заигрывая с входящими мужчинами, норовила надавать им лапой пощечин.

По дороге на работу и бессонными ночами я погружалась в какое-то вяжущее одиночество. Все корила себя за какие-то просчеты и корчилась от ощущения вины. А со своими и дома, и на работе я улыбалась и как-то отмякала, ибо все меня любили, вернее, не меня, а нас — Гришу и меня. В благополучные ночи Гриша жил в моих снах, и не было ни горечи, ни удивления, а было продолжение реальности.

Юра Айхенвальд привел в порядок Гришин литературный архив. Перед отъездом в Саратов Гриша почистил свои авгиевы конюшни.

Он всегда предпочитал чистый лист, надеясь на память, которая его редко подводила. Что-то забрали на первом обыске в 1972 году, что-то не хотелось хранить, ибо понимал, что опять заберут. И действительно, уже после Гришиной смерти у нас было еще два обыска. Они и многократные долгосрочные отключения телефона были связаны с тем, что дух дома не изменился и даже фамилия Гриши не ушла из правозащитных писем и заявлений. Я стала их подписывать двойной фамилией – Петренко-Подъяпольская.

Мы с Настей с помощью Церины Таненгольц готовили к публикации Гришину прозу. Андрей Сахаров написал вводную статью. Юрий Айхенвальд – литературоведческую и воспоминания. Люся Боннэр организовала отправку рукописи с какой-то храброй корреспонденткой, которая увезла ее через Прибалтику и Францию в Италию на своей маленькой легковой машине. Книга вышла в издательстве «Посев» в 1978 году, к сожалению, без статей Айхенвальда и стихов.

После смерти Гриши наша семья за полтора года потеряла еще троих: умерли Екатерина Григорьевна – Гришина тетка, моя мама Ксения Владимировна и моя тетка Елена Владимировна.

В мае я должна была уехать в экспедицию в Туруханский край. Семнадцатилетняя Настенька переходила на второй курс мехмата Московского университета. На время моей экспедиции в доме поселилась Танечка Осипова, постоянно бывала моя сестра Додя и, конечно, родственники и друзья, из числа которых была и Таня Осипова. После смерти Елены Владимировны Настя и Таня остались в квартире вдвоем.

### Переполюх на Ярцевской

Я вела относительно монотонную жизнь в Туруханске; о том, что происходило в Москве, я узнавала из писем, которые приходили почти каждый день. Было впечатление, что все письма доходят, но, естественно, это не исключало самоцензуры авторов, и о каких-то вещах мне приходилось догадываться. Почти в каждое письмо Юра Айхенвальд вкладывал свои новые стихи, и они были полны боли от потерь, от предчувствий и от горечи его подцензурного бытия. Они легли в основу сборника Айхенвальда «Високосный год» (Мюнхен: Эхо, 1981), который он посвятил «светлой памяти Григория Сергеевича Подъяпольского». Когда книга вышла в свет и была нам подарена, многие стихи я узнала по туруханским письмам и чтениям на наших «средах» и Гришиных годовщинах.



А еще Юра написал мне о том, что что-то могло произойти, но не произошло, и что мне волноваться на этот счет не стоит. И сразу о том, что у Настасьи все в порядке. Боже, как я взволновалась, ночь не спала, все перебирала возможные обстоятельства и, убедив себя в том, что они непредсказуемы, немного успокоилась. Потом что-то похожее написала Церина Таненгольц. Из ее письма я поняла, что гадать бессмысленно — нужно ждать...

А произошло следующее. И без меня стиль жизни на Ярцевской сохранился обычным. Девочки, Таня и Настя, принимали гостей в среды и не в среды тоже. Неудивительно, что в наш дом забрел только что освободившийся из политической зоны Михаил Янович Макаренко. Я с Макаренко лично не знакома, но по рассказам очевидцев и из «Хроники текущих событий» знаю, какой это активный, живой и авантюрный человек. Он освободился по окончании срока и, конечно, приехал в Москву и ночевал в нашей квартире, в то время как правоохранительные органы его потеряли и разыскивали по адресу, который он получил для дальнейшего проживания при своем освобождении.

Однажды утром, когда девочек не было дома — одна работала, другая училась в университете, — некая команда мужчин стала ломиться в нашу дверь, возможно, предполагая, что за ней сидит Макаренко. На стук и грохот вышла женщина из соседней квартиры. К этому времени стучавшие в дверь гэбэшники вызвали милицию и собрались дверь ломать. Маленькая пожилая женщина встала около двери и потребовала от взломщиков распоряжение прокурора, бумаги, на основании которой они собираются проникнуть в квартиру. Бумаги не было. Никто не решался произвести первый пролом, а Нина Петровна стояла на своем: «Я знаю эту семью, — говорила она. — Здесь живет девочка, мама которой, геолог, сейчас в экспедиции». Мужчины пререкались, галдели, а Нина Петровна спокойно стояла на своем. Всю жизнь она проработала стенографисткой в каком-то министерстве и научилась умиротворять наглецов и отстаивать букву закона в рамках, в которых она сама его не нарушала. Вскрыть нашу дверь без санкции прокурора она считала незаконным.

Через некоторое время страсти поутихли, и кавалькада «взломщиков» скатилась вниз по лестнице. А Нина Петровна отправилась к себе домой и чутко прислушивалась: не вернутся ли? Когда Настя защелкала ключом, она зазвала ее к себе и рассказала о случившемся. Вечером девочки «убирали квартиру». Убирать было что. В квартире издавался (перепечатывался) очередной номер «Хроники текущих событий», и обнаружить это было не трудно.

Утром уже из «убранной квартиры» Настасья отправилась в милицию узнавать, почему приходили ломать дверь. Ей ответили сму-

щенко: «Это не мы, мы к вам претензий не имеем. Это КГБ». В КГБ Настя не пошла. Когда я прилетела, она мне все это и рассказала. На другой день у дома я встретила нашу дворничиху Марусю, которую, оказывается, пытались привлечь к взломным событиям в качестве понятой. От такой роли Маруся категорически отказалась, но взволноваться — взволновалась. Из-за чего был шум, она не поняла и начала свое расследование. Кроме дворницкой, она имела работу в соседней столовой. Чуть не каждый день приносила она моим девицам «дефицит» — что-нибудь вкусное, что и купить-то можно только в буфете, и во все глаза смотрела, что у них не так. И... ничего не находила. Жили они тихо и мирно. Никакие непотребные люди к ним не ходили. Все вроде было спокойно. И «взломщики» больше не приходили. А когда я заглянула в холодильник, он был забит деликатесами.

В день моего приезда Таня пришла поздно. Выяснилось, что именно в этот день она вступила в Хельсинкскую группу. Правозащитное движение в Советском Союзе после смерти Гриши сделало новый виток. 10 мая 1976 года заявила о своем существовании новая ассоциация — Хельсинкская группа. Ее образовали Юрий Орлов, Александр Гинзбург, Петр Григорьевич Григоренко, Софья Васильевна Каллистратова, Елена Боннэр, Людмила Алексеева и другие, а теперь, в 1977-м, в группу вошла и Таня Осипова.

Юрий АЙХЕНВАЛЬД

## Вечер на Первой Брестской

Кажется, в 1965 году у Иры Кристи на Первой Брестской, в квартире, загроможденной сумрачным множеством одиноких вещей, обломков прошлых времен, я и познакомился с Гришей Подъяпольским.

Знакомство произошло на величавом фоне дубового темно-коричневого буфета, с Сухареву башню ростом, увенчанного триумфальной резьбой в знак победы уюта и основательности над порывами сердечными прежних людей хорошего достатка. Но та эпоха, когда победа состоялась, давно прошла, люди вымерли, и теперь буфет, как и другие вещи в квартире на Брестской, свидетельствовал о пораже-

нии старинных интерьеров, оттесненных на последние пыльные рубежи, непосредственно за которыми начиналась территория городской свалки.

Гришин острый профиль на темно-коричневом или даже вишневом фоне казался мне словно летящим вслед за словами. Гриша тогда читал стихи, ответ некоему М.Б., мечтателю почти сельского простодушия, предлагавшему «разговаривать словами пушек» с теми, кому «крик боли не втиснешь в уши». Принцип замены шумов одного типа (крика боли) шумами другой категории (грохотом канонады) не радовал Григория Подъяпольского, поэтому тон его ответа был добродушно-язвительным. Однако при этом стихи жили напряжением романтической иронии, которая, как я потом убедился, была организующей тональностью многих его стихов.

Высокий бледный лоб, золотистые волосы, нервное лицо, выразительная мелодия, на которую ложились стихи, звучащие как особое, декламационное пение, — все это, вместе взятое, являло собой традиционный облик поэта, однако поэта именно тех времен, когда локомотивы истории еще только разогревались в своих женевских стойлах, а русскую жизнь влекли к ее пропастям мощные, монументальные, тоже похожие на локомотивы дубовые комоды и буфеты, в которых доброжелательные хозяйки интеллигентных домов прятали социал-демократические листовки.

Разумеется, просветленный лик поэта был со всеми этими деревянными окаменелостями в контрасте — но все-таки не во вражде. Зато с современностью стихи, которые я в тот вечер слышал, имели мало общего: современность предпочитает лирический щебет и два аккорда на гитаре. Не слышно было, чтобы Гриша что-нибудь из этого хотел для себя.

В тот вечер странный геолог, точнее, физик и математик, занимающийся геологией (так охарактеризовала мне Ира Кристи своего дядюшку), удивил меня еще и какой-то своей разностильностью. Тогдашний Гриша был мужчиной крепким, еще только склонным к полноте, словом, здоровяком. Советский ученый такой комплекции, по обычаям тех лет, должен был бы носить темный костюм из какого-нибудь добротного бостона, купленного за гордые собой длинные рубли. Между тем, на моем новом знакомом была какая-то серенькая короткая распашонка, а ворот белой рубашки был расстегнут, но не было и как-то даже не могло быть на своем месте мягкого «богемьенского» галстука с большим бантом, которого, тем не менее, прямо-таки требовали высокий лоб, золотистый нимб и певучий стих.

В то же время рассуждал Гриша с самоуверенностью ученого, который на том основании, что он твердо знает одно, уверен, что он так

же хорошо понимает и соседнее, а в соседях у него — весь мир гуманитариив.

Мне показалось тогда, что все в Грише тянуло в разные стороны: одно — к анархическому галстуку старинной богемы, другое — к плотной униформе укорененного в серьезных делах человека, и уж вовсе никакой отчетливой формы не могли для себя найти легкость движений и полет речи. Гришина речь не была быстрой, но сама ее интонация вызывала иногда ощущение стремительности.

Перефразируя Оруэлла, можно было сказать, что хотя все люди не похожи друг на друга, этот более не похож, чем другие. Он существовал как бы постоянно крупным планом; и не потому, что стремился выдвинуться, — просто не получалось иначе. Такова была его природа, и невозможно было это не увидеть. Прирожденная артистичность, а скорее всего, даже некий аристократизм отмечали его среди других.

Тем неожиданнее было стихотворение «Мы — нигилисты», которое я тогда же услышал. Сарказм в адрес «веры отцов» доходил иногда прямо-таки до базаровской грубости:

Так вот и гаркнули,  
В душу прямо харкнули,  
А, может быть, к стареньким  
Надо деликатнее?

Были все же искренни  
(Лет сто назад).  
Даже если истину,  
Зачем — в глаза?

Тоже и сажали их  
Или просто — жали.  
Можно и не жаловать,  
Все же уважая.

«Век-то был который? —  
С той еще историей! —  
Сами-то попробуйте  
Что-нибудь устроить...»

— То бишь, не начальники —  
Значит, не судите.  
Для иных молчалиных  
Ах, как убедительно!..

Стихи были построены как развернутое возражение, эмоциональный жанр которого требовал особого ритма, — так в древности боевые выкрики, когда копьё уже в руках и враг неподалеку, сами складывались в яростные речитативы. Авторский распев при чтении превращал этот апофеоз нигилизма в какое-то радение, яростное заклинание врага.

Казалось бы, какой тут аристократизм!

Но он был — особый аристократизм яркого природного явления, молнии, если угодно. И был артистизм.

На фоне нынешних искусственных богов, манерности, жеманства и липовой открытости эта естественность природы была аристократичной уже в силу своей исключительности. Плебей из-за плебейства своего не умеет быть собой — конфузится. Гриша в тот вечер прочел нам еще одно стихотворение — длинное стихотворение «Родинка». Прочел и спросил, почему, с моей точки зрения, стихи эти не напечатали в «Новом мире», куда он их посылал, и главное, с какой стати ему ответили то, что ответили, — какую-то общередакторскую пошлость.

В этой «Родинке» говорилось про Тамерлана, которому хмельной и оборванный поэт Гафиз прочел стихи о родинке своей возлюбленной, — что за эту родинку он, Гафиз, отдал бы и Бухару, и Самарканд. За такую щедрость Тамерлан разгневался было на поэта: он, Тамерлан, копил-завоевывал, а безродный прощельга всем этим разбрасывается. Но Гафиз вышел из опасного положения. Он сбросил богатый халат, данный ему напрокат придворными, чтобы лохмотья не оскорбили Тамерланова взгляда, и воскликнул:

Великий, взгляни на это рубище!

Посмотри, до какого — поистине, барыша! —

Довела меня щедрость, не знающая удержу,

И моя неразумная душа.

Тут Тимур рассмеялся и отпустил поэта пропивать ханские дары.

Нет ничего удивительного, что эту маленькую поэму не напечатали: сам по себе образ поэта-гуляки, противопоставившего себя государству, хоть и был не нов, но вызывал вечно свежие и ненужные начальству аллюзии, причем «Родинка» вводила от дорогих «Новому миру» социальных ассоциаций. Если же говорить о вкусах, то Твардовскому приятнее было бы напечатать посредственные стихи хлебороба о стране Муравии, чем стихи — пусть даже хорошие — интеллигента о Тамерлане. Вообще «исторической поэзии» шахиншах «Нового мира», чьей доброй воле и интригам мы обяза-

ны появлению в печати «Одного дня Ивана Денисовича», не любил.

Гриша, помню, слушал мои объяснения с недоверчивым вниманием. Он решительно не понимал, почему пристрастия и капризы могут управлять вкусами крупного поэта Твардовского, считавшего, например, Пастернака поэтом сугубо элитарным и городским, что в глазах Твардовского было недостатком.

В Грише меня всегда удивляло соединение некоторой наивности с точным и глубоким пониманием окружающего. Говоря нашим обывательским жаргоном, этот безусловно умный и оригинальный человек как будто все время чего-то «недопонимал». Он не желал понимать здешние наши абсурды как действительность, поэтому наша действительность имела в его глазах оттенок некоторого недоразумения, однако же исправимого.

Обыватель не верует ни во что, постигает все через то, в чем он крутится. Этот головокружительный опыт он и выдает за действительную жизнь. Его не удивишь никакой несусветной нелепицей: факт он принимает как должное, ибо меру разума он утерял, спасаясь от бед или гоняясь за добычей.

Мой новый приятель Гриша Подъяпольский отнюдь не разучился удивляться и принимать всерьез несуществующее; идеал для него оказывался действительнее факта — и он это отстаивал.

Так как моя стая состояла сплошь из белых ворон, то прирожденные особенности Гриши, определившие затем его отщепенство, меня привлекли. С того вечера началось наше приятельство, сделавшееся затем дружбой.

Гриша впоследствии стал одним из лидеров правозащитного движения, с одной стороны, добиваясь юридического разрешения оппозиции в этой стране, а с другой — того, чтобы высшая Администрация не нарушала своих же собственных законов. К сожалению, живой монолит здешнего населения пока связывает изнутри не система правил, а тоталитарная задушевность.

Есть у тебя начальство,  
Работа и семья —  
На том живи и здравствуй,  
Не обижай себя! —

так я сформулировал закон жизни советских людей — от академика до плотника.

Гриша нарушал этот закон, обижал себя, защищал «абстракции», терпя при этом вполне конкретный материальный урон. И его дея-

тельность (как и деятельность других таких же) была бы исторически нелепой, если бы противостоявший им монолит из подвластных и властвующих не обладал одним в высшей степени несообразным свойством: он не может себя прокормить и одеть, хотя и производит великое множество машин и оружия. Еду и одежду приходится покупать на стороне. Земля мертвая, земля-опора, строительная площадка, полигон, аэродром — послушна монолиту; земля-мать, земля-живое поле не хочет ему служить; на требовательный рев коллективов об урожаях должными успехами она не отвечает. Не родит!

Если когда-нибудь население этой страны захочет перейти на полное самообеспечение едой и одеждой, то придется здешним множествам заменить свою материнскую задушевность чем-то более формализованным и современным. Многим кажется, что этот процесс уже начался. Если так, то у людей, которые этим займутся, не будет другого выхода, кроме как обратиться к опыту Одиноких Рыцарей прав человека вроде Гриши.

Как это ни парадоксально, но вожди всегда ставили в пример своим стадам духовную силу одиночек. Стада воздвигали памятники одиночкам над своими кормушками, а есть все равно было нечего.

Когда вожди и ведомые поуменьют и все это изменится, станет ясно, что заслуга почина была за немногими — и за Григорием Сергеевичем.

## Стихи памяти Григория Подъяпольского

### Памяти друга

Мой друг ушел.  
И мне пора.  
Да не ушел! Какая ложь!  
Забвение. Провал. Дыра.  
И выпуклый, как камень, лоб  
Лежит среди цветов, как остров.  
И тонет все сквозь пол в ничто.  
И все так страшно и так просто.  
И что ни скажешь — все не то.

*Март 1976 г.*

\* \* \*

Обрывается вдруг  
Напряженье мгновенья.  
Опадает, как лист,  
Тело мертвое вниз,  
Как тяжелая, плотная, желтая тень,  
Что отброшена бедной душой.  
Где она? Что же станется с нею?  
А телесная тень исчезает,  
Ибо тело само по себе  
Не имеет реальности камня  
И прочности стали.  
Напряженье мгновения,  
Вечность земная,  
Остается теперь  
Лишь для нас,  
Уходящих.

*Март 1976 г.*

### **Восьмое марта 1976 года**

Неожиданно вернулись люди, бесследно пропавшие...

*Из последней, недописанной главы  
«Воспоминаний» Григория Подъяпольского*

А дальше оборвалась строчка.  
Как будто у струны обрыв.  
Беспмятство. И душно. Тошно.  
Зияние. Провал. Обрыв.  
Внизу лежало все, что было,  
Все то, что поросло быльем,  
Растаяло, землей заплыло...  
Оттуда мы цветы берем...  
И хлеб, и горечь, и надежды  
Оттуда тянутся сюда,  
Из тех времен, что были прежде  
И остаются навсегда.  
Прощай, мой друг! Прощай навеки!  
Твои стихи, твоё тепло,  
Все, что нетленно в человеке,  
От нас с тобою не ушло.



И мы с тобой живем покуда  
Во всем, что сделать мы смогли,  
Живем не вымыслом, не чудом,  
А просто тем, что не ушли.  
Остановившееся время  
На зачарованных часах  
Осталось навсегда со всеми  
В поступках наших и стихах.

## Стихи и проза Григория Подъяпольского

Стихи и проза Григория Подъяпольского – литературные произведения, обладающие особой притягательной силой и достоверностью «человеческого документа». Они значительны и глубоко серьезны (интонация скептического сарказма и ирония во многих его стихах несколько этому не противоречат). И чтобы встреча этого автора с читателем не оказалась случайной и мимолетней, а стала чудом взаимопроникновения, от читателя требуются ответная серьезность, внимательность и даже некоторая сила воображения.

Сила воображения нужна читателю не только для того, чтобы представить себе, что получилось, когда сроки заключения суммировались так:

Вот Пете – пять,  
А вот Сене – семь,  
И сто миллионов – всем.

Важно, что ведь и сейчас люди присуждают друг друга к лишению свободы за одинокое несогласие и честный спор. Это планетарная ситуация. Нам отсюда особенно отчетливо и мучительно видно, как с монотонным кретинизмом фабричных автоматов к более чем стомиллионному сроку заключения, полученному людьми за последние полвека, люди снова добавляют новые годы. Новые капли к океану тюремных лет.

С этой стихией трагического абсурда Григорий Подъяпольский боролся негодным, донкихотским, можно сказать, оружием – словом. В частности, словом своих стихов. Хоть он и относился к вере с настороженной неприязнью, но в силу слова он верил. Не в ту силу слова, которая умеет показывать мастерские фокусы, а иногда творит

злые чудеса. Об этой силе слова поэт написал в стихотворении «Комментарий на текст №1 (Маяковский)», представляющем собой язвительный анализ строк Маяковского, что сила слов, «слов набат», может заставить даже «гроба шагать четверками своих дубовых ножек».

Не гробам шагать — живые бы подумали,  
Для поэзии довольно и того, —

отвечает Подъяпольский этой мистической романтике. Стиховая форма для него была не «заборматыванием», а всегда ясным, не рассудочным, но высоко Разумным Словом (вспомним, что в «Вакхической песне» Пушкин писал Разум с большой буквы). Многие стихотворения Подъяпольского можно назвать своего рода стихотворными исследованиями, эмоционально насыщенными и образными.

Многолетней «задачей» этих исследований, целью лирического проникновения поэта было понять, во-первых, в чем полнота жизни; преодолеть, во-вторых, все то, что мешает осуществиться этой полноте.

В архиве поэта есть отрывки незаконченной поэмы о Прокрусте. Прокруст существует в ней как прообраз всяких «утеснителей». «Прокрустово начало» было враждебно поэту. Он ненавидел и «великих» прокрустов, обрубавших по своей мерке бытие целых народов, и маленьких «прокрустиков», у которых еще нет ни слуг, ни топоров, но которые уже готовы силком втискивать чужую душу в рамки своей веры.

Еще в стихотворении «Утопист» двадцатилетний автор иронизировал над фанатиком, обкорнавшим свою жизнь по железной выкройке собственных фантазий. Великому реформатору не хватило чернил, чтобы дописать проект об облагодетельствовании неимущих. «Утопист» просит денег у богатого Синьора. Поэта этот унижительный для мечтателя парадокс заинтересовал именно уродливой неполнотой существования социального мечтателя.

Но в чем же полнота жизни, столь ненавистная Прокрустам?

В своих ранних, двадцатилетней давности, стихах (см. «Эниок и Гнор», «Капитан Скотт» и авторский комментарий к ним) поэт отвечал на это: полнота жизни обретается лишь в действии — в нем высшая и желанная экзистенциальная истина и цель. В авторском комментарии к стихотворению «Корабельная крыса», написанном в пятидесятые годы, даже сказано, что «крысы» на корабле людей дела — это не только политическая «партия», но и интеллигенция, и поэты; все это бездеятельное, самолюбивое меньше всего занято самим плаванием, самой борьбой. Но парадокс ситуации для поэта состоял в том, что кораблю не суждено было бы без этих крыс счастливого плавания.

Так, склоняясь скорее к полноте действия, чем к абстракциям мышления, поэт, хоть и с саркастической злостью, но отдал все-таки должное бездействию началу чисто мысленного бытия. А в стихотворении «Послание М.Б.» уважение к этому, казалось бы, бездействию началу обернулось насмешкой уже в адрес чересчур торопливых деятелей.

Слишком много было в российской истории скоропалительной и целенаправленной деятельности, не столько достигавшей цели, сколько отбрасывающей вдаль или даже разбивавшей вдребезги самую эту цель. Хоть и говорят, что повторение — мать учения, Подъяпольский, судя по «Посланию М.Б.», решительно не хотел стать второгодником истории. Он ведь ощущал себя реалистом, реалисты — ее отличные ученики.

И есть прогресс,  
и прет он на катках,  
На всех господ мечтателей нахаркав,  
И общество скрепляет ДНК,  
А не флюид мифической кухарки, —

писал Подъяпольский в стихотворении «О тех, кто». Но куда и ради чего «прет на катках» прогресс, сплющивая этими катками людей, сминая государства? К «золотому веку», который «окупит» прошлые страдания?

Подъяпольский — «атеист», как он охарактеризовал себя в стихотворении «Пророк и Креститель», — никогда не прочил земному миру остановки и успокоения на вселенском недвижимом счастье в хрустальном дворце, столь презираемом «человеком из подполья». В стихотворении «Золотой век» он пишет, что, теряя мечту о Золотом веке, мы, в сущности, ничего не теряем.

Медлительный прогресс «прет» вовсе не к «золотому веку».

А куда же? От одной катастрофы к другой?

Но Подъяпольскому-поэту (да и человеку!) не свойственно было отчаиваться. Его стихотворение «Отчаянье» говорит само за себя:

Не мотылька бесплодное стогоранье  
И не тоска за письменным столом...  
Отчаянье не двигало мирами,  
И ничего еще не создало,  
И никуда не открывало двери...

Отчаянье оставим тем, кто верил.

Человеку, у которого нет предустановленных схем, не в чем отчаиваться: его надежды не переходят в веру.

Но можно ли жить без веры?

Это очень глубокий и важный момент в мироощущении поэта. Он связан с очень важной для него темой — бесстрашием перед свободой, ничего не сулящей, кроме неизвестности, и ненавистью к «Прокрустам», к «утеснению».

Торопливая и настойчивая надежда, что сам бог или сами люди поставят, наконец, точку, чтобы история, как в городе Глупове, вдруг прекратила течение свое, — это мечта раба, боящегося свободы и открытого в даль времен пространства, это не только покорность утеснению — это потребность в нем. И в стихотворении «Хозяин — высоко, хозяин — Бог!» поэт, как он это подчеркивает в комментарии к стихотворению, зовет каждого убить в себе раба, которого Хозяин погоняет вперед к Золотому веку или к благополучному Концу Мира. Господин обещает, что там, «впереди», человеку будет «свободно», что там ждет гонимого земное счастье или вечное спасенье. А раб верит.

Ненависть к этим посулам — тема стихотворения «Впереди — свободно».

Но для того, чтобы убить в себе раба с его робкой надеждой, что если не при его жизни, то хоть когда-нибудь все хорошо кончится, нужно без страха перед свободой и непрогнозируемым будущим жить сейчас, жить с сегодняшней полнотой бытия. Не важно, куда «прет» прогресс. Важно, кто ты сам сегодня. Если человек так живет, то и отчаянию в его душе не будет места, а главное, не возникнет та потребность в отчаянии, которая рождается от бездействия ума и сердца.

Между тем к середине шестидесятых годов из компании капитанов, «открывателей новых земель», наш поэт выбыл по возрасту; становится многознающей «крысой» на их кораблях ему было скучно. Естественны были поиски жизненного содержания той сегодняшней полноты бытия, которая была так дорога ему и в возможность которой он верил. В этих поисках нужно было отвергнуть многое, загромождающее путь. Так родилось программное для Григория Подъяпольского стихотворение «Мы — нигилисты».

Это стихотворение, как, впрочем, и весь комплекс раздумий поэта, возвращает нас к тому кругу вопросов, в котором, словно в беличьем колесе, давно уже кружится русская интеллигентская мысль. Коренные, «детские» вопросы бытия оказываются жизненно важными в русском интеллектуальном обиходе, в частности, потому, что русская государственность (неважно, с каким именно гербом на знамени),

без спроса и жестоко вторгавшаяся в частную жизнь, всегда была тео- или идеократична, всегда включала в присягу еще и комплекс философских (или религиозных) воззрений, которым русский человек обязан был верностью. Поэтому всякие социальные размышления у нас были теснейшим образом связаны с размышлениями религиозно-философскими. Система теистических или материалистических верований так сковывала человека с детства, что никакой Раскольников не мог поднять топора, не стряхнув предварительно этих чар, не самоопределившись по-новому в открытой им для себя новой вселенной.

Метаисторическая связь разных русских государственных систем обернулась неожиданным эффектом: история второй половины прошлого века хоть и искаженно, однако отразилась, как в «зеркале», в тех же десятилетиях нынешнего столетия. В середине 50-х годов возникли и в прошлом, и в нынешнем веке предпосылки для «оттепели»; к середине шестидесятых годов обоих столетий наступили «заморозки»; точки совпадения семидесятых годов столетней давности с «нашими» семидесятыми годами тоже есть — но тут сама их констатация уведет слишком далеко от темы статьи.

Но не случайно, что к середине XX века наше государство марксистских диалектиков использовало для изобличения скептиков и маловеров термин «нигилисты», родившийся в прежней имперской России.

Григорий Подъяпольский, подобно разночинцам-реалистам прошлого века, дерзко принял прозвище «нигилисты» как самоназвание:

Мы — нигилисты,  
Наша ль в том вина?  
Может, помолиться  
Хочется и нам?

Может, почествовать,  
Как еще готовы? —  
Только, по чести,  
Было бы кого бы! —

говорится в этом стихотворении.

Разумеется, не мог поэт «почествовать» фантастическое будущее, описанное им в стихотворении «Созвездие Птеродактиля. Романс 2067 года»:

Уже давно у Кашенко скончался  
Последний Маркса, кажется, читавший —  
Но до сих пор, не ведая значенья,  
Мы веруем в бессмертное ученье.

Не вызывали у этого «нигилиста» особого уважения и попытки понять глубже прежнего учение Маркса. В стихотворении «Бедный Генрих» он пишет:

Очень отрадно,  
Что теперь вот ищут —  
Кем были взаправду  
Робеспьер или Радищев.

.....

Но в том-то и горе,  
Господа марксисты,  
Что вы не историки,  
А с иных позиций:

Какими глазами  
Смотреть на век свой,  
Ищете указаний  
В священном тексте.

«Священные тексты» — прокрустово ложе для мысли; потому «священные тексты», на которые молятся в Китае, нашему «нигилисту» тоже ни к чему.

С презрением относится Григорий Подъяпольский и к самоотрицанию интеллигента (Комментарий на текст № 2) перед лицом явлений, суть которых — безликость, нивелировка.

Бегство в лабиринт метафор и мифических образов, посредством которых создатель «Мастера и Маргариты» пытался укрыться от безжалостной реальности, вызывало у Подъяпольского сочувствие — но само сочувствие это было чуть-чуть осуждающим.

Однако по складу личности Григорий Подъяпольский не мог ограничиться отрицанием. И содержательная полнота жизни определилась для него через образ Христа в цикле стихотворений «Пророк и Креститель», «Пророк и хлеб», «Пророк и город».

Нет ничего удивительного, что образ Христа возник в стихах «нигилиста». Этот образ жил в русской культуре уже и внецерковно. Он присутствовал и в духовном мире наших «реалистов-нигилистов» прошлого столетия. Некрасов в стихотворении, посвященном Чер-

нышевскому, писал, что этого духовного вождя социальных радикалов, незаконно отправленного на каторгу, «послал Бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе». Напомнить — и не более! Так велико было уважение к Христу у Некрасова, поэта радикальной демократии.

Так что Григорий Подъяпольский оставался в русле нашей культурной традиции, создавая стихи, в которых Христос, воинствующий пророк, был не всемогущим «Спасом в силах», а прежде всего человеком, сильным своим воодушевлением и сознанием обреченности. Христос этого цикла — скорее Иешуа «Мастера и Маргариты», скорее грязный, оборванный, усталый, но и неутомимый странник картин Поленова, чем канонический, уверенный в своем царственном происхождении Сын Божий.

В «пророческом» цикле поэт находит свою истину о полноте жизни: это проповедь словом, примером, подвигом.

Нас много, пророков, ходит.  
Болтаем, какой во что.

Но нужен сегодня подвиг,  
А прочее все — не в счет, —

говорит Пророк перед воротами Иерусалима.

К стихам о Пророке примыкает и стихотворение «Савл». В нем Григорий Подъяпольский подчеркивает, что свободная деятельность убежденных и жертвующих собой ради истины людей и, с другой стороны, «организация», «власть», «вера» — явления несовместимые. Для поэта «партийная» и «церковная» соборность — родные братья, а роднит их утверждение, что только через принадлежность к данному («церковному» или «партийному») сообществу человек обретает всю полноту личностного бытия. Савл для нашего поэта — основатель именно такой «церкви—партии» «нового типа».

Ассоциация с нашим временем лежит на поверхности, но она только усложняется, когда Савл вполне по-современному говорит:

— Слыхали? Интеллигенты-то —  
Иаков, его братва —  
Додумались, дальше некуда,  
Что вера без дел — мертва!

.....

«Мертва» — и о чем? О вере!  
Не соединить — абсурд!

По вере тебе отмерят,  
По вере тебя спасут.

.....  
Уверовал – ну, и баста,  
И рай тебе, голубок...

А действовать будет пастырь,  
Которого выбрал Бог!

Для Подъяпольского такой Савл никогда не сделается Павлом, сподвижником Христа: Христос этого поэта, как и Христос «Легенды о Великом инквизиторе» Достоевского, надеется на Человека. Такому Христу не нужен апостол Прокруст. Свободно, от собственного сердца, а не от чьего бы то ни было имени идущее действие, действие – и жертва, и, быть может, подвиг – вот в чем полнота жизни по логике цикла стихов о Пророке. Молиться лучше всего делами, не столько словами, сколько поступками.

Пафос стихов Подъяпольского – свобода; они – против деспотических властителей дум и душ.

Итог поэтического «взрыва», который, как Г. Подъяпольский написал в комментариях к своим стихам, он пережил в 1964–1969 годы, красноречив: поэт победил Прокруста в себе самом, нашел полноту жизни в сегодняшней подвижнической борьбе за человека. Внешняя жизнь, где всевозможные урезывания и утеснения настолько обыкновенны, что иными людьми перестают даже чувствоваться, не помешали выработаться характеру сильному, самобытному, истинно свободному, как это и видно по стихам.

Какие же живые силы нашей социальной и культурной почвы помогли формироваться этому характеру?

Записки Григория Подъяпольского отвечают на этот вопрос. И тут их особая ценность и своеобразие.

Нелишне будет заметить, что автор «Записок» не был за границей, не читал «запретных» иностранных или отечественных книг в пору своей молодости: их тогда невозможно было достать. Он сделался таким, каким стал, здесь, на русской почве, и его «Записки» – очевидное свидетельство, что живые силы в ней были и есть. Разумеется, в своих «Записках» Г. Подъяпольский не пытался решить этой проблемы во всем объеме. Он писал только о себе. Но самое содержание его автобиографии ясно говорит о том живом духовном начале, которое не дает и не дало прерваться нашей исторической и культурной преемственности.

Григорий Подъяпольский подробно остановился на истории своей семьи. То была коренная русская семья; в ее родословной были и



купцы, и дворяне, и разночинцы. В девятисотые годы эта нечиновная, интеллигентская семья была, конечно, в оппозиции к самодержавию. После революции она как бы «ушла в себя». Она постаралась отграничиться от окружающего, чуждого ей. Казалось бы, ничего исторически важного не представляла собой эта ячейка, скорлупка, которую легко было раздавить...

В 1922 году в напутственной речи студентам, окончившим Петроградский университет, Пителим Сорокин сказал, что в условиях, когда все социальные механизмы разбиты, можно сказать, до последнего винтика, особое значение приобретает «микрочеловек» общества — семья. К строительству интеллигентной, гуманной семьи вопреки напору разгулявшейся вонне жестокости, вопреки попыткам разрушить самый институт семьи, призывал Пителим Сорокин недавних студентов. Он говорил, что именно с этой социальной клеточки надо начать строить будущее России. Грандиозные замыслы в этом деле не оправдали себя.

Его призыв формулировал жизненную тенденцию времени: семейная традиция в условиях отсутствия «буржуазных свобод» сделалась социально существенным, более существенным, чем прежде, фактором. Правда, семье Ярцевых (Григорий воспитывался в семье матери, урожденной Ярцевой) сравнительно повезло. Но дело не в судьбе отдельной семьи, хотя каждая в отдельности семья оставалась хрупкой скорлупкой; все вместе русские интеллигентные семьи оказались для властей крепким орешком. Исторически существенно, что многие интеллигенты, несмотря на свое пригнетенное положение, все-таки сумели воспитать своих детей так, что те выросли порядочными людьми в старинном, еще беспартийном смысле слова.

Семья автора «Записок» сохранила свои этические принципы благодаря той невыгодной и уязвимой позиции, которую она заняла в послереволюционной жизни. Эту позицию незадолго до своей высылки предложил интеллигенции Пителим Сорокин. Он назвал предложенную им позицию психологического обособления от власти «англосаксонской». В «Вестнике литературы» (1921. №12) он формулировал ее так: эта позиция «не ведет ни к апологии, ни к враждебности к власти, не ждет спасения от нее, как не видит в ней причину всех зол. Личный почин, личная инициатива, личная энергия, производительная работа «по совести», а не согласно указке и капризам кого бы то ни было — вот что нужно. Будет это — приложится все остальное. Не будет этого — не спасут никакие надежды ни на белую, ни на красную власть», — писал П.Сорокин.

Наиболее крупные в своих областях специалисты-интеллигенты «из прежних» пытались жить именно так: не принимая гос-

подставлющей идеологии, не «против» и не «за», а как бы «мимо» власти, пытаясь сохранить свое достоинство и внутреннюю свободу. Так родилась потаенная, по наследству передававшаяся культура чрезвычайно тонкого социального слоя, культура уцелевшей интеллигенции, которую Г.Подъяпольский назвал «катакомбной». Оставшись наследственной, эта культура после революции не стала сословной: из тоненькой прослойки носителей она распространялась вширь; хоть и очень понемногу, притягивала к себе людей из других социальных групп. В иных дозволенных властями произведениях литературы и искусства «катакомбная» культура давала знать о своем подспудном существовании, тем более опасном, что протекало оно на самом берегу клоак ГУЛАГа, а ниточка русских интеллигентных семей (разумеется, «русских» по культуре, а не по крови; определять «национальное» по признаку «крови» значит делать «национализм» кровавым) связывала прошлое России с ее настоящим. Разумеется, не одни интеллигентские традиции, потаенно, но прочно длившиеся, связывали распавшиеся было времена. Но «Записки» Подъяпольского посвящены именно этим традициям.

Семья научила мальчика понимать, что отношение к труду — это нравственная категория; семья предложила книги, которых не посоветовала бы пионерская библиотека. Через эти книги, как через открытые окна, вошло свободное, жизненное, необоримое, вошел тот мир, который существовал в действительности, не в эмпирической действительности улицы, а в истинной действительности Разума и Духа. Подъяпольский, рассказывая о своих учителях и в экстернате, и в институте, особо выделяет людей, в которых жило свободное дыхание именно этой действительности. Описывая научно-исследовательский институт, где он работал, Подъяпольский особое внимание уделил ученым, для которых поиски научной истины и были главной реальностью.

То, чем в нашей стране люди живы, и то живое, что в ней было и есть, воплощено, в числе прочего, и в постоянных (хотя слишком часто безуспешных) попытках «личного почина», «личной инициативы», в работе на совесть, а не «согласно указке и капризам кого бы то ни было». Эту научную среду нашел для себя Подъяпольский. Да, вокруг торжествовали далекие от интересов науки соображения (история назначения Садовского директором института достаточно красноречива). Но существовали в своих видимых миру квартирах, невидимых миру «катакомбах» люди, хотя бы внутренне самостоятельные (если не свободные), обособленные от Власти, требующей не «лояльности», а непременно любви к себе.

Однако «катакомбная» психология при попытках осуществить, насколько это удастся, «англосаксонскую» позицию создает граждан социально (и этически) неполноценных — граждан с ограниченной ответственностью. Эти люди могут сожалеть о жертвах; у себя в «катакомбах», в дружеском кругу, осудить преступления Государства против Граждан. Но чаще всего они стараются не смотреть «в ту сторону»: сфера политики — не их дело. Сфера их жизни и их совести — семья, друзья, наука.

Эта социальная беззаботность, а то и вовсе гражданская невменяемость иссушала, а в иных случаях и вовсе обесмысливала «катакомбную» культуру. Григорий Подъяпольский не пожелал оставаться гражданином «с ограниченной активностью». Он выбрал себе другую судьбу. В рассказе «Как меня пытались подвергнуть психиатрической госпитализации» Подъяпольский пишет о терниях на этом пути. К сожалению, в «Записках» он не рассказал о том психологическом процессе, который в нем произошел, когда потолок «катакомб» сделался ему низок и он, отбросив это наследие Прокруста (конечно же, в «катакомбной» культуре без него не обошлось!), ушел оттуда, чтобы защищать тех, кого считал узниками совести.

Впрочем, самый тон, самая интонация «Записок» — интонация уверенности и какого-то внутреннего благородства и достоинства — объясняет, почему Подъяпольский не выдержал жизни «в катакомбах». При таких качествах человеку там душно.

Недобрый, холодной зимой 1921 года в Москве, как сообщает в альманахе «Русская жизнь» (1921. № 3, г.Харбин) некто «-ский», состоялось что-то вроде диспута на тему «Интеллигенция и революция». Один из выступавших тогда подчеркнул, что он «понимает интеллигенцию как этически преемственную, а не сословную или классовую группу. Интеллигент — это человек прежде всего совести».

Приведенные строки определяют личность Подъяпольского и нерв его творчества. Его книга — это книга русского интеллигента, не повторяющая, но продолжающая нашу культурную и этическую традицию. Она наглядно показывает, что эту традицию не удалось разорвать.

Никто не знает, что еще может случиться с Россией; но что бы ни произошло, она живет вопреки всевозможным разрушительным процессам, а не благодаря им. Книга Подъяпольского — высокоталантливое свидетельство духовной жизнеспособности русской свободомыслящей интеллигенции, которая, благодаря своему купленному страданиями опыту, была и остается одной из важных созидательных сил нашей страны и — шире — нашей современности.

## Неотправленное письмо

Среди моей небольшой (за исключением книг) коллекции тюремных вещей, попавших прямо из Владимира в Цюрих, есть одна совершенно уникальная (а для меня — крайне необычная) — черновик длиннющего философского письма. Необычная прежде всего потому, что ни полученных писем, ни тем более черновики своих ответов на них я никогда не хранил. Это просто не имело смысла из-за бесчисленных обысков, на которых любые записи чаще всего изымались на проверку (а если и возвращались впоследствии, то только после скандалов или даже голодовок). Зная, что это делается умышленно, чтобы лишний раз подергать нам нервы, просто не имело смысла без нужды «подставляться».

К тому же я не любитель писать, а наличие свирепой цензуры тем более не располагало к самоизлиянию. Любое «подозрительное» письмо конфисковывалось без объяснения причин (что опять же вызывало скандалы и голодовки). Да и о чем писать из тюрьмы? Один день похож на другой, как серые мышки: проскользнул — и нет его. Если и произойдет что-то необычное, так ровно об этом писать и запрещено.

Словом, мои письма из тюрьмы, если бы они и сохранились, на «избранные места из переписки с друзьями» никак бы не потянули. Обычно это было короткое, в страничку длиной, перечисление полученных от друзей писем за истекший месяц, адресованное матери. По условиям режима я мог получать письма неограниченно, а отправлять только два письма в месяц (на строгом режиме одно). Вот и приходилось отвечать всем сразу в едином письме.

Надо сказать, что писали нам в тюрьму довольно много. Среди наших друзей это стало своего рода жанром, с распределением ролей и различными, ярко индивидуальными стилями. Ира Корсунская, например, прославилась тем, что ухитрялась в своих умышленно сумбурных письмах передать кучу запрещенной информации — все это вперемешку с сообщениями о семейных заботах и болезнях детей (бедный Кирюша почему-то или постоянно сидел на горшке, или болел гриппом). Мальва Ланда присылала мне целые тетради с аккуратно переписанными стихами Тютчева. Обширные письма с описанием красот природы приходили от Маши Подьяпольской из геологических экспедиций. Бывали и курьезы: однажды, по явному

недосмотру цензуры, получил открытку из Израиля от Гершовича, явно «клеветнического» содержания, да еще и матерную! Он там цитировал стишок Тошки Якобсона:

Когда был Ленин маленький,  
С кудрявой головой,  
Он тоже п...л валенки  
И продавал в пивной.

Или еще того хлеше — восторженная открытка от учеников 9-го класса «Б» какой-то школы, явно узнавших о нашем существовании по «головам». Казалось бы, ровно для того и придумана тюремная цензура, чтобы таких вещей не пропускать. Так нет же, проморгали. Зато длинные, сентиментальные письма жене моего сокамерника конфисковывались регулярно, что доводило его до иступления.

Честно говоря, мне всегда казалось, что в таких условиях писать длинные, серьезные письма может только человек психически неуравновешенный. Однако грешили этим многие. А вскоре возникла даже мода вести «тематическую» переписку, то есть, сказать проще, — полемику в письмах. Кронид Любарский, например, ухитрился даже запустить в самиздат свою полемику со священником Сергеем Желудковым о религии, возникшую в такой переписке. Думаю, именно этот случай и сподвиг Гришу Подъяпольского предложить мне «тематическую переписку», но только о науке.

Удивительная вещь: ведь мы общались с ним не многим более года, а такое ощущение, что дружили всю жизнь. Даже теперь, более двадцати пяти лет спустя, я легко представляю себе Гришу с его длинными светлыми волосами и внимательным, серьезным взглядом. Этот взгляд не совсем вязался с его мягкими манерами, предполагавшими уступчивость, покладистость характера. Глаза были совсем не уступчивыми. Именно это я и отметил, впервые с ним встретившись. Тюремный опыт сделал нас всех хорошими психологами: иногда от способности быстро оценить случайно встреченного человека зависела твоя жизнь. Мы научились видеть то, что обычный человек и не заметит. В Гришином случае глаза были важнее манер.

Последующие наши встречи только подтвердили это ощущение. Как-то так само собой получалось, что в тогдашних наших спорах мы с Гришей всегда оказывались на одной стороне, а многие наши друзья, гораздо более решительно глядевшие, — на другой. А споры были в основном по очень конкретным вопросам (не помню случая, чтобы мы спорили просто о политике или философии, но, Бог ты мой, сколько же сложностей российской психологии таилось за этой видимой простотой!).

Вот мы сидим в моей квартире в декабре 1970 года — вся тогдашняя Инициативная группа: Таня Великанова, Ковалев с Лавутом, Петя Якир и Татьяна Ходорович, Краснов-Левитин и Гриша, Тошка Якобсон и мы с Ирой Белгородской. Только что кончился «самолетный» процесс в Питере: две «вышки», чудовищные срока остальным. Казалось бы, все ясно, но мы спорим много часов о том, какое сделать заявление. Уже далеко за полночь, дремлет в кухне американский корреспондент, приехавший забрать нашу бумагу, а мы все спорим. Друзья наши полны сомнений, к сути дела не относящихся, — например, о том, имеет ли моральное право Инициативная группа (которая, как они утверждают, фактически не существует, да и никогда не существовала, а была просто выдумана Красиным) что-либо вообще подписывать.

Признаться, эти сомнения мне были мало понятны, а многие участники спора — мало знакомы. Когда я сел в 1967-м, правозащитного движения как такового еще не было, а когда я вышел из лагеря в 1970-м, оно уже вполне сформировалось. Некоторых его активных участников (например, Марченко или Красина) я так никогда и не встретил — сидели «в разные смены». С иными (Литвинов, Горбаневская) познакомился много лет спустя, уже на Западе. Приглашая к себе домой в тот вечер членов Инициативной группы, я менее всего ожидал философского спора. Задача моя была вполне простой и практической. Информационное обеспечение «самолетного процесса» держалось на трех людях: Люсе Боннэр, Володе Тельникове и мне. Люся, записавшись «теткой» Кузнецова, сидела в зале суда и была единственным источником информации, но ГБ ее настолько плотно пасла, что ни передать кому-то эту информацию, ни даже позвонить в Москву она не могла. Эта задача целиком лежала на Тельникове и его питерских друзьях. Я же был последним звеном этой цепочки: мне нужно было не только передать все иностранным корреспондентам, но и «пристроить» информацию, т.е. фактически гарантировать ее публикацию на Западе. А это было совсем не просто — торжествовал «детант»\*, и западная пресса отнюдь не рвалась публиковать что-либо негативное об СССР. Даже если мне и удавалось уговорить симпатизирующего нам журналиста отправить материал в свою редакцию, редактор вполне мог отправить его в корзину. Вот я и придумал хороший, как мне казалось, ход — заявление Инициативной группы, совсем не предполагая длинного интеллигентского спора об этических проблемах.

---

\* Термин, которым в начале 1970-х годов обозначалась разрядка, ослабление международной напряженности между странами социалистического лагеря и Западом. — *Ред.*

Признаться, я совершенно не гожусь для подобных споров, начинаю злиться, говорить резкости. Ну, типичный «экстремист» в представлении интеллигенции. И если бы не Гриша, скорее всего, усилия многих людей пошли бы впустую, а наш с такими трудами добытый материал застрял бы на полпути. Гриша же, напротив, удивительно умел говорить жесткие вещи необычайно мягко и убедительно. Будучи рафинированным интеллигентом, он напрочь был лишен интеллигентских комплексов, а его внешний вид никак не вязался с образом «экстремиста».

На самом же деле при полном различии внешнего вида и манер взгляды наши поразительно совпадали, и мы неоднократно в том убеждались. Быть может, именно поэтому и пришла ему в голову идея затеять со мной вышеозначенную «тематическую переписку». Точного текста не помню (письмо не сохранилось), но смысл предложения Гриши сводился к тому, что уж слишком модными стали среди интеллигенции религиозно-мистические поветрия, даже отрицание вполне утвердившихся научных представлений, например теории эволюции, а потому не худо бы нам обстоятельно обсудить некоторые, наиболее спорные, ее аспекты. Например, теорию преадаптации.

Сначала я пытался отшутиться, отделаться парой абзацев, полагая, что Гриша, по доброте душевной, просто хочет меня развлечь этой полемикой, развеять тюремную скуку, не представляя себе, как плотно загружены мои дни чтением сотен работ по нейрофизиологии, доучиванием английского и т.п. Однако он настаивал, намекал даже, что по какой-то причине очень бы нужно нам сформулировать «наши» взгляды. Что делать? Я принялся писать и тут вдруг обнаружил, что по целому ряду самых фундаментальных проблем никогда не удосужился сформировать свою точку зрения. То есть конечно же, как всякий много читающий человек, я о них спорадически думал и даже делал какие-то выводы, но все как бы урывками, не до конца, без всякой попытки систематизировать. Я скорее мог сказать, с чем я не согласен, в чем сомневаюсь, но никак не был готов предложить свою концепцию и тем более обосновать ее.

Открытие это задело меня за живое — мне шел уже 33-й год, а в таком возрасте пора бы иметь свое мнение по основным вопросам бытия. Отложив книжки в сторону, я принялся за работу всерьез и через пару месяцев выдал длинное послание, которое, разумеется, тут же конфисковала цензура. Это, однако, меня не обескуражило и даже не слишком расстроило: опус мой был довольно сырой, многое не до конца додумано, и я где-то был даже рад, получив возможность поработать еще. Тем более что я предусмотрительно сохранил черновик письма.

Но и второй, и третий, всякий раз сильно удлинявшийся вариант тюремную цензуру не устраивал, а это уже был вызов, пропускать который без ответа нам не полагалось. Началась длинная тяжба с властями, к ней подключились другие мои коллеги, имевшие сходную проблему с цензурой. Затем, как водится, дело дошло и до голодовки, а некоторые из нас демонстративно отказались от переписки, требуя, чтобы или вернули наши письма с указанием, что в них неприемлемо, или отправили их адресатам. Соответственно и родственники наши, не получая писем, подняли шум...

Словом, очередная война. Любопытно, однако, что на этот раз (в отличие от всех прошлых) *их* почему-то вполне устраивал наш протест. Моей матери, например, официально сообщили, что я объявил голодовку (чего никогда не делали), а потом «забыли» сообщить, что голодовка кончилась. Мне же отказали в отправке даже записки с одной-единственной фразой: «Мама, я не голодаю». Тем временем, как и следовало ожидать, на Западе распространился упорный слух, что я или при смерти, или уже умер...

Трудно сказать, что это было. Много лет спустя, в 1992-м, просмотрев тысячи документов ЦК и Политбюро во время слушаний в Конституционном суде РФ «дела КПСС», я пришел к выводу, что это, скорее всего, была очередная игра Андропова: он часто сознательно драматизировал ситуацию, когда ему нужно было от кого-то срочно избавиться, а Политбюро противилось.

О смерти Гриши я узнал уже незадолго до освобождения из письма матери. Она таки догадалась, что баталии с цензурой как-то связаны с нашей несостоявшейся перепиской. И хоть это было далеко не первая смерть за время моего заключения, чувство утраты было особенно острым. Как ни странно это звучит, но тот факт, что я никогда не увижу его ответов, не узнаю его реакции на мои шутки, не услышу его критических замечаний по поводу своих догадок, сделал его смерть очень для меня конкретной. Словно прерванный на полуслове разговор...

Да и внезапность его смерти потрясла тогда многих. Возникли подозрения, не причастно ли ГБ. Что ж, в тогдашней нашей жизни все могло быть — ведь примерно в то же время произошли подозрительные отравления у Якира, у Володи Войновича. Режим явно экспериментировал, искал «решение» диссидентской проблемы «оперативно-чекистскими мерами» (как писал Андропов в одном из своих докладов в ЦК). Быть может, мы никогда не узнаем всей правды о том темном времени. Одно нам ясно и без архивов: интеллигентный человек с твердым взглядом представлял для них существенную угрозу.

1998 г.



## В Институте физики Земли

Григорий Сергеевич широко известен как активист правозащитного движения в Москве 70-х годов. Я же хочу обратить внимание на другое — на его научную деятельность. Наука, точнее математическая геофизика, очень увлекала Григория Сергеевича. Он занимался ею страстно, глубоко погружался в увлекавшие его исследования и получал интересные, важные и красивые результаты.

Я встретился с Григорием Сергеевичем в 1956 году, мы оба оказались сотрудниками отдела математической геофизики Института физики Земли Академии наук СССР. Работали бок о бок, большей частью в одной комнате, вплоть до увольнения Григория Сергеевича из института в 1970 году.

Сначала наша работа протекала в замечательных условиях, которые мы тогда должным образом оценить не могли. Заведующий отделом Никита Вячеславович Звалинский был не только высокообразованным и глубоко научным, но и настоящим русским интеллигентом. Сотрудникам предоставлялась достаточная свобода для выбора тем исследования. Вместе с тем, никто не чувствовал себя изолированным, оторванным от других. Свободное научное обсуждение было естественным для сотрудников и для руководителя. Особенно хочется отметить четверых, более близких по духу и интересам: Григорий Сергеевич Подъяпольский, Леонид Моисеевич Флитман, Борис Сергеевич Чекин и я. Мы трое продолжали дружбу с Григорием Сергеевичем и после его увольнения из института. Горько сознавать, что сейчас, в начале 1997 года, из этой четверки в живых остался один я.

В отделе, что было редкостью, не было членов партии. Партийный контроль осуществлял назначенный из другого отдела Абрам Яковлевич Меламуд. Его деятельность была необременительной — формальное назначение на работу в колхозе, проверка социалистических обязательств и т.п.

По складу ума и характеру Григория Сергеевича математическая геофизика ему очень подходила. Теория распространения сейсмических волн, которой он в основном занимался, требовала вывода очень сложных и громоздких математических формул, где можно было легко ошибиться. Но Григорий Сергеевич настолько погружался в работу, что в комнате, где ходили и разговаривали друг с

другом еще три-четыре человека, умел отключаться, не слышать ничего вокруг и выводить формулы, которые оказывались верными. Вообще, сосредоточенность мысли была свойственна Григорию Сергеевичу. Однажды он явился на работу в двух галстуках, повязанных один поверх другого. Такая рассеянность не только рассмешила, но и прибавила ему уважения сотрудников.

Григорий Сергеевич практически всегда работал без соавторов, хотя по ходу дела живо обсуждал с нами этапы своей работы. До чего это было прелестное время! Чтобы не создалось неправильного представления, следует вспомнить, что Григорий Сергеевич был на работе общительным человеком, интересовавшимся институтской жизнью, и был в курсе событий. Однажды в служебной обстановке он за дело вlepил пощечину одному из малоприятных сотрудников.

Что касается политических взглядов, то, конечно, Григорий Сергеевич был впереди других и просвещал нас. Был такой случай. При размещении по институту портретов членов Политбюро нашей комнате достался первый секретарь ЦК Н.С.Хрущев. Однако Григорий Сергеевич подговорил нас спрятать портрет за диваном. На освободившееся место Н.В.Звалинский принес из дому портрет известного математика академика В.Смирнова, автора многотомного курса высшей математики. Через некоторое время явилась комиссия партбюро осматривать помещения, с изумлением осведомилась, чей это портрет, и пообещала принести портрет «другого порядка». Однако руки у них до этого не дошли. А Хрущев так и пылился за диваном до переезда в другое здание.

Сейчас вся эта история кажется просто смешной, но тогда это был определенный жест, характеризующий обстановку в нашем отделе.

К сожалению, постепенно обстановка на работе менялась не к лучшему. Никита Вячеславович Звалинский перешел в другой институт, и в наши начальники вышел человек иного склада. Б.В.Костров появился у нас аспирантом, на наших глазах вступил в КПСС, защитил кандидатскую диссертацию и выбился в заведующие лабораторией (часть нашего бывшего отдела). В нем сочетались хорошие математические способности, умение быстро ставить и решать задачи с редким бездушием, черствостью и нежеланием понять людей. Круг его чтения — исключительно детективы, чем кровавее, тем лучше; идеал общественного устройства — армейские уставы. Не знаю, что он думал про себя, но вел он себя так, как будто раз и навсегда решил быть бескомпромиссным солдатом правящей партии. Например, Костров привел в шок своих сотоварищей по партбюро сообщением, что в его лаборатории Григорий Сергеевич Подъяпольский рассказывает анекдоты про Брежнева. Ясно, что идиллическая жизнь в лаборатории закончилась...

Как известно, политическая деятельность Григория Сергеевича привела к увольнению его из института. Но это вовсе не значит, что все произошло при «единодушном одобрении», хотя Б.В.Костров из всех сил старался провести в жизнь решения властей. Прежде всего, чтобы увольнение не было столь простым, мы выбрали Григория Сергеевича в состав профсоюзного комитета института. Григорий Сергеевич действовал в профкоме активно, отстаивал справедливость и права людей, стал широко известен в институте, в том числе и вне отдела. В профкоме он нашел новых друзей, которые в трудную минуту поддержали его. Из них мне очень хочется назвать замечательного человека, женщину нелегкой судьбы, прекрасного геолога-тектониста Ирину Васильевну Кириллову.

Когда кампания против подписантов дошла до накала, в институте было собрано «рабочее совещание» с целью заклеить Григория Сергеевича и иже с ним. Собрание продолжалось долго, но партбюро не удалось протолкнуть осуждающее решение. Еще раз хочу сказать, что в то время в Институте физики Земли было очень много порядочных людей. Так, когда через некоторое время началась кампания по увольнению Григория Сергеевича и других подписантов, мы узнали о ней от члена партбюро института Григория Дашкова. Затем Дашков исправно извещал нас обо всех замыслах партбюро, и мы имели возможность как-то к ним подготовиться. Однако напор райкома был так силен, что Григорий Сергеевич Подъяпольский и Борис Сергеевич Чекин были уволены «по сокращению штатов».

Вспомним теперь партийца Абрама Яковлевича Меламуда. На собрании он выступил с обличительной речью. Но совесть его страдала, и после увольнения Григория Сергеевича именно он нашел ему новую работу. Однажды я шел по улице и вдруг вижу, с противоположной стороны ко мне перебегает радостно взволнованный Абрам Яковлевич: «Я нашел работу Григорию Сергеевичу!» И Григорий Сергеевич до конца своих дней работал в Институте геологии и разведки горючих ископаемых у О.К.Глотова.

В Институте физики Земли Григорий Сергеевич написал, переплел, полностью подготовил к защите кандидатскую диссертацию и подал ее в Ученый совет. В защите ему было отказано. Председатель заявил, что нет нужных документов, отсутствует характеристика общественных организаций.

Диссертацию составила самая лучшая работа Григория Сергеевича: теория возбуждения волн цунами землетрясением. Японское слово «цунами» означает гигантскую волну, которая при некоторых землетрясениях набегаёт на берег и часто вызывает сильные разрушения и гибель людей. Не всякий раз землетрясение с очагом под

дном океана вызывает цунами. И до сих пор не ясно, в каких случаях цунами будет, а когда — нет. В открытом океане волна цунами длинная и пологая, заметить ее очень трудно. И только при выходе на мелководье она разрастается в высоту и обрушивается на берег.

Достижение Григория Сергеевича состояло в том, что он теоретически сумел связать интенсивность волн цунами с очагом землетрясения — его глубиной под дном океана, ориентацией площадки, по которой происходят разрыв и смещение горных пород. Григорий Сергеевич рассмотрел цунами в открытом океане. Набегание сформировавшейся волны на берег — это другая задача. Трудность состояла в том, что приходилось рассматривать две сильно различающиеся среды: твердую земную кору, в которой находится очаг землетрясения, и жидкий океан. Так, например, в твердой среде сила тяжести практически не влияет на волновое движение, а в жидкости она оказывается определяющей.

Как теоретическая работа (постановка задачи, принятые упрощения, использованный математический аппарат) диссертация Григория Сергеевича была блестящей. Она была серьезным шагом в исследовании проблемы цунами и сразу привлекла внимание ученых. Доклад Григория Сергеевича был принят на международную конференцию в Гонолулу. У Григория Сергеевича, конечно, не было и мысли, что его допустят поехать на Гавайи. Доклад на конференции прочел Соловьев, будущий академик. Григорий Сергеевич получил мировую известность и множество ссылок в лучших мировых журналах.

В полном объеме диссертация была опубликована только после смерти Григория Сергеевича, в 1978 году. В то время имя Григория Сергеевича могло вызвать гнев любого чиновника. Кто-то должен был взять на себя ответственность за публикацию. Я подготовил ее к печати, а С.Л.Соловьев провел решение о публикации через комиссию по цунами. Положительный отзыв дал без колебаний академик А.С.Алексеев. Был и другой академик, имени его приводить не буду, который в приватном разговоре одобрял работу Подъяпольского, но из трусости и карьеристских соображений открыто поддерживать отказался.

Прошло много лет. Наука развивается быстро. Но и сейчас в журналах встречаются ссылки на труды Григория Сергеевича, причем не только на работу о цунами, но и на другие его статьи.

А перед моим взором Григорий Сергеевич и сейчас как живой, будто вот сейчас войдет в комнату, скороговоркой станет рассказывать новости, как всегда, остроумный и эрудированный.

Человек жив, пока его помнят!

*13 марта 1997 года*

## Ощущение родства

В древнебрежневское время  
Жил в России...

*Григорий Подъяпольский*

Познакомился я с Григорием Подъяпольским и его женой Марией Петренко в раннебрежневское время. Точной даты знакомства память не удержала. На то было по меньшей мере две причины.

Первая — это то, что круг моих знакомств, как и целого ряда других людей, в 60-х годах расширялся со скоростью снежной лавины. Кажется, никто из нас тогда не догадывался еще, что установлением этих дружеских связей закладывался новый для России феномен гражданского общества.

Второй причиной были сами Маша и Гриша. Буквально с первой минуты я ощутил в них, столь непохожих друг на друга по темпераменту, что-то такое до боли родное, что и по сей день мне представляется, что я их знал всегда. Спустя год или полтора они познакомились и с моими родителями, что еще усилило это ощущение родства.

Встречались в те годы мы довольно часто. Подъяпольские устраивали «среды» со знаменитыми и неизменными Машинными программами, на которые собирались не только москвичи, но и визитеры из других уголков Союза. Ох, уж эти замечательные московские «среды-четверги» и прочие дни недели! Чего только не было оговорено на них, сколько спето авторских песен, сколько прочитано стихов! Говоря о стихах, нельзя не упомянуть и об этой грани Гришиного естества. Можно по-разному относиться к его творчеству. Замечу, что мое лирическое, если так можно выразиться, ощущение мира не совпадает с Гришиным, но я не думаю, что возможно найти человека, который слышал бы стихи Подъяпольского в его собственном исполнении и остался равнодушным.

Я не помню, чтобы Гриша когда-нибудь читал стоя. Обычно он садился как-то очень обстоятельно на стул, слегка откидывал свою аристократическую голову, поправлял длинные светлые волосы и начинал читать. Во всем этом образе целостности и устремленности, еще более подчеркнутом ритмической декламацией, был какой-то неодолимый природный магнетизм, державший аудиторию в напряженном внимании.

Области наших научных интересов не пересекались, но я знал и ощущал ту же цельность в вопросах, касавшихся этой грани его личности.

Однако было бы совершенно неверно представить себе этого человека без его милой иронической улыбки и готовности к хорошей шутке, возможности разыграть напыщенную публику или, скажем, «наших доблестных чекистов». Я никогда не забуду спектакль, который мы разыграли, чтобы помочь моему отцу незаметно для слежки уехать на важную встречу: Гриша с отцом обменялись плащами и шляпами, и потом мы с Гришей «возвращались домой». При этом, чтобы скомпенсировать разницу в росте, Гриша был вынужден идти на цыпочках, а мне надо было двигаться на полусогнутых. Как потом выяснилось, мы оказались совсем неплохими актерами — чекисты отца потсряли.

А вот и еще одна грань этого незаурядного человека. По мере вызревания гражданского общества гражданская активность постепенно стала выходить за пределы кухонных разговоров и полустихийных протестов против тех или иных действий властей. После ареста Ивана Яхимовича мой отец предложил создать первую правозащитную организацию. Идея была встречена по-разному — часть наших друзей была категорически «против», а часть была «за». Мы, то бишь сторонники комитета, оказались в тот момент в меньшинстве. Подъяпольские были на стороне противников какой-либо организации.

Вскоре последовал арест отца. Этот арест увеличил число сторонников правозащитной организации, и на импровизированном собрании в нашей квартире было решено создать Комитет защиты Григоренко с моей матерью в качестве председателя. Присутствовавший при этом Виктор Красин уговорил нас повременить пару дней с объявлением о создании Комитета. Вечером того же дня он появился с воззванием о создании Инициативной группы и объявил, что это обращение уже передано корреспондентам и какие-либо коррективы невозможны. Виктор включил в списки многих людей без предварительного согласования с ними. При этом в числе членов Группы были в основном люди, возражавшие против создания какой-либо организации, в то время как большинство сторонников названы только в числе поддержавших.

Ну, да Бог с ним, этим горе-бонапартиком, не про него речь. Для меня гораздо важнее была Гришина реакция. Я не помню дословно, как он это выразил, но суть состояла в том, что он не стремился к активной оппозиции режиму, но уж коль скоро в силу случайных обстоятельств он оказался в таком положении, то отступить не будет.

Если мне не изменяет память, никто тогда не дезавуировал свою подпись. Позднее кое-кто без лишнего шума отошел в сторону. Ни в одного из них я не брошу камень. И мои теплые чувства к Грише ничуть бы не пострадали, если бы и он удалился в свою поэзию и науку. Только для Гриши такое решение, видимо, означало бы отказ от самого себя, от своего Креста. Все последующие годы, вплоть до последнего дня, он отдал нашему «безнадежному делу» и Инициативной группе защиты прав человека в СССР.

Я смотрю на одну из моих фотографий более чем двадцатилетней давности. Скорее всего, это одна из последних фотографий, на которой присутствуют все последние члены ИГ. Через пару лет из шестерых изображенных на ней трое окажутся в эмиграции (Таня Ходорович, Анатолий Левитин-Краснов и я), двое – в тюрьме (Таня Великанова и Сергей Ковалев) и безвозвратно уйдет Григорий Подъяпольский, как бы подытоживая и закрывая целую страницу русской истории.

Александр ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН

### Характер мыслей

**М**ой друг Гриша Подъяпольский скончался, не дожив до 50 лет, уже более двадцати лет назад. Но память о нем жива не только у тех, кого притягивали к нему светлые черты его благородного характера, но и у тех, кто уважал его смелую деятельность правозащитника. Жива она, эта память, и в двух – к сожалению, не очень больших – книгах, в которых он сумел ясно запечатлеть характер своих мыслей и разнообразие своих настроений и переживаний. Книги эти – сборник стихов «Золотой век» и посмертно изданные мемуары «О времени и о себе» – не исчерпывают всего, что было им написано, но большая часть не вошедшего в них материала была отнята у него и его семьи властями во время обысков. Есть надежда, что когда-нибудь и этот материал окажется в руках издателей и они найдут возможность расширить издаваемую сегодня книгу. Независимо от литературных качеств характер того, что в 70-е годы двадцатого века считалось московскими властями

КГБ подлежащим изъятию, представит интерес для истории советского периода России.

Вероятно, особое внимание вызовет у читателей глава «Сознание» в книге «О времени и о себе». Там Подъяпольский отмечает, что в его сознании «уже тогда, в конце сороковых, сформулировались главные, поныне фантастические проблемы нашей истории. Как получилось, что революция, имевшая поначалу явно демократическое направление, привела к созданию столь централизованного, иерархического и бюрократического государства? Почему непременными атрибутами этого государства с первых же шагов стали беспардонная ложь и изуверская, никакими рациональными целями не объяснимая жестокость? Почему народ, совершивший революцию, так сразу превратился в разобленную массу покорных, безвольных и запуганных рабов?»

Тут много вопросов, и я не собираюсь здесь длинно излагать или повторять то, что читатель найдет у автора. Осмелюсь лишь возразить, что к созданию этого беспардонно лживого, изуверского централизованного государства привела не демократически направленная революция, а наглое вторжение в нее хитроумной диктатуры Ленина и его приспешников, первоначально маскировавшихся под демократов.

Автор не описывает революции, происшедшей почти за десять лет до его рождения. Рассказывая о ранней полосе своей жизни, он ретроспективно описывает психологию своего не особенно напуганного, но угнетенного интеллигентского домашнего окружения. Возникший строй, рассказывает автор, не отвергался, но и не принимался. Он воспринимался как установившийся, быть может, на века, хотя вряд ли навеки. Эту психологию автор определяет как «катакомбную»: «Выжить, чтобы донести свои духовные ценности до лучших времен и будущих поколений, вроде как бы сохранить в катакомбах светильники своей тайной мудрости». Только «что это за лучшие времена и с какой стати они вдруг наступят, пока мы будем сидеть в катакомбах? И можно ли запастись в катакомбах такую уйму топлива, чтобы хватило на светильники аж до лучших времен?»

Термин «катакомбы» ввел в такой связи, кажется, Подъяпольский, но распространена эта психология была повсеместно. Трудно представить себе молодого столичного интеллигента сталинских времен, которому старшие не пытались бы ее внушить. Гриша в свои двадцать лет сумел от нее далеко отойти. Марксистом он никогда не был, хотя на ранней стадии его философского развития мог указать «общие черты пересечения» своего «становящегося исторического по-



нимания с марксизмом». Но — «термин «марксист» всегда был для меня символом если не холопства мысли, то холопской мимикрии под таковое холопство». Он «с очевидностью» видел «крах марксизма в понимании настоящего» и безоговорочно отрицал учение о коммунизме, называя его не просто «устарелым пережитком XIX века, но воинствующим мракобесием XX, очевидной и беспардонной ложью, направленной на утверждение тирании<...> Марксистская религия более, чем какая-либо другая, сосредоточилась на самой неблагоприятной функции — быть опиумом для народа в утилитарных интересах господствующих классов». Он пишет: «Я был явным антимарксистом, и, как теперь догадываюсь, именно поэтому марксистом <...>» «Антимарксизм <...> Он был естественной отправной точкой думающих юношей моего поколения. Ложь — мы видели, тиранию — ощущали всеми фибрами души, мы, стиснув зубы, влачили унижительное катакомбное существование, опоганившее нашу молодость»...

Ни в комсомоле, ни в коммунистической партии Гриша никогда не состоял. Не был он, по крайней мере в своих философских размышлениях, и христианином или приверженцем какой-либо другой религии. В житейских пертурбациях, кажется, не гнушался, особенно в молодости, сближений с религиозными чувствами, но он всегда считал себя рационалистом, верящим только в могущество человеческого разума. В поэзии могла быть и мистика, а в интеллектуальной сфере он «коробился при любой ссылке на высшие авторитеты».

Как и большинство хороших поэтов, стихи он писал неровно. Вряд ли власти, охотясь за ними, обратили внимание на короткие стихи «Золотой век», «Отчаяние», которые я нахожу достойными запоминания наизусть, хотя бы через сто лет после их написания. Но уж наверняка они запомнили то, что их касалось, — а он бывал задирист: «Не место гнидам на мавзолее». Несколько таких строк приводили в тюрьмы, лагеря и психушки не одного поэта — достаточно вспомнить трагедию Мандельштама. Гриша этой судьбы избежал, но его постигла другая травля, которая довела его до инсульта и могилы.

Пытались — правда, неудачно — засадить его в психиатрическую больницу. С психиатрами он держался смело. «Когда некуда уйти от тигра, последний шанс, может быть, как раз в том, чтобы дернуть его за усы».

Эта задиристость связывает поколения. Проявилась она у Мандельштама, а за век до него у Лермонтова. В наши дни вот как пишет Валерия Новодворская (По ту сторону отчаяния. М.: Новости, 1993) о своем — кажется, безымянном — семинаре и Демократическом союзе (ДС): «Во многих отношениях семинар, а потом ДС ломали био-

логический стереотип поведения зайца и волка. Заяц должен убежать, мы просто бросались на волка, чего зайцу по штату не положено. Часто волк от неожиданности пускался сам наутек. Или у него пропадал аппетит».

Этот разрыв с катакомбной психологией и стереотипом заячьего поведения расширился в России вплоть до падения КПСС и развала Советского Союза. Начинался он с небольших демонстраций, требовавших литературных свобод, гласности суда и процессуальных прав, собраний интеллигенции в коридорах московских судов, где за закрытыми дверями судили инакомыслящих в 60-е годы, с демонстрации протеста на Красной площади против оккупации Чехословакии, с коллективных писем протеста по поводу происходивших репрессий, с групповых посещений квартир, в которых происходили обыски, с открытых требований удовлетворения права на эмиграцию и поддержки этих требований. Самиздат смелел и расширялся, «Хроника» публиковала – в 70-е годы уже по обе стороны океана – беспристрастные сообщения о «текущих событиях» – чаще всего о репрессиях и о том, что с ними бывало связано. Комитет прав человека, созданный по инициативе Чалидзе и Сахарова, обращался к властям с рекомендациями о вступлении страны в международные пакты о правах человека и знакомил общество с текстами этих, тогда еще мало известных, документов. В этот Комитет вошел и Гриша. В лагерях публично отмечался день политзаключенного (30 октября) и происходили длительные голодовки, в результате одной из них погиб Анатолий Марченко (1986). Всего не перечислишь, но как не вспомнить движение, созданное весной 1976 года в поддержку Хельсинкских соглашений, которые Советский Союз обязывался соблюдать, в поддержку ратифицированных им пактов о правах.

КПСС деградировала, оказавшись не в состоянии сместить своих впадавших в маразм лидеров. Они и вовлекли страну в афганскую войну, поражение в которой непоправимо подорвало власть России в Средней Азии. Это – на фоне год от года ухудшавшегося, начиная с середины 70-х годов, экономического состояния страны. Престарелые лидеры стали умирать один за другим – Сулов и Брежнев (1982), Андропов (1984), Черненко (1985).

Горбачев появился весной 1985 года, когда уже гнило все, но продолжала действовать Программа КПСС, содержавшая партийное обязательство превзойти к 1980 году США по производству товаров на душу населения. Горбачев добился изменения редакции этой программы – упомянутое обязательство исчезло в порядке редактирования как устаревшая мелочь. И тут же – взрыв в Чернобыле, вызвавший огромные людские потери и всеобщее оцепенение.

Горбачеву ничего не осталось, как провозгласить гласность и перестройку.

К этому длинному ряду событий 1977–1987 годов, разваливших Советский Союз, интеллигенция не имела никакого отношения. Смельчаки находились – но власть, сосредоточенная в верхах КПСС, не слушала никого. Претендовавшая на роль «ума, чести и совести нашей эпохи» всесильная и всевидящая партия оказалась слабоумной. Горбачев провозгласил также «новое мышление». Это означало только, что коммунизм, затеянный Лениным, был исчерпан. Он провалился, и коммунистам надлежало делать все сначала. Поэтому – перестройка. Десятилетия сплошных успехов оказались пустым блефом. И гласность – чтобы не зайти снова в тупик, не проморгать еще раз, как в Чернобыле. Гласность – уже в объеме всей страны. Плюрализм – чтобы стало возможным обновление мысли. Но перестройку, гласность и плюрализм не выдержала бюрократическая номенклатура, на которой все держалось, – и Советский Союз развалился (1991).

Теперь другие времена. Модным образом стало разбитое корыто. Многие с тоской вспоминают о невозвратно ушедшей советской эпохе.

А ведь это была эпоха сплошной лжи. Кого укорять в том, что теперь все так плохо? Видимо, только тех, кто с осени 1917 года лишил Россию свобод, необходимых для ее развития. Были и успехи, но, опираясь на ложь, вечно они продолжаться не могли. Потому-то теперь – разбитое корыто.

Россия не обязательно обречена на гибель. Но она должна начинать жизнь совсем по-новому. На повторение прежних ошибок у нее уже не остается ни времени, ни сил.

Катакомбная психология сделала свое дело. Не будь ее, однопартийная дурь не передавалась бы из поколения в поколение. И Гришина жизнь пошла бы совсем по-иному и, пожалуй, не так быстро оборвалась бы.

Нет, не тосковать по прошлому надо теперь, когда не стало на Руси партийно-бюрократического гнета! Гришина книга погружает читателя в суетливую, беспросветную эпоху, жить в которой было не обязательно страшней и трудней, чем теперь, хотя миллионы прожили свою жизнь гораздо тяжелее, чем он, и часто она проходила в сплошных мучениях. Забираться в такое нелепое время стране нельзя было. Жалеть приходится прежде всего о том, что никто не сумел до 1917 года предупредить Россию об опасностях однопартийной тирании (употребляя то слово, которое так любил употреблять Гриша). Бакунина уже давно не было, «Вехи» были изданы, но не туда смотрела публика тех лет.

Теперь надо думать о правовом просвещении будущих поколений. Гриша не был юристом, и не надо от него ожидать важных научных рекомендаций в вопросах, связанных с законодательством. Но он мог бы при случае, живи он в наши дни, оказаться хорошим двигателем важных реформ. Он был многосторонне мыслящим человеком. Его повесть и размышления читатель приближающегося нового тысячелетия воспримет как свидетельство о времени торжествовавшей всеобщей самонадеянности, опиравшейся на грубость и произвол. То время породило массу лжи — но были тогда и честные люди, и, говоря о себе, автор говорит об одном из них.

*Бостон  
1997–1999 гг.*

Людмила ИВАНОВА

### **Не часто встречаются такие люди...**

**Г**ригорий Сергеевич Подъяпольский оставил в моей душе память светлую и благодарную. До сих пор мне радостно сознавать, что я была с ним знакома и дружна. Человек большого ума, широко и независимо мыслящий, он всегда оказывал влияние на окружающих его людей и в той или иной степени способствовал их более свободному и разумному взгляду на действительность, в которой мы жили.

Прекрасно помню экспедицию 1954 года. Григорий Сергеевич, недавно пришедший работать в Институт физики Земли в нашу сейсмо-разведочную группу, впервые был с нами в экспедиции. А надо сказать, что в ту пору в нашем отделе существовала традиция в экспедиционных условиях работать с утра до десяти-одиннадцати часов вечера. Считалось, что надо принять от полевиков полученные ими за день сейсмограммы и, горя трудовым энтузиазмом и нетерпением, тут же начать их рассматривать и обсуждать. При этом должны были присутствовать все сотрудники камеральной группы. Смысла в этом не было, так как на следующий день все начиналось сначала, но более продуктивно. Эти вечерние бдения были изнурительны не только физически (в жару-то!), но еще больше психологически, так

как, внутренне всей душой желая конца этой пытки, надо было еще изображать неуывающий интерес к работе. Все это было, конечно, отражением общего для страны стиля.

И вот приезжает в экспедицию Григорий Сергеевич и популярно объясняет нам наши права и обязанности и неразумность такого отношения к делу. И мы устроили «бунт». Договорившись, стали после окончания рабочего времени уходить прямо домой. Сейчас даже смешно вспоминать, как мы при этом волновались. Потрясенная нашим поведением руководительница «камералки» три дня терпела это, но потом потребовала объяснений. Однако мы проявили твердость, и наши вынужденные посиделки прекратились раз и навсегда.

Конечно, Григорий Сергеевич оказывал на многих из нас и более серьезное влияние. Будучи человеком смелым, он открыто обсуждал с нами общественные и политические проблемы, проясняя многие смущавшие нас вопросы. И делалось это хотя и горячо, но просто, доброжелательно по отношению к собеседнику, даже весело. Вообще, несмотря на неприятие многих сторон нашей жизни, Григорий Сергеевич был жизнерадостным человеком. Я не могу припомнить его мрачным. Глубоко задумавшимся — да, часто, и в это время достучаться до него было нелегко. В нашей комнате, где обычно сидело восемь, а то и десять человек и редко бывало совсем тихо, Григорий Сергеевич умел на многие часы сосредоточиться на работе, на своих мыслях, не замечая окружающего шума. Но выйдя из задумчивости, он сразу становился живым, приветливым человеком, готовым принять участие во всех мелочах нашей институтской жизни.

Очень привлекательной его чертой было отсутствие снобизма, хотя цену себе он знал. Первый раз я встретилась с Григорием Сергеевичем в начале 1954 года. Вернувшись после рождения сына на работу, обнаружила в нашей комнате нового сотрудника, углубленного в построение годографов (графиков зависимости времени прихода сейсмических волн от расстояния). Эта элементарная работа обычно выполняется лаборантом. Позже, узнав о глубине научных знаний Григория Сергеевича, я со смехом вспоминала о начале его научной деятельности в нашей группе. Но вся эта громоздкая работа была выполнена им терпеливо и добросовестно.

И в экспедиционных условиях такое же отношение было у Григория Сергеевича к любому полезному труду. В этом, как мне кажется, особенно проявилось и то, что он был хорошим товарищем. В 50-х годах Григорий Сергеевич перешел из сейсморазведочного отдела в математическую группу института, но дружеские связи наши сохра-

нились, и Григорий Сергеевич оставался нашим первым помощником в разрешении многих научных вопросов.

В 60-х годах Григорий Сергеевич написал диссертацию, высоко оцененную специалистами, но не допущенную к защите руководством института по политическим мотивам. Диссертация должна была представляться к защите на Ученом совете. Конечно, сотрудники института понимали, что это представление не может пройти, как обычно – формально, и поэтому зал был полон. И вот, когда дошла очередь до Григория Сергеевича, было просто объявлено, что диссертация не может быть допущена к защите, так как нет всех нужных бумаг, не хватает характеристики от партбюро, дирекции и профкома. В зале воцарилась гробовая тишина. Ни один человек не решился не только выступить, но даже задать вопрос. Конечно, даже те люди, которые собирались выступить в защиту Григория Сергеевича, были сбиты с толку. Действительно, ну что тут поделаешь, если не хватает нужной бумажки? Но главное, конечно, в том, что трудно было переступить через страх. Вернувшись в комнату, я расплакалась от безысходности и стыда, и в это время зашел сотрудник математического отдела Леня Флитман. Увидев мои слезы, он вернулся в свою группу и рассказал об этом Григорию Сергеевичу. И этот милый человек, только что преданный нами, пришел меня же успокаивать.

Ну что тут можно добавить? Не часто встречаются такие люди.

*Апрель 1996 г.*

Аида и Мэри КАПЛУН

### **Он жил трудно, страстно и счастливо**

**С**реда. Ждем всю неделю. Наконец увидим Гришу и Машу. Стол уже накрыт. На столе стоит самовар, у самовара Маша, а на столе пироги. Все сидят, кроме Гриши.

Гриша, красивый, обаятельный, ходит по комнате и делится новостями то с большим юмором, а то и со слезами на глазах: опять арестовали, остались дети, старики. Надо помочь и...

И нет Гриши... Гриша умер. Умер человек, органически неспособный подчиниться тому, с чем он не согласен. Главная черта Гриши,

главное обаяние — упрямая, бесстрашная любовь к правде, справедливости, человечности. Он не мог и не хотел стать равнодушным к бедам и болям своей страны. Он жил трудно, страстно и счастливо, потому что вся его жизнь была борьбой с неправдой и злом. В наших сердцах Гриша всегда останется живым.

Сергей КОВАЛЕВ

### Создание «Инициативной группы»

Через несколько дней после известия об аресте Григоренко (май 1969) Таня Великанова и Саша Лавут вызвали меня на разговор и рассказали, что выдвинут новый план: составить обобщенный текст о политических преследованиях и других нарушениях прав человека в СССР, подписать некоторой, не очень большой, командой и адресовать этот текст Организации Объединенных Наций. Я согласился с этим проектом, и мы договорились встретиться 20 мая у Якира.

В тот день, 20 мая, в квартире Петра все было как обычно: на кухне — несколько полужнакомых молодых людей, откупоривающих очередную «поллитру», в большой комнате — мы, собравшиеся вокруг стола и готовые к обсуждению и детализации новой идеи. Мы — это, сколько я помню, Таня Великанова, Саша Лавут, Толя Якобсон, Гриша Подъяпольский, Татьяна Сергеевна Ходорович, Наташа Горбаневская, Анатолий Эммануилович Левитин, Юра Мальцев (не имею возможности написать о каждом из этих людей отдельно, но, смею заверить, любой из названных заслуживает самого подробного рассказа) и я. Не хватает двоих: самого хозяина дома и Виктора Красина.

Мы ждем полчаса, час, полтора часа; обсуждаем последние печальные новости (накануне был арестован один из наших товарищей — педагог и поэт Илья Габай). Потом Петина жена Валя сообщает, что только что звонил Витя, что они с Петром просят прощения, но их задержали непредвиденные и срочные обстоятельства и они убедительно просят всех не расходиться и подождать. Что ж, ждем.

Через какое-то время Петр с Виктором действительно появляются, довольные и веселые. И кладут на стол несколько экземпляров

какого-то текста — для ознакомления. И только тогда мы узнаем, что все мы, здесь присутствующие, а также еще четверо иногородних — Мустафа Джемилев, Генрих Алтунян, Леонид Плющ и Володя Борисов — являемся членами Инициативной группы по защите прав человека в СССР и что эта Инициативная группа только что передала свое первое обращение в ООН (поддержанное еще тремя десятками подписей) в зарубежные средства массовой информации.

«Вы уж извините, ребята, не было времени все обсуждать, — мельком пояснил Петр. — Подвернулась хорошая оказия — не ждать же следующей».

Мы молчали и переглядывались друг с другом в некоторой задумчивости. Потом кто-то из нас выдавил из себя несколько мало-значущих реплик. И опять все впали в задумчивость.

Мы попали в невозможное положение! Снимать вдогонку свои подписи — так ведь придется объяснять почему. А это стыдно. Не за себя стыдно, за Красина с Якиром, которые ведь наши товарищи. Да и идея-то сама по себе неплохая: не организация, а Инициативная группа, которая, смотря по обстоятельствам, может стать чем-то более определенным, а может так и остаться авторским коллективом из пятнадцати человек. И адресат именно тот, о котором вроде договаривались заранее. И сам текст особенных нареканий не вызывает. И вообще ситуация вроде потери девичьей чести: скандал не скандал, а назад не вернешь.

Конечно, следовало бы устроить хотя бы немедленную частную выволочку обоим друзьям, чтобы впредь неповадно было. Но как это сделать: квартира полна никому не известной посторонней публики — не при них же затевать выяснение отношений?

Я все же не выдержал и довольно жестко сказал Красину: «Витя, так не делают». Виктор не спорил и спокойно согласился, что да, получилось некрасиво, но что было делать, не упускать же такой удобный момент. «Витя, это не соображение», — возразил я. Красин согласился и с этим.

В конце концов мы договорились, что, во-первых, ладно: мы — Инициативная группа. Во-вторых, вся эта история наружу не выходит. В-третьих, ничего подобного впредь никогда не повторится. В-четвертых, чтобы ничего подобного не повторилось, состав подписей под следующими документами ИГ не обязательно должен быть полным. Кто из пятнадцати членов хочет, тот подписывает, кто не хочет — не подписывает. Мы же пока всего лишь авторский коллектив под общим названием, а не взаправдашняя организация, никто не должен быть связан круговой порукой общей ответственности. И наконец, в-пятых, любой из нас может делегировать право своей подписи



одному или нескольким товарищам из числа тех, кому больше всего доверяет. Таким образом, физическое отсутствие члена ИГ на обсуждении документа по той или иной причине не будет означать автоматически отсутствия его подписи под этим документом.

Я не буду здесь подробно рассказывать о деятельности Инициативной группы за шесть лет ее реального существования (формально ИГ никогда не была распущена). Да и можно ли назвать деятельностью два десятка обращений в ООН, содержащих факты преследований по политическим мотивам: аресты, заключение в психбольницы, увольнения с работы и т.д.? Если кто-то хочет познакомиться с самими текстами, то, во-первых, все они перепечатывались за границей (существует сборник документов ИГ, изданный в 1976 году нью-йоркским издательством «Хроника»), а во-вторых, они есть в архиве московского общества «Мемориал» и доступны интересующимся.

Я хотел бы остановиться лишь на одной проблеме, которая, как мне кажется, возникает у любой правозащитной организации, действующей в несвободной стране.

Репрессии немедленно обрушились на нас самих. Вот короткая хроника потерь ИГ.

Еще до конца года из пятнадцати человек были арестованы пятеро: Владимир Борисов из Ленинграда, харьковчанин Генрих Алтунян, активист движения крымских татар Мустафа Джемилев, писатель и религиозный деятель Анатолий Эммануилович Левитин (Краснов) и поэтесса Наталья Горбаневская.

В 1972 году арестовали еще троих: Якира, Красина и киевлянина Леонида Плюща.

В 1973 году, под угрозой ареста, уехал в эмиграцию Яacobсон.

В 1974 году эмигрировал Юрий Мальцев; в конце того же года арестовали меня.

В 1975 году деятельность ИГ практически прекратилась: на свободе и не в эмиграции оставалось всего четверо ее членов – Великанова, Лавут, Подъяпольский и Ходорович. В начале 1976 года Гриша Подъяпольский умер. Татьяна Сергеевна Ходорович уехала из СССР в 1977 году. Таню Великанову арестовали в 1979-м, Сашу Лавута – в 1980-м.

Надо, наверное, добавить, что из арестованных в 1969 и 1972 годах Борисова, Горбаневскую и Плюща признали невменяемыми и отправили в спецбольницы. И что после выхода на свободу четверо – Борисов, Левитин, Горбаневская и Красин – также покинули СССР. Петр Якир умер в 1982-м в Москве.

## Светлый человек

Это были первые слова, когда Рая\* и я разговаривали о нашей первой встрече с Григорием Подъяпольским. Мы встретились у Андрея Дмитриевича — кажется, еще до того, как Григорий вошел в Сахаровский комитет; возникла, что называется, дружба с первого взгляда.

И мы полюбили его так же, как его любила вся семья Сахаровых и едва ли не все, кто с ним имел дело. Он обладал поразительной способностью отстаивать свои взгляды в самых ожесточенных спорах, не ожесточаясь, не злясь на возражающих, не пытаясь их обидеть.

В те 70-е годы, когда все учащались аресты и судебные процессы деятельных «диссидентов», т.е. правозащитников, и усиливались административные преследования и моральное давление на всех им сочувствующих, Григорий Сергеевич был для нас олицетворением спокойного мужества, чуткой отзывчивости на горести, на сомнения преследуемых и их близких.

А.Д.Сахаров писал: «Григорий Подъяпольский был участником и одним из зачинателей Инициативной группы по защите прав человека. Демократический, честный и открытый дух этой ассоциации несет на себе печать убеждений, ума и светлой личности Гриши (и его друзей Т.Великановой, С.Ковалева, А.Лавута и других)».

По отзывам специалистов, Григорий Подъяпольский был талантливым, широко образованным физиком, впервые разрабатывавшим некоторые сложные проблемы геофизики. Он любил свою работу, был самозабвенно предан ей и в то же время неутомимо и неустрашимо помогал Сахарову и его друзьям, составлял и собирал письма-протесты, жалобы, ходатайства, организовывал обсуждение и подписывание. Уже после его кончины мы узнали, что он был еще и одаренным литератором; писал стихи, воспоминания, очерки.

С тех пор произошло много перемен в нашей стране. Возникали и разрушались новые надежды. Сбылось кое-что из того, о чем мечтал Гриша, о чем мы говорили, спорили, на что надеялись: вышли на свободу узники совести, издаются книги, которые раньше были не-

---

\* Раиса Давыдовна Орлова, жена Л.З.Копелева. — *Ред.*

легальщиной, в газетах, по радио, на телевидении почти беспрепятственно звучат голоса тех, кто осуждает бездарную, бесчеловечно опасную политику правительства... По разным странам разъехались друзья и единомышленники Григория Подъяпольского; его жена, тоже наш добрый друг, Мария Петренко-Подъяпольская живет в США, многие стали американцами, израильтянами. Но несмотря на то, что уже прошло двадцать лет с тех пор, как он умер, он продолжает жить в наших размышлениях и в наших мечтах о будущем России.

С каждым днем явственнее, как жизненно необходимое России и всему миру завещание Андрея Дмитриевича Сахарова — его требование единства науки, политики и нравственности. Одним из доказательств осуществимости этого требования был для Сахарова жизненный подвиг Григория Подъяпольского. О них обоих я вспоминаю каждый раз, слушая или читая Сергея Ковалева: сегодня он олицетворяет неиссякаемое духовное наследство замечательных русских людей — Льва Толстого, Владимира Короленко, Андрея Сахарова, Григория Подъяпольского.

*Кельн, апрель 1996 г.*

Павел ЛИТВИНОВ

## Вспоминая Григория Подъяпольского

Хорошо помню, как я впервые увидел Гришу Подъяпольского. Он сидел и разговаривал с Софьей Васильевной Каллистратовой в коридоре Верховного суда на кассации по делу Хаустова. Я не знал, кто это, но знал, что он из наших: *таких* лиц у них не бывает.

Шел 68-й год. Конец шестидесятых, начало диссидентских.

Недавно была и, не знаю, может быть, еще не прошла и сейчас мода смотреть свысока на «шестидесятников» за надежды, за наивность, за якобы готовность принять от власти столько свободы, сколько она в то время была готова дать интеллигенции. Легко смеяться над людьми с высоты последующего опыта, когда жизнь уже эту станцию проехала и что-то вообще снято с повестки дня, а другое стало общепринятым.

Но в шестидесятые годы начался конец изоляции страны и общество вдруг открыло современный мир и, хоть и с запозданием, начало понимать, что оно является частью современного мира. Все эти дискуссии — об искренности в литературе, о физиках и лириках — были частью этого позднего, но необходимого открытия мира. Так проболевший детские годы человек выходит в первый раз на улицу и знакомится с вещами и событиями, которые его здоровые сверстники без всяких усилий знали с детства.

Власть, давно купившая себе писателей, разрешила им осторожно коснуться общечеловеческой моральной проблематики, позволила престижному племени ученых коснуться вопросов личной ответственности за применение их открытий. Были переведены и опубликованы романы Генриха Белля, чьи герои с кажущейся легкостью переходили границу от смутного ощущения своей вины к действию, пусть явно донкихотскому и по видимости бесполезному, но странным образом внутренне обязательному.

Небольшая, численно незначительная часть интеллигенции сделала тогда этот *бессмысленный и бесполезный* шаг, и родилось движение за права человека. Власть, которая к тому времени начала в чем-то поверхностно подражать интеллигенции и хотела, чтобы ее принимали за свою, оскорбилась за неблагодарность и начала репрессии. Это мало кого удивило. Удивительно и ново было то, что нашлось достаточное число людей, которые не испугались и встали заменить арестованных товарищей, и этот процесс продолжался многие годы.

Но не только власть преследовала и отвергала нарождающееся движение — значительная часть интеллигенции тоже приняла в штыки правозащитную инициативу. Диссидентов обвиняли в том, что они дразнят быков, гонят волну, натравливают КГБ на интеллигенцию. Появилось новое расслоение и среди людей, не имеющих иллюзий в отношении режима.

Наивное мнение, когда-то популярное на Западе, что диссиденты поняли суть советского режима, расстались с коммунистическими иллюзиями и этим самым стали диссидентами, далеко от истины. Диссидентов отличало от не-диссидентов не отсутствие иллюзий в отношении режима — иллюзии к тому времени мало у кого оставались: кагэбэшники от души хохотали над анекдотами про Ленина, партийные чиновники интересовались не победой коммунизма во всем мире, а заграничными поездками и мебельными гарнитурами. Линия разделения проходила не по степени отторжения коммунистической идеологии, а по готовности взять на себя личную ответственность за свои убеждения, вместо того чтобы привычно прятать-

ся в анекдот, в иронию, прокламируя на словах иногда самый крайний антикоммунизм. Страх, любовь к комфорту и вера в непобедимость режима определяли советского человека. Режим мало беспокоился, что о нем на самом деле думали, лишь бы знали, в какой момент промолчать, а в какой проголосовать *за*.

Гриша Подъяпольский был, если можно так выразиться, воплощением «шестидесятничества»: физик и поэт в одно и то же время. Потомственные русские интеллигенты, Гриша и его жена Маша, в отличие от многих вокруг, не были ворчунами и жалобщиками, а смотрели на мир с оптимизмом и энергичной легкостью, легкостью не по наивности-невинности — этого за ними не водилось, а по их неунывающей, можно сказать, *физиологии*.

Эти качества вместе с Машинной добротой и неограниченным и безотказным действенным состраданием — готовностью прийти на помощь друзьям и незнакомым — естественным образом привели Гришу и Машу в ряды диссидентов «первого призыва».

Автор писем протеста еще до начала подписантской кампании, один из первых членов Инициативной группы по защите прав человека, член Комитета прав человека — вот неполный «послужной» список правозащитника Гриши Подъяпольского.

Можно много говорить о наследии правозащитного движения, о соотношении между жертвами, которые были принесены, и достигнутыми результатами, о том, что было реально возможно в то время, о его влиянии в стране, о том, что как-то осталось, а что исчезло без следа.

Большинство диссидентов не были экстремистами, только в шутку иногда пили за то, «чтобы *они* сдохли». Они понимали, что *они* — это и *мы*, чеховское, стертое до потери сознания, выражение о выдавливании из себя раба по капле было для них и руководством к действию, и очевидностью. Отказ от переворотов, неприятие даже слова «революция» было не просто реакцией на слово, ассоциирующееся с кошмаром коммунистического террора, нет, это было отречение от веры, что только насилем можно достичь положительных результатов.

Некоторые воспринимали разговор о правах человека как тактический прием. Какие могут быть права человека при коммунистах, которые с самого начала поставили классовую борьбу во главу угла и постулировали, что *их* победа важнее жизни каждого отдельного человека? Но для большинства диссидентов это было серьезным, сознательным и прочувствованным выбором позиции. Многие считали, что подпись Советского Союза под международными правозащитными документами и даже советская Конституция и советский закон дают достаточно серьезную отправную точку для разговора с властью.

Конечно, были и среди диссидентов люди, употреблявшие слова «права человека» как просто удобный лозунг, поскольку он нашупал одну из самых уязвимых точек в броне режима. Разумеется, власти не хотели верить, предпочитали не верить в искренность своих критиков, когда те пытались начать с ними публичный диалог о правах человека. «Он нас в поддых ударил», — говорили кагэбэшники о Сахарове. И это не было только метафорой.

Советский режим идейно произошел от попытки достичь максимального счастья для максимального числа людей, и от этой идеи он не мог отказаться, не потеряв самого своего права на существование.

Социал-демократические идеи, хоть и многократно искаженные Лениным и большевиками (с их многократным отмежеванием от российского более традиционного социал-демократического крыла — меньшевиксв) и Сталиным (с его борьбой с европейскими «социал-предателями»), не были и не могли быть полностью отброшены и продолжали жечь внутренности режима, передавались их новым поколениям.

Разумеется, все меньше и меньше людей были настолько наивны, чтобы во взрослом возрасте путать социалистический идеал с реальностью советского режима. Сталин это хорошо понимал и начал вводить новую (но старую!) имперскую идеологию, призванную избавиться от неудобных слов. Участие Советского Союза во Второй мировой войне и его роль в победе над фашизмом помогли ему приблизиться к этой цели. Но эта победа принесла в мир новые идеи: Нюрнбергский процесс, Декларацию прав человека, деколонизацию. Они успешно использовались советской пропагандой для ее собственных целей, но опять-таки что-то и оставалось. Удивительным образом идея прав человека соединилась с традиционным русским состраданием к униженным и оскорбленным. Русская литература, на которой вырос Гриша Подъяпольский, с одной стороны, и физика, которая дисциплинировала мыслительный процесс — с другой, привели Гришу Подъяпольского и многих других ученых к изучению советских законов с точки зрения их соответствия международным стандартам прав человека.

«Почему права человека?» — недоумевали некоторые люди. Правосознание в России исторически настолько низкое, что идея самостоятельной ценности отдельной личности в отрыве от коллектива чужда большинству населения, включая, к сожалению, и значительную часть интеллигенции. Так почему же с этого начинать? Надо сперва избавиться от коммунистов как абсолютного зла, а потом уже думать о такой роскоши, как права человека.

Проблема с этим подходом была двоякая: практическая — непонятно, как даже *начинать* избавляться от коммунистов, уж больно

они сильны, и более глубокая, серьезная философская — допустим, мы от них избавились, а что потом?

Диссиденты были убеждены, что без права, без уважения к правам человека и вообще к закону никакой реальный прогресс невозможен, а значит, этот принцип должен быть поставлен во главу угла.

Взгляд на сегодняшнюю Россию, к сожалению, подтверждает правоту диссидентов. Россия без коммунистов мало отличается от коммунистической России в смысле уважения к правам человека. Да, страна стала намного свободней, пресса полна критики правительства, и реальные проблемы страны широко и относительно свободно обсуждаются. В страну можно легко въехать, из нее можно легально уехать на время и навсегда. Рабочие могут бастовать, есть парламент и партии, ведущие открытую политическую борьбу.

Но как это смотрится на фоне невыплаченных зарплат и пенсий, на фоне судьбы людей, всю жизнь честно проработавших и ожидавших бедного, но гарантированного советского обеспечения и вдруг узнавших, что ими решено пожертвовать во имя еще одного счастливого будущего для детей, внуков, что великая капиталистическая идея сама преобразует страну, надо только как можно скорее и дешевле раздать собственность (которая раньше называлась народной) кому попало, точнее, тому, кто о новом переделе узнал раньше другого и оказался в подходящем месте в нужный момент?

Как это смотрится на фоне погибших и продолжающих погибать сегодня необученных солдат, почти детей, посланных политиками и генералами умирать неизвестно за что?

Как это смотрится на фоне расстрелянного президентом парламента и уничтоженных зачатков местного самоуправления в стране?

Как это смотрится... Нетрудно множить ряды таких вопросов, легко здесь впасть в общедоступную и самоочевидную риторику, ясен и простой ответ: ОБА ХУЖЕ. Будущее смутно, и я не вижу ни одного признака, что на следующем витке нас ожидает что-то лучшее.

Но тем яснее одно: Россия споткнулась опять на том же месте — на отсутствии признания ценности личности, прав человека и необходимости *государства*, достаточно сильного, цель которого — охрана личности, гарантий ее прав как от посягательств самого государства, так и других личностей.

Эта, в общем, простая идея странным и роковым образом ускользает все время из русского сознания. Постановка в основу интересов личности воспринимается одними как защита анархии и незакония, безнаказанности преступников, а укрепление государства и защита правопорядка воспринимаются другими как шаги к установлению диктатуры.

Люди отказываются соблюдать законы и платить налоги, когда видят, что власть имущие делают то же самое. Их можно понять. В той или иной степени такое происходит во всем мире. Вопрос в том, насколько такое отношение превалирует в жизни общества.

Лучшие из диссидентов пытались быть правозащитниками и государственниками во времена, когда государство отвергало саму идею прав человека. Это, быть может, самое важное из их наследия.

И сегодня в России есть люди, готовые на жертвы во имя тех или иных принципов, которые им представляются самыми важными. Вопрос в том, есть ли сегодня в России достаточно людей, готовых работать для строительства сильного общества и государства на всех уровнях (от местного до федерального), в основе которого стоят закон и права человека.

1999 г.

Ольга МАКСИМОВА

## Разговор с опозданием

**Б**ыл у меня в Москве знакомый танкист, т.е. танкистом он вообще-то был во время войны, но когда я его видела последний раз перед отъездом в эмиграцию в 1979 году, он все еще был «в танке» — читал в основном военную мемуаристику и, как сам говорил, пытался разобраться: «А что же это я в том танке делал?»

Теперь, когда диссидентское движение стало историей, многие, как тот танкист, пытаются понять: «А что же это мы делали?» Местоимение «мы», думается, следует пояснить. В.Буковский в своей книге «Московский процесс» вычисляет число несломленных диссидентов и называет цифру 6000 за послесталинское время. Он говорит о фигурах героических, блестящих. Но как в литературе есть гении, таланты, а есть еще литературный процесс, участники которого не тянут ни на шекспиров, ни на толстых, но без которых все же каждодневного хлеба насущного литературы нет, так и в диссидентстве, кроме выдающихся личностей, были и остальные «мы», те, кто не сидел, не умер в лагере, не попал ни в психушку, ни в ссылку, но свою долю в диссидентский процесс внес.



К этой группе малых винтиков большого процесса я отношу и себя. Я не ходила на Красную площадь, не пыталась пересекать границу, не сидела, не была в ссылке. Я была машинисткой и печатала диссидентские документы, статьи, книги, обращения. Может, благодаря этому я видела очень широкий спектр людей, так или иначе участвовавших в движении. Поэтому сейчас я, может быть, меньше других удивляюсь разногласиям и в воспоминаниях, и в оценках, и даже в определении, что же такое диссидентское движение, кто диссидент, а кто нет.

Я печатала вольпинские проекты обеспечения независимости судопроизводства, документы «дела самолетчиков», статьи староверов в защиту своей религии, воззвания сионистов, размышления ведаистов, переписку заключенных с женами... Многое прошло через мои руки, но многое — нет. Так, не попала мне вовремя книга Григория Сергеевича Подъяпольского «О времени и о себе». Дошла она до меня не так давно и вызвала одновременно ощущение радости и сожаления. Радости узнавания и сожаления, что узнавание пришло так поздно.

Я встречалась много раз с Подъяпольским на разных диссидентских сборищах. Но в толпе людей, круговороте информации об обысках, допросах, доносах, передачах разговора — глубокого, неторопливого — не получалось, так что чтение книги как бы заменило этот несостоявшийся разговор.

У Подъяпольского были тонкие черты лица, неброские манеры, неяркие краски. Книга такая же — это не крик, не обвинение, а размышление, даже там, где он описывает, как его пытались запихнуть в психушку. Она, действительно, в основном о времени и лишь немного о себе, да и там, где о себе, все равно о времени.

Между нами девять лет разницы. Девять-десять лет разницы — ничто, когда вам шестьдесят, а вашему собеседнику семьдесят. Но когда вам пять, а кому-то пятнадцать, то разница огромна. К началу войны Подъяпольскому было пятнадцать, и он уже четко понимал, что это не его война. Он уже строил свою собственную систему понимания, анализа окружающего — государства, общества, идеологии. Мне было к началу войны шесть, и никакого собственного отношения к ней у меня, естественно, не было. Но дожив до пятнадцати, я вступала в комсомол с твердым убеждением, что вокруг не все ладно, но что основная идея правильная, лишь исполнители негодные. Их ошибки можно и должно исправить и потом... Что потом будет... я не знала, но представляла некое туманное общество истинной справедливости.

Думаю, что таких, как я, стучающихся лбом о все «углы» системы, невероятно медленно осознававших ее внутреннюю порочность, было

большинство. Подъяпольский же — скорее исключение. Его раннее понимание окружающей нас системы частично можно объяснить средой, из которой он вышел, — средой старой интеллигенции. Как он пишет: «Ядро семейства... было настроено умеренно, но их умеренность жидилась прежде всего на безусловной и глубочайшей отчужденности».

Но не только отчужденность от гнусной власти создает среду. Тут и бабушка — хранительница традиций, и тетушка, любившая поэзию и учившая племянников английскому языку по Байрону и Лонгфелло, тут и книги — многое. И все же это недостаточное объяснение. Знала я человека, родившегося и всю жизнь прожившего в самой что ни на есть интеллигентской среде, которая дорого за свою интеллигентность заплатила. Его отец и мать погибли в лагерях, его дядьку расстреляли, кузину мотали по лагерям и ссылкам полжизни, тетка повесилась, а он был несказанно благодарен советской власти, когда его, сына «врага народа», все же призвали в армию в 42-м. И по сей день благодарность его глубока и чистосердечна. Так что среда средой, но надо, думаю, просто признать, что у Подъяпольского была очень хорошая голова, и притом смолоду.

К тридцати годам система взглядов на социалистическое общество у Подъяпольского уже вполне сложилась. Он, естественно, был не единственный, кто пытался такую систему построить, но его позицию отличает от других одно очень важное качество. От понимания порочности строя он переходит не к идее его переделки на благо всего человечества, а к идее примата этики. «И не открывать или доказывать, а примитивно сознаваться приходилось: превыше всего все-таки этика».

Примитивности, по-моему, в этом осознании никакой нет. Гораздо труднее от общей схемы перейти не к человечеству, вселенной, а к этике. Этика же начинается с личности, с себя. Анализ своей собственной этической позиции привел его к определенным действиям, к участию в правозащитном движении, что повлекло потерю работы, высылку на время XXIV съезда из Москвы, безвременную кончину.

Что еще бросается в глаза и в прозаической книге, и в стихотворном сборнике, и в аналитических размышлениях — это открытость, непривязанность ни к определенной религии, ни, тем более, к национальности. Особенно теперь, через двадцать лет после написания книги, когда и внутри страны, и вне ее национальное и религиозное самоутверждение, самоограничение, самоотчуждение, само-и-все-разрушение грозит залить, затопить весь мир, эта открытость радует и обнадеживает, кажется удивительно своевременной.

В этом пункте интересно сравнить позицию Подьяпольского и Юрия Карабчиевского. У них, на удивление, много общего. Оба умерли в возрасте, близком к пятидесяти. Оба были одновременно «физиками» и «лириками» и никакого противоречия в этом не чувствовали. Оба отводили большую роль НТР в социальном и идеологическом (а не только материальном) развитии общества.

Подьяпольский пишет: «Такие зачатки (модели будущей формации. — *О.М.*) я преимущественно связывал с многообразными аспектами научно-технической революции (НТР)». У Карабчиевского: «Восславим прогресс науки и техники, их скорую, умную эволюцию, их долгожданную революцию, потребовавшую от косной, жесткой и жестокой структуры личной свободы для каждого, и немедленно!»

Оба писали стихи (очень разные), оба были людьми глубоко этическими и людьми действия. Оба были требовательны к себе, что естественно при позиции примата этики.

Подьяпольский, обсуждая так называемую «катакомбную» позицию советской интеллигенции (выжить, затаившись до лучших времен), задает под конец вопрос: «Что это за лучшие времена и с какой стати они вдруг наступят, пока мы будем сидеть в катакомбах?» — и, глядя на свое приятие этой катакомбной позиции в молодости, пишет: «Сейчас, возвращаясь мысленно к тем временам, я почему-то не так уверен в (катакомбной. — *О.М.*) мудрости — может быть, потому, что знаю теперь больше, чем тогда, в том числе и о не столь мудрых тогдашних мальчиках, не уклонявшихся от альтернативы и получавших высшие — двадцатипятилетние — оценки своих дипломных работ» (или, добавим, высшую меру, как поделщики Майи Улановской).

У Карабчиевского вся последняя, посмертно опубликованная повесть «Каждый раз весной» построена (может быть, в несколько более личном плане) на сожалениях и угрызениях — почему мало сделал, почему не сделал больше, не понял раньше, не пошел дальше. Такое знакомое многим из нас чувство!

Одно, но кардинальное различие их позиций было в отношении к национальности. Один старик-парикмахер говорил про свою жену: «Она у меня помешанная», имея в виду лишь то, что она была смешанной крови — полувеврейкой, полуполькой. Вот и Подьяпольский, как и многие из нас, тоже был «помешанный», со шведско-немецко-французско-польско-русскими предками. Может быть, эта «помешанность» помогает не привязываться к какой-то одной национальности, не надевать на себя никакие шоры, не создавать теорий превосходства, особой роли какой-то одной группы по сравнению с другими. Или, опять же, это просто ясность и четкость аналитическо-

го мышления, присущая Подъяпольскому, приводит к такой открытости. Не знаю. Думаю, что и то, и другое, и еще многое, что влияло и влияет на наши духовные построения.

Карабчиевский же относится к вопросу национальности очень серьезно, как к своей еврейской, или русско-еврейской, так и к любой чужой. В нем не было ни капли чувства превосходства или избранности, но как разрешить проблему своей собственной еврейской русскости или русской еврейскости, он так и не нашел. И этот национальный, этнический подход, как берлинская стена, запер его в безумном круге неразрешимых противоречий его собственного существования еврея, думающего, чувствующего, пишущего по-русски. Выход он нашел в самоубийстве. Об этом и сейчас, по прошествии нескольких лет, больно думать.

Подъяпольский не дожил до падения занавесов, границ, реальных стен. Но для его этически вненациональной позиции их ведь и не было.

Я не уверена, что он сам или Карабчиевский во всем согласились бы со мной. Больше того, представляю себе, *как* могут на меня обрушиться другие, не согласные со всем вышесказанным. Ну что ж, остается процитировать Мандельштама:

Я виноват? Ну что ж, я извиняюсь,

Но в глубине души ничуть не изменяюсь.

А Григорию Сергеевичу глубокая благодарность за книгу, подтвердившую и укрепившую многое, о чем думалось и думается до сих пор.

Феликс МЕЩАНСКИЙ

### Читая Григория Подъяпольского

**М**не не довелось встретиться с Григорием Сергеевичем, хотя оба мы принадлежали, в сущности, к одному кругу московской интеллигенции. Сейчас, много лет спустя, обнаруживается, что мы общались или дружили с одними и теми же людьми. А с Машей — его женой — мы когда-то учились на одном курсе института, закончив его по одной специальности. Огорчительная для меня упущен-

ная возможность общения с Г.С. была, наверное, не только игрой случая. С конца 50-х годов я был связан с ракетно-космическим направлением науки и техники. Оставляя в стороне аспект военный, это была область большой науки, работа в которой захватывала дух своей грандиозностью и исторической значимостью. К сожалению, скрывавшая все это завеса секретности опутала тогдашнюю мою жизнь многочисленными табу. И, бывало, стараясь уберечь меня от лишних неприятностей, друзья предупреждали, что сегодня-де тебе лучше к нам не приходить. Это могло означать присутствие иностранцев или кого-то из наиболее активных деятелей правозащитного движения.

Теперь, спустя несколько десятилетий, я пытаюсь себе представить, каким интересным могло бы быть для меня личное знакомство с Григорием Подъяпольским. Читая его воспоминания, я как бы погружаюсь в воображаемую беседу с ним. К таким размышлениям приводит цепочка удивительных совпадений в наших судьбах.

Мы не просто ровесники – наши даты рождений разделяют всего несколько дней. Оба пошли в школу в один день. Отлично помню сопутствующий этому событию педологический тест, так живо описанный Г.С. После седьмого класса – война. Как и четырнадцатилетний Гриша, я дежурю на крыше во время бомбежек Москвы. В конце 1942 года появились курсы экстерната. Я тоже прошел через экстернат. В результате мы оба досрочно, в шестнадцать лет, закончили свое среднее образование. Чувствуя тяготение, а может быть, и призвание к гуманитарным наукам, оба поступили в сугубо технические институты. Мотивы такого решения я нахожу в мемуарах Г.С. Наконец, путь в науку – через инженерию – тоже оказался схожим. И когда я читаю о «мальчиках Зволинского» с их добротным университетским математическим образованием, невольно вспоминаю и свой дискомфорт в аналогичной среде. Вот почему описываемые Г.С. события и его размышления оказались для меня столь близкими.

Освещение событий и размышления о них в записках Г.С. подкупают своей искренностью и достоверностью. Это не исключает возможности наших с ним различий в видении или оценке явлений тех лет. Дело даже не столько в ненадежности такого инструмента, как человеческая память. Ведь мы успели узнать много такого, что при жизни Г.С. было либо не очевидно, либо закрыто печатью секретности. Это отразилось даже на автобиографической части. В главе о происхождении, говоря о вероятности своего родства с Лениным через фамилию Бланк, Г.С. сетует на изъяны в достоверности промежуточных звеньев. Как раз детали родословной матери Ленина были (пос-

ле сенсационных «открытий» Мариэтты Шагинян) фальсифицированы по указанию ЦК. Сейчас, когда с родословной Ильича все ясно (Штейн М.Г. Ульяновы и Ленин: Тайны родословной и псевдонима. СПб., 1997) и еврейское происхождение его матери выяснено, эта версия выглядит маловероятной.

Не те Бланки. Мне сейчас кажется, что Г.С. забавляла сама мысль о возможности родства с Ильичом, человеком, чьи идеи, поступки и дела были столь для него антипатичны, хотя огромная историческая роль бесспорна. Эта парадоксальная ситуация обыгрывается в сатирическом стихотворении «Могилка»:

Какой бы ни был,  
А все же — Ленин:  
Не место гнидам  
На мавзолее!

Он вам — великий,  
Мне — просто дядя,  
Но на могилку  
Зачем же гадить?

Воображаемая беседа с Григорием Подъяпольским мысленно возвращает меня к нашим во многом одинаковым детским и юношеским впечатлениям. Такие впечатления, естественно, субъективны и зависят от конкретных ситуаций, с которыми сталкивается формирующаяся в этот период личность. Не могу, например, согласиться, что в течение семилетнего предвоенного периода имело место ослабление политвоспитания школьников. Скорее, можно говорить об обратном. В ту пору вожди сочли целесообразным сосредоточить политработу во дворцах пионеров и в пионерских лагерях. Вспоминаются горны, барабаны, линейки и оголтелые пионервожатые, культ Павлика Морозова, чьи скульптурные изображения украшали интерьеры этих заведений. На этом фоне идеологический прессинг в школе, может быть, как-то и потускнел. Г.С. же просто повезло, что его миновала чаша сия.

Никто до Подъяпольского не описал так впечатляюще Москву в день 16 октября 1941 года — день, по его словам, перелома в его жизни и психологии. Для меня это тоже запечатлелось как некий момент перелома — отчасти из-за совпадения с днем рождения. (Историки хранят молчание относительно причин паники; помню, что отец сообщил нам о появлении нескольких шальных немецких танков на окраине города.)

Нигде, кажется, не описаны и курсы экстерната, через которые прошла целая прослойка наших сверстников. Очень интересны наблюдения Г.С., касающиеся преподавателей, слушателей и самой специфики этого заведения. Курсы экстерната были детищем загадочной организации — МКВП научных работников (так значилось на бланках и печатях). Моему дотошному сокурснику удалось расшифровать эту аббревиатуру: Московская касса взаимопомощи пенсионеров. Следовательно, нашими преподавателями, особенно в начальный период деятельности экстерната, были не столько лишенные заработка университетские профессора (университет и большинство институтов были эвакуированы), сколько их престарелые коллеги-пенсионеры. Эти чудом уцелевшие осколки старой профессуры отличались той замечательной эрудицией и мастерством, о которых повествует Г.С. Думается, что им мы обязаны многим в нашей последующей судьбе. Эти люди всегда оставались подозрительными для режима, упомянутое Г.С. исчезновение одного из них как «немецкого шпиона» — вполне в духе времени. Замечу, однако, что столь подозрительная организация, как МКВП, не имела права принимать выпускные экзамены и выдавать аттестаты зрелости. Эта процедура происходила все-таки (здесь память изменила Г.С.) в стенах действующих тогда школ.

Тема науки (и антинауки) занимает в воспоминаниях Г.С. большое место. Целых семнадцать лет его научной деятельности прошли в Институте физики Земли им. О.Ю.Шмидта, которому посвящены две главы и еще масса отдельных фрагментов в других главах повествования. Чтение этой части записок возвращает меня к собственным многолетним, хотя и эпизодическим, контактам с этим институтом. Здесь благодаря директору института Г.А.Гамбурцеву сохранялся оазис подлинной науки, почти свободной от гнета идеологии. «Переступая порог института, — вспоминает Г.С.Подъяпольский, — мы попадали как будто в иной мир, куда не доплескивались волны повального мракобесия».

Имя Гамбурцева я впервые услышал еще на студенческой скамье. Спецкурс геофизики в рамках семинара вел обаятельный аспирант Володя Магницкий. Он-то и втянул меня в разбор какой-то проблемы, которой-де занимаются в Институте физики Земли и общее решение коей дал сам(!) Гамбурцев. Я, конечно, начисто забыл теперь суть проблемы, помню только свое мучительное путешествие через лес интегралов статьи уважаемого академика. (Моя математическая подготовка оставляла желать лучшего.) Запомнился, однако, пиетет, с которым Володя, сам в будущем крупный геофизик и академик, объяснял мне идеи Гамбурцева.

Впрочем, мой взгляд на ГЕОФИАН, взгляд стороннего наблюдателя, в чем-то отличается от взгляда Г.С. — взгляда изнутри. В этой связи меня заинтересовала попытка Г.С. разгадать личность человека, именем которого назвали институт. Думаю, что характеристика, данная Подъяпольским академику О.Ю.Шмидту на основе скудной и достаточно в те времена сфальсифицированной информации, на редкость точна. За исключением причисления О.Ю.Шмидта к рангу крупных ученых. Это уже из области советской мифологии; сейчас о нем упоминают лишь как об *известном* математике и полярном исследователе. О.Ю.Шмидт — типичный представитель особой породы большевиков-ученых, характерным экземпляром которых был, скажем, профессор П.К.Штернберг — весьма скромная персона в астрономической науке, зато активный деятель революции, именем которого назвали Астрономический институт. Или печально знаменитая проф. Лепешинская, большевичка с дореволюционным стажем. Конечно, О.Ю.Шмидт не опустился до такой степени научного маразма, как последняя, но их роднит нечто общее — попытка учинить большевистский переворот в науке, сокрушить в ней зловедную «буржуазную» идеологию. А для О.Ю. лестно было еще примоститься в конце цепочки таких звучных имен, как Декарт, Кант, Лаплас — изобретателей первых космогонических гипотез.

Мне близка мысль Г.Подъяпольского о том, что занятия О.Ю. точными науками (а возможно, какое-то собственное затаенное ощущение худосочности своей «революционной» гипотезы) спасла яростного оппонента гипотезы академика В.Г.Фесенкова от участи Н.И.Вавилова. Упоминание Г.С. о том, что даже в конце 60-х годов какие-то ученики Шмидта продолжали в Институте физики Земли развивать мертворожденную гипотезу, меня крайне удивило. Ведь уже в 1961 году радиолокационными методами было установлено противоположное по сравнению с прочими планетами направление вращения Венеры — факт, равносильный научному нокауту, поскольку такое О.Ю. «позволял» лишь самым удаленным от Солнца планетам.

Очаровательный этюд Г.С. о директорстве М.С.Молоденского доставляет мне искреннее удовольствие. Мне довелось учиться у Михаила Сергеевича, многократно с ним общаться и даже бывать у него дома. Свидетельствую, что рассказанный эпизод изумительно вписывается в серию почти анекдотических ситуаций, в которых этот блистательный ученый вел себя как человек не от мира сего.

В истории о том, как Садовский стал директором, меня привлекла реконструкция событий, о которых Г.С. имел скудную информацию из «третьих рук». Сейчас, когда мы знаем куда больше, приходится



удивляться точности этой реконструкции. На встрече по проблеме распознавания подземных ядерных взрывов советская делегация была представлена не крупными (и потому «засекреченными») специалистами, а, как водилось, партократами от науки. Прагматичные же американцы, не доводившие проблему секретности до абсурда, противопоставили им Бете — «сов. секретного» участника Лос-Аламосского проекта, приведшего к созданию атомной бомбы. Ханс Бете — виднейший американский ученый, нобелевский лауреат (1967), прославившийся работами во многих областях теоретической физики. В их числе — работами по теории ударных волн, что имело как раз касательство к обсуждаемой проблеме. К этому хотелось бы добавить, что Бете претерпел, подобно Сахарову, эволюцию от создателя до противника применения атомного оружия. Знаменательно, что позже именно А.Д.Сахаров и Ханс Бете каждый со своей стороны и независимо друг от друга добивались от своих правительств отказа от опасной для мира затеи — разработки противоракетной системы обороны, создававшей для наносившего атомный удар первым иллюзию собственной безнаказанности.

Перехожу к самой, как мне кажется, важной части записок — к теме мировоззрения Г.С.Подъяпольского. Перед нами разворачивается интереснейший процесс формирования того, что Г.С. обозначил термином «сознание», так же конечного результата этого процесса — цельного мировоззрения. Становление сознания очерчено временными рамками: от последних лет войны до смерти Сталина. Хрущевское и послехрущевское время внесло, по словам Г.С., лишь уточнения, не затронув принципиальных основ.

Критика Г.Подъяпольским догматизма собственно марксизма и его позднейших модификаций оставляет глубокое впечатление. Но мне, признаюсь, больше по душе, как это сделано в стихотворных памфлетах, например, во «Втором китайском».

Марксизм для русского — чужое увлечение.  
Марксизм есть истинно китайское учение.

.....

Спасибо Мао, мудрому, как Сталин,  
Что он нас в заблужденье не оставил,  
Что напрямик, как самый верный враг,  
Разоблачил сусальный маскарад;  
Что правильно и вовремя заметил,  
Где есть марксизму место на планете;  
И показал, его у нас отняв,  
Кому мы в мире все-таки родня.

Но вот на собственных социально-политических концепциях Г.Подъяпольского хочется остановиться подробнее. Среди людей моего поколения и круга встречалось немало таких, кто, как и Г.С., видел убогость «единственно верного учения»:

Для самых бедных,  
Для нищих духом  
Была в то время  
Сия наука.

И некоторые пытались найти собственное миропонимание. Но Г.Подъяпольский в своих концепциях антимарксизма и антисоциализма успел продвинуться гораздо дальше нас. И не только нас, о чем скажу ниже. Огромный исторический отрезок времени, прошедший с той поры, позволяет сделать любопытную оценку социально-исторических взглядов и прогнозов Г.Подъяпольского.

Научная несостоятельность многих положений марксизма более очевидна, как это подчеркивал Г.С., представителям точных наук. Тем не менее, даже А.Д.Сахаров достаточно долго питал иллюзию относительно возможности либерализации и демократизации общества в рамках существующего строя. А скольких из нас, подобно А.Д.Сахарову, увлекла было модная теория конвергенции двух систем? По мысли Г.Подъяпольского, реальный социализм есть тот же капитализм с некоторыми специфическими чертами, что снимает самый вопрос о конвергенции. На этом фоне простительно его заблуждение, что «социализм — высшая стадия капитализма». В наши дни социализм терпит крушение, в то время как капитализм далек от исчерпания возможностей своего развития. Правильнее, по-видимому, квалифицировать социализм как некую тупиковую ветвь капитализма.

Г.Подъяпольский имел смелость усомниться в истинности и аргументированно отвергнуть краеугольные марксистские догмы о том, что способы производства являются определяющими условиями жизни общества, а борьба классов — движущей силой истории. В наши дни в развитом капиталистическом обществе наблюдается такая размытость классовых границ, что индивидум порой может принадлежать к классу эксплуататоров и к классу эксплуатируемых одновременно. А куда прикажете нынче отнести интеллигенцию? Интеллигент не стоит у станка — тем не менее, создает *товары*, которые можно (согласно Марксову определению товаров!) продать-купить. Например, техническую документацию или компьютерные программы.

Хочу еще напомнить об удивительной догадке, что в эпоху НТР реальный социализм является, «по-видимому, более жестким тормозом на пути дальнейшего развития общества, чем классический капитализм, организационно менее совершенный и поэтому более гибкий». Это сформулировано тогда, когда большинство из находившихся на переднем крае отечественной науки и техники было убеждено в обратном. Время вполне подтвердило догадку Г.С.: научно-техническое отставание «развитого социализма» от «загнивающего» капитализма приняло катастрофический и необратимый характер.

Я напоминаю эти ныне всем известные вещи, чтобы подчеркнуть провидческий характер выводов Г.Подъяпольского, сделанных полвека назад.

У Г.С. была ясная концепция сущности социализма как реального явления до «десяти моделей социализма» З.Бжезинского и задолго до монографии И.Шафаревича. Даже в начале 70-х годов, когда писались воспоминания, парадоксально смелой казалась, например, мысль: «Нельзя утверждать и даже гарантировать, что социализм, если ему предстоит достаточно длительное существование, никогда не вернется к традиционной форме наследственной монархии, как это ни представляется сейчас немыслимым». И вот спустя четверть века в еще сохранившемся северокорейском заповеднике классического социализма власть абсолютная и ничем не ограниченная переходит от отца к сыну.

Социально-политические идеи Григория Подъяпольского дошли до нас в конспективной форме в рамках мемуарного повествования. Ему не довелось, как он это намеревался сделать, изложить их в отдельной книге. Это огорчительно для нас — современников — и ощутимая потеря для будущих историков.

Сергей МЮГЕ

## Мои воспоминания

**В** середине 60-х годов политический климат в нашей стране начал изменяться. Хрущевская оттепель явно стала замораживаться деятельностью КГБ. Пошли новые аресты инакомыслящих или заключение их в психиатрические больницы Но, в отличие

от сталинского времени, появились и голоса протеста против репрессий — писались письма в соответствующие органы, собирались демонстрации. Свободомыслящая интеллигенция потянулась друг к другу, часто собираясь на квартирах друзей. Одной из таких квартир был дом бывших узников сталинских лагерей и тюрем Юрия Александровича Айхенвальда и его жены Валерии Михайловны Герлин, учителей литературы. Они сумели привить ученикам не только любовь к литературе, но и независимое мышление. У них в доме собиралось несколько поколений учеников, давно закончивших школу, а также любители стихов. В этом доме я впервые встретил Вадима Делоне, Колю Глазкова, Юлю Вишневскую, организовавшую что-то вроде Союза молодых гениев (СМОГ).

Однажды мы с женой встретили там поэта средних лет, стихи которого нам очень понравились, хотя были написаны вольным стилем и изобиловали символикой. Это и был Григорий Подъяпольский. У нас как-то сразу возникла взаимная симпатия. И не только потому, что мне понравились его стихи. В то время было принято делить интеллигенцию на «физиков» и «лириков». Гриша был явно физик и даже работал в Институте физики Земли АН СССР, но при этом не потерял свойств, которые присущи лирикам.

У Подъяпольских по средам был «дом открытых дверей», куда без особого приглашения могли приходиться знакомые и приводить своих знакомых. Семья занимала квартиру из трех комнат и состояла из шести человек — супругов, их дочери Насти и трех старушек, одна из которых была парализована, и семья очень трогательно за ней ухаживала. Вообще семейство производило впечатление удивительной в наши дни дружбы и заботы друг о друге. Обычно Маша — жена Гриши — пекла в этот день пироги, но если гость приходил с работы голодный, а пироги еще не были готовы, ему предлагалось что-нибудь оставшееся от обеда. В общем, дом отличался какой-то удивительной теплотой, и человек ощущал себя в нем скорее не гостем, а чуть ли не членом их дружной семьи. Все это мы с женой ощутили чуть ли не в первое же посещение этого дома. По выражению Маши, в их доме «жили стихи». Не удивительно, что туда тянулись, и некоторые из друзей старались ввести туда своих знакомых, как бы желая похвастаться им знакомством со столь интересным домом.

Однажды моя жена Ася Великанова привела к Подъяпольским знакомую, с которой познакомилась в больнице. Она была замужем за фрондирующим философом Генрихом Батищевым, который воспытал желанием тоже посетить фрондирующий дом и напросился в компанию, где мы собирались встречать Новый год.

Все присутствовавшие люди, весьма далекие от марксистской идеологии, впервые встретили в неформальной обстановке живого марксиста и забросали его всякими острыми вопросами. Генрих яростно защищался, доказывал, что Маркс настолько разносторонен, что его нельзя делать догмой, что у него было много высказываний, противоречащих тому, что является сейчас официальным марксизмом.

Гриша в этом споре участия практически не принимал. У меня создалось даже впечатление, что он спит или дремлет, так как сидел он с прикрытыми глазами. Когда под утро большинство гостей разъехались, Гриша прочел новое стихотворение. Начиналось оно так:

В древнебрежневское время  
Жил в России бедный Генрих...  
— Бедный? — Полно! — Отчего? —  
Благородное чело,  
Рост — высокий, взгляд — горящий,  
Жест — профессор настоящий,  
А борода, хоть бела,  
Очень славная была.

Дальше в шестидесяти двух четверостишиях Гриша в виде диалога передал содержание спора с поразительной точностью.

Это стихотворение заставило меня поволноваться, когда на него наткнулся следователь, производивший обыск в Харькове у Алтуняна.

Следователь обратил внимание на строчки: «В древнебрежневское время...»

— А це шо?

— Разве вы не чувствуете, что это поэзия восемнадцатого века? — спокойно спросил Алтунян. Следователь отложил стихи в кучку — не брать.

У нас «день открытых дверей» был по четвергам, и Подъяпольские обычно их не пропускали. Однажды мы с женой пошли провожать гостей до автобусной остановки. У нас в этот день были Вадим и Зарина Щегловы и кто-то еще. Вдруг Маша вспомнила, что забыла у нас сумочку. Я предложил сбегать за ней. Когда возвращался к остановке, то встретил бегущую мне навстречу всю компанию. Оказалось, произошло следующее: на остановке гости продолжали обсуждение затронутой ранее темы. Там стоял явно подвыпивший «работяга», который принял наших гостей за евреев и разразился антисемитской тирадой. Гриша, ярко выраженный интеллигент, вдруг сорвался и залепил работяге увесистый хук в челюсть. Тот упал. Наши женщины испугались, как бы чего не вышло, и пустились наутек. Мужчины последовали за ними. Страх их был оправдан. Если бы в

дело вмешалась милиция, работяга мог бы воспроизвести подслушанный им разговор явно не советско-патриотического толка.

Я пошел на остановку посмотреть, что там происходит, а остальные отправились на остановку другого автобуса. На остановке пьяный стоял на четвереньках и проклинал жидов, захвативших всю его страну, но желания апеллировать к властям не проявлял.

Летом 1968 года мы поехали с байдарками на озера Литвы. Собралось несколько семей с детьми. Жили мы в палатках. Часто проводили время в палатке Подъяпольских, где Гриша читал, одновременно переводя на русский язык, книгу Оруэлла «1984». Недалеко от нас на берегу озера расположилась палатка пожилого профессора, у которого был радиоприемник. Иногда он подходил к нашему костру и делился сведениями, услышанными по радио. Однажды он сообщил, что какая-то западная станция читает памфлет академика Сахарова, другой раз – что советское правительство в весьма угрожающей форме отозвалось о демократических переменах в Чехословакии. Гришу это сообщение очень взволновало, и он порывался даже уехать в Москву. На мой вопрос, что он там будет делать, он ничего конкретного сказать не смог. Просто он твердо уверовал в возможность существования «социализма с человеческим лицом» и надеялся к чему-то приложить руки. Я попытался убедить его, что без конкретной цели он не сумеет сделать что-либо полезное, но они, Подъяпольские, все-таки уехали.

Однажды моя жена стала мне жаловаться, что Гриша ест много масла, даже печенье намазывает маслом. Я спросил:

– С каких пор ты стала скупой? Тебе что, масла жалко?

– При чем тут скупость, – возмутилась Ася, – ты посмотри на его сосуды, просвечивающие через кожу. Для него это может кончиться ударом.

К сожалению, Ася оказалась права.

После нашего возвращения в Москву события стали развиваться своим чередом. Были введены войска в Чехословакию. Об этом мы узнали в день суда над Анатолием Марченко. Потом был арестован генерал Григоренко и организована Инициативная группа по защите прав человека, куда вошел и Гриша. Потом организовался Комитет прав человека, куда вошли В.Чалидзе, А.Сахаров и А.Твердохлебов. Вскоре Чалидзе получил возможность выехать из СССР, после чего был лишен советского гражданства. Вышел из комитета и Твердохлебов. На их место вошли Подъяпольский и Шафаревич.

Таким мне запомнился Гриша Подъяпольский – умный, честный, всегда готовый прийти на помощь тем, кто в этом нуждается, будь то отдельная личность или целый народ.

## Он ушел покурить за барак

Памяти Григория Подъяпольского,  
моего друга, духовного брата.  
К пятилетней годовщине его смерти.

Разбежалось по зоне их войско,  
Бьют тревогу: не сходится счет.  
«Подъяпольского нет! Подъяпольского!»  
Вертухаи бегут взад-вперед.

Лезут всюду, шмонают, как водится,  
Волокут караульных собак.  
Ну чего вы, Кашеево воинство?  
Ну чего, ну чего беспокоиться?  
Он ушел покурить за барак!

Только что ведь сидел за тетрадкой,  
Вот вернется и сядет опять.  
Вы же видите: книжка с закладкою.  
И не надо напрасно искать.

Ну куда вы — такую оравую?  
Все равно он уже за чертой!  
И смеется над вашей облавою  
И над вашей злобой пустой.

Хоть удвойте гон, хоть утроите,  
Но закон Паркинсона суров.  
Он уже на своем астероиде  
Недоступен, как бог Саваоф.

Так живем и пока не печалимся,  
Не жалеем о прожитом дне.  
Хоть рedeют ряды — не отчаемся:  
Вдвое меньше, но крепче вдвойне.  
Мы когда-нибудь все повстречаемся,  
Соберемся на той стороне.

Постепенно, без виз и без допусков  
Все сойдемся в той жизни иной,  
Где не будет допросов и обысков  
И филерской возни за спиной.

Ни солдат, ни этапов с овчарками,  
Ни решеток в окне, ни штыков...  
Соберемся однажды за чаркою,  
Как всегда, напечем пирогов.

За столом мы не будем про тяжкое  
И не станем считать их грехи.  
С мелодичной обычной протяжкой,  
Улыбаясь за чайною чашкою,  
Будет снова читать он стихи!

«Уже давно последний пролетарий,  
Забыв завод, играет на гитаре...

Уже давно у Кащенко скончался  
Последний Маркса, кажется, читавший...

Уже давно ни Штатов, ни Китая —  
Но до сих пор агентами считают...

Но я терпеть не стану больше это,  
Я украду фотонную ракету...

Быть может, где-то, на краю Галактики,  
В каком-нибудь созвездье Птеродактиля  
Еще кружит забытый астероид,  
Где коммунизма все же не построят!»

Так и живем и пока не печалимся,  
Хоть люют их злобная рать,  
Мы — смеемся, мечтаем, не старимся,  
Ну, а если однажды опять

Вновь собьются со счета и — с поиском  
Налетят, — отвечаем им так:



«Ну чего вы, Кашеево воинство?  
Ну чего, ну чего беспокоиться?  
Он ушел покурить за барак!»

*8 марта 1981 г.*

*Тюрьма г.Владимира*

## **Мое тюремное имущество**

Зато с мешками мне не мучиться,  
Не волочить их на спине.  
Мое тюремное имущество —  
Все то, что есть сейчас на мне.

Тут что ни вещь — друзей старания,  
И есть кого припоминать.  
Такого пестрого собрания  
Нарочно было б не собрать!

Такого ладного и ноского.  
Такого теплого вдвойне.  
Вот — брюки Гриши Подъяпольского!  
И — Пети Старчика кашне!

И словно весь я скроен заново,  
Не сразу скажешь, кто есть кто.  
Вот — шапка Тани Великановой,  
Петра Григорьича пальто!

И вновь родные вижу лица я,  
Не устаю благодарить.  
Какая добрая традиция —  
Одежду узникам дарить!

И — словно нету расставания  
И все они опять со мной!  
Как будто всей честной компанией  
Сидим мы в камере одной!

*Декабрь 1979 г.*

*Тюрьма г.Владимира*

## Его улыбка живет с нами

Деда своего, Владимира Андреевича, помню смутно. О его связях, друзьях, оставшихся в России, слышать мне было не от кого. Из услышанных случайных разговоров отца с теткой (так звали мы его старшую сестру Ирину) я узнал, что с семьей Ярцевых восстановлен контакт через некоего Пампулова – фамилия мне показалась забавной. Мой старший брат Миша приезжал в Москву на французскую Техническую выставку в 1962 году. Но ездил он из Парижа и свежими впечатлениями о своей поездке с нами поделиться не смог. К тому же в шестнадцать лет мне и в голову не могла прийти мысль, что я когда-нибудь сам в Россию поеду. Но уже в 1967 году, перед моим отъездом в Москву, тетка скупно – на память всегда жаловалась – рассказала о сестрах Ярцевых, о дружбе своей с Асей. Дома в одном из альбомов среди уцелевших с тех лет фотографий запомнилась одна: три молодые женщины и юноша. Ирина, стрижкой напоминающая Марину Цветаеву, две сестры Ярцевы и папа – смуглый, с густой прядью темных волос на лбу...

Мелькают однообразные постройки. На остановках непривычно молчаливые толпы серолицых людей. Станция «Молодежная». Сквозь толпу надо пробраться, выйти к нужной улице. А они все похожи – и дома тоже. Аллея. Под ногами шелест только что сорванных ветром листьев. У подъезда зоркие женщины без возраста. Прохожу мимо с независимым видом. Лестница. Обшарпанная. Обитая чем-то черным дверь. На звонок – быстрые, глухие шаги. Полная, круглолицая, синеглазая Маша. За ней, среди прущих с полок корешков книг, невысокий мужчина – Гриша.

В то первое посещение я понял, что дом на Молодежной – мой дом, что он один из немногих огоньков, на которые необходимо иногда зайти, чтобы сбросить тяжесть давящей действительности, расслабиться, поделиться впечатлениями. Жиденький колокольчик звонка, быстрые Машины шаги или еле слышные Гришины были вечно повторяющейся увертюрой к моим визитам. Принят я был как родной, вскоре перезнакомился с бабушками – я долго не мог понять, как они размещаются в небольшой трехкомнатной квартире – и с большелобой Настей (в ушах вата, шея обмотана шарфом), восьмилетней девочкой, делившей с отцом любовь к стихам и, как я вскоре

убедился, отлично справлявшейся со всеми не чаявшими в ней души бабушками.

Я был молодым, в делах советских неискушенным. В этом доме на меня лавиной обрушилась информация. Мелькали люди, взвинченные, страстные. Обсуждались не всегда мне понятные события. Я ведь как с другой планеты упал. Но Машина заразительная бодрость, Гришина вдумчивая доброта, его неяркая улыбка меня подбадривали. Я упрекал себя в том, что не подготовился к поездке, что политически несведущий.

Гриша обладал редким свойством. Помните удивительную повесть Фазиля Искандера «Кролики и удавы»? Гриша никогда не вел себя, как кролик, подстерегаемый удавами. На Молодежной я перевидал много разных, подчас замечательных людей. Немало было среди них отважных, храбрых, благородных «кроликов» — то есть они всеми клетками ощущали вездесущих удавов, тем самым давая им осязаемое существование. В Грише же было неподдельное спокойствие человека, с чистой совестью идущего вдоль пропасти, но никогда в эту пропасть не заглядывающего. Я такого второго человека встретил в дяде своем Николае Евгеньевиче Зандроке, к которому ездил в Вологду. Он отсидел одиннадцать лет за «шпионаж в пользу японцев». Жена его предала. Сын, предоставленный самому себе, был забран немцами и попал в Бухенвальд. Так вот дядя Коля не мог считаться с удавьиными законами. Выше этих законов для него, как и для Гриши, были законы человечности, порядочности.

При Грише я чувствовал себя удивительно свободно и легко и, несомненно, хотелось быть «на высоте». Гришу я лучше узнал по его стихам, по его книге о себе, которые переправил дипломатической почтой в Фовьер, во Францию, а затем в издательство «Посев».

Когда пытаюсь восстановить его облик, из воздуха сгущается улыбка острым треугольником и слышится частое сопение человека, страдающего одышкой. Как-то раз Гриша с Юрой Айхенвальдом запихнули меня без предупреждения в ванную комнату — а была она и тесная, и темная. Юра мне стал напористым шепотом внушать, как поступать с будущим издателем его стихов. Несмотря на серьезность дела и положения, у Гриши был, помню, едва уловимый веселый блеск в глазах. Это и объясняет, что с ним я чувствовал себя просто самим собой.

Как-то еще в начале нашего знакомства Гриша с Машей решили меня угостить Переславлем. Стоял лютый холод. Помню, хотелось все увидеть, зарисовать. Я забегал вперед, отставал и поражен был добродушием и терпеливостью моих новых друзей.

Не раз присутствовал в Машином доме при шумных собраниях, когда Алик Есенин-Вольпин, Юра Айхенвальд и Гриша читали стихи. Гришино чтение отличалось скромностью с оттенком ласковой иронии, обращенной как к себе, так и к слушателям. А когда однажды я стал показывать собравшейся публике свои рисунки, наброски, акварели и был уличен в неспособности увидеть скрывающееся в живописных переулках старой Москвы безобразие советской действительности, то тогда в одобрительных кивках Гриши нашел не нуждающуюся в словах поддержку.

Когда Гриши не стало, мы были далеко — растили тройку малышей, и только много лет спустя, добравшись с Машей до кладбища, где покоится Гришин прах, я осознал всю непоправимость потери. Но вновь тихо заиграла неяркая улыбка — и живет она с нами по сей день.

Юрий ОРЛОВ

## О ненасилии

Григорий Сергеевич Подъяпольский вошел в историю правозащитного движения, а значит, в историю вообще, как член первой в СССР Инициативной группы защиты прав человека — с момента ее появления в 1969 году до своей преждевременной смерти — и как член Сахаровского Комитета прав человека с 1972-го. Счастливая, на самом деле, биография!

Я встретился с ним впервые только в 1974 году — на квартире Андрея Дмитриевича. Главная причина «задержки» была в том, что с 56-го по 73-й год мне не разрешалось — это было официально сказано — работать в Москве, я был лишен также прописки. В 73-м друзья-ученые смогли устроить мне работу в Троицке, это близко от Москвы, и прописку. Правда, с 74-го я не мог уже работать нигде (разве в лагере, что было осуществлено позже), но московская прописка сохранилась, и я жил в Москве, по диссидентской мерке, свободно.

Подъяпольский мне понравился еще до того, как я узнал — через несколько дней после встречи, — что это Подъяпольский (у А.Д., по

понятым причинам, никто никому не представлялся, никто никого не представлял и фамилий не спрашивал, за исключением посетитель от КГБ, но у тех были печати на лбу: К.Г.Б.).

Мы с ним произошли из диаметрально противоположных кругов. Он (как кто-то мне объяснил) из дворян и уж точно из интеллигентов, я — из рабоче-крестьян и точно не из интеллигентов. Но такое сравнение пришло мне в голову сейчас, а в момент встречи и позже и вообще никакого значения это не имело и иметь не могло. И Вышинский (не кардинал, а прокурор) — дворянин, и Хорст Вессель, героический нацист, — рабочий, и Ленин (диктатор-преступник) — интеллигент. Правда, московские интеллигенты признают интеллигентами только тех, кто похож именно на них, но это не помогает прояснению сложной истины. Лучше признать, что, скажем, Эзра Паунд, великий американский поэт, пацифист (но одновременно итальянский профашист), такой же интеллигент, как Андрей Сахаров, великий русский демократ и физик и реальный борец за мир (но дизайнер бомб до того).

То, что Григорий Сергеевич был математик, а я физик-теоретик, конечно, облегчало нам общение, это было как бы знание секретного языка, к помощи которого можно иногда прибегнуть. Но не более того, так как никакого специального пиетета по отношению к ученым *за рамками науки* ни я, ни он не испытывали. Не трогая уж математиков (горячее место), упомяну двух замечательных физиков, Ленарда и Франка (не нашего Франка, а немецкого, но тоже нобелевского лауреата), — убежденных нацистов. Гении и злодейства «совместны», и не приведи Бог увидеть *научную* диктатуру, осмысленную и беспощадную. Уж лучше бунт. Как раз о бунте и пойдет речь впереди.

Итак, не в том дело при общении с Г.С.Подъяпольским, который мне сразу и просто понравился, что он был интеллигент, дворянин, математик и поэт. Как многие люди, я судил и сужу людей *гласно* по делам — и тут у него все было в большом порядке, а *негласно* — еще по лицу, глазам, голосу. Там было тоже все в порядке. От природы, но также, вероятно, от постоянной занятости мыслями, он был предельно естествен. В этом качестве его можно сравнить с Сахаровым, хотя Г.С. был совсем другого склада, более ироничен и как бы более ровен.

Читая сейчас его незаконченную книгу воспоминаний и его стихи, я вижу, что достаточно цельная *для того времени* концепция относительно советского режима и своего места (не в режиме, конечно, а в полосе отчуждения от него) была им продумана задолго до семидесятых. Однако сейчас, в конце 90-х, хорошо видно, как много

нами, правозащитниками, тогда недодумано или обдумано *в общем*, что иногда еще хуже. Мы совсем не представляли себе переходного периода к демократии, и уж тем более — обратно к капитализму. Мы не обдумывали конкретно, как вести правозащиту в условиях национального развала и так далее. Это касается и концепций Подъяпольского, но, как я тогда же заметил, отличие состояло в том, что он продолжал напряженно и критически обдумывать свои заключения.

У нас зашел с ним разговор об отношении правозащитников к насилию. Казалось бы, просто. Ан нет. В то время шли рабочие волнения в Польше, беспорядки. Небольшая группа рабочих приварила к рельсам колеса товарного состава, везущего картошку в СССР. Их там судили и приговорили к срокам от одного до трех лет. Владимир Альбрехт, усилиями которого после ареста Твердохлебова продолжала реально функционировать группа Международной амнистии, составил обращение в их защиту и собирал подписи. Я подписал, но довольно многие правозащитники решили, что не должны защищать акции такого рода: хоть и не насилие, но диверсия, опасно близко к насилию. О защите же бунтовавших рабочих не могло быть и речи: даже общенациональные забастовки рассматривались тогда некоторыми диссидентами как акты насилия — над теми непричастными гражданами, кто страдал от забастовок. Кроме того, это все была политика, а мы — правозащитники.

Я спросил у Г.С. его мнение. После некоторого размышления он сказал, в основном, следующее: «Вы-то правы. Но вообще «все» зависит от конкретной ситуации. Если наши рабочие восстанут против этого режима и начнутся репрессии, то, конечно, нам надо будет защищать рабочих. В тоталитарном режиме невозможно строго отделить правозащитную деятельность от политической. Но в демократических условиях можно. И там наши правозащитники были бы правы».

Я думал то же самое. Суть нашей позиции состояла в том, что — да, догма ненасилия кардинально важна, но все же это не религия и бывают крайние обстоятельства, когда она, не отвергаясь, деформируется этими обстоятельствами. Должна быть разработана менее примитивная теория защиты прав человека, охватывающая внутренне противоречивые ситуации, которых полно в реальной жизни.

Такой цельной теории нет до сих пор, и не видно, будет ли. А Подъяпольский давно умер.

*19 февраля 1997 г.*

Муза РАМЕНСКАЯ,  
двоюродная сестра Г.С.Подъяпольского

## Записная книжка

Гришину записную книжку со стихами я подобрала, когда он (в 1947 или 1948 г.) хотел ее выбросить. У меня ее «увела» подруга, но, дочитав до конца, сожгла — испугалась (призналась в первом и во втором уже в пятидесятых годах).

Открывалась она стихами:

Впрямь ли, вкось ли, вширь ли, ввысь ли —  
Все гуляю напролом  
В бесконечных дебрях мысли  
С беспощадным топором.  
Разрубаю, расшибаю, разрушения несу  
И дорогу прорубаю в удивительном лесу.  
Сокрушаю без пощады  
Ветви, сучья и стволы —  
Толстобокие громады,  
Древовидные скалы.  
Сосну срубишь в три обхвата,  
Но [прока] в этом нет.  
Не пускает пасть собрата  
Стообхватовый сосед.  
Вот свалил, но плодородна  
Мать-земля, как видно, тут.  
И гигант, ему подобный,  
Вырастает в пять минут.

\* \* \*

На воде дрожит дорожка лунная,  
Едет ночь в серебряной карете...  
Все же в морду никому не плюну я —  
Видите, насколько я корректен!  
Встали в ряд деревья вековые,  
Осторожно шепчутся в тумане...  
Никому тоски своей не вылью  
Видите, насколько я гуманен?

\* \* \*

Собрались за столом идики\*  
И рассуждают о политике.  
Сообщают сведения точные  
Из достоверных источников.  
Высказывают умные суждения  
С глубочайшим убеждением...  
А на самом деле просто рисуются,  
Будто все знают и всем интересуются.

\* \* \*

«Сократить на столько-то миллионов  
Население земного сфероида!»  
И вот рождаются наполеоны  
И разыгрывается героика.

Человеческая культура перемалывается в порошок,  
Рушится в орудийном гаме.  
Материки и океаны на некоторую пору  
Переворачиваются вверх ногами.

Лопаются союзы и крепления,  
Рушатся идеи и империи...  
Обжигает глаза целому поколению  
Этот великолепный фейерверк.

*Не позже 1947 г.*

А.Д.САХАРОВ

**Из книги «Воспоминания»\*\***

**Н**аши жизненные пути пересеклись впервые в 1970 году, сначала заочно — его и моя подписи оказались рядом под «надзорной жалобой» по делу Григоренко, составленной Валерием Чалидзе.

---

\* «Идики» — сленг 40-х годов, так называли интеллигентов.

\*\* Нью-Йорк: Издательство им.Чехова, 1990.



Я тогда только начинал свою правозащитную деятельность. Григорий Подъяпольский уже имел в ней важные заслуги — он был участником и одним из зачинателей Инициативной группы по защите прав человека. Демократический, честный и открытый дух этой правозащитной ассоциации несет на себе печать убеждений, ума и светлой личности Гриши (и его друзей — Т.Великановой, С.Ковалева, А.Лавута и других).

В 1972 году, после выхода Чалидзе из Комитета прав человека, Подъяпольский вошел в него. Нам удалось сделать кое-что полезное как в рамках Комитета, так и — особенно — вне их, в более гибких формах обычной «правозащитной гласности». Гриша был при этом инициатором некоторых документов. В эти годы мы (я говорю о членах нашей семьи) очень подружились с Гришей и с его женой Машей. Это была прекрасная дружная пара, их взаимное уважение и любовь радовали душу.

Гриша обладал очень нетривиальным умом, рождавшим часто неожиданные идеи. Для него характерны непримиримость к любым нарушениям прав человека и одновременно исключительная терпимость к людям, к их убеждениям и даже слабостям. Последнее качество иногда заводило его куда не следует, но как-то так всегда получалось, что он выходил незапятнанным, с честью. Гриша, мягкий и добрый человек, при защите своих убеждений был твердым, не поддающимся никакому давлению. Многочисленные допросы и другие попытки сломить, запугать или запутать, обмануть его всегда оставались безрезультатными.

По профессии он был физик, специалист по применению физико-математических методов к геофизическим проблемам. Его исследования в области физики подземных взрывов, сейсмологии и цунами были весьма важными и результативными. Конечно, формальная его научная карьера совсем не соответствовала значимости полученных им результатов. Среди специалистов он при этом пользовался авторитетом. Гриша писал стихи. Не могу сказать, чтобы они мне нравились: это дело вкуса, но стихи были самобытными.

На Западе посмертно опубликована книга его воспоминаний. Хотя он и не успел их дописать, но и то, что есть, — очень интересно и талантливо.

Умер Гриша от кровоизлияния в мозг в возрасте сорока девяти лет в командировке, куда его срочно направили перед съездом КПСС, очищая Москву от нежелательных элементов (соображения дела, службы при таких командировках просто отсутствуют; Западу это, вероятно, покажется странным). Похороны Г.С.Подъяпольского состоялись в Москве.

Опасаясь, что КГБ не даст мне говорить в зале крематория, я произнес свои прощальные слова в тот момент, когда траурная процессия остановилась перед залом. Я держался при этом рукой за крышку гроба; это было как бы последней связью, соединявшей меня с Гришей. В зале тепло выступили сослуживцы и жена П.Г.Григоренко Зинаида Михайловна, назвавшаяся родственницей покойного, иначе ее не допустили бы выступить. Ясно, что и мне бы не удалось.

После смерти Гриши Маша остается нашим большим и верным другом.

Андрей СКОРИКОВ

## **Пространство и время Подъяпольских глазами племянника**

### Шахматные часы

Григорий Сергеевич Подъяпольский — дядя Гриша — читал беспрестанно. Всегда он был с книжкой в руках: когда стоял, когда сидел, когда лежал, когда обедал, когда шел — всегда. Лишь только одно занятие могло оторвать его от книг — это шахматы...

Прошло много лет, но я отчетливо вижу еще молодого дядю Гришу, склоненного над шахматной доской: его изящные белые пальцы и благородный высокий лоб, вьющиеся светлые волосы — прямо «Белый король», но белая же, белоснежная рубашка с навечно растегнутой верхней пуговицей выдавала философа и поэта.

Вообще, мне кажется, что шахматы для него были не спортом — сражением с противником, а демонстрацией своего интеллекта, своей «грандиозности» (как выразился один словацкий литератор). Это был такой русский Лао Цзы, живущий в своем мире, своем времени. Недаром обязательным атрибутом в его игре были шахматные часы: в одном корпусе у них два циферблата, два (идуших каждое по-своему) Времени. То есть в одной игре, одной стране, за одним шахматным столом, в одном времени у каждого игрока свои часы, свое Время. Вся жизнь дядя Гриша обитал в этом своем Времени, как в некоем

волшебном пространстве — «Вселенной разума». Думаю, что проникнуть внутрь этого «воздушного замка» могли лишь два человека, две прекрасные женщины: его жена и дочь.

Но жизнь почему-то не любит воздушные замки, точнее, любит их разрушать... Наступили «оттепелевые» шестидесятые годы, а потом и «холодные» семидесятые. Дядя Гриша не мог не реагировать на происходившее вокруг; он не умел «не замечать». Помню, мы с ним возвращались на электричке с дачи в Москву. Мне лет восемь-десять, и я от скуки пытаюсь привлечь его внимание. Ничего не получается — он, как всегда, совершенно поглощен книгой. И тут в вагон входит пожилая женщина. Я еще ее не вижу, а дядя уже уступает ей место.

Впрочем, вернемся к шахматам. Всегда и со всеми дядя играл честно и останавливал свои часы, чтобы перевести дух, лишь сделав ход. Сначала он играл только со своими друзьями, но потом появились другие партнеры. О себе они говорили, что у них «холодный ум, горячее сердце и чистые руки». Свои часы они остановили еще в 1917 году, а его часам они не давали остановиться, и его Время кончилось слишком быстро. Его флажок на часах-башне упал навсегда...

Часы эти с тех пор не ходят. Они живут у меня. Смотрят двумя своими круглыми глазами на меня и на нашу жизнь. А я смотрю на них и вижу их хозяина — Человека, который управлял Временем.

## Воздух Москвы

«Носится в воздухе» — это именно о московском воздухе. Именно это — главная особенность воздуха Москвы: он впитывает все, что в городе происходит, о чем говорят и о чем думают. Человек тонко чувствующий может, не ходя в театры и выставочные залы, «посмотреть» все театральные постановки, «побывать» на всех вернисажах. Но чтобы чудесный этот воздух не застоялся, всегда были в Москве особенные люди — люди-поршни, они его разгоняли, превращая окаменевшие воздушные громады то в приятный освежающий ветерок, то в стремительный вихрь. Эти люди, как реальные, так и «фантастические», созданные воображением гениев, — *живые*, и живут они в четвертом измерении московского пространства — московском воздухе. Это Пушкин, это булгаковская Маргарита, это «Влюбленные» Марка Шагала...

Одним из этих небожителей в Москве была Мария Гавриловна Петренко-Подъяпольская, моя тетья, мамина сестра тетья Маша. Она моментально пролетала из конца в конец по-над промерзшей, примерзшей к земле Москвой, а за ней в струях теплого воздуха расцве-

тали волшебные цветы — цветы любви. Она все и всех видела из поднебесья и всегда спешила на помощь тому, кто был в беде или просто в чем-то нуждался: моментально организовывала, связывала людей, устраивала судьбы, спасала, кормила, лечила... Почти всегда ей сопутствовала удача. Действия ее всегда были парадоксальны, а, как писал Пушкин, «гений — парадоксов друг».

Бесконечно много она сделала для политических заключенных, впрочем, ее активная доброта была направлена на всех. Не раз и я испытал ее на себе.

Шел 1980 год. Я бросил работу, а перспектив трудоустройства по моей специальности (художник) — никаких. Тут же «с неба» слетает тетя Маша, хватает меня в охапку и тащит на другой конец города, объясняя по дороге: «К солагернику А.И.Солженицына, прототипу его литературных героев — Володе Гершуни».

Володя неделю назад выпущен КГБ из «психушки», а через неделю будет снова посажен. И вот за этот краткий миг свободы «анти-советчик» Гершуни успеваешь и властям насолить, и меня трудоустроить, да не куда-нибудь, а в Центральный академический театр Советской Армии. Работал я там недолго, но я всегда буду помнить милейшего, бескорыстного, честного, чистого человека — «непобежденного» Володю Гершуни и благодарить тетю Машу за то, что связала нас, как потом оказалось, на всю жизнь.

Сотни людей связала она нитью любви. Казалось, ниточке этой не будет конца. Но вот однажды она села в самолет и улетела. «Порвалась жизни связующая нить», и в воздухе Москвы вместо Пушкина и Маргариты, вместо «Влюбленных» Шагала висят воздушные шары и шарики с рекламой всякой дряни.

Борис СКОРИКОВ

## В памяти

Панихида по Грише Подъяпольскому в московском крематории началась уже в вестибюле. Служители не спешили открывать ритуальный зал, и неизвестно, сколько времени мы простояли бы перед закрытыми дверями, если бы вдруг стихийно не началась

панихида. И начал ее Андрей Дмитриевич Сахаров. Он взобрался на какое-то возвышение и начал говорить о Грише. В довольно многочисленной неподвижной толпе пришедших проститься тут же началось движение. Какие-то молодчики стандартного внешнего вида с одинаково испуганными выпученными глазами засуетились, зашныряли по вестибюлю, пытаясь как только можно помешать спонтанному митингу. Они расталкивали людей, фотографировали, что-то рычали, притащили даму-служителя крематория, которая истошно завопила о недопустимости панихиды здесь, в вестибюле. И было видно, что не только в вестибюле, но и в ритуальном зале они хотели бы помешать панихиде, задушить ее и знали, как это сделать. Но карты их оказались перепутаны внезапным, неожиданным для них ходом событий.

Сахаров заговорил взволнованным, сбивающимся, совсем не ораторским голосом, но очень убедительно, не обращая внимания на суету вокруг. Он говорил о борце за права человека, ученом, поэте, человеке. До этого я мало знал об отношениях Гриши и Сахарова, но здесь мне показалось, что Андрей Дмитриевич говорил о близком ему человеке. Он говорил довольно долго даже после того, как служители, наверное, получив указание, наконец открыли дверь в ритуальный зал и стали усиленно заталкивать туда присутствующих.

Пока Сахаров выступал, в памяти возникали зримые картины Гришиной жизни, как бы иллюстрации к тому, о чем он говорил.

Яркой страницей мелькнуло воспоминание о его работе в Институте физики Земли, где Гриша занимался проблемами цунами. Мне казалось, что интересы выпускника Нефтяного института, который Гриша закончил, находятся где-то в стороне от этих проблем. Его намерение познакомиться с работами моего учителя по Инженерно-строительному институту В.З.Власова, крупного ученого в области упругих оболочек, удивило. Однако, когда Гриша рассказывал о законченной диссертации, я понял, что математический аппарат строительной механики оболочек он искусно переработал применительно к динамической задаче цунами. От специалистов я слышал, что в его диссертации найдены существенно новые решения в теории цунами.

Защитить диссертацию ему не дали: партийное бюро Института физики Земли не могло выдать известному диссиденту положительную характеристику, а в то время это было больше, чем научный авторитет. Гриша об этом говорил с юмором и иронией, что вообще ему было очень свойственно. Со смехом до слез он рассказывал о комической истории одного изобретения. В Политбюро на имя Хрущева пришло письмо из Тамбова от какого-то изобретателя с пред-

ложением поместить СССР в благоприятной для сельского хозяйства и населения климатической зоне. Для изменения климата изобретатель предлагал «простой» способ: направленным взрывом ядерного заряда в расчетной точке околоземного пространства повернуть ось вращения Земли таким образом, чтобы вся территория СССР оказалась в самой благоприятной климатической зоне. Заодно убили бы и второго зайца: задвинули Америку куда-нибудь в Заполярье. Из секретариата Хрущева письмо переслали в Институт физики Земли, а там поручили Грише подготовить ответ. Я не помню точно его ответа, но, судя по Гришиному хохоту, он соответствовал самой «идее».

Гриша писал интересные стихи. Они были образны, остры, политизированы. Стихи были выражением его борьбы за права человека и преобразование общества.

Как-то я записал на пленку в его чтении «Нигилистов» и другие известные теперь его стихотворения. После его смерти эту пленку крутили в каждый день его рождения, когда собирались его друзья. Но после одного из очередных обысков в их доме пленка эта, очевидно, переехала в лубяньские подвалы, откуда, как известно, редко что возвращается. Потом Гришин стихотворный голос долго и очень точно звучал в чтении И.Кристи и Ю.Айхенвальда на тех же ежегодных днях рождения. К несчастью, замолк и Айхенвальд...

Гриша не только писал сам, но и любил стихи. Не могу вспомнить, кого из поэтов он предпочитал, но помню, что Маяковского высоко ценил за богатство рифм. Примерно в 1957 году я прочитал ему стихотворение, написанное в его духе (размеренно, с подчеркнутыми ударениями).

Еще не смолк парадный звон литавр,  
Еще не высох похоронный лавр,  
И мавзолея неразборчивый порог  
Не позабыл еще светлейших ног,  
Еще напуганный не выбрался из нор  
Лакеев подхалимствующий хор,  
Еще живем мы в многоцветных снах,  
И на дворе стоит пока весна.

Ему понравилось, но он выразил сомнение насчет весны и оказался прав: короткая «весна» вскоре сменилась «осенью».

Однажды в день своего рождения Гриша читал нам свои стихи и среди них известную «Крысу». Я экспромтом предложил несколько иронизированный вариант «Крысы», посвященный ему.

Я корабельная крыса,  
Бесстрашная и вездесущая,  
Я в трюмах по бочкам не рыскаю  
В поисках сала насущного.  
Мне пища чужда телесная,  
Питаюсь я лишь эдингтонами,  
Поэтому мне лишь известно,  
Когда с кораблем все утонем мы.

Он очень смеялся и обратил внимание на рифму «эдингтонами — утонем мы».

Я вспомнил эти стихотворения потому, что Грише они понравились и стали частицей моей памяти о нем.

Из его неустанной правозащитной деятельности вспомнился эпизод. На одну из намечавшихся правозащитниками демонстраций (кажется, по поводу чехословацких событий 1968 года) Гриша не пошел. На вопрос почему, он ответил, что боится. Тогда мне это показалось странным, не укладывающимся в сложившееся о нем представление как о решительном, бескомпромиссном борце за права людей, каковым он и был в действительности. Позже я понял, что Гриша был не борцом-мучеником, а бесстрашным борцом-теоретиком. И, наверное, это хорошо: в любом деле нужны разные люди, да и каждому свое.

Сахаров кончил говорить, гроб перенесли в ритуальный зал, там тоже выступали и друзья, и не совсем друзья, но это не сохранилось. В памяти осталось только: Сахаров — Гриша.

*1996 г.*

Леонард ТЕРНОВСКИЙ

**Григорий Подъяпольский\***

Григорий Сергеевич Подъяпольский... Я написал это имя, и сразу же рядом встает другое — Мария Гавриловна, Маша Пет-

---

\* Из очерка «Тайна ИГ» (Российский независимый исторический и правозащитный журнал «Карта». № 22/23).

ренко-Подъяпольская, его верная спутница и жена. Больше двух десятков лет они прожили вместе.

Знакомые места становятся чужими, когда их покидают наши друзья. Лет десять я не бывал в том краю Москвы, но и сегодня, кажется, без труда отыскал бы тот дом возле — тогда конечной — станции метро «Молодежная», ту гостеприимную квартиру на втором этаже пятиэтажной «хрущевки». Да только нету в ней давно тех хозяев.

Как мы познакомились? Людмила, моя жена, припоминает, что было это в десятую годовщину смерти Бориса Пастернака, 30 мая 1970 года. Многие приезжали в тот день на его могилу. На обратном пути из Переделкина, в электричке, моя Людмила разговорилась с Марией Гавриловной, и она пригласила нас приезжать на их «среды». Дом Подъяпольских славился этими традиционными вечерами, на которых читались стихи, велись вольные разговоры на литературные и общественные темы за застольем с чаем и знаменитыми Машинными пирогами.

Гриша писал и сам. Сборник его стихов «Золотой век» был издан за границей в 1974 году. Лично мне лучшими в нем кажутся три стихотворения на евангельские темы (цикл «Пророк»). Впрочем, сам автор, по собственному признанию, будучи «реалистом и атеистом», лишь воспользовался евангельскими сюжетами, привнеся в них черты и краски современности.

В квартире Подъяпольских мне запомнилось множество книг в шкафах и на стеллажах, семейные фотографии и гравюры на стенах, большой портрет Е.Олицкой, эсерки, политзэчки и автора известных мемуаров. Запомнился сам хозяин, крупный, со светлыми с желтизной, зачесанными назад волосами. Родился Подъяпольский в 1926 году, в семье потомственных интеллигентов. Ученый-геофизик по профессии, вольнодумец и вольтерьянец по складу ума, Гриша был человеком большой отваги и личного мужества.

Еще до вхождения в Инициативную группу он выступал в защиту А.Гинзбурга и Ю.Галанскова. Правозащитная деятельность Подъяпольского повлекла предвидимые последствия. Сначала его не допустили к защите диссертации, а в 1970 году уволили из Института физики Земли, где он проработал семнадцать лет. Несколько месяцев он не мог найти работу. И далее — известный набор «воспитательных» мер для устрашения непокорных: допросы, обыск в мае 1972-го. В апреле 1973-го была сделана попытка поместить Подъяпольского в «психушку». А именно: его срочно пригласили в военкомат. Сначала — по телефону, потом — в тот же день — повесткой, которую «по пути» занес к нему полковник из военкомата. Явиться завтра к такому-то часу. Срочность и настоятельность вызова насто-



рожили Гришу. Уж не ловушка ли это? Ю.Мальцева вот тоже приглашали в военкомат, а оттуда отвезли напрямик в «Кашенко». Не поджидает ли и его в военкомате «психовозка» с санитарями? Наутро Подъяпольский направился в военкомат, но, проявив швейковское усердие, сумел опоздать на несколько часов и явиться туда, когда его там уже перестали ждать. Зато он смог убедиться, что его действительно хотят направить на стационарную психиатрическую экспертизу. В тот же вечер информацию об этом он сумел довести до сведения иностранных корреспондентов, и она пошла гулять по «голосам». Власти, видимо, не ожидали такой быстрой огласки. И беда отступила.

Но надолго ли? Ведь Подъяпольский оказался «трудновоспитуемым» и продолжал активную и разностороннюю правозащитную деятельность. Он выступал в защиту П.Григоренко, А.Амальрика, В.Буковского, Л.Плюща, Г.Суперфина, С.Ковалева и многих других, против психиатрического террора, призывал ко всеобщей политической амнистии и к отмене смертной казни. В октябре 1972 года Подъяпольский вошел в Комитет прав человека, образованный в 1970 году А.Сахаровым, А.Твердохлебовым и В.Чалидзе. И до конца оставался активным членом ИГ, участвуя практически во всех ее документах.

Приходится ли сомневаться, что в недалеком будущем Подъяпольского ожидали арест, суд и лагерь? Судьба распорядилась иначе. Неожиданная смерть, вероятно, избавила его от годов неволи. Кто сейчас вспомнит, какой по счету съезд КПСС проходил в начале 1976-го? Но в преддверии этого «всемирно-исторического события» Москву, согласно советским традициям, очищали от «нежелательных элементов». Кого-то сажали в милицию на пятнадцать суток, кого-то запикивали в «психушки», кого-то отправляли подальше от Москвы. Гришу послали в командировку. В дороге с ним случился инсульт, и 8 марта 1976 года он умер в саратовской больнице на руках у приехавшей жены. Ему не исполнилось и пятидесяти лет.

Всякий человек неповторим и незаменим. Но после Гришиной смерти Мария Гавриловна сумела сохранить дух и традиции дома. И даже когда их дочка Настя вышла замуж, когда появились внуки, — за семейными хлопотами Маша не отдалась от прежних друзей. В самые глухие годы начала 80-х, когда КГБ довершал разгром правозащитного движения, когда А.Сахаров был заперт в Горьком, Маша, как и раньше, жила тревогами и заботами своих друзей. И не переставала вступаться за них, когда их хватала когтистая лапа госбезопасности. Особенное участие она принимала в судьбе «горьковчан» — А.Сахарова и Елены Георгиевны. А в декабре 1986 года со всеми нами она радовалась их возвращению.

Вместе с Настиной семьей в декабре 1988 года Маша уехала в Америку. Когда летом 1990-го мне довелось навестить ее в Бостоне, она говорила, что до сих пор ее глаза все время смотрят на восток, вглядываясь в оставленную Россию. И когда это стало возможным, Маша не раз приезжала в Москву и навещала друзей.

Вадим ЯНКОВ

## Гриша

Гриша Подъяпольский неожиданно и преждевременно ушел из жизни в то время, когда я начинал понимать весь сложный рисунок его личности и проникаться к нему все большим уважением и любовью. Сначала вводили в заблуждение небрежно-аристократический внешний облик, приветливость, гостеприимство, непринужденность, широта, казалось бы, трудно совместимые с ответственностью и определенностью. Постепенно, однако, начало выясняться, что сердцевина личности в Грише стальная, что он из тех людей, которые при первом соприкосновении с ними кажутся мягкими, более того, эта мягкость не исчезает никогда, но содержание, скрытое за вежливыми или даже любезными оборотами речи, не изменится; от сказанного никогда не отрекутся, не выдаваемое никогда не будет раскрыто; обещанное будет непременно сделано; словом, из тех людей, на которых можно положиться абсолютно.

Время наших контактов совпало с развитием сопротивления («диссидентства») вширь. Общество бросало властям все новые и новые вызовы. Люди открыто объявляли себя борцами за человеческие права, не считаясь с возможными последствиями. Одновременно расцвела и нелегальная деятельность, выражавшая себя в свободном слове, а значит, легальная по сути дела, но не проявлявшая себя открыто из-за понимания быстрых последствий. Я имею в виду издание «Хроники текущих событий» и другие публикации, ей подобные. Об участии Гриши в последней форме деятельности пусть расскажут люди, наиболее близкие к нему, — я никогда не стремился проникать в секреты такого рода. Но Гришина деятельность как «легала» была перед нами открыта.

Наиболее памятным эпизодом является, разумеется, Гришино участие в созданном Валерием Чалидзе Комитете прав человека, как бы академической организации, изучающей различные аспекты реализации прав человека в Советском Союзе и готовой предложить свою помощь правительству. В документах Комитета тон всегда был выдержанный и спокойный, никаких открытых вызовов властям не бросалось, но за этим стояла тщательная и кропотливая работа по изучению фактических и правовых аспектов как конкретных случаев, так и нормативных актов. Все это в совокупности должно было особенно злить начальство, так что неудивительно, что Гриша и Маша сразу же оказались в поле наблюдения.

В то время, а может быть и раньше, начались и их «среды», сделавшие их дом важным перекрестком стремившихся к изменениям людей, мыслей, планов, обсуждений. В обычной по планировке советской квартире вдруг чувствовалась атмосфера дворянской усадьбы XIX века. Радушие, хлебосољство, которое в то время вовсе не давалась даром, какая-то поэзия обстановки встречи преображали «большую» комнату в гостиную, как бы помещенную вне времени и пространства, в часть большого дома, наподобие, скажем, мурановского дома Тютчевых. Здесь был и постоянный контингент посетителей, и проезжавшие через Москву люди, диссиденты и не обязательно диссиденты.

Поскольку Маша продлила «среды» и после Гришиной смерти, а также возобновляла их и в свой недолгий приезд в Москву — теперь уже не в своем доме, а у Лавутов — в ельцинское время, то у меня они слились в одну картину.

На первом плане было, разумеется, очарование хозяев, включая их постепенно расцветавшую дочку Настю (один мой молодой знакомый, позже ставший священнослужителем, после однократного посещения дома Подъяпольских долго вздыхал по скромной, но полной обаяния девушке). Потом внимание переходило на сменявших друг друга гостей, которых, впрочем, не представляли церемонно друг другу, предоставляя им самим вступать в отношения. Беседуешь с кем-либо из присутствующих, не очень понимая, кто это, и на тебя производит такое впечатление сила его мысли, точность аргументации, осведомленность в определенной тематике, что поневоле хочется знать, кто это. Иногда же просто слушаешь общий разговор и отмечаешь для себя того или иного из гостей.

Вот это генерал Григоренко с женой и сыном. Вспыхивает спор с одной из православных диссиденток. Речь идет о близких, недавно ушедших из жизни, и собеседница с жаром утверждает, что свидание с ними будет реальностью после смерти. Григоренко возражает, но сколько в его речи деликатности, сколько желаний не оскорбить

веру. А вот остановившийся по дороге из заключения Дремлюга. Что-то колоритное в его фигуре, и она становится естественным центром стола, хотя он держится естественно и просто отвечает на вопросы. Или измученный, но полный достоинства человек рассказывает о лагерном быте, но как-то по-особому. В нем чувствуется человек, владеющий художественной формой, и когда я слышу фамилию — Некипелов, то мне досадно, что я сам не догадался ее вспомнить. Или я оказываюсь за столом рядом с мужчиной немного постарше меня и, казалось бы, неприятным с виду, но по мере разговора проявляющим такое острое видение, что я уже не удивляюсь, когда он оказывается писателем Владимовым, только что порвавшим с официальным положением и ставшим во главе российского отделения Международной амнистии. Впрочем, это уже из позднего времени и происходит в году восьмидесятом или восемьдесят первом.

Среди постоянных посетителей память восстанавливает передо мною яркий образ Иры Каплун. Еще школьницей она начала свой бунт против властей. Ее исключали, вызывали на допросы, арестовывали, отпускали по молодости. Она не сдавалась. Все это чувствовалось при общении с ней. Но, как это бывает у борцов высшего разряда, как это было у того же Гриши, твердость сочеталась у нее с приветливостью и мягкостью, к которым добавлялось большое женское обаяние. Ира успела найти любимого человека, родить ребенка, но судьба ее оказалась трагичной — она погибла в Прибалтике в автомобильной катастрофе.

С конца семидесятых годов роль «сред» стала настолько ощутимой, что они превратились в объект пристального внимания службы безопасности. Один раз мне самому пришлось с этим близко столкнуться. Я возвращался от Маши с Сашей Асарканом и еще с одним посетителем. На автобусной остановке, кроме нас, оказался еще один человек — высокий молодой мужчина. Автобуса не было, и мы решили пойти к метро пешком. Мужчина пошел вслед за нами, и скоро стало заметно, что он не упускает нас из виду. Зайдя в метро, мы, посоветовавшись, решили проверить наши подозрения и стали сбегать по эскалатору. Вот тут-то филер и проявил себя, побежав вслед за нами, изображая пьяного и нагло отталкивая в сторону мешавших ему людей. Когда мы остановились, застыл и он. Наш преследователь, естественно, сопровождал нас и в поезде. После пересадки мы остались вдвоем с Сашей. Филер был в соседнем вагоне, как будто дремал. Он явно осознавал, что мы понимаем его роль, наблюдаем за ним, и старался проявлять себя, артистически играя уличных персонажей. На станции «Киевской» поезд задержали. Саша успел выскочить из вагона за миг до отправления — филер, впрочем, не тронулся.

После этого я перестал им чрезмерно интересоваться и достал книгу для чтения. Так, в сопровождении, я доехал до Савеловского вокзала, сел на электричку, сошел с нее и спокойно вернулся домой.

Недели через две к нам неожиданно зашел участковый и стал с раздражением спрашивать, почему мы не обменяли паспорта. В это время действительно шел обмен паспортов, но по срокам обмена мы вполне укладывались. Легко вычислялось следующее. Я в это время носил бороду, но на паспорте, а значит, и в милицейских документах была моя старая безбородая фотография. Мой филер, проследив, в какой подъезд я зашел, наутро пошел в отделение милиции и, видимо, с большим трудом отождествил меня по старой фотографии. Результатом его раздражения и был визит участкового.

Машины «среды» продолжались, как я уже говорил, вплоть до ее отъезда, и все это время дух Гриши и память о нем присутствовали и на них, и вообще в квартире. Особенно тепло и много говорили о нем в годовщины рождения и смерти. Читались его стихи (что замечательно делала Ира Кристи) и статьи, рассказывались эпизоды его жизни, вспоминались памятные всем его черты. Я думаю, что это до сих пор продолжается в бостонской Машинной квартире.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

## **Григорий Подъяпольский в «Хронике текущих событий»**

«Хроника текущих событий» — машинописный бюллетень правозащитников, выпускавшийся с 1968 по 1983 год с постоянным эпиграфом:

*Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ.*

(Всеобщая Декларация прав человека, статья 19)

Вып. 8. 30 июня 1969 г.

### **Обращение в Комиссию ООН по правам человека**

20 мая 1969 г. в Комиссию ООН по правам человека было направлено письмо с просьбой поставить на рассмотрение вопрос о нарушении в Советском Союзе одного из основных прав человека — права иметь независимые убеждения и распространять их любыми законными средствами. В письме указано, что на политических процессах в нашей стране людей судят «по обвинению в клевете на советский государственный и общественный строй, с умыслом (ст.70 УК РСФСР) или без умысла (ст.190-1 УК РСФСР) подрыва советского строя», — на самом же деле никто из обвиняемых не стремится оклеветать и, тем более, подорвать советский строй, и людей осуждают по вымышленным обвинениям, практически — за убеждения. «Вас судят не за убеждения», — эту излюбленную судебскую фразу письмо разоблачает на примере ряда судебных процессов: СИНЯВСКОГО и ДАНИЭЛЯ, ГИНЗБУРГА и ГАЛАНСКОВА, ХАУСТОВА и БУКОВСКОГО, участников демонстрации 25 августа, АНАТОЛИЯ

МАРЧЕНКО, ИРИНЫ БЕЛОГОРОДСКОЙ, ЮРИЯ ГЕНДЛЕРА и ЛЬВА КВАЧЕВСКОГО, ряда украинских процессов, в том числе процесса ЧЕРНОВОЛА, процессов крымских татар, прибалтийских процессов, в частности дела КАЛНЫНЬША и др., процессов советских евреев, требующих выезда в Израиль, например осуждения КОЧУБИЕВСКОГО, процессов над верующими. Письмо говорит о недавних арестах: ВИКТОРА КУЗНЕЦОВА, ИВАНА ЯХИМОВИЧА, П.Г.ГРИГОРЕНКО, ИЛЬИ ГАБАЯ. Письмо также указывает на «особенно бесчеловечную форму преследований: помещение в психиатрические больницы нормальных людей за политические убеждения».

Письмо подписала Инициативная группа по защите прав человека в СССР: Г.АЛТУНЯН, инженер (Харьков), В.БОРИСОВ, рабочий (Ленинград), Т.ВЕЛИКАНОВА, математик, Н.ГОРБАНЕВСКАЯ, поэт, М.ДЖЕМИЛЕВ, рабочий (Ташкент), С.КОВАЛЕВ, биолог, В.КРАСИН, экономист, А.ЛАВУТ, математик, А.ЛЕВИТИН (КРАСНОВ), церковный писатель, Ю.МАЛЬЦЕВ, переводчик, Л.ПЛЮЩ, математик (Киев), Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, научный сотрудник, Т.ХОДОРОВИЧ, лингвист, П.ЯКИР, историк, А.ЯКОБСОН, переводчик. Кроме того, под обращением стоит 39 подписей в его поддержку.

Служащие представительства ООН в Москве отказались принять письмо, заявив, что они ничего от частных лиц не принимают. Письмо было отправлено по почте и передано иностранным корреспондентам.

30 июня Инициативная группа направила дополнительное письмо с сообщением о «новых, особенно болезненных фактах нарушения прав человека»: о новом деле, возбужденном против АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО, и о предстоящих судах, задача которых — упрятать инакомыслящих в стены тюремных психиатрических больниц. <...>

### **Внесудебные политические преследования 1968–1969 гг.**

Москва

ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА ГРИГОРЕНКО, жена П.Г.ГРИГОРЕНКО, исключена из партии (заочно) райкомом КПСС без обсуждения в первичной партийной организации, состояла в партии с 1930 года.

ГРИГОРИЙ ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, геофизик, Институт физики Земли, после подписания письма в защиту П.Г.ГРИГОРЕНКО отложена защита диссертации.

МАРИЯ ПЕТРЕНКО, геолог, ВНИИ ядерной геофизики и геохимии, институтский «треугольник» провел с ней беседу по поводу

подписания этого же письма, причем ставились следующие вопросы: «Почему вы подписали это письмо? Являетесь ли вы его автором? Где вы подписывали письмо?»

Вып. 9. 31 августа 1969 г.

### **К годовщине вторжения в Чехословакию**

20 августа 1969 г. группа советских граждан сделала следующее заявление:

«21 августа прошлого года произошло трагическое событие: войска стран Варшавского пакта вторглись в дружественную Чехословакию.

Эта акция имела целью пресечь демократический путь развития, на который встала вся страна. Весь мир с надеждой следил за последним развитием Чехословакии. Казалось, что идея социализма, опорооченная в сталинскую эпоху, будет теперь реабилитирована. Танки стран Варшавского договора уничтожили эту надежду. В эту печальную годовщину мы заявляем, что мы по-прежнему не согласны с этим решением, которое ставит под угрозу будущее социализма.

Мы солидарны с народом Чехословакии, который хотел доказать, что социализм с человеческим лицом возможен.

Эти строки продиктованы болью за нашу родину, которую мы желаем видеть истинно великой, свободной и счастливой.

И мы твердо убеждены в том, что не может быть свободен и счастлив народ, угнетающий другие народы.

**Т.БАЕВА, Ю.ВИШНЕВСКАЯ, И.ГАБАЙ, Н.ГОРБАНЕВСКАЯ, З.М.ГРИГОРЕНКО, М.ДЖЕМИЛЕВ, Н.ЕМЕЛЬКИНА, С.КОВАЛЕВ, В.КРАСИН, АЛЕВИТИН (КРАСНОВ), Л.ПЕТРОВСКИЙ, Л.ПЛЮЩ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Л.ТЕРНОВСКИЙ, И.ЯКИР, П.ЯКИР, А.ЯКОБСОН».**

Вып. 10. 31 октября 1969 г.

### **Преследование Инициативной группы по защите гражданских прав в СССР**

Факт обращения группы советских граждан в международную организацию ООН с протестом против нарушения в Советском Со-



юзе основных гражданских прав и советских законов стал предметом расследования со стороны КГБ и прокуратуры.

«Хроника» уже сообщала в связи с этим об аресте и следствии по делу члена Инициативной группы ГЕНРИХА АЛТУНЯНА. Следствие по его делу закончено, обвинение, предъявленное ему вначале по ст.62 УК УССР (соотв. ст.70 УК РСФСР), переквалифицировано на ст. украинского кодекса, соответствующую ст.190-1 УК РСФСР.

Однако КГБ и прокуратура не ограничились делом АЛТУНЯНА, и в начале сентября на допросы в УКГБ г.Москвы были вызваны члены Инициативной группы ВЕЛИКАНОВА, КРАСНОВ-ЛЕВИТИН, ЛАВУТ, МАЛЬЦЕВ, ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, ХОДОРОВИЧ.

Допросы проводились следователем МОЧАЛОВЫМ с нарушением ст.158 УПК РСФСР (отказ сообщить дело, по которому вызваны свидетели), следствие интересовалось причинами и целью создания Инициативной группы. Допросы всех свидетелей сопровождалась руганью, криками и угрозами в адрес допрашиваемых: «Шваль!», «Отребье!», «Хватит, поиграли с вами в демократию!», «Посягаете на Советскую власть!», «Партию хотите ликвидировать!», «Колхозы разогнать!», «Вернуть частную собственность!», «С фашистами связались! Продались белогвардейцам!», «Люди кровь проливали!»

Все вызванные на допрос отказались отвечать на вопросы, не относящиеся к делу, заявили, что обращение в ООН не может и не должно быть предметом расследования. Поправки и дополнения свидетелей — в нарушение УПК РСФСР — следователь отказался внести в протоколы допроса, в связи с чем большинство отказались подписать протоколы допроса.

Вып. 14. 30 июня 1970 г.

### **Арест Андрея Амальрика**

21 мая 1970 г. в деревне Акулово Московской обл. был арестован АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АМАЛЬРИК.

Утром, в 11 часов, появились четыре машины, заполненные примерно 20 сотрудниками КГБ и прокуратуры Москвы и Свердловска. АМАЛЬРИКУ было предъявлено обвинение в распространении на Урале «литературы, содержащей клеветнические измышления, порочащие советский государственный и общественный строй» (ст.190-1 УК РСФСР).

<...>

22 мая А.ВОЛЬПИН-ЕСЕНИН, В.БУКОВСКИЙ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, П.ЯКИР, Ю.ВИШНЕВСКАЯ, ВЛАПИН, И.БЕЛОГО-

РОДСКАЯ обратились к правительству Советского Союза и в Организацию Объединенных Наций с призывом: свободу АНДРЕЮ АМАЛЬРИКУ! Они возмущены арестом АМАЛЬРИКА, «так как невозможно предположить, что он вызван какой-либо другой причиной, кроме сочинения им брошюры «Просуществует ли Советский Союз до 1984 г.?», и доказывают, что «при справедливом и тщательном рассмотрении дела АМАЛЬРИК должен быть оправдан любым судом».

<...>

Открытое письмо Инициативной группы по защите прав человека в СССР. Адресовано: 1) Москва, АПН; 2) Лондон, агентство Рейтер.

Начиная с мая 69 г. Инициативная группа (ИГ. — *Ред.*) пятикратно обращалась в Комиссию по правам человека ООН с заявлениями, где перечислялись факты нарушения гражданских прав в СССР, говорилось о репрессиях против инакомыслящих.

В настоящем письме ИГ объясняет, что она представляет собой, каковы ее цели, в чем видит она смысл своих действий.

У ИГ нет ни программы, ни устава. Члены ее связаны между собой не организационно, но морально: их объединяет уважение к человеческой личности и ее гражданским правам, приверженность к свободе и чувство ответственности за все происходящее в стране.

ИГ не занимается политикой, не предлагает в этой области никаких конструктивных решений, но не желает мириться с карательной политикой по отношению к инакомыслящим. Дело ИГ — сопротивление беззаконию.

ИГ считает, что от произвола есть только одно противоядие — гласность. Отсюда — обращения в ООН, к самой представительной международной организации (в которую входит, кстати, и СССР), а в ее лице — ко всей мировой демократической общественности. «Мы вовсе не уверены, — говорится в письме, — что наши обращения в ООН — самый правильный образ действий, ни, тем более, что он единственно возможный. Мы пытаемся что-то сделать в условиях, когда, с нашей точки зрения, ничего не делать — нельзя. ИГ убеждена в целесообразности различных действий со стороны многих людей и в бесплодности бездействия».

Из первоначального состава ИГ репрессированы шесть человек. Письмо подписали восемь оставшихся на свободе членов ИГ: Т.ВЕЛИКАНОВА, С.КОВАЛЕВ, А.ЛАВУТ, Л.ПЛЮЩ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Т.ХОДОРОВИЧ, П.ЯКИР, А.ЯКОБСОН.

Вып. 23. 5 января 1972 г.

### **Дело Владимира Буковского**

26 ноября 1971 г. Инициативная группа по защите прав человека в СССР в письме, адресованном Пятому Международному конгрессу психиатров в Мехико, заявила о своем присоединении к «Обращению и предложениям Комитета прав человека, направленным на разработку мер, ограничивающих возможность произвола и злоупотреблений по отношению к лицам, признанным психически больными или подвергающимся психиатрической экспертизе» (см. Хронику № 22).

«Разделяя тревогу по поводу несовершенства гарантий прав этих лиц, — говорится в письме, — мы сочли необходимым попытаться привлечь особое внимание участников Конгресса к наиболее срочному и практически важному, по нашему мнению, вопросу о психиатрических критериях невменяемости, употребляемых в судебно-медицинской экспертизе во время следствия и суда над людьми, которым предъявляются политические обвинения». Перечисляя документы, использование которых, по их мнению, было бы полезно в данной связи (дневники П.Г.ГРИГОРЕНКО, письмо В.ФАЙНБЕРГА, книга Ж. и Р.МЕДВЕДЕВЫХ «Кто сумасшедший?»), авторы письма особо подчеркивают заслуги ВЛАДИМИРА БУКОВСКОГО, благодаря инициативе которого участникам Конгресса (и всему миру) стали доступны материалы, характеризующие противоправную практику таких экспертиз в Советском Союзе.

28 ноября 1971 г. Инициативная группа обратилась к генеральному прокурору СССР Р.А.РУДЕНКО (копия — Международной лиге прав человека) с протестом против очередных беззаконий, жертвой которых стал БУКОВСКИЙ. Его желание воспользоваться услугами адвоката Д.И.КАМИНСКОЙ, защищавшей его ранее, было отклонено следователем на том основании, что КАМИНСКАЯ не имеет «допуска» к «секретным» делам. (Довод этот был повторен 24 ноября 1971 г. председателем президиума Московской коллегии адвокатов К.АПРАКСИНЫМ.)

Вып. 24. 5 марта 1972 г.

В Заявлении Инициативной группы в связи с арестом ПЛЮЩА говорится:

«14 января 1972 г. в Киеве арестован Леонид Иванович Плющ, член Инициативной группы по защите прав человека с момента ее

образования. Обыск, завершившийся арестом Плюща, производился офицерами ГБ во главе с подполковником Толкачом<...>

Мы заявляем, что арест Плюща есть продолжение незаконных репрессий против Инициативной группы. Общественная деятельность Плюща, связанная с защитой прав человека в нашей стране, никогда не содержала в себе ничего криминального.

Свободу Леониду Плющу!»

Вып. 25. 20 мая 1972 г.

### **Обыски, допросы, аресты**

Москва <...> 6 мая 1972 года был проведен ряд обысков: по делу № 24 у П.ЯКИРА, А.ЯКОБСОНА, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКОГО (все трое — члены Инициативной группы по защите прав человека в СССР), у И.КАПЛУН и О.ИОФЕ (см. «Хронику» № 16), И.КРИСТИ, В.ГЕРШОВИЧА, В.ГУСАРОВА, Е.АРМАНД (внучатой племянницы И.АРМАНД), АДУБРОВА, В.БАТШЕВА, В.АЛЬБРЕХТА, Н.ПЛИСОВСКОЙ, В.Е.МАКОТИНСКОЙ и Л.Е.ПИНСКОГО (литературовед, член ССП). По делу № 370 (предположительно — дело К.ЛЮБАРСКОГО: см. «Хронику» № 24) — у Ю.ШИХАНОВИЧА; по делу № 374 (предположительно — дело П.СТАРЧИКА: см. выше) — у К.К.ДРАФФЕНА и у ЛАХОВА.

Вып. 26. 5 июля 1972 г.

### **«Книксон»**

Визит президента США Р.НИКСОНА в СССР (22—30 мая) сопровождался своеобразными действиями властей.

Начиная с 11 мая в районные отделения милиции г. Москвы были вызваны член Инициативной группы по защите прав человека в СССР Т.С.ХОДОРОВИЧ, эксперт Комитета прав человека А.С.ВОЛЬПИН и 15 активных участников Движения за право выезда евреев в Израиль. От них потребовали обещания, что во время визита НИКСОНА в СССР они не будут совершать «антиобщественных акций». Все вызванные заявили, что они не собирались и не собираются совершать незаконные действия.

На время визита Никсона срочно были посланы в командировки из Москвы члены Инициативной группы

Г.С.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, А.С.ВОЛЬПИН и Ю.А.ШИХАНОВИЧ.

Вып. 27. 15 октября 1972 г.

### **В Комитете прав человека**

4 сентября 1972 года член Комитета прав человека В.Н.ЧАЛИДЗЕ обратился к Комитету с письмом: «Я заявляю о своем выходе из Комитета прав человека. <...>»

7 сентября 1972 года Комитет на своем заседании констатировал получение заявления В.Н.ЧАЛИДЗЕ о выходе из Комитета. Комитет решил избрать В.Н.ЧАЛИДЗЕ экспертом Комитета прав человека.

5 октября 1972 года Комитет прав человека избрал членом Комитета ГРИГОРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ПОДЪЯПОЛЬСКОГО («Хроника» № 25, 26).

Вып. 28. 31 декабря 1972 г.

### **Дело Любарского**

Обвинительное заключение содержит 54 эпизода. Утверждается, что ЛЮБАРСКИЙ в течение ряда лет хранил, размножал и распространял антисоветскую литературу. Ему инкриминируется также антисоветская агитация в устной форме (утверждается, что он пересказывал содержание некоторых криминальных произведений ПОПОВУ, И.КРИСТИ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКОМУ). Утверждается также, что кроме ТЕЛЕСИНА литературу, в том числе «Хроники» № 12–22, ему передавал Ю.ШИХАНОВИЧ. Подсудимый признал факты размножения и распространения самиздата, но не признал себя виновным по ст.70 УК РСФСР и категорически отрицал в своих действиях антисоветский замысел. ЛЮБАРСКИЙ заявил, что никогда не давал показаний о получении литературы от ШИХАНОВИЧА. Литературу, передача которой приписывается ШИХАНОВИЧУ, он получил от ЕСЕНИНА-ВОЛЬПИНА, не названного ранее по нравственным соображениям. (А.ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН покинул СССР незадолго до суда). ЛЮБАРСКИЙ признал враждебность и тенденциозность «Технологии власти» АВТОРХАНОВА и некоторую тенденциозность книги ГРОССМАНА «Все течет», но указал на полезность чтения этих книг в связи с их насыщенностью фактами и художественными достоинствами последней. Он категорически отрицал криминальность «Хроники», журнала «Общественные проблемы», документов Комитета прав человека, книги А.МАРЧЕНКО «Мои показания», «Размышлений о прогрессе» А.Д.САХАРОВА, писем

Инициативной группы, других открытых писем. Он ходатайствовал о вызове в суд авторов и представителей авторских коллективов некоторых из этих документов: САХАРОВА, ПОДЪЯПОЛЬСКОГО, ЧАЛИДЗЕ, Т.ВЕЛИКАНОВОЙ. Ходатайство было отклонено судом. Приговор: 5 лет лагерей строгого режима.

## **Хроника защиты прав в СССР**

Вып. 1. 09.1972 – 03.1973

### **Открытое письмо в ЮНЕСКО**

Шестеро известных московских интеллигентов выступили с заявлением по поводу подписания Советским Союзом Женевской Конвенции 1952 г. о защите авторских прав. Решение правительства СССР присоединиться к Международной Женевской Конвенции об авторском праве может явиться существенным вкладом в дело свободного обмена информацией, содействовать разрядке взаимного недоверия и в конечном счете культурному сближению между народами. Безусловно одобряя этот акт в целом, мы считаем, однако, своим долгом высказать и некоторые опасения. Международное понятие авторского права подразумевает, что это право сугубо личное, которое автор может передать любому издательству, театру, киностудии и тому подобное. Государства могут и должны охранять авторские права граждан, но не присваивать их. В особых условиях нашей страны закон о монополии внешней торговли может быть превращен в силу, ограничивающую и даже вовсе подавляющую международные авторские права советских граждан. Идеологическая и эстетическая цензура у нас всегда была крайне ригористична, а в последние годы становится все более жесткой и произвольной. Если бы эта цензура могла раньше обладать международными правовыми силами, то русская, а с нею и мировая культура была бы лишена многих замечательных произведений – Ахматовой, Пастернака, Солженицына, Твардовского, Бека и других литераторов, композиторов, живописцев, историков, публицистов. Нельзя допускать, чтобы эта цензура приобрела теперь возможность действовать в международных масштабах, опираясь на Женевскую Конвенцию. Опубликованный в печати Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 февраля 1973 года не только не снимает выс-

казанных нами выше опасений, но делает их еще более определенными. Поэтому, присоединяясь к почти единодушному одобрению мировой общественностью участия Советского Союза в Женевской Конвенции, мы сочли своим долгом сделать это предостерегающее заявление. 22 марта 1973 года. Андрей Сахаров, Игорь Шафаревич, Григорий Подъяпольский, Александр Галич, Владимир Максимов, Александр Воронель.

Вып. 29. 31 июля 1973 г.

### **В Верховный Совет СССР об отмене смертной казни**

«Многие люди издавна стремились к отмене смертной казни, считая, что она противоречит нравственному чувству и не может быть оправдана никакими общими социальными соображениями. Смертная казнь отменена сейчас во многих странах.

В годовщину создания Союза Советских Социалистических Республик мы призываем Верховный Совет СССР принять закон об отмене смертной казни в нашей стране.

Такое решение будет способствовать, в частности, дальнейшему распространению этого акта гуманности во всем мире». Среди подписавших: акад. САХАРОВ, член-корр. И.ШАФАРЕВИЧ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, акад. ЛЕОНТОВИЧ, А.ГАЛИЧ, В.ЧАЛИДЗЕ, акад. ПЕТРОВ, Т.ВЕЛИКАНОВА, В.МАКСИМОВ, С.КОВАЛЕВ.

### **Суд над Андреем Амальриком**

21 мая 1973 года должен был закончиться 3-летний срок заключения АНДРЕЯ АМАЛЬРИКА. 22 мая его жене Г.МАКУДИНОВОЙ сообщили, что прокуратура г. Магадана возбудила новое дело по ст.190-1 УК РСФСР. Это было второе обвинение АМАЛЬРИКА по ст.190-1. 22 мая члены Комитета прав человека Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, А.САХАРОВ, И.ШАФАРЕВИЧ выступили в защиту АНДРЕЯ АМАЛЬРИКА.

### **Допросы. Очные ставки**

В феврале 1973 г. по делу № 24 были допрошены Л.АЛЕКСЕЕВА, Т.ВЕЛИКАНОВА, Л.ЗИМАН, И.КАПЛУН, Л.КАРДАСЕВИЧ,

С.КОВАЛЕВ, Л.КУШЕВА, П.ЛИТВИНОВ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Г.СУПЕРФИН, Т.ХОДОРОВИЧ, И.ЯКИР, А.ЯКОБСОН. Некоторым предъявлялось постановление «об отобрании образцов почерка для графологической экспертизы» в связи с большим объемом «имеющихся в деле рукописных материалов».

Вып. 30. 31 декабря 1973 г.

### **Заявления Инициативной группы по защите прав человека в СССР**

На судебном процессе над П.ЯКИРОМ и В.КРАСИНЫМ, а также в публикациях советской прессы Инициативной группе по защите прав человека в СССР инсинуируется клевета на советский строй.

Инициативная группа считает нужным заявить следующее:

1. Во всех документах Инициативной группы мы сообщаем только факты. Мы убеждены в истинности своих сообщений.

2. Инициативная группа никогда не пыталась дискриминировать социальный строй или правительство своей страны. Она выступала только против таких действий властей, которые считала бы недопустимыми при любом строе и любом правительстве.

3. Инициативная группа принципиально воздерживалась от каких-либо *политических выступлений*. Она считала и считает основным своим долгом — защиту прав человека в своей стране.

4. Мы продолжаем утверждать, что в нашей стране психиатрия в ряде случаев используется для расправы с неугодными властям людьми. <...>

7. Мы протестуем против таких методов воздействия, которые ломают человеческую личность, вынуждают оговаривать свои деяния, деяния своих товарищей, самих себя.

Мы отмечаем недопустимые условия ведения следствия. Длительные сроки заключения в следственных изоляторах-тюрьмах, запрещение свиданий и переписки (за исключением тех случаев, когда это выгодно следствию), отсутствие права пользоваться услугами адвокатов — все это ставит подследственного в положение полной незащитности от злоупотреблений следственных органов.

8. Мы выражаем тревогу в связи с тем, что в нашей стране возобновились бурные кампании осуждения, когда осуждающие не стесняются признаться, что не читали того, чем возмущены. Мы выражаем тревогу тем более потому, что в этой кампании участвует наша интеллигенция — ученые, писатели, деятели искусства.



Мы полагаем своим долгом заявить также, что достойная и мужественная позиция академика А.САХАРОВА и писателя А.СОЛЖЕНИЦЫНА вызывает у нас глубокое уважение.

9. Инициативная группа надеется и впредь предпринимать индивидуальные и коллективные усилия, направленные на расширение общепризнанных свобод — таких, как свобода выражать и распространять мнения или, например, свобода от недобросовестных судебных обвинений.

Инициативная группа по защите прав человека в СССР:

Т.ВЕЛИКАНОВА, С.КОВАЛЕВ, А.ЛЕВИТИН-КРАСНОВ,  
Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Т.ХОДОРОВИЧ.

*Сентябрь 1973 г.*

### **В психиатрических больницах**

9 июля 1973 г. Комитет прав человека в СССР опубликовал официальное заявление. Текст заявления приводится полностью.

«Нам стало известно о решении Международного съезда психотерапевтов в Осло не принимать резолюцию, осуждающую практику психиатрических госпитализаций по политическим мотивам в СССР и других странах Восточной Европы, в связи с тем, что такая резолюция якобы может препятствовать «наиболее прогрессивному сейчас процессу сближения со странами Восточной Европы». Такое решение было принято, несмотря на многочисленные обращения к съезду от частных лиц, международных и национальных организаций.

Комитет считает необходимым высказать отрицательное отношение к этому решению съезда психотерапевтов. Многочисленные факты использования психиатрии в нашей стране для политических репрессий являются вопиющим варварством, к которому неуместно снисходительное отношение ни по каким прагматическим мотивам.

Мы приветствуем политику сближения стран с различным политическим устройством, но считаем, что это сближение должно быть обусловлено отказом сближающихся государств от возмущающих совесть человечества акций, а не использовано для взаимного потворства их проведению. Организация Объединенных Наций в своих документах неоднократно подтвердила принцип международной ответственности за соблюдение прав человека, и международному съезду психиатров не следует подрывать этот принцип. Объективно его решение только поощряет расширение психиатрических реп-

рессий в нашей стране и является предательством по отношению к многочисленным узникам психиатрических тюрем.

Мы призываем всех честных психиатров добиться пересмотра этого решения.

**ГРИГОРИЙ ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, АНДРЕЙ САХАРОВ, ИГОРЬ ШАФАРЕВИЧ».**

\* \* \*

25 июня Генеральному секретарю ООН Курту ВАЛЬДХАЙМУ были направлены «Открытое обращение» САХАРОВА и ПОДЪЯПОЛЬСКОГО и работа Т.ХОДОРОВИЧ «Наказание безумием». Авторы обращения призывают К.ВАЛЬДХАЙМА выступить в защиту двух членов Инициативной группы, осужденных на заключение в спецпсихбольницы, — Владимира БОРИСОВА и Леонида ПЛЮЩА.

Вып. 31. 17 мая 1974 г.

### **Письмо К.Вальдхайму**

В связи с тем, что в адрес ООН в январе 1974 г. был отправлен ряд документов (4, 5, 6, 20, 21, 22), А.САХАРОВ, Т.ВЕЛИКАНОВА, С.КОВАЛЕВ, АЛЕВИТИН-КРАСНОВ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ и Т.ХОДОРОВИЧ написали следующее письмо:

Генеральному секретарю ООН Курту ВАЛЬДХАЙМУ  
Глубокоуважаемый г-н Генеральный секретарь!

Нам стало известно обращение крымских татар, которое вместе с безответными жалобами в советские инстанции и некоторыми другими документами недавно было адресовано в ООН многими представителями этого притесняемого народа.

Мы призываем Вас употребить Ваше влияние и все Ваши возможности для того, чтобы трагическое положение крымских татар было быстро и эффективно рассмотрено в соответствующих комиссиях ООН.

Наша просьба ни в коей мере не означает, что мы разделяем высказанную в этих документах точку зрения о том, что подавление национальных свобод крымских татар осуществляют антисоциалистические и империалистические силы, получившие возможность использовать военную и репрессивную мощь социалистического

государства. Мы не входим также в анализ вопроса, соответствует ли современная национальная политика советского правительства политической доктрине В.И.ЛЕНИНА. Но мы свидетельствуем, что приводимая в документах фактическая картина преступлений, клеветы, злоупотреблений властью и судебного произвола полностью соответствует тому, что нам известно.

Мы призываем Вас, господин Генеральный секретарь, всеми возможными средствами способствовать возвращению на родину крымских татар, административно удерживаемых в изгнании, вопреки недвусмысленно выраженной воле этого народа.

Вып. 32. 17 июля 1974 г.

## **В психиатрических больницах**

### **Освобождение П.Г.Григоренко**

В январе 1974 г. очередная комиссия врачей Московской областной психиатрической больницы № 5 (ст. Столбовая) снова не представила П.Г.ГРИГОРЕНКО к отмене принудительного лечения. Врачи проговорились, что причина такого решения — нет гарантии, что П.Г.ГРИГОРЕНКО не вернется к прежней деятельности. В беседе с сыном ГРИГОРЕНКО зам. Главврача больницы КОЖЕМЯКИНА заявила, что смерть П.Г.ГРИГОРЕНКО — это тот выход, который устроил бы «всех».

В марте 1974 г. Инициативная группа защиты прав человека в СССР (Т.ВЕЛИКАНОВА, С.КОВАЛЕВ, А.КРАСНОВ-ЛЕВИТИН, Г.ПОДЬЯПОЛЬСКИЙ и Т.ХОДОРОВИЧ) опубликовали открытое письмо в защиту ГРИГОРЕНКО. В письме сказано: «...За эти пять лет власти использовали все средства, чтобы сломить П.ГРИГОРЕНКО — заставить отказаться от своих убеждений, признать их результатом болезни... Все формы давления были безрезультатны. Намеков П.ГРИГОРЕНКО не понимал, прямые предложения отказаться от убеждений — отвергал». <...>

Выражая опасение, что «...Петру Григорьевичу ГРИГОРЕНКО уготовано пожизненное заключение в сумасшедшем доме», Инициативная группа обращается к международной общественности с призывом помочь П.Г.ГРИГОРЕНКО. 12 мая 1974 г. была созвана комиссия, которая представила П.ГРИГОРЕНКО к отмене принудительного лечения». 24 июня 1974 г. Московский городской суд вынес

определение о прекращении принудительного лечения П.Г.ГРИГОРЕНКО. <...>

Жена П.Г.ГРИГОРЕНКО Зинаида Михайловна ГРИГОРЕНКО сказала: «Я рада, но не вполне счастлива, так как не могу не чувствовать боли матери Владимира БУКОВСКОГО и жены Леонида ПЛЮЩА, всех матерей и жен, у кого родные – за решеткой. Хочу передать спасибо всем людям, поддерживавшим меня в эти страшные годы».

## **В тюрьмах и лагерях**

20 февраля был отправлен на 3 месяца в ПКТ Владимир БУКОВСКИЙ. В ПКТ БУКОВСКОГО держали на режиме ШИЗО (горячая пища через день) – новшество, введенное администрацией 35-го л/п. Помещение БУКОВСКОГО в ПКТ и режим содержания вызвали многочисленные протесты среди заключенных. После этих протестов были лишены свиданий В.ПАВЛЕНКОВ и И.СВЕТЛИЧНЫЙ. На воле в защиту БУКОВСКОГО выступили: его мать Н.И.БУКОВСКАЯ, А.ТВЕРДОХЛЕБОВ, А. НАЙДЕНОВИЧ, а также А.ЛЕВИТИН (КРАСНОВ), А.САХАРОВ, Т.ХОДОРОВИЧ, Т.ВЕЛИКАНОВА, С.КОВАЛЕВ, П.ЛИТВИНОВ, священник С.ЖЕЛУДКОВ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, В.ФАЙНБЕРГ.

9 мая, на 11 дней раньше срока, БУКОВСКИЙ был выпущен из ПКТ – «в связи с ремонтом помещения».

## **Суд над Некипеловым**

В январе 1974 г. Инициативная группа защиты прав человека в СССР опубликовала заявление, подписанное Т.ВЕЛИКАНОВОЙ, С.КОВАЛЕВЫМ, А.КРАСНОВЫМ-ЛЕВИТИНЫМ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИМ, Т.ХОДОРОВИЧ. В нем, в частности, говорится:

«...и свою судьбу, и свою затравленность, и свою душу, и лицо мира, в котором он жил, – Виктор НЕКИПЕЛОВ отразил в своих стихах, и стихи были найдены у него при обыске. И истинную причину ареста Виктора НЕКИПЕЛОВА вряд ли нужно долго искать: некоторые миры не могут терпеть своих отражений. Но поскольку поэзия не входит в число преступлений, предусмотренных нашим уголовным кодексом, естественно спросить: в чем формальная вина Виктора НЕКИПЕЛОВА? И на этот вопрос можно, по-видимому, дать единственный и стран-

ный ответ: ни в чем — даже в том, за что обычно судят у нас в стране».

Авторы выражают опасение, что НЕКИПЕЛОВУ «...грозит самое страшное из возможных наказаний — психиатрическая больница».

Вып. 33. 10 декабря 1974 г.

### **Заявление «30 октября»**

В заявлении Инициативной группы защиты прав человека в СССР, озаглавленном «30 октября» и подписанном Т.ВЕЛИКАНОВОЙ, С.КОВАЛЕВЫМ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИМ и Т.ХОДОРОВИЧ, говорится о понятии «политический заключенный» и о категориях политзаключенных в СССР; о наказании голодом и холодом в советских лагерях, противоречащем исправительно-трудовому законодательству, но предусмотренном правилами и инструкциями; приведены требования, выдвигаемые в «День политзаключенного в СССР».

Наряду с прочим, в заявлении сказано: «Передавая журналистам сведения о лагерях и, главное, документы, с немалым трудом и огромным риском переправленные заключенными на свободу, мы просим помнить о том, что их авторам угрожает месть карательных органов. Наши друзья сознательно идут на этот риск. Публикация заявлений и писем — их воля, попытка оградить их от жестокой кары — долг тех, кто на свободе, — наша и ваша обязанность».

Вып. 35. 31 марта 1975 г.

### **День Буковского**

29 марта 1975 г. отмечен в СССР и за рубежом как «день Владимира БУКОВСКОГО». В этот день многие советские граждане выступили в защиту БУКОВСКОГО.

\* \* \*

«Четыре года тому назад был заключен в тюрьму Владимир БУКОВСКИЙ. Ему сегодня только 32 года, но это уже четвертый его арест. Из одиннадцати последних лет своей жизни — десять он провел в заключении...

**ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ** документально доказал существование в СССР преступной практики направления психически нормальных людей под видом опасных душевнобольных в особо страшные тюрьмы МВД, действующие под вывеской «специальных психиатрических больниц»...

...На третий день после сообщения западного радио о получении Международной Комиссией по подготовке Всемирного Конгресса психиатров этих документов **ВЛАДИМИР БУКОВСКИЙ** был арестован.

...Мы просим всех, кому дороги правда, справедливость и любовь: Не оставайтесь безразличными к нашим гонимым соотечественникам!»

Татьяна **ВЕЛИКАНОВА**, Григорий **ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ**, Татьяна **ХОДОРОВИЧ**».

Вып. 37. 30 сентября 1975 г.

### **Письма и заявления**

#### **В Президиум Верховного Совета СССР ПРОШЕНИЕ**

Просим всеобщей политической амнистии — т.е. амнистии для всех лиц, осужденных за идеологию, политические взгляды и деятельность, а также за религиозные убеждения и религиозную деятельность. Просим применить эту амнистию и к лицам, лишенным гражданства по тем же мотивам.

Просим распространить эту амнистию также на лиц, осужденных за осуществление ими иных прав, предусмотренных Декларацией прав человека ООН. Просим амнистировать в индивидуальном порядке людей, осужденных за иные правонарушения, но чье судебное преследование вызвано идеологическими или политическими мотивами.

В первую очередь и незамедлительно просим амнистировать всех женщин — политзаключенных, а также осужденных за религиозные убеждения и деятельность. Просим не ограничивать применение амнистии сроком осуждения, необходимостью положительной характеристики или иными какими-либо условиями.

Одновременно с этим просим освободить из психиатрических больниц людей, насильственно помещенных туда в связи с их мировоззрением, политическими взглядами и деятельностью.

Первая в истории СССР всеобщая политическая амнистия явилась бы весомым подтверждением серьезности намерений СССР

осуществлять провозглашенные принципы разрядки напряженности.

*16 августа 1975 г.*

Л.БОГОРАЗ (Москва), А.МАРЧЕНКО (Чуна, Иркутская обл.), Т.ВЕЛИКАНОВА (Москва), А.ЛАВУТ (Москва), А.САХАРОВ (Москва), М.ЛАНДА (Красногорск, Московская обл.), Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ (Москва), Н.ВУКОВСКАЯ (Москва), А.ГИНЗБУРГ (Таруса, Московская обл.).

Авторы обратились к гражданам СССР и к соотечественникам за границей с призывом поддержать их Прощение.

### **Дело Ковалева**

26 сентября 1975 г. закончилось предварительное следствие по делу Сергея КОВАЛЕВА, выделенному из дела № 345. По этому делу в Москве в июне—августе были допрошены его сослуживец А.А.МИЗЯКИН, а также В.Ф.ТУРЧИН, И.М.БЕЛОГОРОДСКАЯ, Г.С.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Т.М.ВЕЛИКАНОВА, М.Н.ЛАНДА, жена Ковалева Л.Ю.БОЙЦОВА. <...>Т.М.ВЕЛИКАНОВА в самом начале допроса заявила об отказе участвовать в следствии и указала, что мотивы ее отказа КГБ знает по прежним допросам и «беседам». Г.С.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, мотивируя свой отказ отвечать, также сослался на заявление об отказе, сделанное два года назад во время допросов по делу № 24.

### **Протест по делу В.Осипова**

Мы поражены и возмущены варварским приговором, который был вынесен редактору журналов «Вече» и «Земля» Владимиру ОСИПОВУ.

Рукописные (машинописные) журналы «Вече» и затем «Земля» выходили совершенно легально с 1971 г. Зачем понадобилось осуждать известного публициста к восьми годам лишения свободы в лагере строгого режима через два месяца после обсуждения гуманитарных проблем в Хельсинки? Не затем ли, чтобы показать всем, кто в этом еще сомневается, что в вопросе идеологических репрессий советские власти не отступятся ни на шаг?

К ближайшим месяцам приурочены также суды над известными общественными и нравственными деятелями — Андреем ТВЕРДОХЛЕБОВЫМ и Сергеем КОВАЛЕВЫМ. Международное обществен-

ное мнение еще в силах спасти этих людей от жестоких приговоров — если оно этого захочет.

Еще есть время изменить и приговор Владимиру ОСИПОВУ.

26—28 сентября 1975 г.

Ю.ОРЛОВ, Т.ХОДОРОВИЧ, Г.ПОДЪЯПОЛЬСКИЙ, Т.ВЕЛИКА-  
НОВА, М.ЛАНДА, С.ХОДОРОВИЧ, Н.ИВАНОВ, А.ЛАВУТ, В.РОДИ-  
ОНОВ, Л.БОРОДИН.



